КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА



Эрнест

ХЕМИНГУЭЙ

По ком звонит колокол

роман

По ком звонит колокол

По ком звонит колокол
Эрнест Миллер Хемингуэй

Аннотация
Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая

Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
Глава тридцать восьмая
Глава тридцать девятая
Глава сороковая
Глава сорок первая
Глава сорок вторая
Глава сорок третья

Аннотация

«По ком звонит колокол» — один из лучших романов Хемингуэя. Полная трагизма история молодого американца, приехавшего в Испанию, охваченную гражданской войной.

Блистательная и печальная книга о войне и любви, истинном мужестве и самопожертвовании, нравственном долге и непреходящей ценности человеческой жизни.

Эрнест Хемингуэй
По ком звонит колокол

Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе.

Джон Донн

Глава первая

Он лежал на устланной сосновыми иглами бурой земле, уткнув подбородок в скрещенные руки, а ветер шевелил над ним верхушки высоких сосен. Склон в этом месте был некрутой, но дальше обрывался почти отвесно, и видно было, как черной полосой вьется по ущелью дорога. Она шла берегом реки, а в дальнем конце ущелья виднелась лесопилка и белеющий на солнце водоскат у плотины.

— Вот эта лесопилка? — спросил он.

— Да.

— Я ее не помню.

— Ее выстроили уже после тебя. Старая лесопилка не здесь; она ниже по ущелью.

Он разложил на земле карту и внимательно вгляделся в нее. Старик смотрел через его плечо. Это был невысокий, коренастый старик в черной крестьянской блузе и серых штанах из грубой ткани; на ногах у него были сандалии на веревочной подошве. Он еще не отдышался после подъема и стоял, положив руку на один из двух тяжелых рюкзаков.

— Значит, моста отсюда не видно?

— Нет, — сказал старик. — Тут место ровное, и река течет спокойно. Дальше, за поворотом, где дорога уходит за деревья, сразу будет глубокая теснина…

— Я помню.

— Вот через теснину и перекинут мост.

— А где у них посты?

— Один — вон там, на этой самой лесопилке.

Молодой человек, изучавший местность, достал бинокль из кармана линялой фланелевой рубашки цвета хаки, протер платком стекла и стал подкручивать окуляры, пока все очертания не сделались вдруг четкими, и тогда он увидел деревянную скамью у дверей лесопилки, большую кучу опилок за дисковой пилой, укрытой под навесом, и часть желоба на противоположном склоне, по которому спускали вниз бревна. Река отсюда казалась спокойной и тихой, и в бинокль было видно, как над прядями водоската разлетаются по ветру брызги.

— Часового нет.

— Из трубы идет дым, — сказал старик. — И белье развешено на веревке.

— Это я вижу, но я не вижу часового.

— Должно быть, он укрылся в тени, — пояснил

старик. — Сейчас еще жарко. Он, наверно, с той стороны, где тень, отсюда нам не видно.

— Возможно. А где следующий пост?

— За мостом. В домике дорожного мастера, на пятом километре.

— Сколько здесь солдат? — Он указал на лесопилку.

— Не больше четырех и капрал.

— А там, в домике?

— Там больше. Я проверю.

— А на мосту?

— Всегда двое. По одному на каждом конце.

— Нам нужны будут люди, — сказал он. — Сколько человек ты можешь дать?

— Можно привести сколько угодно, — сказал старик. — Тут, в горах, теперь людей много.

— Сколько?

— Больше сотни. Но они все разбиты на маленькие отряды. Сколько человек тебе понадобится?

— Это я скажу, когда осмотрю мост.

— Ты хочешь осмотреть его сейчас?

— Нет. Сейчас я хочу идти туда, где можно спрятать динамит. Его нужно спрятать в надежном месте и, если возможно, не дальше чем в получасе ходьбы от моста.

— Это нетрудно, — сказал старик. — От того

места, куда мы идем, прямая дорога вниз, к мосту. Только чтоб туда добраться, надо еще поднатужиться немного. Ты не голоден?

— Голоден, — сказал молодой. — Но мы поедим после. Как тебя зовут? Я забыл. — Он подумал, что это дурной знак, то, что он забыл.

— Ансельмо, — сказал старик. — Меня зовут Ансельмо, я из Барко-де-Авила. Давай я помогу тебе поднять мешок.

Молодой — он был высокий и худощавый, с выгоревшими, светлыми волосами, с обветренным и загорелым лицом, в линялой фланелевой рубашке, крестьянских штанах и сандалиях на веревочной подошве — нагнулся, просунул руку в ременную лямку и взвалил тяжелый рюкзак на плечи. Потом надел другую лямку и поправил рюкзак, чтобы тяжесть пришлась на всю спину. Рубашка на спине еще не просохла после подъема на гору.

— Ну, я готов, — сказал он. — Куда идти?

— Вверх, — сказал Ансельмо.

Согнувшись под тяжестью рюкзаков, обливаясь потом, они стали взбираться по склону, густо поросшему сосняком. Тропинки не было видно, но они все поднимались и поднимались, то прямо, то в обход, потом вышли к неширокому ручью, и

старик, не останавливаясь, полез дальше, вдоль каменистого русла. Теперь подъем стал круче и труднее, и наконец впереди выросла гладкая гранитная скала, откуда ручей срывался вниз, и здесь старик остановился и подождал молодого.

— Ну, как ты?

— Ничего, — сказал молодой. Но он весь взмок, и у него сводило икры от напряжения при подъеме.

— Подожди меня здесь. Я пойду предупрежу. С такой ношей не годится попадать под обстрел.

— Да, тут шутки плохи, — сказал молодой. — А далеко еще?

— Совсем близко. Как тебя зовут?

— Роберто, — ответил молодой. Он спустил рюкзак с плеч и осторожно поставил его между двух валунов у ручья.

— Так вот, Роберто, подожди здесь, я вернусь за тобой.

— Хорошо, — ответил молодой. — А скажи, к мосту ведет эта же дорога?

— Нет. К мосту мы пойдем другой дорогой. Там ближе и спуск легче.

— Мне нужно, чтобы материал был сложен не слишком далеко от моста.

— Посмотришь. Если тебе не понравится, мы

выберем другое место.

— Посмотрим, — сказал молодой.

Он сел возле рюкзаков и стал глядеть, как старик взбирается на скалу. Взбирался он без труда, и по тому, как он быстро, почти не глядя, находил места для упора, ясно было, что он проделывал этот путь уже много раз. Но жившие там, наверху, заботились, чтобы не было никакой тропы.

Роберт Джордан — так звали молодого — мучительно хотел есть, и на душе у него было тревожно. Чувство голода было для него привычным, но тревогу ему не часто приходилось испытывать, так как он не придавал значения тому, что может с ним случиться, а кроме того, знал по опыту, как просто передвигаться в тылу противника в этой стране. Передвигаться в тылу было так же просто, как переходить линию фронта, был бы только хороший проводник. Все лишь тогда становится трудным, когда придаешь значение тому, что может случиться с тобой, если поймают, да еще трудно решать, кому можно довериться. Людям, с которыми работаешь вместе, нужно доверять до конца или совсем не доверять, вот и приходится решать, кто заслуживает доверия. Но это все не тревожило его. Тревожило другое.

Ансельмо был хорошим проводником и умел

ходить в горах. Роберт Джордан и сам был неплохой ходок, но за несколько часов пути — они вышли еще до рассвета — он убедился в том, что старик может загнать его насмерть. До сих пор Роберт Джордан доверял Ансельмо во всем — кроме его суждений. Не было пока случая испытать правильность его суждений, и в конце концов за свои суждения каждый отвечает сам. Да, Ансельмо его не тревожил, и задача с мостом была не труднее многих других задач. Нет такого моста, которого он не сумел бы взорвать, и ему уже приходилось взрывать мосты всяких размеров и конструкций. В рюкзаках было достаточно динамита и всего, что необходимо, чтобы взорвать этот мост по всем правилам, даже если он вдвое больше, чем говорит Ансельмо, и чем запомнилось ему самому еще с 1933 года, когда, он, путешествуя в этих местах, переходил его на пути в Ла-Гранху, и чем сказано в описании, которое Гольц читал ему позавчера вечером в одной из верхних комнат дома близ Эскуриала.

— Взорвать мост — это еще не все, — сказал тогда Гольц, водя карандашом по большой карте, и его бритая, вся в шрамах голова заблестела при свете лампы. — Вы понимаете?

— Да, я понимаю.

— Это почти что ничего. Просто взять и взорвать мост — это равносильно провалу.

— Да, товарищ генерал.

— Взорвать мост в точно указанный час, сообразуясь с временем, назначенным для наступления, — вот что нужно. Вы понимаете? Вот что нужно, и вот что от вас требуется.

Гольц посмотрел на карандаш и постучал им по зубам.

Роберт Джордан ничего не ответил.

— Вы понимаете? Вот что нужно, и вот что от вас требуется, — повторил Гольц, глядя на него и кивая головой. Теперь он постукивал карандашом по карте. — Вот что сделал бы я. И вот на что нечего и рассчитывать.

— Почему, товарищ генерал?

— Почему? — сердито сказал Гольц. — Мало вы наступлений видели, если спрашиваете меня почему. Кто поручится, что мои приказы не будут изменены? Кто поручится, что наступление не будет отменено? Кто поручится, что наступление не будет отложено? Кто поручится, что оно начнется хотя бы через шесть часов после назначенного срока? Был ли когда-нибудь случай, чтобы наступление шло так, как оно должно идти?

— Если наступлением руководите вы, оно нач-

нется вовремя, — сказал тогда Роберт Джордан.

— Я никогда не руковожу наступлением, — сказал Гольц. — Я наступаю. Но я не руковожу наступлением. Артиллерия мне не подчинена. Я должен выпрашивать ее. Мне никогда не дают то, чего я прошу, даже когда можно было бы дать. Но это еще полбеды. Есть и многое другое. Вы знаете, что это за люди. Не стоит вдаваться в подробности. Что-нибудь всегда найдется. Кто-нибудь всегда вмешается некстати. Теперь, надеюсь, вы понимаете?

— Так когда же должен быть взорван мост? — спросил Роберт Джордан.

— Когда наступление начнется. Как только наступление начнется, но не раньше. Так, чтобы по этой дороге не могли подойти подкрепления. — Он показал карандашом. — Я должен знать, что эта дорога отрезана.

— А на когда назначено наступление?

— Сейчас скажу. Но день и час должны служить вам только приблизительным указанием. К этому, времени вы должны быть готовы. Вы взорвете мост тогда, когда наступление начнется. Смотрите. — Он указал карандашом. — Это единственная дорога, по которой можно подвести подкрепления. Это единственная дорога, по ко-

торой танки, артиллерия или хотя бы грузовики могут пройти к ущелью, где я буду наступать. Я должен знать, что мост взорван. Нельзя взорвать его заранее, потому что тогда его успеют починить, если наступление будет отложено. Нет, он должен быть взорван, когда наступление начнется, и я должен знать, что его уже нет. Там всего двое часовых. Человек, который вас поведет, только что пришел оттуда. Говорят, на него вполне можно положиться. Вы увидите. У него есть люди в горах. Возьмите столько людей, сколько вам потребуется. Постарайтесь взять как можно меньше, но чтобы их было достаточно. Да мне вас учить нечего.

— А как я узнаю, что наступление началось?

— В нем примет участие целая дивизия. Будет подготовка с воздуха. Вы, кажется, глухотой не страдаете?

— Значит, если я услышу бомбежку, можно считать, что наступление началось?

— Это не всегда так бывает, — сказал Гольц и покачал головой. — Но в данном случае это так. Наступать буду я.

— Ясно, — сказал тогда Роберт Джордан. — Ясно, хотя не очень приятно.

— Мне самому не очень приятно. Если вы не

хотите за это браться, говорите сейчас. Если вы думаете, что не справитесь, говорите сейчас.

— Я справлюсь, — сказал Роберт Джордан. — Я сделаю все как нужно.

— Я должен знать только одно, — сказал Гольц. — Что моста нет и дорога отрезана. Это мне необходимо.

— Понятно.

— Я не люблю посылать людей на такие дела и в такой обстановке, — продолжал Гольц. — Я не мог бы приказать вам это сделать. Я понимаю, к чему могут принудить вас те условия, которые я ставлю. Я все подробно стараюсь объяснить, чтобы вы поняли и чтобы вам были ясны все возможные трудности и все значение этого дела.

— А как же вы продвинетесь к Ла-Гранхе, если мост будет взорван?

— У нас будет с собой все, чтобы восстановить его, как только мы займем ущелье. Это очень сложная и очень красивая операция. Сложная и красивая, как всегда. План был сработан в Мадриде. Это очередное творение Висенте Рохо, шедевр незадачливого профессора. Наступать буду я, и, как всегда, с недостаточными силами. И все-таки эта операция осуществима. Я за нее спокойнее, чем обычно. Если удастся разрушить мост, она

может быть успешной. Мы можем взять Сеговию. Смотрите, я сейчас покажу вам весь план. Видите? Мы начинаем не у входа в ущелье. Там мы уже закрепились. Мы начинаем гораздо дальше. Вот, смотрите, отсюда.

— Я не хочу знать, — сказал Роберт Джордан.

— Правильно, — сказал Гольц. — Когда идешь за линию фронта, лучше брать с собой поменьше багажа, да?

— Я всегда предпочитаю не знать. Тогда, если что случится, не я выдал.

— Да, не знать лучше, — сказал Гольц, поглаживая лоб карандашом. — Иногда я и сам рад был бы не знать. Но то, что вам нужно знать про мост, вы знаете?

— Да. Это я знаю.

— Я тоже так думаю, — сказал Гольц. — Ну, я не буду произносить напутственные речи. Давайте выпьем. Когда я много говорю, мне всегда очень хочется пить, товарищ Хордан. Смешно звучит ваше имя по-испански, товарищ Хордан.

— А как звучит по-испански Гольц, товарищ генерал?

— Хоце, — сказал Гольц и ухмыльнулся. «Х» он произносил с глубоким придыханием, как будто отхаркивал мокроту. — Хоце, — прохрипел

он. — Камарада хенераль Хоце. Если б я знал, как испанцы произносят Гольц, я бы себе выбрал имя получше, когда ехал сюда. Подумать только — человек едет командовать дивизией, может выбрать любое имя и выбирает Хоце. Хенераль Хоце. Но теперь уже поздно менять. Как вам нравится партизанская война? — Это было русское название действий в тылу противника.

— Очень нравится, — сказал Роберт Джордан. Он широко улыбнулся. — Все время на воздухе, очень полезно для здоровья.

— Мне она тоже нравилась, когда я был в вашем возрасте, — сказал Гольц. — Я слыхал, что вы мастерски взрываете мосты. По всем правилам науки. Но это только слухи. Ведь я никогда не видел вашей работы. Может быть, на самом деле вы ничего не умеете? Вы в самом деле умеете взрывать мосты? — Он теперь поддразнивал Роберта Джордана. — Выпейте. — Он налил ему испанского коньяку. — Вам и в самом деле это удается?

— Иногда.

— Смотрите, с этим мостом не должно быть никаких «иногда». Нет, хватит разговоров про этот мост. Вы уже достаточно знаете про этот мост. Мы серьезные люди и потому умеем крепко

пошутить. Признайтесь, много у вас девушек по ту сторону фронта?

— Нет, на девушек времени не хватает.

— Не согласен. Чем безалабернее служба, тем безалабернее жизнь. Ваша служба очень безалаберная. Кроме того, у вас слишком длинные волосы.

— Мне они не мешают, — сказал Роберт Джордан. Недоставало еще ему обрить голову, как Гольц. — У меня и без девушек есть о чем думать, — сказал он хмуро. — Какую мне надеть форму?

— Формы не надо, — сказал Гольц. — И можете не стричься. Я просто поддразнил вас. Мы с вами очень разные люди, — сказал Гольц и снова налил ему и себе тоже.

— Вы думаете не только о девушках, а и о многом другом. А я вообще ни о чем таком не думаю. На что мне?

Один из штабных офицеров, склонившийся над картой, приколотой к чертежной доске, проворчал что-то на языке, которого Роберт Джордан не понимал.

— Отстань, — ответил Гольц по-английски. — Хочу шутить и шучу. Я такой серьезный, что мне можно шутить. Ну, выпейте и ступайте. Вы все

поняли, да?

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Я все понял.

Они пожали друг другу руки, он отдал честь и пошел к штабной машине, где старик, дожидаясь его, уснул на сиденье, и в этой машине они поехали по шоссе на Гвадарраму, причем старик так и не проснулся, а потом свернули на Навасеррадскую дорогу и добрались до альпинистской базы, и Роберт Джордан часа три поспал там, перед тем как тронуться в путь.

Он тогда последний раз видел Гольца, его странное белое лицо, которое не брал загар, ястребиные глаза, большой нос, и тонкие губы, и бритую голову, изборожденную морщинами и шрамами. Завтра ночью, в темноте начнется движение на дороге перед Эскуриалом; длинные вереницы грузовиков, и на них в темноте рассаживается пехота; бойцы в тяжелой амуниции взбираются на грузовики; пулеметчики втаскивают пулеметы на грузовики; на длинные автоплатформы вкатывают цистерны с горючим; дивизия выступает в ночной поход, готовясь к наступлению в ущелье. Нечего ему думать об этом. Это не его дело. Это дело Гольца. У него есть своя задача, и о ней он должен думать, и должен продумать все до полной ясности, и быть готовым ко всему, и ни

о чем не тревожиться. Тревога не лучше страха. От нее только трудней.

Он сидел у ручья, глядя, как прозрачные струйки бегут между камнями, и вдруг на том берегу увидел густую поросль дикого кресс-салата. Он перешел ручей, вырвал сразу целый пучок, смыл в воде землю с корней, потом снова сел возле своего рюкзака и стал жевать чистую, холодную зелень и хрусткие, горьковатые стебли. Потом он встал на колени, передвинул револьвер, висевший на поясе, за спину, чтобы не замочить его, пригнулся, упираясь руками в камни, и напился из ручья. От холодной воды заломило зубы.

Он оттолкнулся руками, повернул голову и увидел спускавшегося со скалы старика. С ним шел еще один человек, тоже в черной крестьянской блузе и серых штанах, которые в этой местности носили почти как форму; на ногах у него были сандалии на веревочной подошве, а за спиной висел карабин. Он был без шляпы. Оба прыгали по кручам, как горные козлы.

Они подошли к нему, и Роберт Джордан поднялся на ноги.

— Salud, camarada, — сказал он человеку с карабином и улыбнулся.

— Salud, — хмуро пробурчал тот.

Роберт Джордан посмотрел в его массивное, обросшее щетиной лицо. Оно было почти круглое, и голова тоже была круглая и плотно сидела на плечах. Глаза были маленькие и слишком широко расставлены, а уши маленькие и плотно прижатые к голове. Это был человек пяти с лишним футов росту, массивного сложения, с большими руками и ногами. Нос у него был переломлен, верхнюю губу у самого угла пересекал шрам, который тянулся через всю нижнюю челюсть и был виден даже сквозь щетину на подбородке.

Старик кивнул на него и улыбнулся.

— Он тут хозяин, — подмигнул он, потом согнул обе руки в локтях, как будто показывая мускулы, и поглядел на своего спутника с полунасмешливым восхищением. — Силач.

— Это видно, — сказал Роберт Джордан и опять улыбнулся. Человек не понравился ему, и внутренне он вовсе не улыбался.

— А чем ты удостоверишь свою личность? — спросил человек с карабином.

Роберт Джордан отстегнул английскую булавку, которой был заколот левый нагрудный карман его фланелевой рубашки, вынул сложенную бумагу и протянул человеку с карабином; тот развернул ее и, глядя недоверчиво, повертел

в пальцах.

Читать не умеет, отметил про себя Роберт Джордан.

— Посмотри на печать, — сказал он.

Старик указал пальцем, и человек с карабином еще повертел бумагу, разглядывая печать.

— Что это за печать?

— Ты ее не знаешь?

— Нет.

— Их тут две, — сказал Роберт Джордан. — Вот эта СВР — Службы военной разведки. А эта — Генерального штаба.

— Да, эту печать я знаю. Но здесь начальник я, и больше никто, — угрюмо сказал человек с карабином. — Что у вас в мешках?

— Динамит, — с гордостью сказал старик. — Вчера ночью мы перешли фронт и весь день тащим эти мешки в гору.

— Динамит мне пригодится, — сказал человек с карабином. Он вернул бумажку Роберту Джордану и смерил его взглядом. — Да. Динамит мне пригодится. Сколько вы мне тут принесли?

— Тебе мы ничего не принесли, — сказал Роберт Джордан ровным голосом. — Этот динамит для другой цели. Как тебя зовут?

— А тебе что?

— Это Пабло, — сказал старик.

Человек с карабином угрюмо посмотрел на них обоих.

— Хорошо. Я о тебе слышал много хорошего, — сказал Роберт Джордан.

— Что же ты обо мне слышал? — спросил Пабло.

— Я слышал, что ты отличный партизанский командир, что ты верен Республике и доказываешь это на деле и что ты человек серьезный и отважный. Генеральный штаб поручил мне передать тебе привет.

— Где же ты все это слышал? — спросил Пабло.

Роберт Джордан отметил про себя, что лесть на него не подействовала.

— Об этом говорят от Буитраго до Эскуриала, — сказал он, называя весь район по ту сторону фронта.

— Я не знаю никого ни в Буитраго, ни в Эскуриале, — сказал ему Пабло.

— По ту сторону гор теперь много людей, которые раньше там не жили. Ты откуда родом?

— Из Авилы. Что ты будешь делать с динамитом?

— Взорву мост.

— Какой мост?

— Это мое дело.

— Если он в этих краях, тогда это мое дело. Нельзя взрывать мосты вблизи от тех мест, где живешь. Жить надо в одном месте, а действовать в другом. Я свое дело знаю. Кто прожил этот год и остался цел, тот свое дело знает.

— Это мое дело, — сказал Роберт Джордан. — Но мы можем обсудить его вместе. Ты поможешь нам дотащить мешки?

— Нет, — сказал Пабло и мотнул головой.

Старик вдруг повернулся к нему и заговорил яростно и быстро на диалекте, который Роберт Джордан понимал с трудом. Это было так, словно он читал Кеведо. Ансельмо говорил на старом кастильском наречии, и смысл его слов был приблизительно такой: «Ты животное? Да. Ты скотина? Да, и еще какая. Голова у тебя есть на плечах? Нет. Не похоже. Люди пришли с делом первейшей важности, а ты заботишься о том, как бы не тронули твое жилье, твоя лисья нора для тебя важнее, чем нужды всех людей. Важнее, чем нужды твоего народа. Так, так и перетак твоего отца. Так и перетак тебя самого. Бери мешок!»

Пабло опустил глаза.

— Каждый должен делать, что может, и делать так, чтоб это было правильно, — сказал он. — Мой

дом здесь, а действую я за Сеговией. Если ты здесь устроишь переполох, нас выкурят из этих мест. Мы только потому и держимся в этих местах, что ничего здесь не затеваем. Это правило лисицы.

— Да, — с горечью сказал Ансельмо. — Это правило лисицы, а нам нужен волк.

— Скорей я волк, чем ты, — сказал Пабло, и Роберт Джордан понял, что он понесет мешок.

— Хо! Хо! — Ансельмо поглядел на него. — Ты скорей волк, чем я, а мне шестьдесят восемь лет.

Он сплюнул и покачал головой.

— Неужели тебе так много лет? — спросил Роберт Джордан, видя, что все пока улаживается, и желая этому помочь.

— Шестьдесят восемь будет в июле.

— Если мы доживем до июля, — сказал Пабло. — Давай я помогу тебе дотащить мешок, — сказал он Роберту Джордану. — Второй оставь старику. — Он говорил теперь уже не угрюмо, но скорей печально. — У старика сил много.

— Я свой мешок понесу сам, — сказал Роберт Джордан.

— Нет, — сказал старик. — Дай этому силачу.

— Я понесу, — сказал Пабло, и печаль, которая теперь слышалась в его голосе, заставила насторожиться Роберта Джордана. Он знал эту печаль,

и то, что он почувствовал ее в этом человеке, встревожило его.

— Тогда дай мне карабин, — сказал он, и когда Пабло протянул ему карабин, он перекинул его за спину, и они двинулись вверх, старик и Пабло впереди, он за ними, карабкаясь, подтягиваясь, цепляясь за выступы гранитной скалы, и наконец, перебравшись через нее, они очутились на зеленой прогалине среди леса.

Они пошли стороной, огибая этот зеленый лужок, и Роберт Джордан, который теперь, без ноши, шагал легко, с удовольствием ощущая за плечами прямизну карабина вместо изнурительной и неудобной тяжести рюкзака, заметил, что трава местами выщипана и в земле остались ямки от кольев коновязи. Дальше виднелась тропка, протоптанная там, где лошадей водили на водопой, и кое-где лежали кучки свежего навоза. На ночь они пускают сюда лошадей пастись, а днем держат в чаще, чтобы их не могли увидеть, подумал он. Любопытно, много ли лошадей у этого Пабло.

Ему вспомнилось, что штаны у Пабло вытерты до блеска на коленях и с внутренней стороны ляжек, он заметил это сразу, но как-то не придал значения. Любопытно, есть ли у него сапоги,

или он так и ездит в этих альпаргатах, подумал Роберт Джордан. Наверно, у него полная экипировка есть. Но мне не нравится в нем эта печаль, подумал он. Это нехорошая печаль. Так печальны бывают люди перед тем, как дезертировать или изменить. Так печален бывает тот, кто завтра станет предателем.

Заржала лошадь впереди, в чаще, куда солнце едва проникало сквозь густые, почти сомкнутые верхушки сосен, и тогда между коричневыми стволами он увидел огороженный веревкой загон. Лошади стояли, повернув головы в сторону приближавшихся людей, а по эту сторону веревки, под деревом, лежали кучей седла, прикрытые брезентом.

Когда они подошли совсем близко, старик и Пабло остановились, и Роберт Джордан понял, что он должен повосхищаться лошадьми.

— Да, — сказал он. — Просто красавцы. — Он повернулся к Пабло. — У тебя тут своя кавалерия.

В загоне было всего пять лошадей — три гнедых, одна буланая и одна пегая. Роберт Джордан окинул взглядом их всех и затем стал присматриваться к каждой в отдельности. Пабло и Ансельмо знали им цену, и Пабло стоял рядом, гордый и уже не такой печальный, и любовно глядел на них, а

у старика был такой вид, словно это он преподнес Роберту Джордану неожиданный сюрприз.

— Что, нравятся? — спросил он.

— Все — моя добыча, — сказал Пабло, и Роберту Джордану приятно было, что в голосе у него звучит гордость.

— Вот этот хорош, — сказал Роберт Джордан, указывая на одного из гнедых, крупного жеребца с белой отметиной на лбу и белой левой передней ногой.

Это был красавец конь, словно сошедший с картины Веласкеса.

— Они все хороши, — сказал Пабло. — Ты знаешь толк в лошадях?

— Да.

— Тем лучше, — сказал Пабло. — Видишь ты у них какие-нибудь недостатки?

Роберт Джордан понял; это проверка его документов человеком, который не умеет читать.

Лошади по-прежнему стояли, подняв головы, и смотрели на Пабло. Роберт Джордан пролез под веревкой и хлопнул пегую по крупу. Прислонившись к дереву, он внимательно смотрел, как лошади кружат по загону, еще раз оглядел их, когда они остановились, потом нагнулся и вылез.

— Буланая прихрамывает на правую заднюю, —

сказал он Пабло, не глядя на него. — У нее в копыте трещина. Правда, если подковать как следует, это дальше не пойдет, но долго скакать по твердому грунту ей нельзя, копыто не выдержит.

— Мы ее так и взяли, с трещиной в копыте, — сказал Пабло.

— У самой лучшей твоей лошади, у гнедого с белой звездой, на бабке оплыв, который мне не нравится.

— Это пустяки, — ответил Пабло. — Он зашиб ногу три дня назад. Было бы что-нибудь серьезное — уже сказалось бы.

Он откинул брезент и показал седла. Два седла были простые, пастушеские, похожие на седла американских ковбоев, одно очень нарядное, с цветным тиснением и тяжелыми закрытыми стременами, и два — военные, черной кожи.

— Мы убили двух guardia civil[1], — сказал он, объясняя происхождение военных седел.

— Это серьезное дело.

— Они спешились на дороге между Сеговией и Санта-Мария-дель-Реаль. Они спешились, чтобы проверить документы у крестьянина, который ехал на телеге. Вот нам и удалось убить их так,

---

[1] Примечания: 1
Жандармы (*исп.*).

что лошади остались целы.

— И много патрульных вы убили? — спросил Роберт Джордан.

— Несколько человек, — ответил Пабло. — Но так, чтоб лошади остались целы, только этих двух.

— Это Пабло взорвал воинский эшелон у Аревало, — сказал Ансельмо. — Он взорвал, Пабло.

— С нами был один иностранец, он закладывал динамит, — сказал Пабло. — Ты знаешь его?

— Как его зовут?

— Не помню. Чудно́е такое имя.

— Какой он из себя?

— Светлый, как и ты, но не такой высокий, большие руки и нос перебит.

— Кашкин, — сказал Роберт Джордан. — Наверно, Кашкин.

— Да, — сказал Пабло. — Чудно́е такое имя. Похоже на то, что ты назвал. Где он теперь?

— Умер в апреле.

— И этот тоже, — мрачно сказал Пабло. — Все мы так кончим.

— Так все люди кончают, — сказал Ансельмо. — И всегда так кончали. Что это с тобой, приятель? Что это на тебя нашло?

— У них сила большая, — сказал Пабло. Каза-

лось, он говорит сам с собой. Он мрачно оглядел лошадей. — Вы никто и не знаете, какая у них сила. У них раз от разу все больше силы, все лучше вооружение. Все больше боеприпасов. Сам видишь, какие у меня лошади. А чего мне ждать? Изловят и убьют. Вот и все.

— Бывает, что и ты ловишь, не только тебя, — сказал Ансельмо.

— Нет, — сказал Пабло. — Теперь не бывает. А если мы уйдем отсюда, куда нам податься? Отвечай, ну! Куда?

— Мало ли гор в Испании. Чем плохо в Сьерра-де-Гредос, если уж придется уходить отсюда?

— Для меня плохо, — сказал Пабло. — Мне надоела травля. Здесь нам спокойно. А если ты взорвешь этот мост, нас начнут ловить. Если узнают, что мы здесь, и выпустят на нас самолеты, они нас выследят. Если пошлют марокканцев ловить нас, они нас выследят, и придется уходить. Надоело мне это все. Слышишь? — Он повернулся к Роберту Джордану. — Какое право имеешь ты, иностранец, указывать мне, что я должен делать?

— Я не указываю тебе, что ты должен делать, — сказал Роберт Джордан.

— Ну так будешь указывать, — сказал Пабло. —

Вот. Вот оно, зло.

Он показал на тяжелые рюкзаки, которые они опустили на землю, когда остановились полюбоваться лошадьми. При виде лошадей все как будто всколыхнулось в нем, а от того что Роберт Джордан знал толк в лошадях, у него как будто развязался язык. Все трое стояли теперь у веревок загона, на спине гнедого жеребца играли солнечные блики. Пабло посмотрел на него и потом пнул ногой тяжелый рюкзак. — Вот оно, зло.

— Я пришел, чтобы исполнить свой долг, — сказал ему Роберт Джордан. — Я пришел по приказу тех, кто руководит в этой войне. Если я попрошу тебя помочь мне, ты волен отказаться, и я найду других, которые помогут. Но я еще не просил у тебя помощи. Я должен делать то, что мне приказано, и я могу поручиться, что это очень важно. Не моя вина, что я иностранец. Я и сам хотел бы лучше родиться здесь.

— Для меня самое важное — это чтобы нас тут не трогали, — сказал Пабло. — Для меня долг в том, чтобы заботиться о своих и о себе.

— О себе. Да, — сказал Ансельмо. — Ты давно уже заботишься только о себе. О себе и о своих лошадях. Пока у тебя не было лошадей, ты был вместе с нами. А теперь ты самый настоящий

капиталист.

— Это неверно, — сказал Пабло. — Я все время рискую лошадьми ради общего дела.

— Очень мало рискуешь, — с презрением сказал Ансельмо. — Как я погляжу, очень мало. Воровать — это ты готов. Хорошо поесть — пожалуйста. Убивать — сколько угодно. Но драться — нет.

— Смотри, такие, как ты, рано или поздно платятся за свой язык.

— Такие, как я, никого не боятся, — ответил Ансельмо. — И у таких, как я, не бывает лошадей.

— Такие, как ты, долго не живут.

— Такие, как я, живут до самого дня своей смерти, — сказал Ансельмо. — И такие, как я, не боятся лисиц.

Пабло промолчал и поднял с земли рюкзак.

— И волков не боятся, — сказал Ансельмо, поднимая второй рюкзак. — Если ты правда волк.

— Замолчи, — сказал ему Пабло. — Ты всегда разговариваешь слишком много.

— И всегда делаю то, что говорю, — сказал Ансельмо, согнувшись под тяжестью рюкзака. — А сейчас я хочу есть. Я хочу пить. Иди, иди, партизанский вожак с унылым лицом. Веди нас туда, где можно чего-нибудь поесть.

Начало неважное, подумал Роберт Джордан.

Но Ансельмо настоящий человек. Когда они на верном пути, это просто замечательные люди, подумал он. Нет лучше их, когда они на верном пути, но когда они собьются с пути, нет хуже их. Вероятно, Ансельмо знал, что делал, когда вел меня сюда. Но мне это не нравится. Мне это совсем не нравится.

Единственный добрый знак — это что Пабло несет рюкзак и отдал ему свой карабин. Может быть, он всегда такой, подумал Роберт Джордан. Может быть, это просто порода такая мрачная.

Нет, сказал он себе, нечего себя обманывать. Ты не знаешь, какой он был раньше; но ты знаешь, что он начал сбиваться с пути и не скрывает этого. А если станет скрывать — значит, он принял решение. Помни это, сказал он себе. Первая услуга, которую он тебе окажет, будет означать, что он принял решение. А лошади верно хороши, подумал он, чудесные лошади. Любопытно, что могло бы сделать меня таким, каким эти лошади сделали Пабло? Старик прав. С лошадьми он стал богатым, а как только он стал богатым, ему захотелось наслаждаться жизнью. Еще немного, и он начнет страдать, что не может быть членом

«Жокей-клуба», подумал он. Pauvre[2] Пабло. Il a manqué son «Jockey Club»[3].

Эта мысль развеселила его. Он улыбнулся, глядя на согнутые спины и большие рюкзаки, маячившие впереди между деревьями. Он ни разу мысленно не пошутил за весь день и теперь, пошутив, сразу почувствовал себя лучше. Ты и сам становишься таким, как они, сказал он себе. Ты и сам становишься мрачным. Конечно, он был серьезен и мрачен, когда Гольц говорил с ним. Задание немного ошеломило его. Чуть-чуть ошеломило, подумал он. Порядком ошеломило. Гольц был веселый и хотел, чтобы и он был веселый перед отъездом, но это не получилось.

Все они, если подумать, все самые хорошие были веселыми. Так гораздо лучше, и потом, в этом есть свой смысл. Как будто обретаешь бессмертие, когда ты еще жив. Сложно завернуто. Но их уже немного осталось. Да, веселых теперь осталось совсем немного. Черт знает, как их мало осталось. И если ты, голубчик, не бросишь думать, то и тебя среди оставшихся не будет. Брось думать, старик, старый дружище. Твое дело теперь — взрывать

---

[2] Примечания: 2
Бедняга (*франц.*).

[3] Примечания: 3
Не бывать ему в «Жокей-клубе» (*франц.*).

мосты. А не философствовать. Фу, до чего есть хочется, подумал он. Надеюсь, у Пабло едят досыта.

Глава вторая

Они вышли из густого леса к небольшой, круглой, как чаша, долине, и он сразу догадался, что лагерь здесь — вон под той скалой, впереди, за деревьями.

Да, это лагерь, и место для него выбрано хорошее. Такой лагерь заметишь, только когда подойдешь к нему вплотную, и Роберт Джордан подумал о том, что с воздуха его тоже заметить нельзя. Сверху ничего не увидишь. Точно медвежья берлога — никаких следов. Но и охрана тут, видимо, не лучше. Он внимательно приглядывался к лагерю, по мере того как они подходили все ближе и ближе.

В скале была большая пещера, а у входа в нее, прислонившись спиной к скале и вытянув вперед ноги — его карабин стоял рядом, — сидел человек. Человек строгал палку ножом, и, увидев подходивших, посмотрел на них, потом снова принялся строгать.

— Hola[4], — сказал он. — Кто это к нам идет?

— Старик и с ним динамитчик, — ответил Па-

---

[4] Примечания: 4
Здоро́во (*исп.*).

бло и опустил рюкзак у самого входа в пещеру. Ансельмо тоже опустил свой рюкзак, а Роберт Джордан снял с плеча карабин и приставил его к скале.

— Убери подальше от пещеры, — сказал человек, строгавший палку. У него были голубые глаза на темном, цвета прокопченной кожи, красивом цыганском лице. — Там горит огонь.

— Встань и убери: сам, — сказал Пабло. — Отнеси вон к тому дереву.

Цыган не двинулся с места и сказал что-то непечатное, потом лениво добавил:

— Ладно, оставь здесь. Взлетишь на воздух. Сразу вылечишься от всех своих болезней.

— Что это ты делаешь? — Роберт Джордан сел рядом с цыганом. Цыган показал ему палку, которую строгал. Это была поперечина к лежавшему тут же капкану в форме четверки.

— На лисиц, — пояснил он. — Вот эта деревянная дуга ломает им хребет. — Он ухмыльнулся, взглянув на Джордана. — Вот так — понятно? — Он жестом показал, как действует капкан, потом замотал головой, отдернул пальцы и вытянул руки, изображая лису с перебитым хребтом. — Очень удобно, — сказал он.

— Он ловит зайцев, — сказал Ансельмо. — Он

же цыган: поймает зайца, а всем говорит, что лису. А если поймает лису, скажет, что попался слон.

— А если поймаю слона? — спросил цыган и снова показал все свои белые зубы и подмигнул Роберту Джордану.

— Тогда скажешь — танк, — ответил Ансельмо.

— Поймаю и танк, — сказал цыган. — И танк будет. Тогда говори все, что тебе угодно.

— Цыгане не столько убивают, сколько болтают об этом, — сказал Ансельмо.

Цыган подмигнул Роберту Джордану и снова принялся строгать палку.

Пабло не было видно, он ушел в пещеру — Роберт Джордан надеялся, что за едой. Он сидел на земле рядом с цыганом, и солнце, проглядывая сквозь верхушки деревьев, пригревало его вытянутые ноги. Из пещеры доносился запах оливкового масла, лука и жареного мяса, и у него подводило желудок от голода.

— Танк можно подорвать, — сказал он цыгану. — Это не очень трудно.

— Вот этим? — Цыган показал на рюкзаки.

— Да, — ответил ему Роберт Джордан. — Я тебя научу. Делается нечто вроде капкана. Это не очень трудно.

— И мы с тобой подорвем танк?

— Конечно, — сказал Роберт Джордан. — А что тут такого?

— Эй! — крикнул цыган, обращаясь к Ансельмо. — Поставь мешки в надежное место. Слышишь? Это ценная вещь.

Ансельмо хмыкнул.

— Пойду за вином, — сказал он Роберту Джордану.

Роберт Джордан встал, оттащил рюкзаки от входа и прислонил их к дереву с разных сторон. Он знал, что в этих рюкзаках, и предпочитал держать их подальше один от другого.

— Принеси и мне кружку, — сказал цыган.

— А тут есть вино? — спросил Роберт Джордан, опять усаживаясь рядом с цыганом.

— Вино? А как же! Целый бурдюк. Уж за полбурдюка ручаюсь.

— И чем закусить — тоже?

— Все есть, друг, — сказал цыган. — Мы едим, как генералы.

— А что цыгане делают на войне? — спросил его Роберт Джордан.

— Так и остаются цыганами.

— Хорошее дело.

— Самое лучшее, — сказал цыган. — Как тебя

зовут?

— Роберто. А тебя?

— Рафаэль. А про танк это ты всерьез?

— Конечно! Что же тут такого?

Ансельмо вынес из пещеры глубокую каменную миску, полную красного вина, а на пальцах у него были нанизаны три кружки.

— Смотри, — сказал он. — У них даже кружки нашлись. — Следом за ним вышел Пабло.

— Скоро и мясо будет готово, — сказал он. — Покурить у тебя есть?

Роберт Джордан подошел к рюкзакам, развязал один, нащупал внутренний карман и вынул оттуда плоскую коробку русских папирос, из тех, что ему дали в штабе Гольца. Он провел ногтем большого пальца вдоль узкой грани коробки и, открыв крышку, протянул папиросы Пабло. Тот взял штук шесть и, зажав их в своей огромной ручище, выбрал одну и посмотрел ее на свет. Папиросы были как сигареты, но длиннее и с мундштуком в виде картонной трубочки.

— Воздуху много, а табака мало, — сказал Пабло. — Я их знаю. Такие курил тот, прежний, у которого чудно́е имя.

— Кашкин, — сказал Роберт Джордан и угостил папиросами цыгана и Ансельмо, которые взяли

по одной. — Берите больше, — сказал он, и они взяли еще по одной. Он прибавил каждому по четыре штуки, и они поблагодарили его, взмахнув два раза кулаком с зажатыми папиросами, так что папиросы нырнули вниз и снова поднялись кверху, точно шпага, которой отдают салют.

— Да, — сказал Пабло. — Чудно́е имя.

— Что ж, выпьем. — Ансельмо зачерпнул вина из миски и подал кружку Роберту Джордану, потом зачерпнул себе и цыгану.

— А мне не надо? — спросил Пабло. Они сидели вчетвером у входа в пещеру.

Ансельмо отдал ему свою кружку и пошел в пещеру за четвертой. Вернувшись, он наклонился над миской, зачерпнул себе полную кружку вина, и все чокнулись.

Вино было хорошее, с чуть смолистым привкусом от бурдюка, прекрасное вино, легкое и чистое. Роберт Джордан пил его медленно, чувствуя сквозь усталость, как оно разливается теплом по всему телу.

— Сейчас будет мясо, — сказал Пабло. — А этот иностранец с чудны́м именем — как он умер?

— Его окружили, и он застрелился.

— Как же это случилось?

— Он был ранен и не хотел сдаваться в плен.

— А подробности известны?

— Нет, — солгал Роберт Джордан. Он прекрасно знал подробности и знал также, что говорить об этом сейчас не следует.

— Он все уговаривался с нами, что мы его пристрелим, если он будет ранен во время того дела, с поездом, и не сможет уйти, — сказал Пабло. — Он очень чудно́ говорил.

Ему и тогда это не давало покоя, подумал Роберт Джордан. Бедный Кашкин.

— Но он был против самоубийства, — сказал Пабло. — Мы с ним говорили об этом. И еще он очень боялся, что его будут пытать.

— Об этом он тоже говорил? — спросил Роберт Джордан.

— Да, — сказал цыган. — Об этом он всем нам говорил.

— А ты был, когда взрывали поезд?

— Да. Мы все там были.

— Он очень чудно́ говорил, — сказал Пабло. — Но человек был смелый.

Бедный Кашкин, думал Роберт Джордан. От него здесь, наверно, было больше вреда, чем пользы. Жаль, я не знал, что это уже тогда не давало ему покоя. Надо было убрать его отсюда. Людей, которые ведут такие разговоры, нельзя

и близко подпускать к нашей работе. Таких разговоров вести нельзя. От этих людей, даже если они выполняют задание, все равно больше вреда, чем пользы.

— Он был какой-то странный, — сказал Роберт Джордан. — Немножко тронутый.

— А взрывы устраивал ловко, — сказал цыган. — И человек был смелый.

— А все-таки тронутый, — сказал Роберт Джордан. — Когда берешься за такое дело, надо иметь голову на плечах и чтобы она работала как следует. Все эти разговоры ни к чему.

— А ты? — спросил Пабло. — Если тебя ранят у этого моста, захочешь ты, чтобы тебя оставили?

— Слушай, — сказал Роберт Джордан и, наклонившись, зачерпнул себе еще кружку вина. — Слушай внимательно. Если мне когда-нибудь понадобится попросить человека об одолжении, так я тогда и попрошу.

— Хорошо, — одобрительно сказал цыган. — Это правильный разговор. Ага! Вот и мясо!

— Ты уже ел, — сказал Пабло.

— Я еще два раза могу поесть, — ответил цыган. — А посмотрите, кто несет!

Девушка нагнулась, выходя из пещеры с большой железной сковородой, и Роберт Джордан

увидел ее лицо вполоборота и сразу же заметил то, что делало ее такой странной. Она улыбнулась и сказала:

— Hola, camarada.

И Роберт Джордан сказал:

— Salud, — и принудил себя не смотреть на нее в упор и не отводить глаз в сторону.

Она поставила железную сковороду на землю перед ним, и он увидел, какие у нее красивые смуглые руки. Теперь она смотрела ему прямо в лицо и улыбалась. Ее зубы поблескивали белизной на смуглом лице, кожа и глаза были одинакового золотисто-каштанового оттенка. Скулы у нее были широкие, глаза веселые, губы полные, линия рта прямая. Каштановые волосы золотились, как спелая пшеница, сожженная солнцем, но они были подстрижены совсем коротко — чуть длиннее меха на бобровой шкурке. Она улыбнулась, глядя Роберту Джордану в лицо, подняла руку и провела ладонью по голове, приглаживая волосы, но они тут же снова поднялись ежиком. У нее очень красивое лицо, подумал Роберт Джордан. Она была бы очень красивая, если б не стриженые волосы.

— Вот так и причесываюсь, без гребешка, — сказала она Роберту Джордану и засмеялась. — Ну,

ешь. Не надо меня разглядывать. Это мне в Вальядолиде такую прическу сделали. Теперь уже начинают отрастать.

Она села напротив и посмотрела на него. Он тоже посмотрел на нее. Она улыбнулась и обхватила руками колени. Когда она села так, штаны у нее вздернулись кверху у щиколоток, открывая прямые длинные ноги. Он видел ее высокие маленькие груди, обтянутые серой рубашкой. И при каждом взгляде на нее Роберт Джордан чувствовал, как у него что-то подступает к горлу.

— Тарелок нет, — сказал Ансельмо. — И ножей тоже. Режь своим. — Четыре вилки девушка прислонила к краям железной сковороды зубцами вниз.

Они ели прямо со сковороды, по испанскому обычаю — молча. Мясо было заячье, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему — соус из красного вина, в котором плавал мелкий горошек. Хорошо прожаренная зайчатина легко отделялась от костей, а соус был просто великолепный. За едой Роберт Джордан выпил еще кружку вина. Пока он ел, девушка все время смотрела на него. Остальные смотрели только на мясо и ели. Роберт Джордан подобрал куском хлеба соус, оставшийся на его части сковороды,

сдвинул косточки в сторонку, подобрал соус на том месте, где они лежали, потом начисто вытер хлебом вилку, вытер нож, спрятал его и доел хлеб. Нагнувшись над миской, он зачерпнул себе полную кружку вина, а девушка все сидела, обхватив руками колени, и смотрела на него.

Роберт Джордан отпил полкружки, но когда он заговорил с девушкой, у него опять что-то подступило к горлу.

— Как тебя зовут? — спросил он. Пабло быстро взглянул на него, услышав, как он сказал это. Потом встал и ушел.

— Мария. А тебя?

— Роберто. Ты давно здесь, в горах?

— Три месяца.

— Три месяца?

Она снова провела рукой по голове, на этот раз смущенно, а он смотрел на ее волосы, короткие, густые и переливающиеся волной, точно пшеница под ветром на склоне холма.

— Меня обрили, — сказала она. — Нас постоянно брили — в тюрьме, в Вальядолиде. За три месяца всего вот на столько отросли. Я с того поезда. Нас везли на юг. После взрыва многих арестованных опять поймали, а меня нет. Я пришла сюда с ними.

— Это я ее нашел, перед тем как нам уходить, — сказал цыган. — Она забилась между камнями. Вот была уродина! Мы взяли ее с собой, но дорогой думали, что придется ее бросить.

— А тот, что тогда был вместе с ними? — спросила Мария. — Такой же светлый, как ты. Иностранец. Где он?

— Умер, — сказал Роберт Джордан. — В апреле.

— В апреле? Поезд тоже был в апреле.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Он умер через десять дней после этого.

— Бедный, — сказала Мария. — Он был очень смелый. А ты тоже этим занимаешься?

— Да.

— И поезда тоже взрывал?

— Да. Три поезда.

— Здесь?

— В Эстремадуре, — сказал он. — Перед тем как перебраться сюда, я был в Эстремадуре. В Эстремадуре таких, как я, много. Там для нас дела хватает.

— А зачем ты пришел сюда, в горы?

— Меня прислали вместо того, который был здесь раньше. А потом, я давно знаю эти места. Еще до войны знал.

— Хорошо знаешь?

— Не так чтобы очень, но я быстро освоюсь. У меня хорошая карта и проводник хороший.

— Старик. — Она кивнула. — Старик, он очень хороший.

— Спасибо, — сказал ей Ансельмо, и Роберт Джордан вдруг понял, что они с девушкой не одни здесь, и он понял еще, что ему трудно смотреть на нее, потому что, когда он на нее смотрит, у него даже голос меняется. Он нарушил второе правило из тех двух, которые следует соблюдать, чтобы ладить с людьми, говорящими по-испански: угощать мужчин табаком, а женщин не трогать. Но он вдруг понял, что ему нечего считаться с этим. Мало ли есть такого на свете, с чем он совершенно не считается, зачем же считаться с этим?

— У тебя очень красивое лицо, — сказал он Марии. — Как жалко, что я не видел тебя с длинными волосами.

— Они отрастут, — сказала она. — Через полгода будут длинные.

— Ты бы посмотрел, какая она была, когда мы привели ее сюда. Вот уродина! Глядеть тошно было.

— А ты здесь с кем? — спросил Роберт Джордан, пытаясь овладеть собой. — Ты с Пабло?

Она глянула на него и засмеялась, потом хлоп-

нула его по коленке.

— С Пабло? Ты разве не видел Пабло?

— Ну, тогда с Рафаэлем. Я видел Рафаэля.

— И не с Рафаэлем.

— Она ни с кем, — сказал цыган. — Чудная какая-то. Ни с кем. А стряпает хорошо.

— Правда, ни с кем? — спросил ее Роберт Джордан.

— Ни с кем. Никогда и ни с кем. Ни для забавы, ни по-настоящему. И с тобой не буду.

— Нет? — сказал Роберт Джордан и почувствовал, как что-то снова подступило у него к горлу. — Это хорошо. У меня нет времени на женщин, что правда, то правда.

— И пятнадцати минут нет? — поддразнил его цыган. — И четверти часика?

Роберт Джордан смолчал. Он смотрел на эту девушку, Марию, и у него так сдавило горло, что он не решался заговорить.

Мария взглянула на него и засмеялась, потом вдруг покраснела, но глаз не отвела.

— Ты покраснела, — сказал ей Роберт Джордан. — Ты часто краснеешь?

— Нет, никогда.

— А сейчас покраснела.

— Тогда я уйду в пещеру.

— Не уходи, Мария.

— Уйду, — сказала она и не улыбнулась. — Сейчас уйду в пещеру. — Она подняла с земли железную сковороду, с которой они ели, и все четыре вилки. Движения у нее были угловатые, как у жеребенка, и такие же грациозные.

— Кружки вам нужны? — спросила она.

Роберт Джордан все еще смотрел на нее, и она опять покраснела.

— Не надо так, — сказала она. — Мне это неприятно.

— Уходи от них, — сказал ей цыган. — На. — Он зачерпнул из каменной миски и протянул полную кружку Роберту Джордану, следившему взглядом за девушкой, пока та, пригнув голову у низкого входа, не скрылась в пещере с тяжелой сковородой.

— Спасибо, — сказал Роберт Джордан. Теперь, когда она ушла, голос его звучал как обычно. — Но больше не нужно. Мы уж и так много выпили.

— Надо прикончить, — сказал цыган. — Там еще полбурдюка. Мы одну лошадь навьючили вином.

— Это было в последнюю вылазку Пабло, — сказал Ансельмо. — С тех пор он так и сидит здесь без дела.

— Сколько вас здесь? — спросил Роберт Джордан.

— Семеро и две женщины.

— Две?

— Да. Еще mujer[5] самого Пабло.

— А где она?

— В пещере. Девушка стряпает плохо. Я похвалил, только чтобы доставить ей удовольствие. Она больше помогает mujer Пабло.

— А какая она, эта mujer Пабло?

— Ведьма, — усмехнулся цыган. — Настоящая ведьма. Если, по-твоему, Пабло урод, так ты посмотри на его женщину. Зато смелая. Во сто раз смелее Пабло. Но уж ведьма — сил нет!

— Пабло раньше тоже был смелый, — сказал Ансельмо. — Раньше он был настоящий человек, Пабло.

— Он столько народу убил, больше, чем холера, — сказал цыган. — В начале войны Пабло убил больше народу, чем тиф.

— Но он уже давно сделался muy flojo[6], — сказал Ансельмо. — Совсем сдал. Смерти боится.

— Это, наверно, потому, что он стольких сам

---

[5] Примечания: 5
Женщина, жена (*исп.*).

[6] Примечания: 6
Очень слаб (*исп.*).

убил в начале войны, — философически заметил цыган. — Пабло убил больше народу, чем бубонная чума.

— Да, и к тому же разбогател, — сказал Ансельмо. — И еще он пьет. Теперь он хотел бы уйти на покой, как matador de toros. Как матадор. А уйти нельзя.

— Если он перейдет линию фронта, лошадей у него отнимут, а его самого заберут в армию, — сказал цыган. — Я бы в армию тоже не очень торопился.

— Какой цыган любит армию! — сказал Ансельмо.

— А за что ее любить? — спросил цыган. — Кому охота идти в армию? Для того мы делали революцию, чтобы служить в армии? Я воевать не отказываюсь, а служить не хочу.

— А где остальные? — спросил Роберт Джордан. Его клонило ко сну после выпитого вина; он растянулся на земле, и сквозь верхушки деревьев ему были видны маленькие предвечерние облака, медленно плывущие над горами в высоком испанском небе.

— Двое спят в пещере, — сказал цыган. — Двое на посту выше, в горах, где у нас стоит пулемет. Один на посту внизу. Да они, наверно, все спят.

Роберт Джордан перевернулся на бок.

— Какой у вас пулемет?

— Называется как-то по-чудному, — сказал цыган. — Вот ведь, вылетело из головы!

Должно быть, ручной пулемет, подумал Роберт Джордан.

— А какой у него вес? — спросил он.

— Снести и одному можно, но очень тяжелый, с тремя складными ножками. Мы раздобыли его в нашу последнюю серьезную вылазку. Еще до вина.

— А патронов к нему сколько?

— Гибель, — сказал цыган. — Целый ящик, такой, что с места не сдвинешь.

Наверно, пачек пятьсот, подумал Роберт Джордан.

— А как он заряжается — диском или лентой?

— Круглыми жестянками, они вставляются сверху.

Да, конечно, «льюис», подумал Роберт Джордан.

— Ты что-нибудь понимаешь в пулеметах? — спросил он старика.

— Nada, — сказал Ансельмо. — Ничего.

— А ты? — обратился он к цыгану.

— Я знаю, что они стреляют очень быстро, а

ствол так накаляется, что рука не терпит, — гордо ответил цыган.

— Это все знают, — презрительно сказал Ансельмо.

— Может, и знают, — сказал цыган. — Он меня спросил, понимаю ли я что-нибудь в такой máquina[7], вот я и говорю. — Потом добавил: — А стреляют они до тех пор, пока не снимешь палец со спуска, не то что простая винтовка.

— Если только не заест, или не расстреляешь все патроны, или ствол не раскалится так, что начнет плавиться, — сказал Роберт Джордан по-английски.

— Ты что говоришь? — спросил Ансельмо.

— Так, ничего, — сказал Роберт Джордан. — Это я пытаю будущее по-английски.

— Вот чудно, — сказал цыган. — Пытать будущее по-английски. А гадать по руке ты умеешь?

— Нет, — сказал Роберт Джордан и зачерпнул еще кружку вина. — Но если ты сам умеешь, то погадай мне и скажи, что будет в ближайшие три дня.

— Mujer Пабло умеет гадать по руке, — сказал цыган. — Но она такая злющая, прямо ведьма. Уж

---

[7] Примечания: 7
Машина, механизм (*исп.*).

не знаю, согласится ли.

Роберт Джордан сел и отпил вина из кружки.

— Покажите вы мне эту mujer Пабло, — сказал он. — Если она действительно такая страшная, так уж чем скорее, тем лучше.

— Я ее беспокоить не стану, — сказал Рафаэль. — Она меня терпеть не может.

— Почему?

— Говорит, что я бездельник.

— Вот уж неправда! — съязвил Ансельмо.

— Она не любит цыган.

— Вот уж придирки! — сказал Ансельмо.

— В ней самой цыганская кровь, — сказал Рафаэль. — Она знает, что говорит. — Он ухмыльнулся. — Но язык у нее такой, что только держись. Как бичом хлещет. С кого угодно шкуру сдерет. Прямо лентами. Настоящая ведьма.

— А как она ладит с девушкой, с Марией? — спросил Роберт Джордан.

— Хорошо. Она ее любит. Но стоит только кому-нибудь подойти к той поближе… — Он покачал головой и прищелкнул языком.

— С девушкой она очень хорошо обращается, — сказал Ансельмо. — Заботится о ней.

— Когда мы подобрали эту девушку там, около поезда, она была как дурная, — сказал Рафа-

эль. — Молчала и все время плакала, а чуть ее кто-нибудь тронет — дрожала, как мокрая собачонка. Вот только за последнее время отошла. За последнее время стала гораздо лучше. А сегодня совсем ничего. Когда с тобой разговаривала, так и вовсе хоть куда. Мы ее тогда чуть не бросили. Сам посуди, стоило нам задерживаться из-за такой уродины, которая только и знала, что плакать! А старуха привязала ее на веревку, и как только девчонка остановится, так она давай ее стегать другим концом. Потом уж видим — ее в самом деле ноги не держат, и тогда старуха взвалила ее себе на плечи. Старуха устанет — я несу. Мы лезли в гору, а там дрок и вереск по самую грудь. Я устану — Пабло несет. Но какими только словами старуха нас не обзывала, чтобы заставить нести! — Он покачал головой при этом воспоминании. — Правда, девчонка не тяжелая, хоть и длинноногая. Кости — они легкие, весу в ней немного. Но все-таки чувствуется, особенно когда несешь-несешь, а потом станешь и отстреливаешься, потом опять тащишь дальше, а старуха несет за Пабло ружье и знай стегает его веревкой, как только он бросит девчонку, мигом ружье ему в руки, а потом опять заставляет тащить, а сама тем временем перезаряжает ему ружье и кроет

последними словами, достает патроны у него из сумки, сует их в магазин и последними словами кроет. Но скоро стемнело, а там и ночь пришла, и совсем стало хорошо. Наше счастье, что у них не было конных.

— Трудно им, наверно, пришлось с этим поездом, — сказал Ансельмо. — Меня там не было, — пояснил он Роберту Джордану. — В деле был отряд Пабло, отряд Эль Сордо, Глухого, — мы его сегодня увидим, — и еще два отряда, все здешние, с гор. Я в то время уходил на ту сторону.

— Еще был тот, светлый, у которого имя такое чудное, — сказал цыган.

— Кашкин.

— Да. Никак не запомню. И еще двое с пулеметом. Их тоже прислали из армии. Они не смогли тащить за собой пулемет и бросили его. Уж наверно, он весил меньше девчонки, будь старуха рядом, им бы от него не отделаться. — Он покачал головой, вспоминая все это, потом продолжал: — Я в жизни ничего такого не видел, как этот взрыв. Идет поезд. Мы его еще издали увидели. Тут со мной такое сделалось, что я даже рассказать не могу. Видим, пускает пары, потом и свисток донесся. Потом — чу-чу-чу-чу-чу-чу, и поезд все ближе и ближе, а потом вдруг взрыв, и

паровоз будто на дыбы встал, а кругом грохот и дым черной тучей, и кажется, вся земля встала дыбом, и потом паровоз взлетел на воздух вместе с песком и шпалами. Ну, как во сне! А потом грохнулся на бок, точно подбитый зверь, и на нас еще сыплются комья после первого взрыва, а тут второй взрыв, и белый пар так и повалил, а потом máquina как застрекочет — та-тат-тат-та! — Выставив большие пальцы, он заработал кулаками вверх и вниз в подражание ручному пулемету. — Та! Та! Тат! Тат! Та! — захлебывался он. — В жизни такого не видал! Из вагонов посыпали солдаты, а máquina прямо по ним, и они падают наземь. Я тогда себя не помнил, случайно задел рукой máquina, а ствол у нее — ну прямо огонь, а тут старуха как залепит мне пощечину и кричит: «Стреляй, болван! Стреляй, или я тебе голову размозжу!» Тогда я стал стрелять и никак не слажу с ружьем, чтобы не дрожало, а солдаты уже бегут вверх по дальнему холму. Потом мы подошли к вагонам посмотреть, есть ли там чем поживиться, а один офицер заставил своих солдат повернуть на нас — грозил им: расстреляю на месте. Размахивает револьвером, кричит на них, а мы стреляем в него — и все мимо. Потом солдаты залегли и открыли огонь, а офицер бегает

позади с револьвером, но мы и тут никак в него не попадем, потому что из máquina стрелять нельзя — поезд загораживает. Офицер пристрелил двоих солдат, пока они там лежали, а остальные все равно не идут. Он еще пуще ругается, и наконец они поднялись, сначала один, потом по двое, по трое, и побежали на нас и к поезду. Потом опять залегли и опять открыли огонь. Потом мы стали отступать — отступаем, máquina все стреляет через наши головы. Вот тогда-то я и нашел эту девчонку среди камней, где она спряталась, и мы взяли ее с собой. А солдаты до самой ночи за нами гнались.

— Да, там, должно быть, нелегко пришлось, — сказал Ансельмо. — Есть что вспомнить.

— Это было единственное настоящее дело, которое мы сделали, — сказал чей-то низкий голос. — А что ты сейчас делаешь, ленивый пьянчуга, непотребное отродье цыганской шлюхи? Что ты делаешь сейчас?

Роберт Джордан увидел женщину лет пятидесяти, почти одного роста с Пабло, почти квадратную, в черной крестьянской юбке и кофте, с толстыми ногами в толстых шерстяных чулках, в черных сандалиях на веревочной подошве, со смуглым лицом, которое могло бы служить моделью для

гранитной скульптуры. Руки у нее были большие, но хорошей формы, а густые, волнистые, черные волосы узлом лежали на затылке.

— Ну, отвечай, — сказала она цыгану, не обращая внимания на остальных.

— Я разговариваю с товарищами. Вот это динамитчик, к нам прислан.

— Знаю, — сказала женщина. — Ну, марш отсюда, иди смени Андерса, он наверху.

— Me voy, — сказал цыган. — Иду! — Он повернулся к Роберту Джордану. — За ужином увидимся.

— Будет шутить, — сказала ему женщина. — Ты сегодня уже три раза ел, я считала. Иди и пошли ко мне Андерса.

— Hola! — сказала она Роберту Джордану, протянула руку и улыбнулась. — Ну, как твои дела и как дела Республики?

— Хороши, — сказал он и ответил на ее крепкое рукопожатие. — И у меня и у Республики.

— Рада это слышать, — сказала женщина. Она смотрела ему прямо в лицо и улыбалась, и он заметил, что у нее красивые серые глаза. — Зачем ты пришел, опять будем взрывать поезд?

— Нет, — ответил Роберт Джордан, сразу же почувствовав к ней доверие. — Не поезд, а мост.

— No es nada. Мост — пустяки. Ты лучше скажи, когда мы будем еще взрывать поезд? Ведь теперь у нас есть лошади.

— Как-нибудь в другой раз. Мост — это очень важно.

— Девушка сказала мне, что твой товарищ умер, тот, который был вместе с нами в том деле с поездом.

— Да.

— Какая жалость. Я такого взрыва еще никогда не видела. Твой товарищ знал свое дело. Он мне очень нравился. А разве нельзя взорвать еще один поезд? Теперь в горах много людей. Слишком много. С едой стало трудно. Лучше бы уйти отсюда. У нас есть лошади.

— Сначала надо взорвать мост.

— А где это?

— Совсем близко.

— Тем лучше, — сказала женщина. — Давай взорвем все мосты, какие тут есть, и выберемся отсюда. Мне здесь надоело. Слишком много народу. Это к добру не приведет. Обленились все — вот что меня злит.

Вдали за деревьями она увидела Пабло.

— Borracho! — крикнула она ему. — Пьянчуга! Пьянчуга несчастный! — Она весело взглянула

на Роберта Джордана. — Сунул в карман кожаную флягу и теперь отправится в лес и будет там пить один. Совсем спился. Такая жизнь для него погибель. Ну, я очень рада, что ты к нам пришел. — Она хлопнула его по спине. — Эге! А с виду тощий! — Она провела рукой по его плечу, прощупывая мускулатуру под фланелевой рубашкой. — Ну, так. Я очень рада, что ты пришел.

— Я тоже.

— Мы столкуемся, — сказала она. — Выпей вина.

— Мы уже пили, — сказал Роберт Джордан. — Может, ты выпьешь?

— Нет, до обеда не стану. А то изжога будет. — Она опять увидела Пабло. — Borracho! — крикнула она. — Пьянчуга! — И, обернувшись к Роберту Джордану, покачала головой. — Ведь был настоящий человек! А теперь спета его песенка! И вот что я еще хочу тебе сказать — слушай. Не обижай девушку, с ней надо поосторожнее. Я о Марии. Ей много чего пришлось вытерпеть. Понимаешь?

— Да. А почему ты это говоришь?

— Я видела, какая она вернулась в пещеру после встречи с тобой. Я видела, как она смотрела на тебя, прежде чем выйти.

— Я немного пошутил с ней.

— Она у нас была совсем плоха, — сказала жена Пабло. — Теперь начинает отходить, и ее надо увести отсюда.

— Что ж, Ансельмо может проводить ее через линию фронта.

— Вот кончишь свое дело, и тогда вы с Ансельмо возьмете ее с собой.

Роберт Джордан почувствовал, что у него опять сдавило горло и что голос его звучит глухо.

— Можно и так, — сказал он.

Женщина взглянула на него и покачала головой.

— Да-а. Да-а, — протянула она. — Все вы, мужчины, на один лад!

— А что я такого сказал? Ты же сама знаешь — она красивая.

— Нет, она не красивая. Но ты хочешь сказать, что она скоро будет красивая, — ответила mujer Пабло. — Мужчины! Позор нам, женщинам, что мы вас рожаем. Нет! Давай без шуток. Разве теперь, при Республике, нет специальных мест, куда берут таких, у кого родных не осталось?

— Есть, — сказал Роберт Джордан. — Есть хорошие дома. На побережье около Валенсии. И в других местах. Там о ней позаботятся, и она будет ухаживать за детьми. Там живут дети, эвакуиро-

ванные из деревень. Ее выучат ходить за детьми.

— Вот этого я и хочу, — сказала женщина. — А то Пабло уже сам не свой от нее. И это тоже для него плохо. Увидит, прямо сам не свой. Ей надо уйти отсюда, так будет лучше.

— Мы можем взять ее с собой, когда кончим здесь.

— А ты не станешь ее обижать, если я положусь на тебя? Я так с тобой говорю, будто целый век тебя знаю.

— Так всегда бывает, — сказал Роберт Джордан, — если люди понимают друг друга.

— Сядь, — сказала женщина. — Слова я с тебя брать не хочу, потому что чему быть, того не миновать. Но если ты не возьмешь ее с собой, тогда дай слово.

— Почему — если не возьму с собой?

— Потому что я не хочу, чтобы она тут сходила с ума, когда тебя не будет. Я же знаю, каково с нею, когда она сумасшедшая, а у меня и без того забот много.

— Мы возьмем ее, когда кончим с мостом, — сказал Роберт Джордан. — Если останемся живы после того моста, тогда возьмем.

— Мне не нравится, как ты говоришь. Такие разговоры удачи не приносят.

— Это я только так, чтобы не обещать зря, — сказал Роберт Джордан. — Я не из тех, кто любит каркать.

— Дай я взгляну на твою руку, — сказала женщина.

Роберт Джордан протянул руку, и женщина, повернув ее вверх ладонью, подержала в своей ручище, потерла большим пальцем, внимательно вгляделась в нее, потом отпустила и встала. Он тоже поднялся с земли, и она посмотрела на него без улыбки.

— Что же ты там увидела? — спросил Роберт Джордан. — Я в такие вещи не верю. Так что меня не запугаешь.

— Ничего, — сказала она. — Я ничего не увидела.

— Нет, увидела. Мне просто любопытно. Я в это не верю.

— А во что ты веришь?

— Во многое верю, только не в это.

— А во что?

— В свою работу.

— Да, это я видела.

— А еще что ты увидела? Говори.

— Больше ничего, — сказала она сердито. — Так ты говоришь, что мост — это очень трудно?

— Я сказал, что это очень важно.

— А может случиться так, что будет трудно?

— Да. А теперь я пойду посмотрю на него. Сколько у вас здесь людей?

— Стоящих пятеро. От цыгана проку мало, хотя вообще-то он неплохой. У него сердце доброе. Пабло я больше не доверяю.

— А сколько у Эль Сордо таких — стоящих?

— Человек восемь. Сегодня вечером посмотрим. Он придет сюда. Он очень дельный, и у него тоже есть динамит. Правда, не очень много. Ну, да ты сам с ним поговоришь.

— Ты посылала за ним?

— Он всегда приходит по вечерам. Ведь мы соседи. И он нам не только товарищ, но и друг.

— А какого ты о нем мнения?

— Он настоящий человек. И очень дельный. Когда взрывали поезд, он просто чудеса творил.

— А как в других отрядах?

— Если вовремя известить, то человек пятьдесят наберешь, на которых все-таки можно положиться.

— Действительно можно?

— Это смотря как обернется дело.

— А сколько патронов на каждую винтовку?

— Штук двадцать. Смотря сколько они прине-

сут. Если пойдут на это дело. Ты не забывай, что тут мост, а не поезд, значит, ни денег, ни поживы и опасность большая, раз ты об этом молчишь. И после такого дела всем придется уходить отсюда. Эта затея с мостом многим не понравится.

— Понятно.

— Так что чем меньше говорить, тем лучше.

— Правильно.

— Ну, иди, погляди на свой мост, а вечером мы потолкуем с Эль Сордо.

— Я пойду с Ансельмо.

— Тогда разбуди его, — сказала она. — Карабин тебе нужен?

— Спасибо, — ответил он. — Карабин вещь хорошая, но мне он не понадобится. Я иду только посмотреть место, а не поднимать шум раньше времени. Спасибо за все, что ты мне сказала. Мне нравится такой разговор.

— Я стараюсь говорить начистоту.

— Тогда скажи, что ты увидела у меня на руке.

— Нет. — Она покачала головой. — Я ничего не увидела. Ну, ступай к своему мосту. Я пригляжу за твоими мешками.

— Прикрой их и смотри, чтобы никто ничего не трогал. Пусть так и лежат — тут лучше, чем в пещере.

— Будут прикрыты, и никто их не тронет, — сказала женщина. — Ну, ступай к своему мосту.

— Ансельмо, — сказал Роберт Джордан, кладя руку на плечо старика, который спал, положив голову на локоть.

Старик открыл глаза.

— Да, — сказал он. — Сейчас. Сейчас пойдем.

Глава третья

Последние двести ярдов спуска они прошли, держась в тени деревьев, осторожно перебегая от одного к другому, и остановились тогда, когда до моста, видневшегося за последними соснами крутого склона, осталось не более пятидесяти ярдов. Солнце еще не спряталось за вершиной горы, и мост в его лучах казался черным над пустотой провала. Мост был стальной, однопролетный, у обоих концов его стояли будки часовых. Он был настолько широк, что на нем свободно могли разойтись два автомобиля, и его прочная и изящная металлическая арка перетягивала глубокую теснину, на дне которой, белый от пены, бежал по камням ручей, стремясь к реке, протекавшей в ущелье.

Роберту Джордану приходилось смотреть против солнца, и он видел только силуэт моста. Но солнце садилось и скоро совсем зашло, и теперь, когда свет уже не бил в глаза, он глянул сквозь деревья на бурую округлую гору, за которой оно скрылось, и увидел, что склон ее порос нежной молодой зеленью, а у самого гребня лежат еще

полосы нестаявшего снега.

Потом он снова перевел глаза на мост, спеша использовать внезапно наступившие короткие минуты нужного ему освещения, чтобы разглядеть конструкцию моста. Подорвать его будет нетрудно. Продолжая свои наблюдения, он вынул из нагрудного кармана записную книжку и беглыми штрихами набросал чертеж. Заряд он при этом вычислять не стал. Успеется после. Он только отмечал те точки, куда нужно заложить динамит, чтоб при взрыве мост сразу лишился опоры и середина его рухнула в провал. Это можно было выполнить не торопясь, по всем правилам науки, безошибочно, заложив полдюжины шашек и соединив их так, чтобы взрыв произошел одновременно; можно было также сделать все скорее и проще, заложив два больших заряда. Но тогда заряды должны быть очень большими, заложить их надо на противоположных концах моста и взрывать одновременно. Он чертил быстро и с удовольствием: приятно было, что наконец-то задача ясна, приятно наконец приступить к ее выполнению. Он закрыл книжку, вставил карандаш в кожаную петлю, положил книжку в карман и застегнул его на пуговицу.

Пока он чертил, Ансельмо наблюдал за доро-

гой, мостом и будками часовых. Он считал, что они подошли к мосту слишком близко, и потому облегченно вздохнул, когда Роберт Джордан кончил рисовать.

Застегнув карман на пуговицу, Роберт Джордан вытянулся на земле и осторожно выглянул из-за сосны, и тогда Ансельмо тронул его за локоть и указал пальцем в сторону моста.

В будке у ближнего конца моста, лицом к дороге, сидел часовой, поставив между колен винтовку с примкнутым штыком, и курил сигарету; на нем была вязаная шапочка и плащ, похожий на одеяло. На расстоянии пятидесяти ярдов лица нельзя было разглядеть. Роберт Джордан поднял к глазам полевой бинокль, тщательно прикрывая сверху ладонями стекла, хотя солнца уже не было и заблестеть они не могли, и сразу перила моста придвинулись так близко, что казалось, стоит протянуть руку — и коснешься их, и лицо часового придвинулось так близко, что видны стали впалые щеки, и пепел на кончике сигареты, и маслянистый блеск штыка. Это было лицо крестьянина — худые щеки под выдающимися скулами, щетина на подбородке, мохнатые, нависшие брови; большие руки держали винтовку, из-под складок плаща выглядывали тяжелые

сапоги. В будке висела на стене старая, почерневшая кожаная фляга, лежали газеты, а телефона не было. Можно было, конечно, предположить, что телефон с другой стороны, но вокруг будки нигде не было видно проводов, хотя вдоль дороги шли телефонные столбы, и провода тянулись над мостом. У самой будки на двух камнях стояла самодельная жаровня — старый бидон из-под керосина с отломанной крышкой и проверченными в боках дырками; но огня в ней не было. Под жаровней в куче золы валялись закопченные пустые жестянки.

Роберт Джордан передал бинокль Ансельмо, вытянувшемуся рядом с ним на земле. Старик усмехнулся и покачал головой. Он постучал себя пальцем по виску, возле глаза.

— Ya lo veo, — сказал он по-испански. — Я его вижу.

Он говорил, почти не шевеля губами, и это выходило тише самого тихого шепота. Когда Роберт Джордан улыбнулся ему, он посмотрел на часового и, указав на него пальцем одной руки, провел другой по своей шее. Роберт Джордан кивнул, но улыбаться перестал.

Будка второго часового, у дальнего конца дороги, была повернута к ним задней стороной, и они

не могли видеть, что делается внутри. Гудронированная дорога, широкая и ровная, за мостом сворачивала влево и потом уходила за выступ горы. Прежняя дорога была гораздо уже, и, чтобы расширить ее в этом месте, пришлось стесать часть гранитной скалы, на уступе которой она была проложена; со стороны обрыва — слева, если смотреть от моста и ущелья, — ее огораживал ряд вытесанных из камня тумб; они отмечали край дороги и служили парапетом. Теснина здесь была очень глубокая и узкая, особенно там, где ручей, над которым висел мост, впадал в реку.

— А второй пост где? — спросил Роберт Джордан старика.

— Пятьсот метров от того поворота. В домике дорожного мастера, у самой скалы.

— Сколько там людей? — спросил Роберт Джордан.

Он снова навел бинокль на часового. Часовой потушил сигарету о дощатую стену будки, потом вытащил из кармана кожаный кисет, надорвал бумагу на погасшей сигарете и вытряхнул в кисет остатки табаку. Часовой встал, прислонил винтовку к стене и потянулся, потом снова взял ее, перекинул через плечо и вышел на мост. Ансельмо вплотную припал к земле, а Роберт Джордан

сунул бинокль в нагрудный карман и спрятал голову за ствол сосны.

— Семеро солдат и капрал, — сказал Ансельмо в самое его ухо. — Я узнавал у цыгана.

— Пусть он отойдет подальше, тогда мы двинемся, — сказал Роберт Джордан. — Мы слишком близко.

— Ты все рассмотрел, что тебе нужно?

— Да. Все, что мне нужно.

После захода солнца сразу стало холоднее, позади, на вершинах гор, меркли последние отсветы солнечных лучей, и кругом быстро темнело.

— Ну, как тебе кажется? — тихо спросил Ансельмо, не спуская глаз с часового, который шагал по мосту ко второй будке; его штык поблескивал в последних лучах, фигура казалась бесформенной от неуклюжего плаща.

— Все очень хорошо, — сказал Роберт Джордан. — Очень, очень хорошо.

— Рад слышать, — сказал Ансельмо. — Что ж, пойдем. Теперь он нас не может увидеть.

Часовой стоял спиной к ним у дальнего конца моста. Из теснины доносился шум воды, бегущей по камням. Потом сквозь этот шум донесся другой шум — мерный, нарастающий рокот, и они увидели, что часовой поднял голову и смотрит вверх,

так что его вязаная шапочка съехала на затылок; и, тоже подняв головы, они увидели в высоком вечернем небе три самолета, летевшие клином; крохотные и серебряные на этой высоте, где еще светило солнце, самолеты с невероятной быстротой неслись по небу под мерный гул моторов.

— Наши? — спросил Ансельмо.

— Как будто да, — сказал Роберт Джордан, но он знал, что на такой высоте никогда нельзя определить точно. Это вечерняя разведка, а чья — неизвестно. Но когда видишь летящие истребители, всегда говоришь — наши, потому что от этого людям спокойнее. Бомбардировщики — другое дело.

Ансельмо, видимо, думал о том же.

— Это наши, — сказал он. — Я узнаю их. Это Moscas[8].

— Пожалуй, — сказал Роберт Джордан. — Мне тоже кажется, что это Moscas.

— Да, Moscas, — сказал Ансельмо.

Можно было навести бинокль и сразу все выяснить, но Роберту Джордану не хотелось этого делать. Сегодня вечером ему все равно, чьи они, и если старику приятно думать, что они наши,

---

[8] Примечания: 8
Буквально: мухи (*исп.*).

не нужно отнимать их у него. Впрочем, когда самолеты ушли в сторону Сеговии, он подумал, что они совсем не похожи на те зеленые с красной каймой самолеты с низко посаженным крылом, русский вариант модели «боинг Р-32», которые испанцы называли Moscas. Цвет нельзя было различить, но силуэт был другой. Нет. Это возвращается фашистская разведка.

Часовой все еще стоял у дальнего конца моста спиной к ним.

— Пойдем, — сказал Роберт Джордан.

Он стал подниматься в гору, ступая осторожно и стараясь держаться под прикрытием сосен, пока не отошел настолько, что его нельзя было увидеть с моста. Ансельмо следовал за ним на расстоянии сотни ярдов. Когда они отошли достаточно далеко, Роберт Джордан остановился, подождал старика, пропустил его вперед, и они полезли в темноте дальше по крутому склону.

— У нас сильная авиация, — довольным тоном сказал старик.

— Да.

— И мы победим.

— Мы должны победить.

— Да. А тогда, после победы, ты приезжай поохотиться.

— На кого?

— На кабана, на медведя, на волка, на горного козла.

— Ты любишь охоту?

— Ох, люблю. Ничего так не люблю. У нас в деревне все охотники. А ты не любишь?

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Я не люблю убивать животных.

— А я наоборот, — сказал старик. — Я не люблю убивать людей.

— Этого никто не любит, разве те, у кого в голове неладно, — сказал Роберт Джордан. — Но я не против, когда это необходимо. Когда это надо ради общего дела.

— Все-таки это совсем другое, — сказал Ансельмо. — В моем доме, когда у меня был дом, — теперь у меня нет дома, — висели клыки кабана, которого я подстрелил в предгорье. Шкуры волчьи лежали. Волков я подстрелил зимой, гнался за ними по снегу. Одного, самого большого, я убил за деревней как-то в ноябре, под вечер, возвращаясь из лесу. Четыре волчьи шкуры лежали на полу в моем доме. Они были истоптаны до того, что совсем облезли, но все-таки это были волчьи шкуры. Были у меня рога горного козла, которого я подстрелил в Сьерре, и еще было чучело орла

— его мне набил чучельник в Авиле, — крылья у него были раскрыты и глаза желтые, точь-в-точь как у живого. Очень красивая была вещь, и на все это мне было приятно смотреть.

— Да, — сказал Роберт Джордан.

— На дверях нашей деревенской церкви была прибита медвежья лапа; этого медведя я убил весной, встретил его на склоне горы, он ворочал бревно на снегу этой самой лапой.

— Когда это было?

— Шесть лет назад. Ее высушили и прибили гвоздем к дверям церкви, и когда я, бывало, ни посмотрю на эту лапу, — совсем как у человека, только с когтями, — всегда мне становилось приятно.

— Ты гордился?

— Гордился, потому что вспоминал ту встречу с медведем ранней весной на склоне горы. А вот если убил человека, такого же, как и ты сам, ничего хорошего в памяти не остается.

— Да, человечью лапу к дверям церкви не прибьешь, — сказал Роберт Джордан.

— Еще бы. Кому же придет в голову такое. А все-таки человечья рука очень похожа на медвежью лапу.

— И туловище человека очень похоже на

медвежье, — сказал Роберт Джордан. — Если с медведя снять шкуру, видно, что мускулатура почти такая же.

— Да, — сказал Ансельмо. — Цыгане верят, что медведь — брат человека.

— Американские индейцы тоже, — сказал Роберт Джордан. — Они, когда убьют медведя, кланяются ему и просят прощенья. Вешают его череп на дерево и, прежде чем уйти, просят, чтобы он не сердился на них.

— Цыгане верят, что медведь — брат человека, потому что у него под шкурой такое же тело, и он пьет пиво, и любит музыку, и умеет плясать.

— Индейцы тоже в это верят.

— Значит, индейцы все равно что цыгане?

— Нет. Но про медведя они думают так же.

— Понятно. Цыгане еще потому так думают, что медведь красть любит.

— В тебе есть цыганская кровь?

— Нет. Но я много водился с цыганами, а с тех пор, как началась война, понятно, еще больше. В горах их много. У них не считается за грех убить иноплеменника. Они в этом не признаются, но это так.

— У марокканцев тоже так.

— Да. У цыган много таких законов, в которых

они не признаются. Во время войны многие цыгане опять стали пошаливать.

— Они не понимают, ради чего ведется эта война. Они не знают, за что мы деремся.

— Верно, — сказал Ансельмо. — Они только знают, что идет война и можно, как в старину, убивать, не боясь наказания.

— Тебе случалось убивать? — спросил Роберт Джордан, как будто роднящая темнота вокруг и прожитый вместе день дали ему право на этот вопрос.

— Да. Несколько раз. Но без всякой охоты. По-моему, людей убивать грех. Даже если это фашисты, которых мы должны убивать. По-моему, медведь одно, а человек совсем другое. Я не верю в цыганские россказни насчет того, что зверь человеку брат. Нет. Я против того, чтоб убивать людей.

— Но ты убивал.

— Да. И буду убивать. Но если я еще поживу потом, то постараюсь жить тихо, никому не делая зла, и это все мне простится.

— Кем простится?

— Не знаю. Теперь ведь у нас бога нет, ни сына божия, ни святого духа, так кто же должен прощать? Я не знаю.

— А бога нет?

— Нет, друг. Конечно, нет. Если б он был, разве он допустил бы то, что я видел своими глазами? Пусть уж у них будет бог.

— Они и говорят, что он с ними.

— Понятно, мне его недостает потому что я с детства привык верить. Но теперь человек перед самим собой должен быть в ответе.

— Значит, ты сам себе и убийство простишь?

— Должно быть, — сказал Ансельмо. — Раз оно так понятно выходит по-твоему, значит, так и должно быть. Но все равно, есть ли бог, нет ли, а убивать — грех. Отнять жизнь у другого человека — это дело нешуточное. Я не отступлю перед этим, когда понадобится, но я не той породы, что Пабло.

— Чтоб выиграть войну, нужно убивать врагов. Это старая истина.

— Верно. На войне нужно убивать. Но, знаешь, какие у меня чудные мысли есть, — сказал Ансельмо. Они теперь шли совсем рядом в темноте, и он говорил вполголоса, время от времени оглядываясь на ходу. — Я бы даже епископа не стал убивать. Я бы не стал убивать ни помещика, ни другого какого хозяина. Я бы только заставил их всю жизнь изо дня в день работать так, как мы ра-

ботаем в поле или в горах, на порубке леса. Чтобы они узнали, для чего рожден человек. Пусть спят, как мы спим. Пусть едят то, что мы едим. А самое главное — пусть работают. Это им будет наука.

— Что ж, они оправятся и опять тебя скрутят.

— Если их убивать — это никого ничему не научит, — сказал Ансельмо. — Всех не перебьешь, а молодые подрастут — еще больше ненавидеть будут. От тюрьмы тоже проку мало. В тюрьме только сильнее ненависть. Нет, лучше пусть всем нашим врагам будет наука.

— Но все-таки ты ведь убивал?

— Да, — сказал Ансельмо. — Много раз убивал и еще буду убивать. Но без всякой охоты и помня, что это грех.

— А часовой? Ты шутил, что убьешь часового.

— Так ведь это шутка. Я бы и убил часового. Да. Не раздумывая и с легким сердцем, потому что это нужно для дела. Но без всякой охоты.

— Ну, пусть убивают те, кто это любит, — сказал Роберт Джордан. — Там восемь да здесь пятеро. Всего тринадцать для тех, кто это любит.

— Таких много, которые это любят, — сказал Ансельмо в темноте. — И у нас их много. Больше, чем таких, которые годились бы в бою.

— Ты когда-нибудь бывал в бою?

— Нет, — сказал старик. — Мы дрались в Сеговии в самом начале войны, но нас разбили, и мы побежали. Я тоже бежал вместе с другими. Мы не очень хорошо понимали то, что делали, и не знали, как это надо делать. А потом у меня был только дробовик, заряженный крупной дробью, а у guardia civil были маузеры. Я своим дробовиком их и за сто ярдов достать не мог, а они с трехсот били нас, как зайцев. Они стреляли много и хорошо стреляли, а мы перед ними были как стадо овец. — Он помолчал. Потом спросил: — Ты думаешь, у моста будет бой?

— Может быть.

— Я еще никогда не видел боя так, чтобы не бежать, — сказал Ансельмо. — Не знаю, как я себя буду вести в бою. Я человек старый, вот я и подумал об этом.

— Я тебе помогу, — ответил ему Роберт Джордан.

— А ты часто бывал в боях?

— Несколько раз.

— Что же ты думаешь, как там все будет, у моста?

— Я прежде всего думаю о мосте. Это мое дело. Подорвать мост нетрудно. Но мы подумаем и об остальном. О подготовке. Все будет написано,

чтобы каждый знал.

— У нас мало кто умеет читать, — сказал Ансельмо.

— Все будет написано, но, кроме того, еще всем будет разъяснено на словах.

— Я сделаю все, что от меня потребуется, — сказал Ансельмо. — Но я помню, как было в Сеговии, и если будет бой или хотя бы перестрелка, я хотел бы знать точно, что мне делать, чтобы не побежать. Я помню, в Сеговии меня так и подмывало побежать.

— Мы будем вместе, — ответил ему Роберт Джордан. — Я тебе всякий раз буду говорить, что нужно делать.

— Тогда все очень просто, — сказал Ансельмо. — Что мне прикажут, я все сделаю.

— Наше дело — мост и бой, если бой завяжется, — сказал Роберт Джордан, и эти слова в темноте показались ему немножко напыщенными, но по-испански они звучали хорошо.

— Это очень интересное дело, — сказал Ансельмо, и, услышав, как он произнес это, просто, искренне и без малейшей рисовки, не преуменьшая опасности, как сделал бы англичанин, и не бравируя ею на романский лад, Роберт Джордан порадовался, что у него такой помощник, и хотя

он уже осмотрел мост и все продумал и упростил задачу, отказавшись от плана захватить оба поста, а тогда уже взрывать мост как обычно, — внутренне он противился приказу Гольца и тому, чем был вызван такой приказ. Он пожалел потому, что подумал, чем это может кончиться для него и чем это может кончиться для старика. Ничего хорошего не сулит этот приказ тем, кому придется его выполнять.

Стыдно так думать, сказал он себе, разве ты какой-нибудь особенный, разве есть вообще особенные люди, с которыми ничего не должно случаться? И ты ничто, и старик ничто. Вы только орудия, которые должны делать свое дело. Дан приказ, приказ необходимый, и не тобой он выдуман, и есть мост, и этот мост может оказаться стержнем, вокруг которого повернется судьба человечества. И все, что происходит в эту войну, может оказаться таким стержнем. У тебя есть одна задача, и ее ты должен выполнить. Ха, как бы не так, одна задача, подумал он. Если бы дело было только в ней, все было бы просто. Довольно ныть, болтливое ничтожество, сказал он себе. Подумай о чем-нибудь другом.

И он стал думать о девушке Марии, у которой и кожа, и волосы, и глаза одинакового золоти-

сто-каштанового оттенка, только волосы чуть потемнее, но они будут казаться более светлыми, когда кожа сильнее загорит на солнце, ее гладкая кожа, смуглота которой как будто просвечивает сквозь бледно-золотистый верхний покров. Наверно, кожа у нее очень гладкая и все тело гладкое, а движения неловкие, как будто что-то такое есть в ней или с ней, что ее смущает, и ей кажется, что это всем видно, хотя на самом деле этого не видно, это только у нее в мыслях. И она покраснела, когда он смотрел на нее; вот так она сидела, обхватив руками колени, ворот рубашки распахнут, и груди круглятся, натягивая серую ткань, и когда он подумал о ней, ему сдавило горло и стало трудно шагать, и они шли молча, пока старик не сказал:

— Вот теперь пройти через эту расселину, а там и лагерь.

Когда они подошли к расселине, раздался окрик: «Стой! Кто идет?» Они услышали, как щелкнул отодвигаемый затвор, и рукоятка глухо стукнула о ложу.

— Товарищи, — сказал Ансельмо.

— Что еще за товарищи?

— Товарищи Пабло, — ответил ему старик. — Что ты, не знаешь нас?

— Знаю, — сказал голос. — Но у меня есть приказ. Пароль знаете?

— Нет. Мы идем снизу.

— Тоже знаю, — сказал человек в темноте. — Вы идете от моста. Я все знаю. Но приказ давал не я. Вы должны сказать вторую половину пароля.

— А какая первая половина? — спросил Роберт Джордан.

— Забыл, — сказал человек в темноте и засмеялся. — Ладно, туда твою душу, иди в лагерь со своим дерьмовым динамитом.

— Это называется партизанская дисциплина, — сказал Ансельмо. — Спусти курок у своей игрушки.

— Уже, — сказал человек в темноте. — Я его спустил потихоньку двумя пальцами, большим и указательным.

— Вот когда-нибудь попадет тебе в руки маузер, а у него курок без насечки, начнешь так спускать, он и выстрелит.

— Это маузер и есть, — сказал человек. — Но ты не знаешь, какая у меня сила в пальцах. Я всегда так спускаю курок.

— Куда он у тебя дулом смотрит? — спросил Ансельмо в темноте.

— На тебя, — сказал человек. — И когда я спус-

кал курок, тоже на тебя смотрел. Придешь в лагерь — скажи, чтоб меня сменили, потому что я, так вас и растак, зверски голоден и забыл пароль.

— Как тебя зовут? — спросил Роберт Джордан.

— Агустин, — сказал человек. — Меня зовут Агустин, и я дохну с тоски в этой дыре.

— Мы передадим твою просьбу, — сказал Роберт Джордан и подумал, что ни на каком другом языке крестьянин не употребил бы такого слова, как aburmiento, что по-испански значит «тоска». А здесь это обычное слово в устах человека любого класса.

— Слушай, — сказал Агустин и, подойдя ближе, положил руку на плечо Роберту Джордану. Потом он чиркнул кремнем об огниво, зажег трут, подул на него и, приподняв повыше, заглянул в лицо молодому человеку. — Ты похож на того, что с нами раньше был, — сказал он. — Но не совсем. Слушай. — Он опустил трут и оперся на винтовку. — Ты мне вот что скажи: это правда, насчет моста?

— Что насчет моста?

— Что мы должны взорвать этот самый паскудный мост и потом катиться отсюда подальше.

— Не знаю.

— Ты не знаешь! — сказал Агустин. — Вот здорово! А чей же это динамит?

— Мой.

— И ты не знаешь, для чего он? Будет сказки рассказывать!

— Я знаю, для чего он, и ты тоже узнаешь, когда надо будет, — сказал Роберт Джордан. — А сейчас мы идем в лагерь.

— Иди знаешь куда! — сказал Агустин. — Так тебя и растак! А хочешь, я тебе скажу одну вещь, которую тебе полезно узнать?

— Хочу, — сказал Роберт Джордан. — Если только это не какая-нибудь похабщина, вроде… — И он повторил самое грубое ругательство из тех, которыми был сдобрен предыдущий разговор.

Этот человек, Агустин, сквернословил непрерывно, и Роберт Джордан усомнился, может ли он произнести хоть одну фразу, не пересыпая ее ругательствами.

Агустин засмеялся в темноте, когда Роберт Джордан повторил его выражение.

— Такая уж у меня привычка. Может, это и некрасиво. Кто его знает. Каждый разговаривает по-своему. Так вот, слушай. Мне этого моста не жалко. Мне вообще ничего не жалко. А потом еще я тут с тоски пропадаю, в этих горах. Надо

уходить — уйдем! Я на эти горы плевать хотел. Надо менять место — переменим. Но я тебе одно скажу. Динамит свой береги.

— Спасибо, — сказал Роберт Джордан. — От тебя беречь?

— Нет, — сказал Агустин. — От людей, у которых, так их растак, на языке меньше всякой похабщины, чем у меня.

— А все-таки? — спросил Роберт Джордан.

— Ты по-испански понимаешь? — сказал Агустин на этот раз серьезно. — Смотри хорошенько за своим растаким динамитом.

— Спасибо.

— Мне твое спасибо не нужно. А за материалом поглядывай.

— Кто-нибудь его трогал?

— Нет. Я бы тогда не тратил времени на пустые разговоры.

— Все-таки спасибо тебе. Ну, мы пошли в лагерь!

— Ладно, — сказал Агустин. — И пусть пришлют кого-нибудь, кто помнит пароль.

— Мы увидимся в лагере?

— А как же! И очень скоро.

— Пойдем, — сказал Роберт Джордан старику.

Теперь они шли краем лужайки, и вокруг

стлался серый туман. По траве было мягко ступать после земли, устланной сосновыми иглами, парусиновые сандалии на веревочной подошве намокли от росы. Впереди за деревьями виднелся огонек, и Роберт Джордан знал, что там вход в пещеру.

— Агустин хороший человек, — сказал Ансельмо. — Он сквернослов и балагур, но человек он дельный.

— Ты его хорошо знаешь?

— Да. Я его знаю давно. Я ему очень верю.

— И его словам тоже?

— Да, друг. Пабло теперь ненадежен, ты сам видел.

— Что же делать?

— Сторожить. Будем меняться.

— Кто?

— Ты. Я. Женщина и Агустин. Раз он сам видит опасность.

— Ты этого ждал?

— Нет, — сказал Ансельмо. — Я не думал, что уже так далеко зашло. Но все равно мы должны были прийти. В этих краях два хозяина — Пабло и Эль Сордо. Нужно обращаться к ним, раз одни мы не можем справиться.

— А Эль Сордо как?

— Хорош, — сказал Ансельмо. — Насколько тот плох, настолько этот хорош.

— Ты, значит, думаешь, что Пабло совсем уж никуда?

— Я весь вечер думал об этом, и мне кажется, что так. Вспомни все, что мы слышали.

— Может быть, уйти, сказать, что мы раздумали взрывать этот мост, и набрать людей в других отрядах?

— Нет, — сказал Ансельмо. — Он тут хозяин. Ты шагу не ступишь, чтобы он не знал. Но только ступать надо осторожно.

Глава четвертая

Они подошли ко входу в пещеру, завешенному попоной, из-под края которой пробивалась полоска света. Оба рюкзака стояли у дерева, прикрытые брезентом, и Роберт Джордан опустился на колени и пощупал сырой топорщившийся брезент. Он сунул под него руку в темноте, нашарил на одном рюкзаке наружный карман, вынул оттуда кожаную флягу и положил ее в карман брюк. Отперев замки, продетые в кольца, и развязав тесемки, стягивавшие края рюкзаков, он на ощупь проверил их содержимое. В одном рюкзаке, почти на самом дне, лежали бруски, завернутые в холстину, а потом в спальный мешок; снова затянув тесемки и щелкнув замком, он сунул обе руки в другой рюкзак и нащупал там острые края деревянного ящика со старым детонатором, коробку из-под сигар с капсюлями (каждый маленький цилиндрик обмотан двумя проволоками, и все это уложено с той же тщательностью, с какой он укладывал свою коллекцию птичьих яиц в детстве), ложу автомата, отделенную от ствола и завернутую в кожаную

куртку, в одном внутреннем кармане большого рюкзака два диска и пять магазинов, а в другом, поменьше, мотки медной проволоки и большой рулон изоляционной ленты. В том же кармане, где была проволока, лежали плоскогубцы и два шила, чтобы проделать дырки в брусках, и, наконец, из последнего кармана он вынул большую коробку русских папирос, из тех, что ему дали в штабе Гольца, и, затянув тесемки, щелкнул замком, застегнул клапаны и опять покрыл оба рюкзака брезентом. Ансельмо поблизости не было, он ушел в пещеру.

Роберт Джордан хотел было последовать за ним, потом передумал и, скинув брезент с обоих рюкзаков, взял их, по одному в каждую руку, и, еле справляясь с тяжелой ношей, двинулся к пещере. Он опустил один рюкзак на землю, откинул попону, потом наклонил голову и, держа оба рюкзака за ременные лямки, нырнул в пещеру.

В пещере было тепло и дымно. У стены стоял стол, на нем бутылка с воткнутой в горлышко сальной свечой, а за столом сидели Пабло, еще трое незнакомых мужчин и цыган Рафаэль. Свеча отбрасывала тени на стену позади сидевших и на Ансельмо, который еще не успел сесть и стоял справа от стола. Жена Пабло склонилась

над очагом в дальнем конце пещеры и раздувала мехами тлеющие угли. Девушка, опустившись на колени рядом с ней, помешивала деревянной ложкой в чугунном котелке. Она подняла ложку и взглянула на Роберта Джордана, и он с порога увидел ее лицо, освещенное вспышками огня, увидел ее руку и капли, падавшие с ложки прямо в чугунный котелок.

— Что это ты принес? — спросил Пабло.

— Это мои вещи, — сказал Роберт Джордан и поставил оба рюкзака на небольшом расстоянии друг от друга подальше от стола, там, где пещера расширялась.

— А чем снаружи плохо? — спросил Пабло.

— Можно споткнуться о них в темноте, — сказал Роберт Джордан, подошел к столу и положил на него коробку папирос.

— Зачем же держать динамит в пещере — это совсем ни к чему, — сказал Пабло.

— От огня далеко, — сказал Роберт Джордан. — Бери папиросы. — Он провел ногтем большого пальца по узкой грани картонной коробки с цветным броненосцем на крышке и пододвинул коробку к Пабло.

Ансельмо поставил ему табурет, обитый сыромятной кожей, и он сел к столу. Пабло посмотрел

на него, видимо, собираясь сказать что-то, но промолчал и потянулся к папиросам.

Роберт Джордан пододвинул коробку и остальным. Он еще не смотрел на них. Но он заметил, что один взял несколько папирос, а двое других не взяли ни одной. Все его внимание было устремлено на Пабло.

— Ну, как дела, цыган? — спросил он Рафаэля.

— Хороши, — сказал цыган.

Роберт Джордан понял, что до его прихода говорили о нем. Даже цыгану явно было не по себе.

— Даст она тебе поесть еще раз? — спросил Роберт Джордан цыгана.

— Даст. А то как же? — сказал цыган.

Это было совсем непохоже на те дружелюбные шутки, которыми они обменивались раньше.

Жена Пабло не говорила ни слова и все раздувала мехами огонь в очаге.

— Человек по имени Агустин, там, наверху, говорит, что он дохнет с тоски, — сказал Роберт Джордан.

— Ничего, не сдохнет, — сказал Пабло. — Пусть немножко потоскует.

— Вино есть? — спросил Роберт Джордан, обращаясь ко всем, и наклонился вперед, положив руки на край стола.

— Там уже немного осталось, — угрюмо сказал Пабло.

Роберт Джордан решил, что пора заняться остальными и нащупать здесь почву.

— Тогда дайте мне воды. Эй! — крикнул он девушке. — Принеси мне кружку воды.

Девушка посмотрела на жену Пабло, но та ничего не сказала ей и даже не подала вида, что слышит; тогда она зачерпнула полную кружку из котелка с водой и, подойдя к столу, поставила ее перед Робертом Джорданом. Он улыбнулся ей. В то же самое время он втянул живот и чуть качнулся влево, так чтобы револьвер скользнул вдоль пояса поближе к бедру. Потом он опустил руку в задний карман. Пабло следил за ним. Он знал, что за ним следят все, но сам следил только за Пабло. Он вытащил руку из заднего кармана, держа в ней кожаную флягу, и отвинтил пробку; потом, взяв кружку, отпил до половины и стал медленно переливать в оставшуюся воду содержимое фляги.

— Слишком крепкое, а то бы я тебя угостил, — сказал он девушке и опять улыбнулся ей. — Совсем немного осталось, а то бы я предложил тебе, — сказал он Пабло.

— Я не люблю анисовую, — сказал Пабло.

Острый запах разнесся над столом, и Пабло уловил в нем то, что показалось знакомым.

— Вот и хорошо, — сказал Роберт Джордан. — А то совсем мало осталось.

— Что это за штука? — спросил цыган.

— Лекарство такое, — сказал Роберт Джордан. — Хочешь попробовать?

— От чего оно?

— От всего, — сказал Роберт Джордан. — Все болезни вылечивает. Если у тебя что не в порядке, сразу вылечит.

— Дай попробую, — сказал цыган.

Роберт Джордан пододвинул к нему кружку. Смешавшись с водой, жидкость стала желтовато-молочного цвета, и он надеялся, что цыган не сделает больше одного глотка. Оставалось совсем мало, а одна такая кружка заменяла собой все вечерние газеты, все вечера в парижских кафе, все каштаны, которые, наверно, уже сейчас цветут, больших медлительных битюгов на внешних бульварах, книжные лавки, киоски и картинные галереи, парк Монсури, стадион Буффало и Бют-Шомон, «Гаранти траст компани», остров Ситэ, издавна знакомый отель «Фойо» и возможность почитать и отдохнуть вечером, — заменяла все то, что он любил когда-то и мало-помалу забыл,

все то, что возвращалось к нему, когда он потягивал это мутноватое, горькое, леденящее язык, согревающее мозг, согревающее желудок, изменяющее взгляды на жизнь колдовское зелье.

Цыган скорчил гримасу и вернул ему кружку.

— Пахнет анисом, а горько — будто желчь пьешь, — сказал он. — Уж лучше хворать, чем лечиться таким лекарством.

— Это от полыни, — сказал Роберт Джордан. — В настоящем абсенте — а это абсент — всегда есть полынь. Говорят, что от него мозги сохнут, но я не верю. Начинаешь по-другому смотреть на жизнь, вот и все. В абсент надо наливать воду медленно и по нескольку капель. А я сделал наоборот — в воду налил абсент.

— О чем это ты? — сердито спросил Пабло, чувствуя насмешку в его тоне.

— Объясняю, что это за лекарство, — ответил ему Роберт Джордан и усмехнулся. — Я купил его в Мадриде. Последнюю бутылку взял, и мне хватило ее почти на три недели. — Он сделал большой глоток и почувствовал, как абсент обволакивает язык, чуть-чуть примораживая его. Потом взглянул на Пабло и опять усмехнулся.

— Как дела? — спросил он.

Пабло промолчал, и Роберт Джордан вни-

мательно посмотрел на незнакомых мужчин, сидевших за столом. У одного из них было широкое, плоское лицо — плоское и темное, как серранский окорок, с приплюснутым, сломанным носом, и от того, что изо рта у этого человека торчала под углом длинная русская папироса, его лицо казалось еще более плоским. Волосы у него были коротко подстриженные, с проседью, щетина на подбородке тоже седая; ворот крестьянской черной блузы был застегнут. Когда Роберт Джордан посмотрел на него, он сидел, опустив глаза, но взгляд этих глаз был твердый, немигающий. Двое других были, очевидно, братья. Они очень походили друг на друга — оба небольшого роста, коренастые, темноволосые, с низко заросшими лбами, темноглазые и смуглые. У одного виднелся шрам на лбу, над левым глазом; когда Роберт Джордан посмотрел на них, они твердо встретили его взгляд. Одному было на вид лет двадцать шесть — двадцать восемь, другому — года на два больше.

— На что это ты так смотришь? — спросил тот, у которого был шрам.

— На тебя, — сказал Роберт Джордан.

— Ну, и что ты во мне углядел?

— Ничего не углядел, — сказал Роберт Джор-

дан. — Хочешь папиросу?

— Не откажусь, — сказал старший брат. Он еще не брал папирос. — Это такие же, как были у того, который взорвал поезд.

— А ты тоже там был?

— Мы все там были, — спокойно ответил он. — Все, кроме старика.

— Вот бы нам что теперь надо, — сказал Пабло. — Взорвать еще один поезд.

— Это можно, — сказал Роберт Джордан. — После моста.

Он видел, что жена Пабло отвернулась от огня и прислушивается к разговору. Как только он произнес слово «мост», все притихли.

— После моста, — повторил Роберт Джордан твердо и отпил абсента из кружки. Говорить так говорить, подумал он. Все равно дело идет к этому.

— Не стану я связываться с твоим мостом, — сказал Пабло, не глядя ни на кого. — Я не стану, и мои люди тоже не станут.

Роберт Джордан промолчал. Потом взглянул на Ансельмо и поднял кружку.

— Тогда мы сделаем это вдвоем, старик, — сказал он и улыбнулся.

— Один, без этого труса, — сказал Ансельмо.

— Что ты говоришь? — спросил старика Пабло.

— Не твое дело. Это я не тебе, — ответил ему Ансельмо.

Роберт Джордан перевел глаза туда, где стояла жена Пабло. До сих пор она молчала и никак не откликалась на их разговор. Но сейчас она что-то сказала девушке, чего он не расслышал, и девушка поднялась от очага, скользнула вдоль стены, приподняла попону, закрывавшую вход в пещеру, и вышла. Ну, вот оно, подумал Роберт Джордан. Начинается. Я не хотел, чтобы это получилось именно так, но теперь, видно, ничего не поделаешь.

— Тогда мы обойдемся без твоей помощи, — сказал Роберт Джордан, обращаясь к Пабло.

— Нет, — сказал Пабло, и Роберт Джордан увидел, как лицо у него покрылось капельками пота. — Никаких мостов ты здесь взрывать не будешь!

— Вот как?

— Никаких мостов ты взрывать не будешь, — тяжело выговорил Пабло.

— А ты что скажешь? — спросил Роберт Джордан жену Пабло, которая стояла у очага — безмолвная, огромная.

Она повернулась к ним и сказала:

— Я — за мост! — Отсветы огня падали на ее лицо, и оно зарумянилось и потеплело, стало смуглое и красивое — такое, каким ему и следовало быть.

— Что ты говоришь? — спросил ее Пабло, и когда он повернулся к ней, Роберт Джордан подметил его взгляд — взгляд человека, которого предали, и опять поглядел на его взмокший лоб.

— Я за мост и против тебя, — сказала жена Пабло. — Только и всего.

— Я тоже за мост, — сказал плосколицый со сломанным носом и погасил папиросу о стол.

— Мне до моста дела нет, — сказал один из братьев. — Я за mujer Пабло.

— И я тоже, — сказал другой брат.

— И я тоже, — сказал цыган.

Роберт Джордан наблюдал за Пабло и, наблюдая, опускал правую руку все ниже и ниже, готовый на все, если понадобится, почти надеясь, что это понадобится, может быть, чувствуя, что так будет проще всего и легче всего, и вместе с тем не желая портить дело, которое, казалось, пошло на лад, и зная, как быстро семья, клан, отряд ополчаются при малейшей ссоре против чужака, и все же думая, что то, что можно сделать движением руки, будет самым простым, самым

лучшим и самым здравым хирургическим решением вопроса, раз дело приняло такой оборот. Наблюдая за Пабло, он наблюдал и за женой Пабло, которая стояла у очага, и видел, что, принимая эту присягу на верность, она горделиво краснеет, как краснеют простые, сильные, здоровые люди.

— Я за Республику, — радостно сказала жена Пабло. — А мост — это для Республики. Другими делами можно заниматься после моста.

— Эх ты! — с горечью сказал Пабло. — У тебя мозги племенного быка и сердце шлюхи! Ты надеешься на «после». Ты имеешь какое-нибудь понятие о том, что это будет?

— То, что должно быть, — сказала жена Пабло. — Что должно быть, то и будет.

— И тебе все равно, если на нас станут охотиться, как на диких зверей, после этой затеи, которая не сулит нам никакой выгоды? А если погибнем, тебе тоже все равно?

— Все равно, — сказала женщина. — И нечего меня запугивать, трус!

— Трус, — с горечью сказал Пабло. — Ты считаешь человека трусом только потому, что он понимает в тактике. Потому, что он наперед видит, к чему приведет безрассудство. Разбираться в том, кто умен, а кто глуп, — это не трусость.

— А разбираться в том, кто смел и кто труслив, — это не глупость, — сказал Ансельмо, не удержавшись от язвительного словца.

— Ты хочешь умереть? — строго спросил Пабло старика, и Роберт Джордан почувствовал, как далек от риторики этот вопрос.

— Нет.

— Тогда помолчи. Не говори о том, чего не знаешь. Неужели тебе не понятно, какое это серьезное дело? — почти жалобно сказал он. — Неужели только я один и понимаю, насколько это серьезно?

Наверно, так оно и есть, подумал Роберт Джордан. Так оно и есть, Пабло, друг. Ты да я. Мы понимаем это, и женщина прочла это по моей руке, но пока что она не понимает. Она еще не понимает этого.

— Вожак я ваш или нет? — спросил Пабло. — Я знаю, о чем говорю. А вы никто не знаете. Старик несет вздор. Этот старик только и годится быть на посылках и ходить проводником с иностранцами. Иностранец пришел сюда и хочет сделать то, что пойдет на пользу иностранцам. А расплачиваться придется нам. Я за то, что пойдет на пользу нам всем, я за нашу безопасность.

— Безопасность! — сказала жена Пабло. — Где

она есть, твоя безопасность? Сейчас столько народу ее здесь ищет, что это уж само по себе опасно. Тот, кто ищет безопасность, теряет все.

Теперь она стояла у стола с большой ложкой в руках.

— Нет, безопасность можно найти, — сказал Пабло. — Безопасность — это если знаешь, как увернуться от опасности. Матадор тоже знает, что делает, когда не хочет рисковать зря и увертывается от опасности.

— Пока не напорется на рог, — с горечью сказала женщина. — Сколько раз я слышала от матадоров такие слова, перед тем как им напороться на рог. Сколько раз Финито говорил, что тут все дело в уменье и что бык никогда не пропорет рогом человека, если человек сам не полезет к нему на рога. Они всегда хвалятся, а конец один. И потом мы ходим навещать их в больницу. — Она заговорила другим голосом, изображая сцену у постели больного, она загудела: — «Здравствуй, герой! Здравствуй!» — Потом, передразнивая слабый голос раненого матадора: — «Buenos, comadre[9]. Как живешь, Пилар?» — И опять своим обычным раскатистым голосом: — «Как же это так вышло,

---

[9] Примечания: 9
Здравствуй, кума (*исп.*).

Финито, chico?[10] Как же это с тобой случилась такая напасть?» — Потом тихо и тоненько: — «Пустяки, женщина. Пустяки, Пилар. Это вышло случайно. Я убил его очень хорошо, ты же знаешь. Лучше меня никто бы не убил. Я убил его по всем правилам, и он уже зашатался, издыхая, и готов был рухнуть под собственной тяжестью, и тогда я пошел к барьеру и шел красиво, гордо, и вдруг он всадил в меня рог сзади, между ягодицами, и рог прошел до самой печени». — Она рассмеялась и продолжала уже не писклявым голосом матадора, а своим, раскатистым: — Ты мне поговори о безопасности! Я-то знаю, что такое страх и что такое безопасность, — недаром я прожила девять лет с тремя самыми незадачливыми матадорами на свете. О чем угодно говори, только не о безопасности. Эх ты! Ведь я на тебя надеялась, и вот как обернулись мои надежды! Один год войны, а что с тобой стало! Лентяй, пьяница, трус.

— Ты не имеешь права так говорить, — сказал Пабло. — Особенно перед ними и перед иностранцем.

— Нет, я буду так говорить, — продолжала жена Пабло. — Ты разве ничего не слышал? Ты все еще

---

[10] Примечания: 10
Мальчик (*исп.*).

считаешь себя командиром?

— Да, — сказал Пабло. — Я здесь командир.

— Брось шутить, — сказала женщина. — Командир здесь я! Разве ты не слышал, что они сказали? Здесь никто не будет командовать, кроме меня. Оставайся с нами, если хочешь, ешь хлеб, пей вино, только смотри, знай меру. И если хочешь, работай вместе с нами. Но командую здесь я.

— Я застрелю вас обоих — и тебя, и твоего иностранца, — угрюмо сказал Пабло.

— Попробуй, — сказала женщина. — Увидишь, что из этого получится.

— Дайте мне воды, — сказал Роберт Джордан, не отводя глаз от мужчины с мрачным, тяжелым лицом и от женщины, которая стояла гордая, уверенная в себе и властно держала в руках ложку, точно это был маршальский жезл.

— Мария! — крикнула жена Пабло, и когда девушка вошла в пещеру, она сказала: — Дай воды этому товарищу.

Роберт Джордан полез в карман за флягой и, вынимая флягу, расстегнул кобуру и передвинул револьвер на бедро. Он налил абсента в пустую кружку, взял ту, которую девушка подала ему, и стал понемножку подливать воду в абсент. Девушка стояла рядом и смотрела.

— Уходи, — сказала ей жена Пабло, показав на дверь ложкой.

— Там холодно, — сказала девушка и низко нагнулась к Роберту Джордану — щекой к щеке, глядя в кружку, где мутнел абсент.

— Ну что ж, что холодно, — сказала жена Пабло. — Зато здесь слишком жарко. — Потом ласково добавила: — Скоро позову.

Девушка покачала головой и вышла.

Вряд ли у него надолго хватит терпения, думал Роберт Джордан. Он держал кружку в одной руке, а другая, теперь уже открыто, лежала на револьвере. Он опустил предохранитель и чувствовал под пальцами успокоительную гладкую, почти стершуюся от времени насечку на рукоятке и дружественный холодок круглой спусковой скобы. Пабло смотрел теперь не на него, а только на женщину. Она снова заговорила:

— Слушай меня, пьянчуга. Ты понимаешь, кто здесь командует?

— Я командую.

— Нет. Слушай меня. Прочисти свои волосатые уши, слушай внимательно. Командую я!

Пабло смотрел на нее, и по его лицу нельзя было догадаться, о чем он думает. Он смотрел на нее совсем спокойно, а потом взглянул через

стол на Роберта Джордана. Он смотрел на него долго и задумчиво, потом снова перевел взгляд на женщину.

— Хорошо. Командуй ты, — сказал он. — Пусть даже он командует, если тебе так хочется. И пропадите вы оба пропадом! — Он смотрел женщине прямо в лицо, и в его взгляде не было ни приниженности, ни страха. — Может, я в самом деле обленился и слишком много пью. Считай меня трусом, хоть это и неверно. Но я не дурак. — Он помолчал. — Командуй, и пусть это доставит тебе удовольствие. Но если ты не только командир, а еще и женщина, так хоть покорми нас чем-нибудь.

— Мария! — крикнула жена Пабло. Девушка высунула голову из-за попоны, закрывавшей вход в пещеру. — Теперь войди и собери нам поужинать.

Девушка прошла к низенькому столику у очага, взяла эмалированные миски и поставила их на стол.

— Вина хватит на всех, — сказала Роберту Джордану жена Пабло. — Не слушай этого пьянчугу. А выпьем — еще достанем. Кончай свое чудно́е вино и налей себе нашего.

Роберт Джордан допил кружку одним глотком

и, чувствуя, как выпитый залпом абсент разогревает его еле заметным, влажным, внутренним, как от химической реакции, теплом винных паров, двинул свою кружку по столу. Девушка зачерпнула ею вина и улыбнулась ему.

— Ну что ж, видел ты этот мост? — спросил цыган.

Остальные, все еще молчавшие после отреченья от Пабло, подались вперед, приготовясь слушать.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Это будет нетрудно. Хотите, покажу?

— Да, друг. Нам это интересно.

Роберт Джордан вынул из нагрудного кармана записную книжку и показал свои наброски.

— Смотри, как похоже, — сказал плосколицый, которого называли Примитиво. — Тот самый мост.

Водя по бумаге кончиком карандаша, Роберт Джордан объяснил, как надо будет взрывать мост и где будут заложены шашки.

— До чего просто! — сказал один из братьев, тот, что со шрамом, его звали Андрес. — А как их взрывают?

Роберт Джордан объяснил и это и, объясняя, почувствовал, что девушка, заглядывая в его

записную книжку, оперлась на его плечо. Жена Пабло тоже смотрела. Только Пабло не проявлял никакого интереса; он сидел один со своей кружкой и то и дело черпал себе вина, которое Мария налила в большую миску из бурдюка, висевшего на стене левее входа в пещеру.

— Тебе часто приходилось делать это? — тихо спросила девушка Роберта Джордана.

— Часто.

— А мы увидим, как это будет?

— Да. Обязательно.

— Обязательно увидишь, — сказал Пабло со своего места у стола. — Еще как увидишь!

— Замолчи, — сказала ему женщина и, вспомнив вдруг, что она прочла днем на руке Роберта Джордана, загорелась дикой, безрассудной злобой. — Замолчи, трус! Перестань каркать, стервятник! Замолчи, убийца!

— Хорошо, — сказал Пабло. — Я молчу. Здесь командуешь ты, ну и рассматривай, какие там нарисованы картинки. Только не забывай, что я не дурак.

Жена Пабло почувствовала, как ее гнев уступает место печали и предчувствию гибели всех надежд и всех обещаний. Это чувство было знакомо ей еще с детства, и она хорошо знала, когда

и почему оно появляется. Сейчас оно пришло неожиданно, и, стараясь отогнать его, не позволяя ему касаться себя, не позволяя ему касаться ни себя, ни Республики, она сказала:

— Ну, давайте ужинать. Мария, разложи мясо по мискам.

Глава пятая

Роберт Джордан откинул попону, закрывавшую вход, и, выйдя из пещеры, глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. Туман рассеялся, и показались звезды. Ветра не было, и после спертого воздуха пещеры, в котором смешивались табачный дым и дым очага, запахи жареного мяса и риса, шафрана, перца и оливкового масла, винно-смолистый дух от большого бурдюка, подвешенного у входа за шею, так что все четыре ноги торчали в стороны, а из той, откуда цедили вино, капли падали на землю, прибивая пыль, после пряного аромата каких-то неведомых ему трав, которые пучками свешивались с потолка вперемешку с гирляндами чесноку, после медного привкуса во рту от красного вина и чеснока, после запаха лошадиного и человечьего пота, которым была пропитана одежда сидевших за столом людей (острая кислятина человечьего пота с примесью тошнотворно-сладкого запаха засохшей пены с лошадиных боков), — после всего этого приятно было вбирать полной грудью чистый ночной воздух гор, отдающий хвоей и

росистой приречной травой. Роса была обильная, потому что ветер улегся, но Роберт Джордан решил, что к утру подморозит.

Он стоял перед входом в пещеру, стараясь надышаться, и вслушивался в звуки ночи. Он услышал отдаленный раскат выстрела, потом крик совы в нижнем лесу, там, где был загон для лошадей. Потом из пещеры донеслось пение цыгана и мягкие переборы гитары. «Наследство мне оставил отец», — вывел нарочито гортанный голос, немного задержался на высокой ноте и продолжал:

Месяц, звезды и солнечный свет,
Никак его не истрачу я,
А скитаюсь уж сколько лет!

Гитара забренчала быстрыми аккордами в знак одобрения певцу.

— Хорошо поешь, — услышал Роберт Джордан чей-то голос. — Теперь каталонскую, цыган.

— Не хочу.

— Давай. Давай. Каталонскую.

— Ну, ладно, — сказал цыган и затянул уныло:

Черна моя кожа,
Приплюснут нос,

Но я человек все же.

— Olé! — крикнул кто-то. — Давай, давай, цыган!

Голос певца окреп и зазвучал печально и насмешливо:

Я негром, а не каталонцем рожден,
За это хвала тебе, боже.

— Ну, расшумелись, — сказал голос Пабло. — Уймись, цыган!

— Да, — подхватил голос женщины. — Глотка у тебя здоровая. Таким пением ты всех окрестных guardia civil соберешь, а слушать все-таки противно.

— Я еще песенку знаю, — сказал цыган, и гитара начала вступление.

— Держи ее при себе, — ответила ему женщина.

Гитара смолкла.

— Я сегодня не в голосе. Потеря, значит, невелика, — сказал цыган и, откинув попону, вышел в темноту.

Видно было, как он постоял у дерева, потом направился к Роберту Джордану.

— Роберто, — тихо сказал цыган.

— Да, Рафаэль, — откликнулся Роберт Джордан.

По голосу цыгана он сразу понял, что вино на него подействовало. Сам он тоже выпил немало — две кружки абсента и еще вино, но голова у него оставалась холодной и ясной, потому что сложность, возникшая из-за Пабло, все время держала его в напряжении.

— Почему ты не убил Пабло? — спросил цыган совсем тихо.

— А зачем его убивать?

— Рано или поздно все равно придется. Почему ты не воспользовался случаем?

— Ты это серьезно?

— А как ты думаешь, чего ждали все? Как ты думаешь, зачем Пилар услала девушку? По-твоему, после таких разговоров все может остаться как было?

— Что ж вы сами его не убили?

— Qué va[11], — сказал цыган спокойно. — Это твое дело. Три или четыре раза нам казалось, что вот сейчас ты его убьешь. У Пабло нет друзей.

— Мне приходила такая мысль, — сказал Роберт Джордан. — Но я от нее отказался.

— Это было каждому ясно. Все видели, что ты готовишься. Почему ты этого не сделал?

---

[11] Примечания: 11
«Ну да!», «Вот еще!» и т. п. (*исп.*)

— Я боялся, что это будет неприятно вам или женщине.

— Qué va! Женщина сама ждала этого, как шлюха ждет взлета большой птицы. Ты моложе, чем кажешься.

— Может быть.

— Убей его сейчас, — настаивал цыган.

— Это будет убийство из-за угла.

— Тем лучше, — сказал цыган совсем тихо. — Риску меньше. Ну? Убей его.

— Я так не могу. Это подло, а тем, кто борется за наше общее дело, подлость не к лицу.

— Ну, вызови его на ссору, — сказал цыган. — Все равно ты должен его убить. Ничего другого не остается.

В эту минуту, не спугнув тишины, из-за деревьев вылетела сова, ринулась вниз, на добычу, потом снова взмыла, хлопая крыльями быстро, но бесшумно.

— Вот смотри, — сказал в темноте цыган. — Так должны бы двигаться люди.

— И так же слепнуть днем, сидеть на дереве и ждать, когда вороны заклюют? — спросил Роберт Джордан.

— Это бывает не часто, — сказал цыган. — И то разве случайно. Убей его, — продолжал он. —

Смотри, потом трудней будет.

— Все равно момент уже упущен.

— Вызови его на ссору, — сказал цыган. — Или сделай это тишком.

Попона, которой был завешен вход, приподнялась, пропуская свет. Кто-то вышел из пещеры и подошел к ним.

— Ночь ясная, — сказал глухой, тусклый голос. — Завтра будет хорошая погода.

Это был Пабло.

Он курил русскую папиросу, и когда затягивался, огонек, разгораясь, освещал его круглое лицо. При свете звезд можно было различить его массивное туловище и длинные руки.

— Не обращай внимания на Пилар, — сказал он Роберту Джордану. Папироса вдруг вспыхнула ярче и на миг стала видна в его руке. — На нее иногда находит. Но она хорошая женщина. Она предана Республике. — Теперь огонек папиросы подрагивал в воздухе при каждом его слове. Говорит с папиросой во рту, подумал Роберт Джордан. — Нам с тобой ссориться ни к чему. Мы во всем согласны. Я рад, что ты пришел к нам. — Папироса опять вспыхнула. — Споров ты не слушай, — сказал он. — Мы все тебе рады. А теперь ты меня извини. Я пойду взгляну, как там

привязали лошадей.

Он скрылся в чаще по направлению к поляне, и сейчас же снизу донеслось лошадиное ржанье.

— Видишь, — сказал цыган. — Теперь видишь? Вот и упустил случай.

Роберт Джордан молчал.

— Пойду тоже туда, — сердито сказал цыган.

— Зачем?

— Qué va, зачем. Посмотрю хоть, чтоб он не сбежал.

— А он может взять лошадь и уйти понизу?

— Нет.

— Тогда иди туда, где его можно задержать.

— Там Агустин.

— Вот и ступай поговори с Агустином. Расскажи ему, что тут у нас вышло.

— Агустин его с радостью убьет.

— Тем лучше, — сказал Роберт Джордан. — Вот ступай и расскажи ему все, как было.

— А потом?

— Я спущусь вниз, на поляну.

— Хорошо. Вот это хорошо. — В темноте Роберт Джордан не видел лица Рафаэля, но угадывал на нем улыбку. — Вот теперь я вижу, что ты подтянул штаны, — сказал цыган одобрительно.

— Ступай к Агустину, — сказал ему Роберт

Джордан.

— Иду, Роберто, иду, — сказал цыган.

Роберт Джордан вошел в чащу и стал пробираться к поляне, ощупью находя дорогу между деревьями. На открытом месте тьма была не такая густая, и, дойдя до опушки, он разглядел темные силуэты лошадей, бродивших на привязи по поляне. Он сосчитал их при свете звезд. Их было пять. Роберт Джордан сел под сосной лицом к реке и стал думать.

Я устал, думал он, и, может быть, я рассуждаю неправильно. Но моя задача — мост, и я не смею попусту рисковать собой, пока не выполню эту задачу. Конечно, иногда бывает так, что не рискнуть там, где нужно рискнуть, еще хуже, но до сих пор я старался не мешать естественному ходу событий. Если цыган говорит правду и от меня действительно ждали, что я убью Пабло, я должен был его убить. Но я не был уверен в том, что от меня этого ждут. Нехорошо чужому убивать одного из тех, с кем приходится работать. Можно убить в бою, можно убить, подчиняясь дисциплине, но здесь, я думаю, это вышло бы очень нехорошо, хотя соблазн был так велик и казалось, это самое простое и ясное решение. Но в этой стране нет ничего ясного и простого, и хотя

жена Пабло внушает мне полное доверие, трудно сказать, как бы она отнеслась к столь крутой мере. Смерть в таком месте может показаться чем-то очень мерзким, безобразным и страшным. Не знаю, не знаю, как бы она отнеслась. Без этой женщины здесь не жди ни дисциплины, ни порядка, а при ней все может еще наладиться очень хорошо. Лучше всего было бы, если б она сама его убила, или цыган (только он не убьет), или часовой Агустин. Ансельмо сделает это, если я скажу, что так нужно, хоть он и говорит, что не любит убивать. По-моему, он ненавидит Пабло, а мне он доверяет и видит во мне представителя того дела, в которое верит. Тут только он да эта женщина и верят в Республику по-настоящему; впрочем, об этом еще рано говорить.

Когда его глаза привыкли к свету звезд, он увидел, что возле одной из лошадей стоит Пабло. Лошадь вдруг подняла голову, потом нетерпеливо мотнула ею и снова принялась щипать траву. Пабло стоял возле лошади, прислонившись к ее боку, покачиваясь вместе с ней, когда она натягивала веревку, похлопывая ее по шее. Его ласка раздражала лошадь, мешая ей пастись спокойно. Роберт Джордан не видел, что делал Пабло, и не слышал, что он говорил лошади, но видел, что он

не отвязывает ее и не седлает. Он сидел и наблюдал за Пабло, стараясь прийти к какому-нибудь решению.

— Ты моя большая хорошая лошадка, — говорил в темноте Пабло гнедому жеребцу с белой отметиной. — Ты мой белолобый красавчик. У тебя шея выгнута, как виадук в моем городе. — Он сделал паузу. — Нет, выгнута круче и еще красивее. — Лошадь щипала траву, то и дело отводя голову в сторону, потому что человек своей болтовней раздражал ее. — Ты не то что какой-нибудь дурак или женщина, — говорил Пабло гнедому жеребцу. — Ты, ты, ах ты, моя большая лошадка. Ты не то что женщина, похожая на раскаленную каменную глыбу. Или девчонка со стриженой головой, неуклюжая, как только что народившийся жеребенок. Ты не оскорбишь, и не солжешь, и все понимаешь. Ты, ах ты, моя хорошая большая лошадка!

Роберту Джордану было бы очень интересно услышать, о чем говорил Пабло с гнедым жеребцом, но услышать ему не пришлось, так как, убедившись, что Пабло пришел сюда только проверить, все ли в порядке, и решив, что убивать его сейчас было бы неправильно и неразумно, он встал и пошел назад, к пещере. Пабло еще долго

оставался на поляне, разговаривая с лошадью. Лошадь не понимала его слов и только по тону чувствовала, что это слова ласки, но она целый день провела в загоне, была голодна, ей не терпелось поскорей общипать всю траву кругом, насколько хватало веревки, и человек раздражал ее. Наконец Пабло перенес колышек в другое место и снова стал возле лошади, но теперь уже молча. Лошадь продолжала пастись, довольная, что человек больше не докучает ей.

Глава шестая

Роберт Джордан сидел у очага на табурете, обитом сыромятной кожей, и слушал, что говорит женщина. Она мыла посуду, а девушка, Мария, вытирала ее и потом, опустившись на колени, ставила в углубление в стене, заменявшее полку.

— Странно, — сказала женщина. — Почему Эль Сордо не пришел? Ему уже с час как пора быть здесь.

— Ты посылала за ним?

— Нет. Но он всегда приходит по вечерам.

— Может быть, он занят? Какое-нибудь дело?

— Может быть, — сказала она. — Если не придет, надо будет завтра пойти к нему.

— Да. А это далеко?

— Нет. Прогуляемся. Мне это не мешает, я засиделась.

— Можно, я тоже пойду? — спросила Мария. — Можно, Пилар?

— Да, красавица, — сказала женщина, потом повернула к Роберту Джордану свое широкое лицо. — Правда, она хорошенькая? — спросила она Роберта Джордана. — Как на твой вкус? Немнож-

ко тоща, пожалуй?

— На мой вкус, хороша, — сказал Роберт Джордан. Мария зачерпнула ему кружкой вина.

— Выпей, — сказала она. — Тогда я покажусь тебе еще лучше. Надо выпить много вина, чтобы я казалась красивой.

— Тогда я больше не буду пить, — сказал Роберт Джордан. — Ты и так красивая, и не только красивая.

— Вот как надо говорить, — сказала женщина. — Ты говоришь, как настоящий мужчина. А какая же она еще?

— Умная, — нерешительно сказал Роберт Джордан.

Мария фыркнула, а женщина грустно покачала головой.

— Как ты хорошо начал, дон Роберто, и чем ты кончил!

— Не зови меня дон Роберто.

— Это я в шутку. Мы и Пабло шутя зовем дон Пабло. И Марию сеньоритой — тоже в шутку.

— Я не люблю таких шуток, — сказал Роберт Джордан. — Во время войны все мы должны называть друг друга по-серьезному — camarada. С таких шуток начинается разложение.

— Для тебя политика вроде бога, — поддразни-

ла его женщина. — И ты никогда не шутишь?

— Нет, почему. Я очень люблю пошутить. Но обращение к человеку — с этим шутить нельзя. Это все равно что флаг.

— А я и над флагом могу подшутить. Чей бы он ни был, — засмеялась женщина. — По-моему, шутить можно надо всем. Старый флаг, желтый с красным, мы называли кровь с гноем. А республиканский, в который добавили лилового, называем кровь, гной и марганцовка. Так у нас шутят.

— Он коммунист, — сказала Мария. — Они все очень серьезные.

— Ты коммунист?

— Нет, я антифашист.

— С каких пор?

— С тех пор как понял, что такое фашизм.

— А давно это?

— Уже лет десять.

— Не так уж много, — сказала женщина. — Я двадцать лет республиканка.

— Мой отец был республиканцем всю свою жизнь, — сказала Мария. — За это его и расстреляли.

— И мой отец был республиканцем всю свою жизнь. И дед тоже, — сказал Роберт Джордан.

— В какой стране?

— В Соединенных Штатах.

— Их расстреляли? — спросила женщина.

— Qué va, — сказала Мария. — Соединенные Штаты — республиканская страна. Там за это не расстреливают.

— Все равно хорошо иметь дедушку-республиканца, — сказала женщина. — Это значит, порода хорошая.

— Мой дед был членом Национального комитета республиканской партии, — сказал Роберт Джордан.

Это произвело впечатление даже на Марию.

— А твой отец все еще служит Республике? — спросила Пилар.

— Нет. Он умер.

— Можно спросить, отчего он умер?

— Он застрелился.

— Чтобы не пытали? — спросила женщина.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Чтобы не пытали.

Мария смотрела на него со слезами на глазах.

— У моего отца, — сказала она, — не было оружия. Как я рада, что твоему отцу посчастливилось достать оружие.

— Да. Ему повезло, — сказал Роберт Джордан. —

Может, поговорим о чем-нибудь другом?

— Значит, у нас с тобой одинаковая судьба, — сказала Мария.

Она дотронулась до его руки и посмотрела ему в лицо. Он тоже смотрел в ее смуглое лицо и в глаза, которые до сих пор казались ему не такими юными, как ее лицо, а теперь вдруг стали и голодными, и юными, и жадными.

— Вас можно принять за брата и сестру, — сказала женщина. — Но, пожалуй, ваше счастье, что вы не брат и сестра.

— Теперь я знаю, что такое со мной, — сказала Мария. — Теперь мне все стало понятно.

— Qué va, — сказал Роберт Джордан и, протянув руку, погладил ее по голове.

Весь день ему хотелось сделать это, но теперь, когда он это сделал, что-то сдавило ему горло. Она повела головой и улыбнулась, подняв на него глаза, и он чувствовал под пальцами густую и в то же время шелковистую щеточку ее стриженых волос. Потом пальцы скользнули с затылка на шею, и он отнял руку.

— Еще, — сказала она. — Мне весь день хотелось, чтобы ты так сделал.

— В другой раз, — сказал Роберт Джордан, и его голос прозвучал глухо.

— А я? — загудела жена Пабло. — Прикажете мне сидеть и смотреть на вас? Что же я, по-вашему, совсем бесчувственная, что ли? Нет, ошибаетесь. Хоть бы Пабло вернулся, на худой конец и он сойдет.

Мария уже не обращала внимания ни на нее, ни на остальных, которые при свете играли за столом в карты.

— Хочешь вина, Роберто? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Почему не выпить?

— Вот и будет у тебя такой же пьянчуга, как и у меня, — сказала жена Пабло. — И вино-то он пьет какое-то чудно́е. Слушай-ка, Inglés[12].

— Не Inglés. Американец.

— Хорошо. Слушай, американец. Где ты будешь спать?

— На воздухе. У меня спальный мешок.

— Ну что ж, — сказала она. — Ночь ясная.

— Да, будет холодно.

— Значит, на воздухе, — сказала она. — Ну, спи на воздухе. А твои тюки пусть спят здесь, со мной.

— Хорошо, — сказал Роберт Джордан.

— Оставь нас на минуту, — сказал он девушке

---

[12] Примечания: 12
Англичанин (*исп.*).

и положил ей руку на плечо.

— Зачем?

— Я хочу поговорить с Пилар.

— Мне непременно надо уйти?

— Да.

— Ну что? — спросила жена Пабло, когда девушка отошла в угол, где висел бурдюк, и стала там, глядя на играющих в карты.

— Цыган сказал, что я должен был… — начал он.

— Нет, — перебила его женщина. — Он не прав.

— Если это нужно… — спокойно и все-таки с трудом проговорил Роберт Джордан.

— Ты бы это сделал, я знаю, — сказала женщина. — Нет, это не нужно. Я следила за тобой. Ты рассудил правильно.

— Но если это понадобится…

— Нет, — сказала женщина. — Говорю тебе, это не понадобится. У цыгана мозги набекрень.

— Но слабый человек — опасный человек.

— Нет. Ты не понимаешь. Он человек конченый, и никакой опасности от него быть не может.

— Не понимаю.

— Ты еще очень молод, — сказала она. — Когда-нибудь поймешь. — Потом девушке: — Иди сюда,

Мария. Мы уже поговорили.

Девушка подошла к ним, и Роберт Джордан протянул руку и погладил ее по волосам. Она повела головой, точно котенок. Потом ему показалось, что она сейчас заплачет. Но она тотчас же подобрала губы и с улыбкой взглянула на него.

— Спать, спать тебе пора, — сказала женщина Роберту Джордану. — Ты проделал большой путь за сегодняшний день.

— Хорошо, — сказал Роберт Джордан. — Пойду достану свой спальный мешок.

Глава седьмая

Он спал в мешке, и когда он проснулся, ему почудилось, что он спит уже очень давно. Он разложил свой мешок недалеко от входа в пещеру, у подножия скалы, защищавшей его от ветра; когда он лег, все мышцы у него сводило от усталости, ноги болели, спину и плечи ломило так, что лесная земля показалась ему мягкой, и томительно-сладко было вытянуться в теплом, подбитом фланелью мешке; но он заворочался во сне и, ворочаясь, наткнулся на револьвер, который был привязан шнуром к его руке и лежал рядом с ним. Проснувшись, он не сразу понял, где он, потом вспомнил, вытащил револьвер из-под бока и, чтобы опять заснуть, устроился поудобнее, обхватив рукой подушку, сооруженную из аккуратно свернутой одежды, в которую были засунуты его сандалии на веревочной подошве.

Тут он почувствовал прикосновение к своему плечу и быстро обернулся, правой рукой схватившись за револьвер.

— Это ты, — сказал он и, отпустив револьвер, выпростал обе руки из мешка и притянул ее

к себе. Обнимая ее, он почувствовал, как она дрожит.

— Забирайся в мешок, — сказал он тихо. — Тебе же холодно там.

— Нет. Не надо.

— Забирайся, — сказал он. — Потом поговорим.

Она вся дрожала, и он одной рукой взял ее за руку, а другой опять легонько обнял. Она отвернула голову.

— Иди сюда, зайчонок, — сказал он и поцеловал ее в затылок.

— Я боюсь.

— Нет. Не надо бояться. Иди сюда.

— А как?

— Просто влезай. Места хватит. Хочешь, я тебе помогу?

— Нет, — сказала она, и вот она уже в мешке, и он крепко прижал ее к себе и хотел поцеловать в губы, но она спрятала лицо в его подушку и только крепко обхватила руками его шею. Потом он почувствовал, что ее руки разжались и она опять вся дрожит.

— Нет, — сказал он и засмеялся. — Не бойся. Это револьвер. — Он взял его и переложил себе за спину.

— Мне стыдно, — сказала она, не поворачивая

головы.

— Нет, тебе не должно быть стыдно. Ну? Ну что?

— Нет, не надо. Мне стыдно, и я боюсь.

— Нет. Зайчонок мой. Ну прошу тебя.

— Не надо. Раз ты меня не любишь.

— Я люблю тебя.

— Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Положи мне руку на голову, — сказала она, все еще пряча лицо в подушку. Он положил ей руку на голову и погладил, и вдруг она подняла лицо с подушки и крепко прижалась к нему, и теперь ее лицо было рядом с его лицом, и он обнимал ее, и она плакала.

Он держал ее крепко и бережно, ощущая всю длину ее молодого тела, и гладил ее по голове, и целовал соленую влагу на ее глазах, и когда она всхлипывала, он чувствовал, как вздрагивают под рубашкой ее маленькие круглые груди.

— Я не могу поцеловать тебя, — сказала она. — Я не умею.

— Совсем это и не нужно.

— Нет. Я хочу тебя поцеловать. Я все хочу делать.

— Совсем не нужно что-нибудь делать. Нам и так хорошо. Только на тебе слишком много

надето.

— Как же быть?

— Я помогу тебе.

— Теперь лучше?

— Да. Гораздо. А тебе разве не лучше?

— Да. Гораздо лучше. И я поеду с тобой, как сказала Пилар.

— Да.

— Только не в приют. Я хочу с тобой.

— Нет, в приют.

— Нет. Нет. Нет. С тобой, и я буду твоя жена.

Они лежали рядом, и все, что было защищено, теперь осталось без защиты. Где раньше была шершавая ткань, все стало гладко чудесной гладкостью, и круглилось, и льнуло, и вздрагивало, и вытягивалось, длинное и легкое, теплое и прохладное, прохладное снаружи и теплое внутри, и крепко прижималось, и замирало, и томило болью, и дарило радость, жалобное, молодое и любящее, и теперь уже все было теплое и гладкое и полное щемящей, острой, жалобной тоски, такой тоски, что Роберт Джордан не мог больше выносить это и спросил:

— Ты уже любила кого-нибудь?

— Никогда.

Потом вдруг сникнув, вся помертвев в его объ-

ятиях:

— Но со мной делали нехорошее.

— Кто?

— Разные люди.

Теперь она лежала неподвижно, застывшая, точно труп, отвернув голову.

— Теперь ты не захочешь меня любить.

— Я тебя люблю, — сказал он.

Но что-то произошло в нем, и она это знала.

— Нет, — сказала она, и голос у нее был тусклый и безжизненный. — Ты меня не будешь любить. Но, может быть, ты отвезешь меня в приют. И я буду жить в приюте, и никогда не буду твоей женой, и ничего вообще не будет.

— Я тебя люблю, Мария.

— Нет. Это неправда, — сказала она. Потом жалобно и с надеждой, словно цепляясь за последнее: — Но я никогда никого не целовала.

— Так поцелуй меня.

— Я хотела тебя поцеловать, — сказала она. — Но я не умею. Когда со мной это делали, я дралась так, что ничего не видела. Я сопротивлялась, пока… пока один не сел мне на голову, а я его укусила, — и тогда они завязали мне рот и закинули руки за голову, а остальные делали со мной нехорошее.

— Я тебя люблю, Мария, — сказал он. — И никто ничего с тобой не делал. Тебя никто не смеет тронуть и не может. Никто тебя не трогал, зайчонок.

— Ты правда так думаешь?

— Я не думаю, я знаю.

— И ты меня не разлюбил? — Она опять стала теплая рядом с ним.

— Я тебя люблю еще больше.

— Я постараюсь поцеловать тебя очень крепко.

— Поцелуй меня чуть-чуть.

— Я не умею.

— Ну просто поцелуй.

Она целовала его в щеку.

— Не так.

— А куда же нос? Я всегда про это думала — куда нос?

— Ты поверни голову, вот. — И тогда их губы сошлись тесно-тесно, и она лежала совсем вплотную к нему, и понемногу ее губы раскрылись, и вдруг, прижимая ее к себе, он почувствовал, что никогда еще не был так счастлив, так легко, любовно, ликующе счастлив, без мысли, без тревоги, без усталости, полный только огромного наслаждения, и он сказал: — Мой маленький зайчонок. Моя любимая. Моя длинноногая радость.

— Как ты сказал? — спросила она как будто

откуда-то издалека.

— Моя радость, — сказал он.

Так они лежали, и он чувствовал, как ее сердце бьется около его сердца, и своей ногой легонько поглаживал ее ногу.

— Ты пришла босиком, — сказал он.

— Да.

— Значит, ты знала, что ляжешь тут?

— Да.

— И не боялась?

— Боялась. Очень. Но еще больше боялась, как это будет, если снимать башмаки.

— Который теперь час, ты не знаешь?

— Нет. А разве у тебя нет часов?

— Есть. Но они за твоей спиной.

— Достань их.

— Не хочу.

— Так посмотри через мое плечо.

Было ровно час. Циферблат ярко светился в темноте мешка.

— У тебя подбородок колется.

— Прости. Мне нечем побриться.

— Мне нравится так. У тебя борода светлая?

— Да.

— И она вырастет длинная?

— Не успеет до моста. Мария, слушай. Ты…

— Что я?

— Ты хочешь?

— Да. Все. Я хочу все. Если у нас с тобой будет все, может быть, станет так, как будто того, другого, не было.

— Это ты сама надумала?

— Нет. Я думала, но это Пилар мне так сказала.

— Она мудрая.

— И еще одно, — совсем тихо проговорила Мария. — Она велела мне сказать тебе, что я не больна. Она понимает во всем этом, и она велела сказать тебе.

— Она велела сказать мне?

— Да. Я с ней говорила и сказала, что я тебя люблю. Я тебя полюбила, как только увидела сегодня, я тебя всегда любила, еще до того, как встретила, и я сказала Пилар, и она сказала, если только я когда-нибудь буду говорить с тобой обо всем, что было, я должна сказать тебе, что я не больна. А про то, другое, она мне уже давно сказала. Вскоре после поезда.

— Что же она сказала?

— Она сказала, что человеку ничего нельзя сделать, если его душа против, и что, если я кого полюблю, будет так, как будто того вовсе не было. Понимаешь, мне тогда хотелось умереть.

— То, что она сказала, — правда.

— А теперь я рада, что не умерла. Я так рада, что я не умерла. Ты будешь меня любить?

— Да. Я и теперь тебя люблю.

— И я буду твоя жена?

— Когда занимаешься таким делом, нельзя иметь жену. Но сейчас ты моя жена.

— Раз сейчас, значит, и всегда так будет. Сейчас я твоя жена?

— Да, Мария. Да, мой зайчонок.

Она прижалась к нему еще теснее, и ее губы стали искать его губы, и нашли, и приникли к ним, и он почувствовал ее, свежую, и гладкую, и молодую, и совсем новую, и чудесную своей обжигающей прохладой, и непонятно откуда взявшуюся здесь, в этом мешке, знакомом и привычном, как одежда, как башмаки, как его долг, и она сказала несмело:

— Давай теперь скорее сделаем так, чтобы то все ушло.

— Ты хочешь?

— Да, — сказала она почти исступленно. — Да. Да. Да.

Глава восьмая

Ночь была холодная, и Роберт Джордан спал крепко. Один раз он проснулся и, пошевелившись, почувствовал, что девушка рядом свернулась комочком, спиной к нему, и дышит легко и ровно; и, втянув голову в мешок, подальше от ночного холода и твердого, утыканного звездами неба и студеного воздуха, забиравшегося в ноздри, он поцеловал в темноте ее гладкое плечо. Она не проснулась, и он перевернулся на другой бок и, высунув голову снова на холод, с минуту полежал еще, наслаждаясь тягучей, разнеживающей усталостью и теплым, радостным касанием двух тел, а потом вытянул ноги во всю длину мешка и тут же снова скатился в сон.

Он проснулся опять, когда забрезжил день и девушки уже не было с ним. Он понял это, как только проснулся, и, протянув руку, нащупал место, согретое ее телом. Он посмотрел на пещеру: попона над входом заиндевела за ночь, а из трещины в скале шел легкий серый дымок, означавший, что в очаге развели огонь.

Из лесу вышел человек в одеяле, накинутом

на голову на манер пончо. Во рту у него была папироса, и Роберт Джордан узнал Пабло. Должно быть, лошадей в загон ставил.

Пабло откинул попону и вошел в пещеру, не взглянув на Роберта Джордана.

Роберт Джордан погладил рукой шершавую от инея, старую, пятнисто-зеленую, сделанную из парашютного щелка покрышку спального мешка, прослужившего ему добрых пять лет, потом-снова спрятался в него до подбородка. «Bueno»[13], — сказал он себе, почувствовав знакомый уют фланелевой подкладки, и, стараясь поудобнее улечься, сначала широко раскинул ноги, потом сдвинул их, потом перевернулся на бок, затылком в ту сторону, откуда должно было появиться солнце. «Qué más da[14], я еще могу поспать немножко».

Он спал, пока его не разбудил шум самолетов.

Перекатившись на спину, он сразу увидел их: фашистский патруль из трех маленьких, блестевших на солнце «фиатов» быстро скользил по сжатому горами небу в ту сторону, откуда он вчера пришел с Ансельмо. Они пролетели и

---

[13] Примечания: 13
Хорошо (*исп.*).

[14] Примечания: 14
Ну ладно (*исп.*).

скрылись, но за ними появились еще девять, летевших на большой высоте тремя крошечными острыми косячками: три, три и три.

Пабло и цыган стояли в тени у входа в пещеру, подняв головы к небу, а Роберт Джордан лежал и не двигался; теперь все небо грохотало мерным гулом моторов, но вдруг к нему примешался зудящий звук, и еще три самолета появились над самой прогалиной, на высоте менее тысячи футов. Это были двухмоторные бомбардировщики «хейнкель-111».

У Роберта Джордана голова была в тени, и он знал, что его не могут заметить, а если и заметят, это не имеет значения. Вот лошадей в загоне они, пожалуй, легко заметят, если ищут что-нибудь здесь, в горах. Если же не ищут, то, даже заметив, не догадаются ни о чем, а просто примут их за один из своих кавалерийских разъездов. Тут снова послышался зудящий звук, и показались еще три «хейнкеля-111», они летели еще ниже, стремительно, неуклонно, железным строем, их рев нарастал в непрерывном crescendo, переходя в сплошной оглушительный грохот, и потом, когда они миновали прогалину, стал затихать.

Роберт Джордан развернул сверток одежды, служивший ему подушкой, и стал надевать ру-

баху. Он еще не успел просунуть голову в ворот, как услышал приближение новой эскадрильи и, не вылезая из мешка, поспешно натянул брюки и замер. Еще три двухмоторных бомбардировщика появились в небе. Они пролетели и скрылись за ближайшей вершиной, а он в это время уже пристегнул револьвер к поясу, скатал свой мешок и положил его между камнями, но, пока, прислонясь спиною к скале, он завязывал башмаки, вновь возникшее жужжание моторов разрослось в громовой, оглушительный рев, и девять легких «хейнкелей» пронеслись над его головой, раскалывая пополам небо.

Роберт Джордан скользнул вдоль скалы ко входу в пещеру, где один из братьев, Пабло, цыган, Ансельмо, Агустин и женщина стояли и смотрели в небо.

— Летали здесь раньше такие самолеты? — спросил он.

— Никогда, — сказал Пабло. — Входи. Они увидят тебя. — Солнце еще не добралось до входа в пещеру. Сейчас оно освещало поляну у ручья, и Роберт Джордан знал, что в темной утренней тени деревьев и густой тени, падавшей от скалы, разглядеть кого-нибудь трудно, но для их спокойствия он вошел в пещеру.

— Много их, — сказала женщина.

— Будет еще больше, — сказал Роберт Джордан.

— Откуда ты знаешь? — подозрительно спросил Пабло.

— За такими всегда летят истребители.

И тотчас же послышался тонкий, подвывающий гул, и Роберт Джордан насчитал пятнадцать «фиатов», летевших на высоте пяти тысяч футов, растянувшись клином из маленьких клинышков по три, точно стая диких гусей в полете.

Лица у всех были серьезные, и Роберт Джордан спросил:

— Вы никогда не видели столько самолетов сразу?

— Никогда, — сказал Пабло.

— В Сеговии их немного?

— Там никогда много не было, больше трех сразу не увидишь. Ну, еще истребители, тех иногда бывает по шестерке. Или три «юнкерса», больших, трехмоторных и с каждым по истребителю. А таких мы никогда не видали.

Скверно, подумал Роберт Джордан. Совсем скверно. Не зря сюда гонят такое количество самолетов. Надо послушать, не началась ли бомбежка. Но нет, наши еще не могли подтянуть сюда

войска для наступления. Конечно, они начнут только сегодня вечером или завтра, не раньше. Пока там, конечно, ничего не началось.

Гул постепенно затихал вдалеке. Роберт Джордан взглянул на часы. Сейчас они уже перелетели линию фронта, первые — во всяком случае. Он включил секундомер и смотрел, как стрелка обегает циферблат. Нет, пожалуй, еще нет. Вот теперь. Да. Теперь уже наверное. Эти «111» делают двести пятьдесят миль в час. Тут им лету пять минут, не больше. Сейчас они уже давно миновали ущелье и летят над Кастилией; в свете утреннего солнца она расстилается под ними, красновато-желтая, исчерченная белыми полосками дорог и пятнами деревушек, и тени «хейнкелей» скользят по земле, как тени больших акул по песчаному дну океана.

Глухих ударов бомб, бум-бум-бум, не было слышно. Только тикали часы в тишине.

Они полетели на Кольменар, к Эскуриалу, а может быть, к аэродрому в Монсанарес-эль-Реаль, подумал он, туда, где над озером стоит старый замок и в камышах водятся утки, а чуть подальше настоящего аэродрома устроен ложный аэродром с бутафорскими самолетами, у которых пропеллеры вертятся на ветру. Вот туда они скорей

всего и полетели. Но ведь они не могут знать про наступление, сказал он себе, и сейчас же что-то в нем возразило — а почему не могут? Знали же они про все прежние наступления.

— Как ты думаешь, видели они лошадей? — спросил Пабло.

— Они не лошадей искали, — сказал Роберт Джордан.

— Но они их видели?

— Разве только если им было поручено их искать.

— Но они могли их увидеть?

— Едва ли, — сказал Роберт Джордан. — Разве если верхушки деревьев уже освещало солнце.

— Там с самого утра солнце, — горестно сказал Пабло.

— У них есть дела поважнее, чем высматривать твоих лошадей, — сказал Роберт Джордан.

Уже восемь минут прошло с тех пор, как он засек время, а бомбежки все не было слышно.

— Что ты все смотришь на часы? — спросила женщина.

— Слушаю, куда полетели самолеты.

— О! — сказала она.

Когда прошло десять минут, он перестал смотреть на часы, зная, что теперь уже слишком

далеко и ничего услышать нельзя, даже если положить минуту на прохождение звука.

Он повернулся к Ансельмо и сказал:

— Мне нужно поговорить с тобой.

Они с Ансельмо отошли на несколько шагов от пещеры и остановились под сосной.

— Qué tal? — спросил его Роберт Джордан. — Как дела?

— Хороши.

— Ты уже поел?

— Нет. Никто еще не ел.

— Тогда поешь и чего-нибудь захвати с собой. Мне нужно установить наблюдение за дорогой. Ты пойдешь и будешь отмечать все, что проходит и проезжает по дороге в ту сторону и в эту.

— Я не умею писать.

— И не нужно. — Роберт Джордан вырвал из записной книжки два листка бумаги и ножом отрезал кусочек от своего карандаша, с дюйм длиной. — Вот смотри, это будут танки. — Он нарисовал нечто вроде танка. — Теперь на каждый танк ставь под этим палочку, а когда поставишь четыре рядом, пятую ставь поперек, вот так.

— У нас тоже так считают.

— И прекрасно. Теперь смотри: квадратик и два колеса — это будут грузовики. Если пустые,

ставь кружочек. Если с людьми, ставь черточку. Отмечай все орудия. Большие — так. Маленькие — так. Отмечай легковые машины и отдельно санитарные. Вот так, два колеса и квадрат с крестиком. Пехоту отмечай по ротам, вот так, видишь? Маленький квадратик и рядом значок. Кавалерию отмечай вот так, смотри. Как будто лошадь. Квадрат на четырех ножках. Это будет отряд в двадцать человек. Понятно? На каждый отряд — палочку.

— Да. Это ты ловко придумал.

— Смотри дальше. — Он нарисовал два больших колеса, обведя их дважды, и ствол в виде короткой черточки. — Это противотанковые пушки. Они на резиновом ходу. Тоже отмечай. Это зенитные. — Он нарисовал два колеса и ствол, торчащий кверху. — Тоже отмечай. Понятно? Ты такие пушки видел?

— Да, — сказал Ансельмо. — Чего тут не понять. Все ясно.

— Возьми с тобой цыгана, пусть он посмотрит, где ты будешь сидеть, чтобы можно было потом сменить тебя. Выбери хорошее, безопасное место, не слишком близко, но так, чтобы тебе было удобно и хорошо видно. Сиди там, пока тебя не сменят.

— Понятно.

— Ну вот. И когда ты придешь, я буду знать обо всех передвижениях по дороге. На этом листке отмечай то, что идет туда, а на этом — то, что идет оттуда.

Они вернулись к пещере.

— Пошли сюда Рафаэля, — сказал Роберт Джордан и стал у дерева, ожидая. Он видел, как Ансельмо вошел в пещеру и как упала за ним попона. Через минуту из пещеры выскочил цыган, отирая рукой губы.

— Ну как? — спросил цыган. — Повеселился сегодня ночью?

— Ночью я спал.

— Тем лучше, — сказал цыган и ухмыльнулся. — Папиросы есть?

— Слушай, — сказал Роберт Джордан, опуская руку в карман за папиросами. — Я хочу, чтобы ты вместе с Ансельмо отправился к посту, откуда он будет наблюдать за дорогой. Там ты его оставишь, хорошенько заметив место, так чтобы ты мог проводить туда меня или того, кто пойдет ему на смену. Потом ты выйдешь на склон, с которого видна лесопилка, и посмотришь, нет ли там перемен.

— Каких перемен?

— Сколько там сейчас людей?

— Восемь. Так было, когда я последний раз смотрел.

— Ну вот, посмотришь, сколько сейчас. И проследи, через какой интервал сменяются часовые у моста.

— Интервал?

— Ну, сколько времени часовой проводит на посту и когда происходит смена.

— А у меня часов нет.

— Возьми мои. — Он отстегнул ремешок.

— Вот так часы! — сказал Рафаэль восхищенно. — Чего тут только нет. Такие часы, верно, сами читать-писать умеют. Сколько тут разных цифр. Это всем часам часы.

— Не балуйся с ними, — сказал Роберт Джордан. — Ты время узнавать умеешь?

— А как же! Двенадцать часов дня — это когда есть хочется. Двенадцать часов ночи — это когда спать хочется. Шесть часов утра — это когда опять есть хочется. Шесть часов вечера — это когда пить хочется. Если повезет, то и напьешься. Десять часов вечера — это когда…

— Заткнись, — сказал Роберт Джордан. — Нечего балагурить. Я хочу, чтобы ты проверил, когда сменяются часовые не только на лесопилке и

у маленького моста, но и у большого моста, и в домике дорожного мастера.

— Это что-то очень много, — засмеялся цыган. — Может, ты лучше кого другого пошлешь?

— Нет, Рафаэль. Это очень важно. Ты должен сделать все очень осторожно и постараться, чтоб тебя не заметили.

— Еще бы мне не стараться, — сказал цыган. — Зачем ты мне это говоришь, чтоб я старался? Думаешь, мне жизнь надоела?

— Будь хоть немножко посерьезнее, — сказал Роберт Джордан. — Это ведь серьезное дело.

— Ты меня просишь быть посерьезнее? После того как ты себя показал этой ночью? Ты должен был убить человека, а ты чем занялся? Вместо того чтобы сделать одним человеком меньше, ты решил сделать одним больше. И это когда мы видели столько самолетов, что им ничего не стоит перебить нас всех с дедами и прадедами и нерожденными внучатами на сто лет вперед, а заодно и всех коз, кошек и клопов. Полное небо самолетов, и они ревут так, что от их рева у твоей матери молоко бы в грудях свернулось, — а ты меня просишь быть посерьезнее? Я даже слишком серьезен.

— Ну ладно, — сказал Роберт Джордан и, засме-

явшись, положил цыгану руку на плечо. — Слишком серьезным тоже быть не надо. Иди кончай свой завтрак и отправляйся.

— А ты? — спросил цыган. — Что ты будешь делать?

— Я пойду к Глухому.

— После этих самолетов ты тут во всей округе живой души не встретишь, — сказал цыган. — Многих, должно быть, в пот бросило, когда они пролетали.

— У них есть дела поважнее, чем выслеживать партизан.

— Так-то так, — сказал цыган. Потом покачал головой. — А если они и этим не погнушаются?

— Qué va, — сказал Роберт Джордан. — Это лучшие немецкие легкие бомбардировщики. Такие за цыганами не охотятся.

— У меня от них мурашки по телу, — сказал Рафаэль. — Да, да, я этих штук боюсь.

— Они полетели бомбить аэродром, — ответил ему Роберт Джордан, вместе с ним входя в пещеру. — Я уверен, что они за этим полетели.

— Ты что там говоришь? — спросила жена Пабло. Она налила Роберту Джордану кружку кофе и протянула банку сгущенного молока.

— Даже молоко! Чего только у вас нет!

— У нас всего много, — сказала она. — А особенно страху после этих самолетов. Как ты сказал, куда они полетели?

Роберт Джордан нацедил себе в кружку молока из щели, прорезанной в банке, обтер банку о край кружки и стал помешивать кофе, пока он не принял светло-коричневый оттенок.

— Я думаю, что они полетели бомбить аэродром. А может быть, и туда и сюда.

— Пусть бы летели подальше и сюда не возвращались, — сказал Пабло.

— А почему они залетели сюда? — спросила женщина. — Откуда они взялись? Мы никогда не видели таких самолетов. И так много. Может быть, это подготовка к наступлению?

— Какие передвижения были вчера на дороге? — спросил Роберт Джордан. Девушка Мария была рядом, но он не смотрел на нее.

— Эй, Фернандо, — сказала женщина. — Ты вчера был в Ла-Гранхе. Какие там были передвижения?

— Никаких, — ответил приземистый, простодушный на вид человек лет тридцати пяти, которого Роберт Джордан раньше не видел. Он косил на один глаз. — Несколько грузовиков, как всегда. Две-три легковые машины. Войска при

мне не проходили.

— Ты каждый вечер ходишь в Ла-Гранху? — спросил его Роберт Джордан.

— Не я, так другой, — сказал Фернандо. — Кто-нибудь всегда ходит.

— Ходят узнавать новости и за табаком. И за всякой всячиной, — сказала женщина.

— Там есть наши?

— Есть. А как же? Рабочие на электростанции. И еще есть.

— Какие же новости ты слыхал вчера?

— Pues nada. Никаких. На севере дела плохи. Это не новость. На севере с самого начала плохи дела.

— А про Сеговию ничего не слыхал?

— Нет, hombre[15]. Я не спрашивал.

— Ты и в Сеговию ходишь?

— Иногда, — сказал Фернандо. — Но там опасно. Там всюду патрули, спрашивают бумаги.

— Ты знаешь там аэродром?

— Нет, hombre. Где он — я знаю, только близко не подходил никогда. Там сразу бумаги спрашивают.

— Вчера не было разговоров про эти самолеты?

---

[15] Примечания: 15

Буквально: человек, мужчина (*исп.*). Здесь: приятель, дружище.

— В Ла-Гранхе? Нет. Зато уж сегодня наверняка будут. Вчера все говорили про речь Кейпо де Льяно по радио. А больше ничего. Ах да. Еще толковали, будто Республика готовит наступление.

— Что, что?

— Будто Республика готовит наступление.

— Где?

— Этого никто не знает. Может быть, здесь. Может быть, в другой части Сьерры. А ты слыхал про это?

— Так говорили в Ла-Гранхе?

— Да, hombre. Я и забыл совсем. Но подобные толки часто ходят.

— Откуда же они берутся?

— Откуда? От разных людей. Зайдут два офицера в кафе в Сеговии или в Авиле, поговорят между собой, а официант услышит. Вот и пошел слух. Теперь вот стали говорить, что будет наступление в наших местах.

— Чье наступление — Республики или фашистов?

— Республики. Если бы фашистов, тогда бы уж все точно знали. Нет, это будет большое наступление! Кто говорит — даже два. Одно здесь, а другое за Альто-дель-Леон, около Эскуриала. Ты про это ничего не слышал?

— А еще что говорят?

— Nada, hombre. Ничего. Ах да. Еще говорят, что республиканцы собираются взорвать мосты в горах, если будет наступление. Да ведь там везде охрана.

— Ты что, шутишь? — сказал Роберт Джордан, потягивая кофе.

— Нет, зачем же, — сказал Фернандо.

— Этот никогда не шутит, — сказала женщина. — И жаль, что он не шутит.

— Так, — сказал Роберт Джордан. — Ну, спасибо за новости. Больше ты ничего не слышал?

— Нет. Говорят, как всегда, будто скоро пошлют войска очистить эти горы. Будто даже они уж и выступили. Будто их послали из Вальядолида. Но это всегда говорят. Не стоит и прислушиваться.

— Слыхал? — сказала женщина, обращаясь к Пабло, почти злорадно. — Вот тебе твои разговоры о безопасности.

Пабло посмотрел на нее задумчиво и почесал подбородок.

— А ты слыхала? — сказал он. — Вот тебе твои мосты.

— Какие мосты? — весело спросил Фернандо.

— Тупица, — сказала ему женщина. — Медный

лоб. Tonto[16]. Налей себе еще кофе и постарайся припомнить остальные новости.

— Не злись, Пилар, — сказал Фернандо спокойно и весело. — Из-за слухов не стоит тревожиться. Я сказал тебе и этому товарищу все, что мог вспомнить.

— Ты верно ничего больше не помнишь? — спросил Роберт Джордан.

— Верно, — с важностью отвечал Фернандо. — Хорошо еще, что я и столько запомнил, потому что, раз уж я знаю, что все это пустые слухи, я и не стараюсь обращать на них внимание.

— Значит, там еще что-то говорили?

— Да, очень возможно. Только я не обращал внимания. Вот уж год, как все, о чем ни говорят, — пустые слухи.

Роберт Джордан услышал, как стоявшая позади него Мария прыснула со смеху:

— Расскажи нам еще про какие-нибудь слухи, Фернандито, — сказала она, и плечи у нее опять затряслись.

— Даже если бы вспомнил, и то не стал бы рассказывать, — сказал Фернандо. — Не к лицу человеку обращать внимание на слухи.

---

[16] Примечания: 16
Дурень (*исп.*).

— И вот такие будут спасать Республику! — сказала женщина.

— Нет, ты ее спасешь, взрывая мосты, — ответил ей Пабло.

— Идите, — сказал Роберт Джордан Рафаэлю и Ансельмо. — Если вы уже поели.

— Мы идем, — сказал старик, и они оба встали.

Чья-то рука легла Роберту Джордану на плечо. Это была Мария.

— Ешь, — сказала она, не снимая руки. — Ешь побольше, чтобы твой желудок легче переваривал слухи.

— От этих слухов у меня аппетит пропал.

— Нет. Так не должно быть. Поешь, пока не дошли до нас новые слухи. — Она поставила перед ним миску.

— Не подшучивай надо мной, — сказал Фернандо. — Я ведь тебе друг, Мария.

— Я над тобой не подшучиваю, Фернандо. Это я с ним шучу, чтоб он ел, а то останется голодным.

— Нам всем есть пора, — сказал Фернандо. — Пилар, что такое случилось, что нам не подают?

— Ничего, друг, — сказала жена Пабло и положила ему в миску тушеного мяса. — Ешь. Хоть это ты умеешь. Ешь, ешь!

— Очень вкусное мясо, Пилар, — сказал Фер-

нандо, не теряя своей важности.

— Спасибо, — сказала женщина. — Спасибо и еще раз спасибо.

— Ты злишься на меня? — спросил Фернандо.

— Нет. Ешь. Почему ты не ешь?

— Я ем, — сказал Фернандо. — Спасибо.

Роберт Джордан увидел, что у Марии опять затряслись плечи и она отвернулась в сторону. Фернандо ел методично, с лица его не сходило важное и горделивое выражение; этой важности не нарушал даже вид огромной ложки, которой он орудовал, и струйки соуса, бежавшие по его подбородку.

— Так тебе нравится мясо? — спросила его жена Пабло.

— Да, Пилар, — сказал он с полным ртом. — Оно такое, как всегда.

Рука Марии легла на локоть Роберта Джордана, и он почувствовал, что у нее даже пальцы дрожат от удовольствия.

— Верно, потому оно тебе и нравится? — спросила у Фернандо женщина. — Да, — продолжала она. — Ну конечно. Мясо, как всегда, como siempre. На севере дела плохи, как всегда. Наступление готовится, как всегда. Солдаты идут гнать нас отсюда, как всегда. Тебя бы памятником поставить

на площади и написать: как всегда.

— Да ведь это же только слухи, Пилар.

— Испания, — с горечью сказала жена Пабло. Потом повернулась к Роберту Джордану: — Есть такие люди в другой какой-нибудь стране?

— Нет другой такой страны, как Испания, — вежливо сказал Роберт Джордан.

— Ты прав, — сказал Фернандо. — Во всем свете нет другой такой страны.

— А ты бывал в других странах? — спросила его женщина.

— Нет, — сказал Фернандо. — Не бывал и не хочу.

— Слыхал? — сказала женщина Роберту Джордану.

— Фернандито, — сказала Мария, — расскажи нам, как ты ездил в Валенсию.

— Не понравилась мне Валенсия.

— Почему? — спросила Мария и опять сжала локоть Роберта Джордана. — Почему же она тебе не понравилась?

— Люди там невоспитанные и говорят так, что их не поймешь. Только и знают, что орут друг другу: ché?[17]

---

[17] Примечания: 17
Чего? (*каталанск.*)

— А они тебя понимали? — спросила Мария.

— Понимали, только притворялись, что не понимают, — сказал Фернандо.

— Что же ты там делал, в Валенсии?

— А я сразу и уехал, даже моря не посмотрел, — сказал Фернандо. — Люди мне там не понравились.

— Вон с моих глаз, ты, старая дева, — сказала ему жена Пабло. — Вон, а то меня сейчас стошнит от тебя. В Валенсии я провела самые прекрасные дни моей жизни. Vamos[18], Валенсия! Не говорите мне о Валенсии.

— А что ты там делала? — спросила Мария.

Жена Пабло уселась за стол и поставила перед собой кружку кофе, хлеб и миску с мясом.

— Qué?[19] Ты спроси, что *мы там* делали? Я ездила туда с Финито, у него был контракт на три боя во время ярмарки. В жизни я не видела столько народу. В жизни не видела таких переполненных кафе. Часами надо было дожидаться столика, а в трамвай и вовсе не сядешь. День и ночь там все кипело ключом, в Валенсии.

— А что же ты там делала? — спросила Мария.

---

[18] Примечания: 18
Еще чего (*исп.*).

[19] Примечания: 19
Что? (*исп.*)

— Мало ли что, — сказала женщина. — Мы ходили на пляж, и лежали в воде, и смотрели, как быки вытаскивают из моря большие парусные лодки. Быков загоняют в море на большую глубину и там впрягают в лодки; и они спешат назад, на берег, сначала вплавь, а потом, как почуют дно под ногами, так чуть не бегом бегут. Утро, и маленькие волны бьются о берег, и десять пар быков тянут из моря лодку под всеми парусами. Вот это и есть Валенсия.

— Что же ты еще делала, когда не смотрела на быков?

— Мы завтракали в павильонах на пляже. Пирожки с жареной и мелкорубленой рыбой, и перцем, красным и зеленым, и маленькими орешками, похожими на зерна риса. Тесто нежное и рассыпчатое, а рыба так и тает во рту. Креветки только что из воды, политые лимонным соком. Розовые и сладкие и такие крупные — раза четыре куснешь. Мы много их ели. А еще мы ели paella из риса со всякой морской мелочью — рачками, моллюсками, ракушками, маленькими угрями. Угрей мы еще ели отдельно, жаренных в масле, их не надо было даже разжевывать. И пили мы при этом белое вино, холодное, легкое и очень вкусное, по тридцать сантимо бутылка. А на за-

куску — дыня. Там ведь родина дынь.

— Кастильские дыни лучше, — сказал Фернандо.

— Qué va, — сказала жена Пабло. — Кастильские дыни — это только срам один. Если хочешь знать вкус дыни, возьми валенсийскую. Как вспомню эти дыни, длинные, точно рука от кисти до плеча, зеленые, точно море, и сочные, и хрустящие под ножом, а на вкус — слаще, чем летнее утро. А как вспомню этих угрей — крошечные, нежные, сложенные горкой на тарелке. Или пиво, которое мы пили с самого полудня из кружек с добрый кувшин величиной, такое холодное, что стекло всегда запотевало.

— А что ты делала, когда не пила и не ела?

— Мы любили друг друга в комнате, где на окнах висели шторы из тонких деревянных планок, а верхняя рама балконной двери откидывалась на петлях, и в комнату задувал легкий ветер. Мы любили друг друга в этой комнате, где даже днем было темно от опущенных штор и, пахло цветами, потому что внизу был цветочный рынок, и еще пахло жженым порохом от шутих, которые то и дело взрывались во все время ярмарки. По всему городу тянулась traca — целая сеть фейерверочных петард, они все были соединены друг

с другом и зажигались от трамвайных искр, и тогда по всем улицам стоял такой треск и грохот, что трудно даже представить себе. Мы любили друг друга, а потом опять посылали за пивом; служанка принесет запотевшие от холода кружки, а я приму их от нее в дверях и приложу холодное стекло к спине Финито, а тот спит и не слышит, как принесли пиво, и сквозь сон говорит: «Ну-у, Пилар. Ну-у, женщина, дай поспать». А я говорю: «Нет, ты проснись и выпей, посмотри, какое оно холодное», — и он выпьет, не раскрывая глаз, и опять заснет, а я сижу, прислонившись к подушке в ногах кровати, и смотрю, как он спит, смуглый и черноволосый, и молодой, и такой спокойный во сне, и одна выпиваю все пиво, слушая, как играет оркестр, проходящий по улице. А ты что? — сказала она Пабло. — Разве ты можешь это понимать?

— У нас с тобой тоже есть что вспомнить, — ответил Пабло.

— Да, — сказала женщина. — Да, конечно. В свое время ты был даже больше мужчиной, чем Финито. Но мы с тобой никогда не ездили в Валенсию. Никогда мы не ложились в постель под звуки оркестра, проходящего по улицам Валенсии.

— Мы не могли, — сказал ей Пабло. — У нас не было случая поехать в Валенсию. Ты сама это

знаешь, только не хочешь подумать об этом. А зато с Финито тебе ни разу не случалось пустить под откос поезд.

— Да, — сказала женщина. — Только это нам теперь и осталось. Поезд. Да. Поезд, это верно. Против этого ничего не скажешь. При всей лени, никчемности и слюнтяйстве. При всей теперешней трусости. Я не хочу быть несправедливой. Но против Валенсии тоже ничего не скажешь. Слышите, что я говорю?

— Мне она не понравилась, — невозмутимо сказал Фернандо. — Мне не понравилась Валенсия.

— А еще говорят, мулы упрямы, — сказала женщина. — Убирай посуду, Мария. Пора идти.

И тут они услышали шум возвращающихся самолетов.

Глава девятая

Они столпились у выхода из пещеры и следили за ними. Звенья бомбардировщиков, напоминавшие грозные разлатые наконечники стрел, шли теперь высоко и быстро, раздирая небо ревом своих моторов. Они, правда, похожи на акул, подумал Роберт Джордан, на акул Гольфстрима — остроносых, с широкими плавниками. Но движутся они, сверкая на солнце серебром широких плавников и легкой дымкой пропеллеров, — эти движутся совсем по-другому, чем акулы. Их движение не похоже ни на что на свете. Они как механизированный рок.

Тебе надо писать, сказал он себе. Что ж, может быть, когда-нибудь опять примешься за это. Он почувствовал, как Мария взяла его за локоть. Она смотрела в небо, и он сказал ей:

— Как по-твоему, guapa[20], на что они похожи?

— Не знаю, — сказала она. — Должно быть, на смерть.

— А по-моему, просто на самолеты, — сказала жена Пабло. — Куда же девались те, маленькие?

---

[20] Примечания: 20
Красавица, милая (*исп.*).

— Наверно, перелетают через горы в другом месте, — сказал Роберт Джордан. — У бомбардировщиков скорость больше, поэтому они не ждут тех и возвращаются назад одни. Мы их никогда не преследуем за линию фронта. Машин мало, рисковать нельзя.

В эту минуту три истребителя типа «хейнкель», держа курс прямо на них, показались, покачивая крыльями, над самой прогалиной, чуть повыше деревьев, точно стрекочущие, тупоносые, уродливые игрушки, и вдруг с грозной стремительностью выросли до своей настоящей величины и умчались в подвывающем реве моторов. Они прошли так низко, что все, кто стоял у входа в пещеру, увидели летчиков в очках и кожаных шлемах, увидели даже шарф, развевающийся за спиной у ведущего.

— Эти могут заметить лошадей, — сказал Пабло.

— Эти и огонек твоей сигареты заметят, — сказала женщина. — Опустите попону.

Больше самолетов не было. Остальные, должно быть, перелетели через горы в другом месте, и когда гул затих, все вышли из пещеры.

Небо было теперь пустое, высокое, синее и чистое.

— Как сон, от которого очнешься среди ночи, — сказала Мария Роберту Джордану.

Больше ничего не было слышно, даже того почти неуловимого жужжания, которое иногда остается, когда звук уже замер вдали, — будто кто-то слегка зажимает тебе пальцем ухо и отпускает, зажимает и снова отпускает.

— Никакой это не сон, и ты лучше пойди убери посуду, — сказала ей Пилар. — Ну как? — Она повернулась к Роберту Джордану. — Поедем или пойдем пешком?

Пабло взглянул на нее и что-то буркнул.

— Как хочешь, — сказал Роберт Джордан.

— Тогда пешком, — сказала она. — Это полезно для моей печени.

— Верховая езда тоже полезна для печени.

— Для печени полезна, а для зада вредна. Мы пойдем пешком, а ты… — она повернулась к Пабло, — сходи пересчитай своих кляч, не улетела ли какая.

— Дать тебе верховую лошадь? — спросил Пабло Роберта Джордана.

— Нет. Большое спасибо. А как быть с девушкой?

— Ей тоже лучше прогуляться, — сказала Пилар. — А то натрудит себе всякие места и никуда

не будет годиться.

Роберт Джордан почувствовал, что краснеет.

— Как ты спал, хорошо? — спросила Пилар. Потом сказала: — Болезней никаких нет — это верно. А могли бы быть. Даже удивительно, как так получилось. Наверно, бог все-таки есть, хоть мы его и отменили. Ступай, ступай, — сказала она Пабло. — Тебя это не касается. Это касается тех, кто помоложе. Кто из другого, чем ты, теста. Ступай! — Потом Роберту Джордану: — За твоими вещами присмотрит Агустин. Он вернется, тогда мы пойдем.

День был ясный, безоблачный, и солнце уже пригревало. Роберт Джордан посмотрел на высокую смуглую женщину, на ее массивное, морщинистое и приятно некрасивое лицо, в ее добрые, широко расставленные глаза, — глаза веселые, а лицо печальное, когда губы не двигаются. Он посмотрел на нее, потом на Пабло, который шагал, коренастый, грузный, между деревьями к загону. Женщина тоже смотрела ему вслед.

— Ну, слюбились? — спросила женщина.

— А что она тебе сказала?

— Она ничего не сказала.

— Я тоже не скажу.

— Значит, слюбились. Ты береги ее.

— А что, если будет ребенок?

— Это не беда, — сказала женщина. — Это еще не беда.

— Здесь для этого не место.

— Она здесь не останется. Она пойдет с тобой.

— А куда я пойду? Туда, куда я пойду, женщину брать нельзя.

— Как знать. Может быть, туда, куда ты пойдешь, можно и двух взять.

— Не надо так говорить.

— Слушай, — сказала женщина. — Я не трусиха, но по утрам я все вижу ясно, вот мне и думается, что многие из тех, кто сейчас жив, не дождутся следующего воскресенья.

— А какой сегодня день?

— Воскресенье.

— Qué va, — сказал Роберт Джордан. — До следующего воскресенья еще долго. Если среды дождемся, и то хорошо. Но мне не нравится, что ты так говоришь.

— Нужно же человеку иногда поговорить, — сказала женщина. — Раньше у нас была религия и прочие глупости. А теперь надо, чтобы у каждого был кто-нибудь, с кем можно поговорить по душам, потому что отвага отвагой, а одиночество свое все-таки чувствуешь.

— У нас нет одиноких. Мы все вместе.

— Когда видишь такие машины, это даром не проходит, — сказала женщина. — Что мы против таких машин!

— А все-таки мы их бьем.

— Слушай, — сказала женщина. — Я призналась тебе в своих печальных мыслях, но ты не думай, что у меня не хватит решимости. Моя решимость как была, так и осталась.

— Печальные мысли — как туман. Взошло солнце — и они рассеялись.

— Ладно, — сказала женщина. — Пусть будет по-твоему. Может быть, это у меня от того, что я наговорила всякой чепухи про Валенсию. Или вон тот меня довел, — вон тот, конченый, что торопится посмотреть на своих лошадей. Я его очень обидела своими россказнями. Убить его можно. Обругать можно. Но обижать нельзя.

— Как это случилось, что вы вместе?

— А как это всегда случается? До войны и в первые дни войны он был человеком, настоящим человеком. А теперь его песенка спета. Затычку вынули, и все вино вытекло из бурдюка.

— Мне он не нравится.

— Ты ему тоже не нравишься, и не зря. Я ночью спала с ним. — Она улыбнулась и покачала

головой. — Vamos a ver[21], — сказала она. — Я говорю ему: «Пабло, почему ты не убил этого иностранца?» А Пабло мне: «Он неплохой, Пилар. Он малый неплохой». А я ему говорю: «Ты теперь понимаешь, что командую я?» — «Да. Пилар. Да». Потом среди ночи слышу — он не спит и плачет. Некрасиво плачет, весь дергается. Мужчины всегда так, точно у них какой-то зверь сидит внутри и трясет их. Я спрашиваю: «Что с тобой, Пабло?» Взяла его за плечи и повернула к себе. «Ничего, Пилар… Ничего». — «Неправда. Что-то с тобой случилось». — «Люди, говорит, gente[22]. Они все от меня отступились». Я говорю: «Но ведь они со мной. А я твоя жена». — «Пилар, говорит, не забывай про поезд». Потом: «Да поможет тебе господь, Пилар». Я ему говорю: «Что это еще за разговоры? Разве можно бога поминать?» — «Можно, — говорит. — Да поможет тебе господь и пресвятая дева». Я говорю: «А ну их, и твою пресвятую деву, и бога! Что это за разговоры?» — «Я боюсь умереть, Пилар. Tengo miedo de morir. Понимаешь? Боюсь!» Я говорю: «Тогда вылезай отсюда. Тут нам места не хватит, в одной постели. Мне, тебе

---

[21] Примечания: 21
Посмотрим (*исп.*).

[22] Примечания: 22
Народ, люди (*исп.*).

да еще твоему страху». Тогда ему стало стыдно, и он замолчал, а я заснула, но его дело кончено, друг, кончено.

Роберт Джордан молчал.

— Вот так у меня всю жизнь — нет-нет и вдруг станет грустно, — сказала женщина. — Но это не такая грусть, как у Пабло. Мою решимость она не задевает.

— Я в тебе не сомневаюсь.

— Может быть, это как у всех женщин в известное время, — сказала она. — А может быть, так — пустяки. — Она помолчала, потом заговорила снова. — Я многого жду от Республики. Я твердо верю в Республику, вера во мне есть. Я верю в нее горячо, как набожные люди верят в чудеса.

— Я в тебе не сомневаюсь.

— А ты сам веришь?

— В Республику?

— Да.

— Да, — сказал он, надеясь, что это правда.

— Я рада это слышать, — сказала женщина. — А страха в тебе нет?

— Смерти я не боюсь, — сказал он, и это была правда.

— А чего ты боишься?

— Боюсь, что я не выполню своего долга так,

как его следует выполнить.

— А того не боишься, чего тот, другой, боялся? Плена.

— Нет, — сказал он совсем искренне. — Если этого бояться, так больше ни о чем не сможешь думать и никакой пользы от тебя не будет.

— Холодный ты человек.

— Нет, — сказал он. — Думаю, что нет.

— Да. Голова у тебя очень холодная.

— Это потому, что я много думаю о своей работе.

— А все другое, что есть в жизни, ты разве не любишь?

— Люблю. Даже очень. Только чтобы это не мешало работе.

— Пить ты любишь, я знаю. Я видела.

— Да. Очень люблю. Только чтобы это не мешало работе.

— А женщин?

— Женщин я очень люблю, но это никогда не было самым главным.

— Они для тебя ничего не значат?

— Нет, значат. Но я еще не встречал такой женщины, которая захватила бы меня целиком, а говорят, это бывает.

— По-моему, ты лжешь.

— Может быть — немножко.

— Но ведь Марию ты полюбил?

— Да. Сразу и очень крепко.

— Я ее тоже люблю. Очень люблю. Да. Очень.

— Я тоже, — сказал Роберт Джордан и почувствовал, что голос у него звучит глухо. — Да. Я тоже. — Ему было приятно говорить это, и он еще раз произнес эту фразу, такую церемонную по-испански: — Я ее очень сильно люблю.

— Я оставлю вас вдвоем, после того как мы побываем у Эль Сордо.

Роберт Джордан помолчал. Потом ответил:

— Это не нужно.

— Нет, друг. Нужно. Времени осталось немного!

— Ты прочитала это у меня на руке? — спросил он.

— Нет. Забудь про свою руку — это все глупости.

Она хотела отбросить это, как и многое другое, что могло повредить Республике.

Роберт Джордан промолчал. Он смотрел, как Мария убирает в пещере посуду. Она вытерла руки, повернула голову и улыбнулась ему. Ей не было слышно, что говорила Пилар, но, улыбнувшись Роберту Джордану, она покраснела так

густо, что румянец проступил сквозь ее смуглую кожу, и снова улыбнулась.

— Есть еще день, — сказала женщина. — У вас есть ночь, но еще есть и день. Конечно, такой роскоши, какая была в мое время в Валенсии, вам не видать. Но землянику или другую лесную ягоду и здесь можно найти. — Она засмеялась.

Роберт Джордан положил руку на ее широкое плечо.

— Тебя я тоже люблю, — сказал он. — Я тебя очень люблю.

— Ты настоящий Дон-Жуан, — сказала женщина, стараясь не показать, что она растрогана. — Так недолго и всех полюбить. А вон идет Агустин.

Роберт Джордан вошел в пещеру и направился прямо к Марии. Она смотрела на него, и глаза у нее блестели, а лицо и шея снова залились краской.

— Здравствуй, зайчонок, — сказал он и поцеловал ее в губы.

Она крепко прижала его к себе, посмотрела ему в лицо и сказала:

— Здравствуй! Ох, здравствуй! Здравствуй!

Фернандо, все еще покуривавший за столом, теперь встал, покачал головой и вышел из пещеры,

захватив по дороге свой карабин, приставленный к стене.

— По-моему, это очень неприлично, — сказал он Пилар. — И мне это не нравится. Ты должна следить за девушкой.

— Я и слежу, — сказала Пилар. — Этот товарищ — ее novio[23].

— О, — сказал Фернандо. — Ну, раз они помолвлены, тогда это в порядке вещей.

— Рада слышать, — сказала женщина.

— Я тоже очень рад, — важно сказал Фернандо. — Salud, Пилар.

— Ты куда?

— На верхний пост, сменить Примитиво.

— Куда тебя черти несут? — спросил важного маленького человечка Агустин.

— Исполнять свой долг, — с достоинством сказал Фернандо.

— Долг! — насмешливо проговорил Агустин. — Плевать на твой долг! — Потом, повернувшись к женщине: — Где же это дерьмо, которое я должен караулить?

— В пещере, — сказала Пилар. — Два мешка. И сил моих больше нет слушать твою похабщину.

---

[23] Примечания: 23
Жених (*исп.*).

— Твою мать, — сказал Агустин.

— Своей-то у тебя никогда и не было, — беззлобно сказала Пилар, поскольку этот обмен любезностями уже дошел до той высшей ступени, на которой в испанском языке действия никогда не констатируются, а только подразумеваются.

— Что это они там делают? — теперь уже вполголоса спросил Агустин.

— Ничего, — ответила ему Пилар. — Nada. Ведь как-никак, а сейчас весна, скотина.

— Скотина, — повторил Агустин, смакуя это слово. — Скотина. А ты сама-то? Отродье самой что ни на есть сучьей суки. И плевал я на весну, так ее и так!

Пилар хлопнула его по плечу.

— Эх ты, — сказала она и засмеялась своим гулким смехом. — Все ругательства у тебя на один лад. Но выходит крепко. Ты видал самолеты?

— Наблевал я в их моторы, — сказал Агустин, утвердительно кивнув головой, и закусил нижнюю губу.

— Здорово! — сказала Пилар. — Это здорово! Только сделать трудно.

— Да, слишком высоко добираться. — Агустин ухмыльнулся. — Desde luego. Но почему не пошутить?

— Да, — сказала жена Пабло. — Почему не пошутить? Человек ты хороший, и шутки у тебя крепкие.

— Слушай, Пилар, — серьезно сказал Агустин. — Что-то готовится. Ведь верно?

— Ну, и что ты на это скажешь?

— Скажу, что хуже некуда. Самолетов было много, женщина. Очень много.

— И ты испугался их, как все остальные?

— Qué va, — сказал Агустин. — Как ты думаешь, что там готовится?

— Слушай, — сказала Пилар. — Судя по тому, что этот Inglés пришел сюда взрывать мост, Республика готовит наступление. Судя по этим самолетам, фашисты готовятся отразить его. Но зачем показывать самолеты раньше времени?

— В этой войне много бестолочи, — сказал Агустин. — В этой войне деваться некуда от глупости.

— Правильно, — сказала Пилар. — Иначе мы бы здесь не сидели.

— Да, — сказал Агустин. — Мы барахтаемся в этой глупости вот уже целый год. Но Пабло — он не дурак. Пабло — он изворотливый.

— Зачем ты это говоришь?

— Говорю — и все.

— Но пойми ты, — старалась втолковать ему Пилар. — Изворотливостью теперь уже не спасешься, а у него ничего другого не осталось.

— Я понимаю, — сказал Агустин. — Я знаю, что нам пути назад нет. А раз уцелеть мы можем, только если выиграем войну, значит, надо взрывать мосты. Но Пабло хоть и стал трусом, а все-таки он хитрый.

— Я тоже хитрая.

— Нет, Пилар, — сказал Агустин. — Ты не хитрая. Ты смелая. Ты верный человек. Решимость у тебя есть. Чутье у тебя есть. Решимость у тебя большая и сердце большое. Но хитрости в тебе нет.

— Ты в этом уверен? — задумчиво спросила женщина.

— Да, Пилар.

— А Inglés хитрый, — сказала женщина. — Хитрый и холодный. Голова у него холодная.

— Да, — сказал Агустин. — Он свое дело знает, иначе его не прислали бы сюда. Но хитер ли он, я не берусь судить. А Пабло хитрый — это я знаю.

— Но теперь он ни на что не пригоден и от страху с места не сдвинется.

— Но все-таки хитрый.

— Ну, что ты скажешь еще?

— Ничего. Тут надо подойти с умом. Сейчас такое время, что действовать надо с умом. После моста нам придется уходить из этих мест. Нужно все подготовить. Мы должны знать, куда уходить и как уходить.

— Правильно.

— Для этого — Пабло. Тут нужна хитрость.

— Я не доверяю Пабло.

— В этом можно на него положиться.

— Нет. Ты не знаешь, какой он стал.

— Pero es muy vivo. Он очень хитрый. А если тут не схитрить, будем сидеть по уши в дерьме.

— Я об этом подумаю, — сказала Пилар. — У меня целый день впереди.

— Мосты — это пусть иностранец, — сказал Агустин. — Они это дело знают. Помнишь, как тот все ловко устроил с поездом?

— Да, — сказала Пилар. — Он тут был всему голова.

— Где нужна сила и решимость — это уж по твоей части, — сказал Агустин. — Но что касается ухода — это пусть Пабло. Отступление — это пусть Пабло. Заставь его подумать об этом.

— А ты не дурак.

— Да, я не дурак, — сказал Агустин. — Только sin

picardia[24]. Где нужна picardia, там пусть Пабло.

— Несмотря на все его страхи?

— Несмотря на все его страхи.

— А что ты думаешь про мост?

— Это нужно. Я знаю. Мы должны сделать две вещи. Мы должны уйти отсюда, и мы должны выиграть войну. А чтобы выиграть войну, без этого дела с мостом не обойдешься.

— Если Пабло такой хитрый, почему он сам этого не понимает?

— Он слаб и хочет, чтобы все оставалось так, как есть. Ему бы крутиться на месте, как в водовороте. Но вода прибывает, его сорвет с места, и он волей-неволей пустит в ход свою хитрость.

— Хорошо, что Inglés не убил его.

— Qué va. Вчера вечером цыган пристал ко мне, чтобы я его убил. Цыган — скотина.

— Ты тоже скотина, — сказала она. — Но не дурак.

— Да, мы с тобой оба не дураки, — сказал Агустин. — Но Пабло — у него дар.

— Только поладить с Пабло нелегко. Ты не знаешь, каким он стал.

— Да. Но у него дар. Слушай, чтобы воевать —

---

[24] Примечания: 24
Без хитрости (*исп.*).

достаточно не быть дураком. Но чтобы выиграть войну — нужен дар и средства.

— Я это все обдумаю, — сказала она. — А теперь нам пора идти. Мы и так уже запаздываем. — Потом, повысив голос, крикнула: — Англичанин! Inglés! Пойдем, нам пора!

Глава десятая

— Давайте отдохнем, — сказала Пилар Роберту Джордану. — Садись, Мария, отдохнем.

— Нет, пойдемте дальше, — сказал Роберт Джордан. — Отдыхать будем на месте. Мне надо поговорить с этим человеком.

— И поговоришь, — сказала ему женщина. — Торопиться некуда. Садись, Мария.

— Пошли, — сказал Роберт Джордан. — Отдохнем наверху.

— А я хочу отдыхать сейчас, — сказала женщина, садясь у ручья.

Девушка опустилась рядом с ней в густой вереск, и солнце заиграло у нее в волосах. Один Роберт Джордан все еще стоял, глядя на горный луг и пересекавший его ручей, где, наверно, водились форели. Здесь вереск доходил Роберту Джордану до колен. Дальше он уступал место желтому дроку, среди которого торчали большие валуны, а еще дальше шла темная линия сосен.

— Далеко нам еще до лагеря Эль Сордо? — спросил Роберт Джордан.

— Нет, недалеко, — сказала женщина. — Прой-

дем этот луг, спустимся в долину, а потом вон в тот лес, что выше по ручью. Садись и забудь свои серьезные мысли.

— Я хочу поговорить с ним, и чтобы с этим было покончено.

— А я хочу вымыть ноги, — сказала женщина и, сняв сандалии и толстый шерстяной чулок, сунула правую ногу в ручей. — Ух, как холодно!

— Надо было ехать верхом, — сказал Роберт Джордан.

— А мне полезно прогуляться, — сказала женщина. — Мне этого как раз недоставало. Чего ты?

— Ничего, просто тороплюсь.

— Тогда успокойся. Времени у нас много. А день-то какой хороший, и как я рада, что здесь нет сосен. Ты даже не знаешь, как эти сосны могут надоесть. Тебе не надоели сосны, guapa?

— Я люблю их, — сказала девушка.

— За что же ты их любишь?

— Люблю запах, люблю, когда под ногами сосновые иглы. Люблю, когда ветер качает высокие сосны, а они поскрипывают.

— Ты все любишь, — сказала Пилар. — Такая жена прямо клад, особенно если еще подучится стряпать. В сосновом лесу скука смертная. Ты не видела ни дубняка, ни бука, ни каштанов. Вот это

леса! В таких лесах все деревья разные, каждое дерево само по себе, и у каждого своя красота. А в сосновом — смертная скука. Ты как скажешь, Inglés?

— Я тоже люблю сосны.

— Pero venga?[25] — сказала Пилар. — Будто сговорились. Я и сама люблю сосны. Но мы слишком засиделись здесь, в этих соснах. И горы мне надоели. В горах есть только два пути — вверх да вниз, а вниз — это только к дороге и к фашистским городам.

— Ты когда-нибудь ходишь в Сеговию?

— Qué va. С моим-то лицом? Такое лицо раз увидишь, навсегда запомнишь. Хотела бы ты быть уродиной, моя красавица? — спросила она Марию.

— Ты не уродина.

— Vamos, не уродина. Я уродиной родилась. И всю жизнь была уродиной. Ты, Inglés, ничего не понимаешь в женщинах. Ты знаешь, каково это женщине — быть безобразной? Знаешь, каково это — быть уродиной всю жизнь, а чувствовать себя красивой? Чудно́е это чувство. — Она сунула в воду другую ногу и тут же отдернула ее. — Ух,

---

[25] Примечания: 25
Что это вы? (*исп.*)

как холодно! А вон трясогузка. — Она показала на серую пичужку, прыгавшую на камне выше по ручью. — Что за птица! И петь не поет, и в пищу не годится. Дергает хвостом, только и всего. Дай мне покурить, Inglés, — сказала она, взяла папиросу, вынула из кармана кофты кремень и огниво и закурила.

Она попыхивала папиросой и смотрела на Марию и на Роберта Джордана.

— Чудна́я штука жизнь, — сказала она и выпустила дым через ноздри. — Из меня бы получился хороший мужчина, а я женщина, и к тому же уродливая. Но меня многие любили, и я многих любила. Чудно! Слушай, Inglés, это интересно. Посмотри на меня, на уродину. Смотри внимательней.

— Ты не уродина.

— Qué no?[26] Не лги. Или… — она засмеялась своим грудным смехом, — или тебя тоже начинает пронимать? Нет. Я пошутила. Нет. Смотри, ведь я уродина. А все же и в уродине бывает что-то такое, от чего мужчина слепнет, когда полюбит. Слепнет и он, и ты сама тоже. А потом приходит день, когда ни с того ни с сего он вдруг видит, что

---

[26] Примечания: 26
Разве нет? (*исп.*)

ты уродина, как оно и есть на самом деле, и перестает быть слепым, и тогда ты тоже видишь себя такой, какой он тебя видит, и то, что в тебе было, уходит, а вместе с этим уходит и мужчина. Поняла, guapa? — Она погладила девушку по плечу.

— Нет, — сказала Мария. — Потому что ты не уродина.

— Ты головой рассуди, а не сердцем, и слушай, — сказала Пилар. — Я рассказываю интересные вещи. Ведь тебе интересно, Inglés?

— Да. Но нам нужно идти.

— Qué va, идти. Мне и здесь хорошо. Потом… — продолжала она, обращаясь теперь к Роберту Джордану, точно учительница к классу, точно читая лекцию, — потом проходит немного времени, и вот у тебя, даже если ты такая уродина, как я, такая, что хуже и не придумаешь, опять появляется и потихоньку растет это «что-то» — дурацкое чувство, будто ты красивая. Растет и растет, точно кочан капусты. А потом, когда оно уже совсем окрепнет, попадаешься на глаза другому мужчине, и ему кажется, что ты красивая, и все начинается с самого начала. Теперь уж, я думаю, у меня это прошло навсегда, но кто знает, может быть, и еще раз так случится. Тебе повезло, guapa, что ты не уродина.

— Нет, я уродина, — возразила Мария.

— Спроси его, — сказала Пилар. — И не лезь в воду, ноги застудишь.

— Если Роберто говорит, что нужно идти, лучше пойдем, — сказала Мария.

— Подумаешь! — сказала Пилар. — Для меня это так же важно, как для твоего Роберто, но я говорю: мы можем спокойно отдохнуть здесь, у ручья, потому что впереди времени много. Кроме того, мне хочется поговорить. Это единственное, что у нас осталось от цивилизации. Чем же нам еще развлекаться? Разве тебе не интересно меня послушать, Inglés?

— Ты очень хорошо говоришь. Но есть многое другое, что меня интересует больше, чем разговоры о красоте и об уродстве.

— Тогда давай говорить о том, что тебя интересует.

— Где ты была, когда началось движение?

— В своем родном городе.

— В Авиле?

— Qué va, в Авиле!

— Пабло сказал, что он из Авилы.

— Он врет. Ему хочется, чтобы ты думал, будто он из большого города. Нет, я вот откуда. — И она назвала город.

— Что же там у вас было?

— Много чего, — сказала женщина. — Много. И все страшное. Даже то, чем мы прославились.

— Расскажи, — попросил Роберт Джордан.

— Это все очень жестоко, — сказала женщина. — Мне не хочется рассказывать при девушке.

— Расскажи, — повторил Роберт Джордан. — А если ей не годится слушать, пусть не слушает.

— Я все могу выслушать, — сказала Мария. Она положила свою руку на руку Роберта Джордана. — Нет такого, чего мне нельзя было бы слушать.

— Не в том дело, можно или нельзя, — сказала Пилар. — А вот следует ли говорить об этом при тебе, чтобы ты потом видела дурные сны.

— От одних рассказов мне ничего не приснится, — ответила ей Мария. — Ты думаешь, после всего того, что с нами было, мне приснится дурной сон от одного твоего рассказа?

— А может быть, тебе, Inglés, будут сниться дурные сны?

— Давай проверим.

— Нет, Inglés, я не шучу. Тебе приходилось видеть, как все начиналось в маленьких городках?

— Нет, — сказал Роберт Джордан.

— Ну, значит, ты ничего не знаешь. Ты видишь,

во что превратился Пабло, но поглядел бы ты, какой он был тогда!

— Расскажи!

— Нет. Не хочу!

— Расскажи.

— Ну, хорошо. Расскажу всю правду, все как было. А ты, если тебе будет тяжело, останови меня.

— Если мне будет тяжело, я перестану слушать, — ответила ей Мария. — Хуже того, что я знаю, ведь не может быть.

— Думаю, что может, — сказала женщина. — Дай мне еще одну сигарету, Inglés, и начнем.

Девушка прилегла на поросшем вереском берегу ручья, а Роберт Джордан вытянулся рядом, положив под голову пучок вереска. Он нашел руку Марии и, держа ее в своей, стал водить ею по вереску; потом Мария высвободила свою руку и ладонью накрыла руку Роберта Джордана, и так они лежали и слушали.

— Рано утром civiles, которые сидели в казармах, перестали отстреливаться и сдались, — начала Пилар.

— А вы брали казармы приступом? — спросил Роберт Джордан.

— Пабло со своими окружил их еще затемно, перерезал телефонные провода, заложил дина-

мит под одну стену и крикнул guardia civil, чтобы сдавались. Они не захотели. И на рассвете он взорвал эту стену. Завязался бой. Двое civiles были убиты, четверо ранены и четверо сдались.

Мы все залегли, кто на крышах, кто прямо на земле, кто на каменных оградах или на карнизах, а туча пыли после взрыва долго не рассеивалась, потому что на рассвете ветра совсем не было, и мы стреляли в развороченную стену, заряжали винтовки и стреляли прямо в дым, и гам, в дыму все еще раздавались выстрелы, а потом оттуда крикнули, чтобы мы прекратили стрельбу, и четверо civiles вышли на улицу, подняв руки вверх. Большой кусок крыши обвалился вместе со стеной, вот они и вышли сдаваться. «Еще кто-нибудь остался там?» — крикнул им Пабло. «Только раненые». — «Постерегите этих, — сказал Пабло четверым нашим, которые выбежали из засады. — Становись сюда. К стене», — велел он сдавшимся. Четверо civiles стали к стене, грязные, все в пыли и копоти, и четверо караульных взяли их на прицел, а Пабло со своими пошел приканчивать раненых.

Когда это было сделано и из казарм уже не доносилось ни стона, ни крика, ни выстрела, Пабло вышел оттуда с дробовиком за спиной, а в руках

он держал маузер. «Смотри, Пилар, — сказал он. — Это было у офицера, который застрелился сам. Мне еще никогда не приходилось стрелять из револьвера. Эй, ты! — крикнул он одному из civiles. — Покажи, как с этим обращаться. Нет, не покажи, а объясни».

Пока в казармах шла стрельба, четверо civiles стояли у стены, обливаясь потом, и молчали. Они были рослые, а лица, как у всех guardias civiles, вот такого же склада, как и у меня. Только щеки и подбородок успели зарасти у них щетиной, потому что в это последнее утро им уже не пришлось побриться, и так они стояли у стены и молчали.

— Эй, ты, — крикнул Пабло тому, который стоял ближе всех. — Объясни, как с этим обращаться.

— Отведи предохранитель, — сиплым голосом сказал тот. — Оттяни назад кожух и отпусти.

— Какой кожух? — спросил Пабло и посмотрел на четверых civiles. — Какой кожух?

— Вон ту коробку, что сверху.

Пабло стал отводить ее, но там что-то заело.

— Ну? — сказал он. — Не идет. Ты мне соврал.

— Отведи назад еще больше и отпусти, он сам станет на место, — сказал civil, и я никогда не слышала такого голоса. Серый, серее рассвета, когда солнце встает за облаками.

Пабло отвел кожух назад и отпустил, как его учили, кожух стал на место, и курок был теперь на взводе. Эти маузеры уродливые штуки, рукоятка маленькая, круглая, а ствол большой и точно сплюснутый, и слушаются они плохо. А civiles все это время не спускали с Пабло глаз и молчали.

Потом один спросил:

— Что ты с нами сделаешь?

— Расстреляю, — сказал Пабло.

— Когда? — спросил тот все таким же сиплым голосом.

— Сейчас, — сказал Пабло.

— Где? — спросил тот.

— Здесь, — сказал Пабло. — Здесь. Сейчас. Здесь и сейчас. Хочешь что-нибудь сказать перед смертью?

— Nada, — ответил civil. — Ничего. Но это мерзость.

— Сам ты мерзость, — сказал Пабло. — Сколько крестьян на твоей совести! Ты бы и свою мать расстрелял!

— Я никогда никого не убивал, — сказал civil. — А мою мать не смей трогать.

— Покажи нам, как надо умирать. Ты все убивал, а теперь покажи, как надо умирать.

— Оскорблять нас ни к чему, — сказал другой

civil. — А умереть мы сумеем.

— Становитесь на колени, лицом к стене, — сказал Пабло. Civiles переглянулись. — На колени, вам говорят! — крикнул Пабло. — Ну, живо!

— Что скажешь, Пако? — спросил один civil другого, самого высокого, который объяснял Пабло, как обращаться с револьвером. У него были капральские нашивки на рукаве, и он весь взмок от пота, хотя было еще рано и совсем прохладно.

— На колени так на колени, — ответил высокий. — Не все ли равно?

— К земле ближе будет, — попробовал пошутить первый, но им всем было не до шуток, и никто даже не улыбнулся.

— Ладно, станем на колени, — сказал первый civil, и все четверо неуклюже опустились на колени, — руки по швам, лицом к стене. Пабло подошел к ним сзади и перестрелял их всех по очереди — выстрелит одному в затылок и переходит к следующему; так они один за другим и валились на землю. Я как сейчас слышу эти выстрелы, громкие, хотя и приглушенные, и вижу, как дергается ствол револьвера и человек падает. Первый не пошевелился, когда к его голове прикоснулось дуло. Второй качнулся вперед и прижался лбом к каменной стене. Третий вздрог-

нул всем телом, и голова у него затряслась. И только один, последний, закрыл глаза руками. И когда у стены вповалку легли четыре трупа, Пабло отошел от них и вернулся к нам, все еще с револьвером в руке.

— Подержи, Пилар, — сказал он. — Я не знаю как спустить собачку, — и протянул мне револьвер, а сам все стоял и смотрел на четверых civiles, которые лежали у казарменной стены. И все, кто тогда был с нами, тоже стояли и смотрели на них, и никто ничего не говорил.

Так город стал нашим, а час был еще ранний, и никто не успел поесть или выпить кофе, и мы посмотрели друг на друга и видим, что нас всех запорошило пылью после взрыва казарм, все стоим серые от пыли, будто на молотьбе, и я все еще держу револьвер, и он оттягивает мне руку, и когда я взглянула на мертвых civiles, лежавших у стены, мне стало тошно; они тоже были серые от пыли, но сухая земля под ними уже начинала пропитываться кровью. И пока мы стояли там, солнце поднялось из-за далеких холмов и осветило улицу и белую казарменную стену, и пыль в воздухе стала золотая в солнечных лучах, и крестьянин, который стоял рядом со мной, посмотрел на казарменную стену и на то, что

лежало под ней, потом посмотрел на всех нас, на солнце и сказал: «Vaya[27], вот и день начинается!» — «А теперь пойдемте пить кофе», — сказала я. «Правильно, Пилар, правильно», — сказал тот крестьянин. И мы пошли на площадь, и после этих четверых у нас в городе никого больше не расстреливали.

— А что же случилось с остальными? — спросил Роберт Джордан. — Разве у вас больше не было фашистов?

— Qué va, не было фашистов! Их было больше двадцати человек. Но никого из них не расстреляли.

— А что стало с ними?

— Пабло сделал так, что их забили насмерть цепами и сбросили с обрыва в реку.

— Всех? Двадцать человек?

— Сейчас расскажу. Это все не так просто. И пусть мне никогда больше не придется видеть, как людей бьют до смерти цепами на городской площади у обрыва.

Наш городок стоит на высоком берегу, и над самой рекой у нас площадь с фонтаном, а кругом растут большие деревья, и под ними скамейки, в

---

[27] Примечания: 27
Ну (*исп.*).

тени. Балконы все смотрят на площадь, и на эту же площадь выходят шесть улиц, и вся площадь опоясана аркадами, так что, когда солнце печет, можно ходить в тени. С трех сторон площади аркады, а с четвертой, вдоль обрыва, идет аллея, а под обрывом, глубоко внизу, река. Обрыв высокий — триста футов.

Заправлял всем Пабло, так же как при осаде казарм. Сначала он велел загородить все проходы на площадь повозками, будто подготовлял ее к капеа — любительскому бою быков. Всех фашистов посадили в Ayuntamiento — городскую ратушу, — самое большое здание на площади. В стену ратуши были вделаны часы, и тут же под аркадой был фашистский клуб. А на тротуаре перед клубом у них были поставлены столики и стулья. Раньше, еще до войны, они пили там свои аперитивы. Столики и стулья были плетеные. Похоже на кафе, только лучше, наряднее.

— Неужели они сдались без боя?

— Пабло взял их ночью, перед тем как начать осаду казарм. Но к этому времени казармы были уже окружены. Их всех взяли по домам в тот самый час, когда началась осада. Это было очень умно сделано. Пабло хороший организатор. Иначе во время осады казарм guardia civil ему

пришлось бы сдерживать натиск с обоих флангов и с тыла.

Пабло умный, но очень жестокий. Он тогда все заранее обдумал и обо всем распорядился. Слушай. Когда казармы были взяты, и последние четверо civiles сдались, и их расстреляли у стены, и мы напились кофе в том кафе на углу, около автобусной станции, которое открывается раньше всех, Пабло занялся подготовкой площади. Он загородил все проходы повозками, совсем как перед капеа, и только одну сторону оставил открытой — ту, которая выходила к реке. С этой стороны проход не был загорожен. Потом Пабло велел священнику исповедать фашистов и дать им последнее причастие.

— Где это все происходило?

— Я же говорю — в Ayuntamiento. Перед зданием собралась большая толпа, и пока священник молился с фашистами, на площади кое-кто уже начал безобразничать и сквернословить, хотя большинство держалось строго и пристойно. Безобразничали те, кто уже успел отпраздновать взятие казарм и напиться по этому случаю, да еще всякие бездельники, которым лишь бы выпить, и по случаю, и без случая.

Пока священник выполнял свой долг, Пабло

выстроил в две шеренги тех, кто собрался на площади.

Он выстроил их в две шеренги, как для состязания в силе, кто кого перетянет, или как выстраиваются горожане у финиша велосипедного пробега, оставив только узенькую дорожку для велосипедистов, или перед проходом церковной процессии. Между шеренгами образовался проход в два метра шириной, а тянулись они от дверей Ayuntamiento через всю площадь к обрыву. И всякий выходящий из Ayuntamiento должен был увидеть на площади два плотных ряда людей, которые стояли и ждали.

В руках у людей были цепы, которыми молотят хлеб, и они стояли на расстоянии длины цепа друг от друга. Цепы были не у всех, потому что на всех не хватило. Но большинство все-таки запаслось ими в лавке дона Гильермо Мартина, фашиста, торговавшего сельскохозяйственными орудиями. А у тех, кому цепов не хватило, были тяжелые пастушьи дубинки и стрекала, а кое у кого — деревянные вилы, которыми ворошат мякину и солому после молотьбы. Некоторые были с серпами, но этих Пабло поставил в самом дальнем конце, у обрыва.

Все стояли тихо, и день был ясный, вот такой,

как сегодня, высоко в небе шли облака, вот так, как сейчас, и пыли на площади еще не было, потому что ночью выпала сильная роса; деревья отбрасывали тень на людей в шеренгах, и было слышно, как из львиной пасти бежит через медную трубку вода и падает в чашу фонтана, к которому обычно сходятся с кувшинами все женщины города.

Только у самого Ayuntamiento, где священник молился с фашистами, слышалась брань, и в этом были повинны те бездельники, которые, как я уже говорила, успели напиться и теперь толпились под решетчатыми окнами, сквернословили и отпускали непристойные шутки. Но в шеренгах люди ждали спокойно, и я слышала, как один спросил другого: «А женщины тоже будут?»

И тот ответил ему:

— Дай бог, чтобы не было!

Потом первый сказал:

— Вот жена Пабло. Слушай, Пилар. Женщины тоже будут?

Я посмотрела на него и вижу — он в праздничной одежде и весь взмок от пота, и тогда я сказала:

— Нет, Хоакин. Женщин там не будет. Мы женщин не убиваем. Зачем нам убивать женщин?

Тогда он сказал:

— Слава Христу, что женщин не будет! А когда же это начнется?

Я ответила:

— Как только священник кончит.

— А священника — тоже?

— Не знаю, — ответила я ему и увидела, что лицо у него передернулось и на лбу выступил пот.

— Мне еще не приходилось убивать людей, — сказал он.

— Теперь научишься, — сказал ему сосед. — Только, я думаю, одного удара будет мало. — И он поднял обеими руками свой цеп и с сомнением посмотрел на него.

— Тем лучше, — сказал другой крестьянин, — тем лучше, что с одного удара не убьешь.

— Они взяли Вальядолид. Они взяли Авилу, — сказал кто-то. — Я об этом слыхал по дороге сюда.

— Этот город им не взять. Этот город наш. Мы их опередили, — сказала я. — Пабло не стал бы дожидаться, когда они ударят первые, — он не таковский.

— Пабло человек ловкий, — сказал кто-то еще. — Но нехорошо, что он сам, один прикончил civiles. Не мешало бы о других подумать. Как ты

считаешь, Пилар?

— Верно, — сказала я. — Но теперь мы все будем участвовать.

— Да, — сказал он. — Это хорошо придумано. Но почему нет никаких известий с фронта?

— Пабло перерезал телефонные провода, перед тем как начать осаду казарм. Их еще не починили.

— А, — сказал он. — Вот почему до нас ничего не доходит. Сам-то я узнал все новости сегодня утром от дорожного мастера. А скажи, Пилар, почему решили сделать именно так?

— Чтобы сберечь пули, — сказала я. — И чтобы каждый нес свою долю ответственности.

— Пусть тогда начинают. Пусть начинают.

И я взглянула на него и увидела, что он плачет.

— Ты чего плачешь, Хоакин? — спросила я. — Тут плакать нечего.

— Не могу удержаться, Пилар, — сказал он. — Мне еще не приходилось убивать людей.

Если ты не видел первый день революции в маленьком городке, где все друг друга знают и всегда знали, значит, ты ничего не видел. Большинство людей, что стояли на площади двумя шеренгами, были в этот день в своей обычной одежде, в той, в которой работали в поле, потому

что они торопились скорее попасть в город. Но некоторые, не зная, как следует одеваться для такого случая, нарядились по-праздничному, и теперь им было стыдно перед другими, особенно перед теми, кто брал приступом казармы. Но снимать свои новые куртки они не хотели, опасаясь, как бы не потерять их или как бы их не украли. И теперь, стоя на солнцепеке, обливались потом и ждали, когда это начнется.

Вскоре подул ветер и поднял над площадью облако пыли, потому что земля уже успела подсохнуть под ногами у людей, которые ходили, стояли, топтались на месте, а какой-то человек в темно-синей праздничной куртке крикнул: «Agua! Agua!»[28] Тогда пришел сторож, который каждое утро поливал площадь, размотал шланг и стал поливать, прибивая водой пыль, сначала по краям площади, а потом все ближе и ближе к середине. Обе шеренги расступились, чтобы дать ему прибить пыль и в центре площади; шланг описывал широкую дугу, вода блестела на солнце, а люди стояли, опершись кто на цеп или дубинку, кто на белые деревянные вилы, и смотрели на нее. Когда вся площадь была полита

[28] Примечания: 28
Воды! Воды! (*исп.*).

и пыль улеглась, шеренги опять сомкнулись, и какой-то крестьянин крикнул: «Когда же наконец нам дадут первого фашиста? Когда же хоть один вылезет из исповедальни?»

— Сейчас, — крикнул Пабло, показавшись в дверях Ayuntamiento. — Сейчас выйдут.

Голос у него был хриплый, потому что ему приходилось кричать, и во время осады казарм он наглотался дыма.

— Из-за чего задержка? — спросил кто-то.

— Никак не могут покаяться в своих грехах! — крикнул Пабло.

— Ну ясно, ведь их там двадцать человек, — сказал кто-то еще.

— Больше, — сказал другой.

— У двадцати человек грехов наберется порядочно.

— Так-то оно так, только, я думаю, это уловка, чтобы оттянуть время. В такой крайности хорошо, если хоть самые страшные грехи вспомнишь.

— Тогда запасись терпением. Их там больше двадцати человек, и даже если они будут каяться только в самых страшных грехах, и то сколько на это времени уйдет.

— Терпения у меня хватит, — ответил первый. — А все-таки чем скорей покончим с этим,

тем лучше. И для них и для нас. Сейчас июль месяц, работы много. Хлеб мы сжали, но не обмолотили. Еще не пришло время праздновать и веселиться.

— А сегодня все-таки попразднуем, — сказал другой. — Сегодня у нас праздник Свободы, и с сегодняшнего дня — вот только разделаемся с этими — и город и земля будут наши.

— Сегодня мы будем молотить фашистов, — сказал кто-то, — а из мякины поднимется свобода нашего pueblo[29].

— Только надо сделать все как следует, чтобы заслужить эту свободу, — сказал другой. — Пилар, — обратился он ко мне, — когда у нас будет митинг?

— Сейчас же, как только покончим вот с этим, — ответила ему я. — Там же, в Ayuntamiento.

Я в шутку надела на голову лакированную треуголку guardia civil и так и разгуливала в ней, а револьвер заткнула за веревку, которой я была подпоясана, но собачку спустила, придержав курок большим пальцем. Когда я надела треуголку, мне казалось, что это будет очень смешно, но потом я пожалела, что не захватила кобуру от

---

[29] Примечания: 29
Народа (*исп.*).

револьвера вместо этой треуголки. И кто-то из рядов сказал мне:

— Пилар, дочка, нехорошо тебе носить такую шляпу. Ведь с guardia civil покончено.

— Ладно, — сказала я, — сниму, — и сняла треуголку.

— Дай мне, — сказал тот человек. — Ее надо выкинуть.

Мы стояли в самом конце шеренги, у обрыва, и он взял у меня треуголку и пустил ее с обрыва из-под руки таким движением, каким пастухи пускают камень в быка, чтобы загнать его в стадо. Треуголка полетела далеко, у нас на глазах она становилась все меньше и меньше, блестя лаком в прозрачном воздухе, и наконец упала в реку. Я оглянулась и увидела, что во всех окнах и на всех балконах теснятся люди, и увидела две шеренги, протянувшиеся через всю площадь, и толпу под окнами Ayuntamiento, и оттуда доносились громкие голоса, а потом я услышала крики, и кто-то сказал: «Вот идет первый!» И это был дон Бенито Гарсиа. Он с непокрытой головой вышел из дверей и медленно спустился по ступенькам, и никто его не тронул; он шел между шеренгами людей с цепами, и никто его не трогал. Он миновал первых двоих, четверых, восьмерых,

десятерых, и все еще никто не трогал его, и он шел и шел, высоко подняв голову; мясистое лицо его посерело, а глаза то смотрели вперед, то вдруг начинали бегать по сторонам, но шаг у него был твердый. И никто его не трогал.

С какого-то балкона крикнули: «Qué pasa, cobardes? Что же вы, трусы?» Но дон Бенито все шел между двумя шеренгами, и никто его не трогал. И вдруг я увидела, как у одного крестьянина, стоявшего за три человека от меня, задергалось лицо, он кусал губы и так крепко сжимал свой цеп, что пальцы у него побелели. Он смотрел на дона Бенито, который подходил все ближе и ближе, а его все еще никто не трогал. Потом, не успел дон Бенито поравняться с крестьянином, как он высоко поднял свой цеп, задев соседа, и со всего размаху ударил дона Бенито по голове, и дон Бенито посмотрел на него, а он ударил его снова и крикнул: «Получай, cabrón!»[30] И на этот раз удар пришелся по лицу, и дон Бенито закрыл лицо руками, и его стали бить со всех сторон, и до тех пор били, пока он не упал на землю. Тогда тот, первый, позвал на подмогу и схватил дона Бенито за ворот рубашки, а другие схватили его за руки

---

[30] Примечания: 30
Испанское ругательство, буквально: козел.

и поволокли лицом по земле к самому обрыву и сбросили оттуда в реку. А тот человек, который первый его ударил, стал на колени на краю обрыва, смотрел ему вслед и кричал: «Cabrón! Cabrón! O, cabrón!» Он был арендатором дона Бенито, и они никак не могли поладить между собой. У них был спор из-за одного участка у реки, который дон Бенито отнял у этого человека и сдал в аренду другому, и этот человек уже давно затаил против него злобу. Он не вернулся на свое место в шеренгу, а так и остался у края обрыва и все смотрел вниз, туда, куда сбросили дона Бенито.

После дона Бенито из Ayuntamiento долго никто не выходил. На площади было тихо, потому что все ждали, кто будет следующий. И вдруг какой-то пьянчуга заорал во весь голос: «Qué saiga el toro! Выпускай быка!»

Потом из толпы, собравшейся у окон Ayuntamiento, крикнули: «Они не хотят идти! Они молятся!»

Тут заорал другой пьянчуга: «Тащите их оттуда! Тащите — чего там! Прошло время для молитв!»

Но из Ayuntamiento все никто не выходил, а потом я вдруг увидела в дверях человека.

Это шел дон Федерико Гонсалес, хозяин мельницы и бакалейной лавки, первейший фашист в

нашем городе. Он был высокий, худой, а волосы у него были зачесаны с виска на висок, чтобы скрыть лысину. Он был босой, как его взяли из дому, в ночной сорочке, заправленной в брюки. Он шел впереди Пабло, держа руки над головой, а Пабло подталкивал его дробовиком в спину, и так они шли, пока дон Федерико Гонсалес не ступил в проход между шеренгами. Но когда Пабло оставил его и вернулся к дверям Ayuntamiento, дон Федерико не смог идти дальше и остановился, подняв глаза и протягивая кверху руки, точно думал ухватиться за небо.

— У него ноги не идут, — сказал кто-то.

— Что это с вами, дон Федерико? Ходить разучились? — крикнул другой.

Но дон Федерико стоял на месте, воздев руки к небу, и только губы у него шевелились.

— Ну, живей! — крикнул ему со ступенек Пабло. — Иди! Что стал?

Дон Федерико не смог сделать ни шагу. Какой-то пьянчуга ткнул его сзади цепом, и дон Федерико прянул на месте, как норовистая лошадь, но не двинулся вперед, а так и застыл, подняв руки и глаза к небу.

Тогда крестьянин, который стоял недалеко от меня, сказал:

— Нельзя так! Стыдно! Мне до него дела нет, но это представление нужно кончать. — Он прошел вдоль шеренги и, протолкавшись к дону Федерико, сказал: — С вашего разрешения. — И, размахнувшись, ударил его дубинкой по голове.

Дон Федерико опустил руки и прикрыл ими лысину, так что длинные жидкие волосы свисали у него между пальцами, и, втянув голову в плечи, бросился бежать, а из обеих шеренг его били цепами по спине и по плечам, пока он не упал, и тогда те, кто стоял в дальнем конце шеренги, подняли его и сбросили с обрыва вниз. Он не издал ни звука с той минуты, как Пабло вытолкал его из дверей дробовиком. Он только не мог идти. Должно быть, ноги не слушались.

После дона Федерико я увидела, что на краю обрыва, в дальнем конце шеренги, собрались самые отчаянные, и тогда я ушла от них, пробралась под аркаду, оттолкнула двоих пьянчуг от окна Ayuntamiento и заглянула туда сама. Они все стояли полукругом в большой комнате на коленях и молились, и священник тоже стоял на коленях и молился вместе с ними. Пабло и сапожник по прозванью «Cuatro Dedos», «Четырехпалый», — он в те дни все время был с Пабло, — и еще двое стояли тут же с дробовиками, и я услышала, как

Пабло спросил священника: «Кто следующий?» Но священник молился и ничего не ответил ему.

— Слушай, ты! — сказал Пабло священнику охрипшим голосом. — Кто следующий? Кто готов?

Священник не отвечал Пабло, как будто его тут и не было, и я видела, что Пабло начинает злиться.

— Пустите нас всех вместе, — перестав молиться и посмотрев на Пабло, сказал помещик дон Рикардо Монтальво.

— Qué va, — сказал Пабло. — По одному. Кто готов, пусть выходит!

— Тогда пойду я, — сказал дон Рикардо. — Считай меня готовым.

Пока дон Рикардо говорил с Пабло, священник благословил его, не прерывая молитвы, потом, когда он встал, благословил еще раз и дал ему поцеловать распятие, и дон Рикардо поцеловал распятие, потом повернулся к Пабло и сказал:

— Ну, я совсем готов. Пойдем, вонючий козел!

Дон Рикардо был маленького роста, седой, с толстой шеей, в сорочке без воротничка. Ноги у него были кривые от верховой езды.

— Прощайте! — сказал он всем остальным, которые стояли на коленях. — Не печальтесь.

Умирать не страшно. Плохо только, что мы умрем от рук вот этих каналий. Не смей меня трогать, — сказал он Пабло. — Не смей до меня дотрагиваться своим дробовиком.

Он вышел из Ayuntamiento — голова седая, глаза маленькие, серые, а толстая шея словно еще больше раздулась от злобы. Он посмотрел на крестьян, выстроившихся двумя шеренгами, и плюнул. Плюнул по-настоящему, со слюной, а как ты сам понимаешь, Inglés, на его месте не у каждого бы это вышло. И он сказал: «Arriba España![31] Долой вашу так называемую Республику, так и так ваших отцов!»

Его прикончили быстро, потому что он оскорбил всех. Его стали бить, как только он ступил в проход между шеренгами, били, когда он, высоко подняв голову, все еще пытался идти дальше, били, кололи серпами, когда он упал, и нашлось много охотников подтащить его к краю обрыва и сбросить вниз, и теперь у многих была кровь на руках и одежде, и все теперь вдруг почувствовали, что те, кто выходит из Ayuntamiento, в самом деле враги и их надо убивать.

Я уверена, что до того, как дон Рикардо вышел

---

[31] Примечания: 31
Да здравствует Испания! (*исп.*)

к нам разъяренный и оскорбил всех нас, многие в шеренгах дорого бы дали, чтобы очутиться где-нибудь в другом месте. И я уверена, что стоило кому-нибудь крикнуть: «Довольно! Давайте отпустим остальных. Они и так получили хороший урок», — и большинство согласилось бы на это.

Но своей отвагой дон Рикардо сослужил дурную службу остальным. Он раздразнил людей, и если раньше они только исполняли свой долг, к тому же без особой охоты, то теперь в них разгорелась злоба, и это сейчас же дало себя знать.

— Выводите священника, тогда дело пойдет быстрее, — крикнул кто-то.

— Выводите священника!

— С тремя разбойниками мы расправились, теперь давайте священника.

— Два разбойника, — сказал один коренастый крестьянин тому, который это крикнул. — Два разбойника было с господом нашим.

— С чьим господом? — спросил тот, весь красный от злости.

— С нашим господом — уж это так говорится.

— У меня никаких господ нет, и я так не говорю ни в шутку, ни всерьез, — сказал тот. — И ты лучше придержи язык, если не хочешь сам прогуляться между шеренгами.

— Я такой же добрый республиканец, как и ты, — сказал коренастый. — Я ударил дона Рикардо по зубам. Я ударил дона Федерико по спине. С доном Бенито я промахнулся. А «господь наш» — это так всегда говорится, и с тем, о ком говорится так, было два разбойника.

— Тоже мне, республиканец! И этот у него «дон», и тот у него «дон».

— Здесь их все так зовут.

— Я этих cabrónes зову по-другому. А твоего господа… Э-э! Еще один вышел!

И тут мы увидели позорное зрелище, потому что следующим из дверей Ayuntamiento вышел дон Фаустино Риверо, старший сын помещика дона Селестино Риверо. Он был высокого роста, волосы у него были светлые и гладко зачесаны со лба. В кармане у него всегда лежал гребешок, и, должно быть, и сейчас, перед тем как выйти, он успел причесаться. Дон Фаусто был страшный бабник и трус и всю жизнь мечтал стать матадором-любителем. Он якшался с цыганами, с матадорами, с поставщиками быков и любил покрасоваться в андалузском костюме, но он был трус, и все над ним посмеивались. Однажды у нас в городе появились афиши, объявлявшие, что дон Фаустино будет участвовать в любительском бое

быков в пользу дома для престарелых в Авиле и убьет быка по-андалузски, сидя на лошади, чему его долгое время обучали, но когда на арену выпустили громадного быка вместо того маленького и слабоногого, которого он сам себе подобрал, он сказался больным и, как говорят, сунул два пальца в рот, чтобы вырвало.

Когда он вышел, из шеренг послышались крики:

— Hola, дон Фаустино! Смотри, как бы тебя не стошнило!

— Эй, дон Фаустино! Под обрывом тебя ждут хорошенькие девочки.

— Дон Фаустино! Подожди минутку, сейчас мы приведем быка побольше того, что тебя напугал!

А кто-то крикнул:

— Эй, дон Фаустино! Ты когда-нибудь слышал, каково умирать?

Дон Фаустино стоял в дверях Ayuntamiento и все еще храбрился. У него еще не остыл задор, который побудил его вызваться идти следующим. Вот так же он вызвался участвовать в бое быков, так же вообразил, что может стать матадором-любителем. Теперь он воодушевился примером дона Рикардо и, стоя в дверях, приосанивался, храбрился и корчил презрительные гримасы. Но

говорить он не мог.

— Иди, дон Фаустино! — кричали ему. — Иди! Смотри, какой громадный бык тебя ждет!

Дон Фаустино стоял, глядя на площадь, и мне тогда подумалось, что его не пожалеет ни один человек. Но он все еще старался держаться молодцом, хотя время шло и путь ему был только один.

— Дон Фаустино! — крикнул-кто-то. — Чего вы ждете, дон Фаустино?

— Он ждет, когда его стошнит, — послышался ответ, и в шеренгах засмеялись.

— Дон Фаустино, — крикнул какой-то крестьянин. — Ты не стесняйся — стошнит так стошнит, мы не взыщем.

Тогда дон Фаустино обвел глазами шеренги и посмотрел через площадь, туда, где был обрыв, и, увидев этот обрыв и пустоту за ним, он быстро повернулся и юркнул в дверь Ayuntamiento.

Все захохотали, а кто-то закричал пронзительным голосом:

— Куда же вы, дон Фаустино? Куда?

— Пошел выблевываться, — крикнул другой, и все опять захохотали.

И вот мы опять увидели дона Фаустино, которого подталкивал сзади Пабло своим дробовиком.

Весь его форс как рукой сняло. При виде людей, стоявших в шеренгах, он позабыл и свой форс, и свою осанку; он шел впереди, а Пабло сзади, и казалось, будто Пабло метет улицу, а дон Фаустино — мусор, который Пабло отбрасывает метлой. Дон Фаустино крестился и бормотал молитвы, а потом закрыл глаза руками и сошел по ступенькам на площадь.

— Не трогайте его, — крикнул кто-то. — Пусть идет.

И все поняли, и никто до него не дотронулся, а он шел между шеренгами, закрыв глаза дрожащими руками и беззвучно шевеля губами. Все молчали, и никто не трогал его. Но, дойдя до середины, он не смог идти дальше и упал на колени.

Его и тут не ударили. Я шла вдоль шеренги справа, стараясь ничего не пропустить, я видела, как один крестьянин наклонился, помог ему подняться и сказал:

— Вставай, дон Фаустино, не задерживайся. Быка еще нет.

Дон Фаустино не мог идти сам, и тогда один крестьянин в черной блузе подхватил его под правую руку, а другой, тоже в черной блузе и пастушьих сапогах, подхватил под левую, и дон Фаустино шел между шеренгами, закрыв глаза

и не переставая шевелить губами, а его прилизанные светлые волосы блестели на солнце, и крестьяне, мимо которых он шел, говорили: «Дон Фаустино, buen provecho. Приятного аппетита, дон Фаустино», — или: «Дон Фаустино, a sus ordenes. К вашим услугам, дон Фаустино!» — а один, тоже из незадачливых матадоров, сказал: «Дон Фаустино! Матадор, a sus ordenes», — а еще кто-то крикнул: «Дон Фаустино! А сколько на небесах хорошеньких девочек, дон Фаустино!» Так дона Фаустино провели сквозь строй, крепко держа его с двух сторон и не давая ему упасть, а он все закрывал глаза руками. Но ему, вероятно, кое-что было видно сквозь пальцы, потому что, когда его подвели к самому обрыву, он опять упал на колени, бросился на землю и, цепляясь за траву, начал кричать: «Нет. Нет. Нет. Ради бога. Нет. Ради бога. Ради бога. Нет. Нет».

Тогда те крестьяне, которые шли с ним, и еще двое из самых отчаянных, что стояли в дальнем конце шеренги, быстро присели позади него на корточки и толкнули его что есть силы, и он полетел с обрыва вниз, так и не получив ни единого удара, и только пронзительно вскрикнул на лету.

И вот тут-то я поняла, что народ ожесточился,

и виной этому сначала были оскорбления дона Рикардо, а потом трусость дона Фаустино.

— Давай следующего! — крикнул один крестьянин, а другой хлопнул его по спине и сказал:

— Дон Фаустино! Вот это я понимаю! Дон Фаустино!

— Дождался он своего быка, — сказал третий. — Теперь никакая рвота ему не поможет.

— Дон Фаустино! — опять сказал первый. — Сколько лет на свете живу, а такого еще не видал, как дон Фаустино!

— Подожди, есть и другие, — сказал еще кто-то. — Потерпи немножко. Мы еще не такое увидим!

— Что бы мы ни увидели, — сказал первый, — великанов или карликов, негров или диковинных зверей из Африки, а такого, как дон Фаустино, не было и не будет. Ну, следующий! Давай, давай следующего!

У пьянчуг ходили по рукам бутылки с анисовой и коньяком из фашистского клуба, и они пили это, как легкое вино, и в шеренгах многие тоже успели приложиться, и выпитое сразу ударило им в голову после всего, что было с доном Бенито, доном Федерико, доном Рикардо и особенно с доном Фаустино. Те, у кого не было анисовой и

коньяка, пили из бурдюков, которые передавались из рук в руки, и один крестьянин дал такой бурдюк мне, и я сделала большой глоток, потому что меня мучила жажда, и вино прохладной струйкой побежало мне в горло из кожаной bota.

— После такой бойни пить хочется, — сказал крестьянин, который дал мне бурдюк.

— Qué va, — сказала я. — А ты убил хоть одного?

— Мы убили четверых, — с гордостью сказал он. — Не считая civiles. А правда, что ты застрелила одного civil, Пилар?

— Ни одного не застрелила, — сказала я. — Когда стена рухнула, я стреляла в дым вместе с остальными. Только и всего.

— Где ты взяла револьвер, Пилар?

— У Пабло. Пабло дал его мне, после того как расстрелял civiles.

— Из этого револьвера расстрелял?

— Вот из этого самого, — сказала я. — А потом дал его мне.

— Можно посмотреть, какой он, Пилар? Можно мне подержать его?

— Конечно, друг, — сказала я и вытащила револьвер из-за веревочного пояса и протянула ему.

Но почему больше никто не выходит, подумала я, и как раз в эту минуту в дверях появился сам дон Гильермо Мартин, в лавке которого мы взяли цепы, пастушьи дубинки и деревянные вилы. Дон Гильермо был фашист, но кроме этого ничего плохого за ним не знали.

Правда, тем, кто поставлял ему цепы, он платил мало, но цены в лавке у него были тоже невысокие, а кто не хотел покупать цепы у дона Гильермо, мог почти без затрат делать их сам: дерево и ремень — вот и весь расход. Он был очень груб в обращении и заядлый фашист, член фашистского клуба, и всегда приходил в этот клуб в полдень и вечером и, сидя в плетеном кресле, читал «Эль дебате», или подзывал мальчишку почистить башмаки, или пил вермут с сельтерской и ел поджаренный миндаль, сушеные креветки и анчоусы. Но за это не убивают, и если бы не оскорбления дона Рикардо Монтальво, не жалкий вид дона Фаустино и не опьянение, которое люди уже почувствовали, хватив лишнего, я уверена, что нашелся бы кто-нибудь, кто крикнул бы: «Пусть дон Гильермо идет с миром. Мы и так попользовались его цепами. Отпустите его». Потому что люди в нашем городе хоть и способны на жестокие поступки, но душа у них добрая, и

они хотят, чтобы все было по справедливости.

Но те, что стояли в шеренгах, уже успели поддаться опьянению и ожесточились, а потому следующего ждали теперь по-другому, не как дона Бенито, который вышел первым. Я сама лучше всякого умею ценить удовольствие, что нам доставляет вино, но не знаю, как в других странах, а в Испании опьянение страшная вещь, особенно если оно не только от вина, и пьяные люди делают много такого, чего нельзя делать. А в твоей стране не так, Inglés?

— Точно так же, — сказал Роберт Джордан. — Когда мне было семь лет, мать взяла меня с собой на свадьбу в штат Огайо. Я должен был нести цветы в паре с одной девочкой.

— И ты правда нес цветы? — спросила Мария. — Как это, наверно, было красиво.

— В этом городе повесили негра, повесили на фонарном столбе, а потом подожгли. Фонарь был на блоке: чтобы зажечь, его спускали вниз, а потом опять поднимали. И негра хотели вздернуть при помощи этого блока, но он оборвался…

— Негра! — сказала Мария. — Вот звери!

— Они были пьяные? — спросила Пилар. — Неужели до того допились, что сожгли негра?

— Я не знаю, — сказал Роберт Джордан, — пото-

му что я подглядывал из-за опущенной занавески. Дом стоял на углу, где был этот фонарь. Народу набралось — полна улица, и когда негра вздернули во второй раз…

— В семь лет, да еще из-за оконной занавески, понятно, ты не мог разобрать, пьяные они были или трезвые, — сказала Пилар.

— Так вот, когда негра вздернули во второй раз, мать оттащила меня от окна, и больше я уже ничего не видел, — сказал Роберт Джордан. — Но с тех пор мне часто приходилось убеждаться в том, что и в моей стране пьяные люди не лучше, чем в вашей. Они страшны и жестоки.

— Ты был тогда совсем маленький, — сказала Мария. — В семь лет смотреть на такое! Я никогда не видела настоящих негров, только в цирке. Разве что марокканцы тоже негры.

— Которые негры, а которые — нет, — сказала Пилар. — Про марокканцев я кое-что могу порассказать.

— Это я могу порассказать, — сказала Мария. — Не ты, а я.

— Не надо об этом говорить, — сказала Пилар. — Только расстраиваться. На чем мы остановились?

— Ты говорила, что люди почувствовали опья-

нение, — сказал Роберт Джордан. — Ну, дальше.

— Я неправильно назвала это опьянением, — сказала Пилар, — потому что до настоящего опьянения было еще далеко. Но люди стали уже не те. Когда дон Гильермо вышел из дверей Ayuntamiento — небольшого роста, близорукий, седой, в рубашке без воротничка, только запонка торчала в петличке — и перекрестился, и посмотрел прямо перед собой, ничего не видя без очков, а потом двинулся вперед, спокойно и с достоинством, его можно было пожалеть. Но из шеренги кто-то крикнул:

— Сюда, дон Гильермо. Вот сюда, дон Гильермо. Пожалуйте к нам. Все ваши товары у нас!

Очень им понравилось издеваться над доном Фаустино, и они не понимали, что дон Гильермо совсем другой человек, и если уж убивать его, так надо убивать быстро и без шутовства…

— Дон Гильермо, — крикнул кто-то. — Может, послать в ваш особняк за очками?

У дона Гильермо особняка не было, потому что он был человек небогатый, а фашистом стал просто так, из моды и еще в утешение себе, что приходится пробавляться мелочами, держать лавку сельскохозяйственных орудий. Жена у него была очень набожная, а он ее так любил, что не

хотел ни в чем от нее отставать, и это тоже привело его к фашистам. Дон Гильермо жил через три дома от Ayuntamiento, снимал квартиру, и когда он остановился, глядя подслеповатыми глазами на двойной строй, сквозь который ему надо было пройти, на балконе того дома, где он жил, пронзительно закричала женщина. Это была его жена, она увидела его с балкона.

— Гильермо! — закричала она. — Гильермо! Подожди, я тоже пойду с тобой!

Дон Гильермо обернулся на голос женщины. Он не мог разглядеть ее. Он хотел сказать что-то и не мог. Тогда он помахал рукой в ту сторону, откуда неслись крики, и шагнул вперед.

— Гильермо! — кричала его жена. — Гильермо! О, Гильермо! — Она вцепилась в балконные перила и тряслась всем телом. — Гильермо!

Дон Гильермо опять помахал рукой в ту сторону и пошел между шеренгами, высоко подняв голову, и о том, каково у него на душе, можно было судить только по бледности его лица.

И тут какой-то пьяный крикнул, передразнивая пронзительный голос его жены: «Гильермо!» И дон Гильермо бросился на него, весь в слезах, ничего не видя перед собой, и пьяный ударил его цепом по лицу с такой силой, что дон Гильермо

осел на землю и так и остался сидеть, обливаясь слезами, но плакал он не от страха, а от ярости, и пьяные били его, и один уселся ему верхом на плечи и стал колотить его бутылкой. После этого многие вышли из шеренг, а их место заняли пьяные, из тех, что с самого начала безобразничали и выкрикивали непристойности в окна Ayuntamiento.

— Мне было очень не по себе, когда Пабло расстреливал guardia civil, — сказала Пилар. — Это было скверное дело, но я подумала тогда: если так должно быть, значит, так должно быть, и, по крайней мере, там обошлось без жестокости — просто людей лишили жизни, и хоть это и скверно, но за последние годы все мы поняли, что иначе нельзя, если хочешь выиграть войну и спасти Республику.

Когда Пабло загородил площадь со всех сторон и выстроил людей двумя шеренгами, мне это хоть и показалось чудно, а все-таки понравилось, и я решила: раз Пабло что-то задумал, значит, так и нужно, потому что все, что мы должны сделать, должно быть сделано пристойно, чтобы никому не претило. Если уж народ должен покончить с фашистами, то пусть весь народ участвует в этом, и я тоже хотела принять на себя часть вины, раз

я собиралась получить и часть тех благ, которые ждали нас тогда, когда город станет нашим. Но после дона Гильермо мне сделалось стыдно и гадко, и когда пьянчуги и всякая шваль стали на место тех, кто возмутился и вышел из шеренг после дона Гильермо, мне захотелось уйти от всего этого подальше, и я прошла через площадь и села на скамейку под большим деревом, которое отбрасывало густую тень.

К скамейке, переговариваясь между собой, подошли двое крестьян, и один из них окликнул меня:

— Что с тобой, Пилар?

— Ничего, hombre, — ответила я ему.

— Неправду говоришь, — сказал он. — Ну, признавайся, что с тобой?

— Кажется, я сыта по горло, — ответила я ему.

— Мы тоже, — сказал он, и они оба сели рядом со мной на скамью. У одного из них был бурдюк с вином, и он протянул его мне.

— Прополощи рот, — сказал он, а другой продолжал начатый раньше разговор:

— Плохо, что это принесет нам несчастье. Никто не разубедит меня в том, что такая расправа, как с доном Гильермо, должна принести нам несчастье.

Тогда первый сказал:

— Если убивать их всех — а я еще не знаю, нужно ли это, — так уж убивали бы попросту, без издевки.

— Пусть бы издевались над доном Фаустино, это я понимаю, — сказал другой. — Он всегда был шутом гороховым, его никто не принимал всерьез. Но когда издеваются над таким человеком, как дон Гильермо, это нехорошо.

— Я сыта по горло, — опять сказала я, и так оно и было на самом деле; внутри у меня все болело, я вся взмокла от пота, и меня мутило, будто я наелась тухлой рыбы.

— Значит, кончено, — сказал первый крестьянин. — Больше мы к этому делу не причастны. А любопытно знать, что делается в других городах.

— Телефон еще не починили, — сказала я. — И это очень плохо, его надо починить.

— Правильно, — сказал он. — Кто знает, может, нам полезнее было бы готовить город к обороне, чем заниматься смертоубийством, да еще таким медленным и жестоким.

— Пойду поговорю с Пабло, — сказала ему я, встала со скамейки и пошла к аркаде перед входом в Ayuntamiento, откуда через площадь тянулись шеренги.

Строя теперь никто не держал, порядка в шеренгах не было, и опьянение давало себя знать уже не на шутку. Двое пьяных валялись на земле посреди площади и по очереди прикладывались к бутылке, передавая ее друг другу. Один после каждого глотка орал как сумасшедший: «Viva la Anarquía!»[32] Вокруг шеи у него был повязан красный с черным платок. Другой орал: «Viva la Libertad!»[33] — дрыгал ногами в воздухе и опять орал: «Viva la Libertad!» У него тоже был красный с черным платок, и он размахивал этими платком и бутылкой, которую держал в другой руке.

Один крестьянин вышел из шеренги, остановился в тени аркады, посмотрел на них с отвращением и сказал:

— Уж лучше бы кричали: «Да здравствует пьянство!» Больше ведь они ни во что не верят.

— Они и в это не верят, — сказал другой крестьянин. — Такие ничего не понимают и ни во что не верят.

Тут один из пьяниц встал, сжал кулаки, поднял их над головой и заорал: «Да здравствует анархия и свобода, так и так вашу Республику!»

---

[32] Примечания: 32
Да здравствует анархия! (*исп.*)

[33] Примечания: 33
Да здравствует свобода! (*исп.*)

Другой, все еще валяясь на земле, схватил горлана за ногу, и тот упал на него, и они несколько раз перекатились один через другого, а потом сели, и тот, который свалил своего дружка, обнял теперь его за шею, протянул ему бутылку, поцеловал его красный с черным платок, и оба выпили.

В эту минуту в шеренгах закричали, и я оглянулась, но мне не было видно, кто выходит, потому что его загораживала толпа у дверей Ayuntamiento. Я увидела только, что Пабло и Четырехпалый выталкивают кого-то прикладами дробовиков, но кого — мне не было видно, и, чтобы разглядеть, я подошла вплотную к толпе, сгрудившейся у дверей.

Все там толкались и шумели, столы и стулья фашистского кафе были опрокинуты, и только один стол стоял на месте, но на нем развалился пьяный, свесив запрокинутую голову и разинув рот. Тогда я подняла стул, приставила его к колонне аркады и взобралась на него, чтобы заглянуть поверх голов.

Тот, кого выталкивали Пабло и Четырехпалый, оказался доном Анастасио Ривасом; это был ярый фашист и самый толстый человек у нас в городе. Он занимался скупкой зерна и, кроме того, служил агентом в нескольких страховых компаниях,

и еще давал ссуды под высокие проценты. Стоя на стуле, я видела, как он сошел со ступенек и приблизился к шеренгам, его жирная шея выпирала сзади из воротничка рубашки, и лысина блестела на солнце. Но сквозь строй ему пройти так и не пришлось, потому что все вдруг закричали разом, — казалось, крик шел не из многих глоток, а из одной. Под этот безобразный пьяный многоголосый рев люди, ломая строй, кинулись к дону Анастасио, и я увидела, как он бросился на землю, обхватил голову руками, а потом уже ничего не было видно, потому что все навалились на него кучей. А когда они поднялись, дон Анастасио лежал мертвый, потому что его били головой о каменные плиты, и никакого строя уже не было, а была орда.

— Пошли туда! — раздались крики. — Пошли за ними сами!

— Он тяжелый — не дотащишь, — сказал один и пнул ногой тело дона Анастасио, лежавшее на земле. — Пусть валяется!

— Очень надо тащить эту бочку требухи к обрыву! Пусть тут и лежит.

— Пошли туда, прикончим их всех разом, — закричал какой-то человек. — Пошли!

— Чего тут весь день печься на солнце! — под-

хватил другой. — Идем, живо!

Толпа повалила под аркады. Все толкались, орали, шумели, как стадо животных, и кричали: «Открывай! Открывай! Открывай!» — потому что, когда шеренги распались, Пабло велел караульным запереть дверь Ayuntamiento на ключ.

Стоя на стуле, я видела через забранное решеткой окно, что делается в зале Ayuntamiento. Там все было по-прежнему. Те, кто не успел выйти, полукругом стояли перед священником на коленях и молились. Пабло с дробовиком за спиной сидел на большом столе перед креслом мэра и свертывал сигарету. Ноги у него висели, не доставая до полу. Четырехпалый сидел в кресле мэра, положив ноги на стол, и курил. Все караульные сидели в креслах членов муниципалитета с ружьями в руках. Ключ от входных дверей лежал на столе перед Пабло.

Толпа орала: «Открывай! Открывай! Открывай!» — точно припев песни, а Пабло сидел на своем месте и как будто ничего не слышал. Он что-то сказал священнику, но из-за криков толпы нельзя было разобрать что.

Священник, как и раньше, не ответил ему и продолжал молиться. Меня теснили со всех сторон, и я со своим стулом передвинулась к самой

стене; меня толкали, а я толкала стул. Теперь, став на стул, я очутилась у самого окна и взялась руками за прутья решетки. Какой-то человек тоже влез на мой стул и стоял позади меня, ухватившись руками за два крайних прута решетки.

— Стул не выдержит, — сказала я ему.

— Велика важность, — ответил он. — Смотри. Смотри, как они молятся!

Он дышал мне прямо в шею, и от него несло винным перегаром и запахом толпы, кислым, как блевотина на мостовой, а потом он вытянул голову через мое плечо и, прижав лицо к прутьям решетки, заорал: «Открывай! Открывай!» И мне показалось, будто вся толпа навалилась на меня, как вот иногда приснится во сне, будто черт на тебе верхом скачет.

Теперь толпа сгрудилась и напирала на дверь, так что напиравшие сзади совсем придавили передних, а какой-то пьяный, здоровенный детина в черной блузе, с черно-красным платком на шее, разбежался с середины площади, налетел на тех, кто стоял позади, и упал, а потом встал на ноги, отошел назад, и опять разбежался, и опять налетел на стоявших позади, и заорал: «Да здравствую я и да здравствует анархия!»

Потом этот самый пьянчуга вышел из толпы,

уселся посреди площади и стал пить из бутылки, и тут он увидел дона Анастасио, который все еще лежал ничком на каменных плитах, истоптанный множеством ног. Тогда пьяница поднялся, подошел к дону Анастасио, нагнулся и стал лить из бутылки ему на голову и на одежду, а потом вынул из кармана спички и принялся чиркать одну за другой, решив запалить костер из дона Анастасио. Но сильный ветер задувал спички, и спустя немного пьяница бросил это занятие, качая головой, уселся рядом с доном Анастасио и то прикладывался к бутылке, то наклонялся и хлопал по плечу мертвого дона Анастасио.

А толпа все кричала, требуя, чтобы открыли двери, и человек, стоявший со мной на стуле, изо всех сил дергал прутья решетки и тоже орал у меня над самым ухом, оглушая меня своим ревом и обдавая своим вонючим дыханием. Я перестала смотреть на пьяницу, который пытался поджечь дона Анастасио, и опять заглянула в зал Ayuntamiento; там все было как и раньше. Они по-прежнему молились, стоя на коленях, в расстегнутых на груди рубашках, одни — опустив голову, другие — подняв ее кверху и устремив глаза на распятие, которое держал в руках священник, а он быстро и отчетливо шептал слова

молитвы, глядя поверх их голов, а позади, на столе, сидел Пабло с сигаретой во рту, с дробовиком за спиной и болтал ногами, поигрывая ключом, который он взял со стола.

Потом Пабло опять заговорил со священником, наклонившись к нему со стола, но что он говорил — нельзя было разобрать из-за крика. Священник не отвечал ему и продолжал молиться. Тогда из полукруга молящихся встал один человек, и я поняла, что он решился выйти. Это был дон Хосе Кастро, которого все звали дон Пепе, барышник и заядлый фашист; он стоял теперь посреди зала, низенький, аккуратный, даже несмотря на небритые щеки, в пижамной куртке, заправленной в серые полосатые брюки. Он поцеловал распятие, и священник благословил его, и он оглянулся на Пабло и мотнул головой в сторону двери.

Пабло покачал головой и продолжал курить. Я видела, что дон Пепе что-то говорит Пабло, но не могла разобрать что. Пабло не ответил, только опять покачал головой и кивнул на дверь.

Тут дон Пепе опять посмотрел на дверь, и я поняла: до сих пор он не знал, что она заперта. Пабло показал ему ключ, и он с минуту постоял, глядя на этот ключ, а потом повернулся, отошел и снова стал на колени. Священник оглянулся на

Пабло, а Пабло осклабился и показал ему ключ, и священник словно только тут уразумел, что дверь заперта, и мне показалось было, что он качает головой, но нет, он только опустил голову и снова стал молиться.

Не знаю, как это они не догадывались, что дверь заперта, разве что уж очень были заняты своими мыслями и своими молитвами; но теперь-то они уже поняли все, и поняли, почему на площади так кричат, и, должно быть, им стало ясно, что там теперь все по-другому. Но они не поднимались с колен и молились, как прежде.

Крик теперь стоял такой, что ничего нельзя было расслышать, а пьянчуга, который забрался на мой стул, обеими руками тряс решетку окна и до хрипоты орал: «Открывай! Открывай!»

Тут Пабло снова заговорил со священником, но священник ему не ответил. Потом я увидела, что Пабло снял свой дробовик с плеча, нагнулся и потрогал священника прикладом. Священник словно и не заметил этого, и я увидела, что Пабло покачал головой. Потом он что-то сказал через плечо Четырехпалому, а Четырехпалый что-то сказал остальным караульным, и они все встали и отошли в дальний угол зала.

Я увидела, как Пабло опять сказал что-то Че-

тырехпалому, и тот сдвинул вместе два стола и нагородил на них несколько скамеек. Получилась баррикада, отделявшая угол зала, а за баррикадой стояли караульные со своими ружьями. Пабло потянулся вперед и опять тронул священника прикладом дробовика, но священник словно ничего не заметил, и другие тоже не заметили и продолжали молиться, и только дон Пепе оглянулся и посмотрел на Пабло. Пабло покачал головой, а потом, увидев, что дон Пепе смотрит на него, кивнул ему и показал ключ, высоко подняв его в руке. Дон Пепе понял и, уронив голову на грудь, стал быстро-быстро шептать молитву.

Пабло соскочил со стола и, обойдя кругом, подошел к высокому креслу мэра, стоявшему на возвышении во главе длинного стола для заседаний. Он уселся в это кресло и стал свертывать себе сигарету, не спуская глаз с фашистов, которые молились вместе со священником. По его лицу нельзя было понять, что он думает. Ключ лежал на столе перед ним. Это был большой железный ключ длиною с фут. Потом Пабло что-то крикнул караульным, что — я не могла расслышать, и один караульный пошел к двери. Я увидела, что губы у фашистов, шептавших молитвы, зашевелились быстрей, и догадалась, что они поняли.

Пабло сказал что-то священнику, но священник ему не ответил. Тогда Пабло потянулся за ключом, взял его и швырнул караульному, стоявшему у дверей. Тот поймал ключ на лету, и Пабло одобрительно ухмыльнулся. Потом караульный вставил ключ в замок, повернул, дернул дверь и спрятался за нее, потому что толпа сразу ворвалась.

Я видела, как они вбежали, но тут пьяный, который стоял со мной на стуле, завопил: «Ай! Ай! Ай! — и, высунувшись вперед, заслонил мне все окно, а потом принялся кричать: — Бей их! Бей их! Лупи! Колоти!» — и отпихнул меня в сторону, так что мне совсем уж ничего не стало видно.

Я ткнула его локтем в живот и сказала: «Пьяница, это чей стул! Пусти, дай мне посмотреть!»

Но он все тряс решетку, вцепившись в нее обеими руками, и вопил: «Бей их! Лупи! Колоти! Вот так! Бей их! Бей! Cabrónes! Cabrónes! Cabrónes!»

Я ткнула его локтем еще сильней и сказала: «Cabrón! Пьянчуга! Пусти посмотреть».

Тут он обеими руками пригнул мою голову, чтобы ему было виднее, и всей своей тяжестью навалился на меня, а сам все орет: «Бей их! Лупи! Вот так!»

«А я тебя вот так!» — сказала я и изо всех сил ударила его в пах, и ему стало так больно, что он

отпустил мою голову, схватился за это место и говорит: «No hay derecho, mujer. Не имеешь права, женщина». А я тем временем заглянула в окно и вижу, что в комнату полным-полно набилось людей, и они молотят дубинками и цепами, и лупят, и колют, и тычут куда ни попало деревянными вилами, которые из белых уже стали красными и зубья растеряли, и вся комната ходит ходуном, а Пабло сидит и смотрит, положив дробовик на колени, а вокруг все ревут, и колотят, и режут, и люди кричат, как лошади на пожаре. И я увидела, как священник, подобрав полы, лезет на стол, а сзади его колют серпами, а потом кто-то ухватил его за подол сутаны, и послышался крик, и потом еще крик, и я увидела, что двое колют священника, а третий держит его за полы, а он вытянул руки и цепляется за спинку кресла, но тут стул, на котором я стояла, подломился, и мы с пьяным свалились на тротуар, где пахло вином и блевотиной, а пьяный все грозил мне пальцем и говорил: «No hay derecho, mujer, no hay derecho. Ты меня покалечить могла», — а люди, пробегая мимо, спотыкались и наступали на нас, и большей уже ничего не видела, только ноги людей, теснившихся ко входу в Ayuntamiento, да пьяного, который сидел напротив меня, зажимая то место,

куда я его ударила.

Так кончилась расправа с фашистами в нашем городе, и я бы досмотрела все до конца, если бы не мой пьянчуга, но я даже рада, что он помешал мне, так как то, что творилось в Ayuntamiento, лучше было не видеть.

Другой пьяный, которого я заметила раньше на площади, был еще похуже моего. Когда мы поднялись на ноги после того, как сломался стул, и выбрались из толпы, теснившейся у дверей, я увидела, что он сидит на прежнем месте, обмотав шею своим красно-черным платком, и что-то льет на дона Анастасио. Голова у него моталась из стороны в сторону, и туловище валилось вбок, но он все лил и чиркал спичками, лил и чиркал спичками, и я подошла к нему и сказала:

— Ты что делаешь, бессовестный?

— Nada, mujer, nada, — сказал он. — Отстань от меня.

И тут, может быть потому, что, встав перед ним, я загородила его от ветра, спичка разгорелась, и синий огонек побежал по рукаву дона Анастасио вверх, к его затылку, и пьяница задрал голову и завопил во все горло: «Мертвецов жгут! Мертвецов жгут!»

— Кто? — крикнул голос из толпы.

— Где? — подхватил другой.

— Здесь! — надрывался пьяница. — Вот здесь, вот!

Тут кто-то с размаху огрел пьяного цепом по голове, и он свалился, вскинул глаза на того, кто его ударил, и тут же закрыл их, потом скрестил на груди руки и вытянулся на земле рядом с доном Анастасио, будто заснул. Больше его никто не трогал, и так он и остался лежать там, после того как дона Анастасио подняли и взвалили на телегу вместе с другими и повезли к обрыву; вечером, когда в Ayuntamiento все уже было убрано, их всех сбросили с обрыва в реку. Жаль, что заодно туда же не отправили десяток-другой пьяниц, особенно из тех, с черно-красными платками; и если у нас еще когда-нибудь будет революция, их, я думаю, надо будет ликвидировать с самого начала. Но тогда мы этого не знали. Нам еще предстояло это узнать.

Но в тот вечер мы еще не знали, что нас ожидает. После бойни в Ayuntamiento убивать больше никого не стали, но митинг в тот вечер так и не удалось устроить, потому что слишком много народу перепилось. Невозможно было установить порядок, и потому митинг отложили на следующий день.

В ту ночь я спала с Пабло. Не надо бы рассказывать об этом при тебе, guapa, но, с другой стороны, тебе полезно узнать все как есть, и ведь я говорю только чистую правду. Ты послушай, Inglés. Это очень любопытно.

Так вот, значит, вечером мы сидели и ужинали, и все было как-то по-чудному. Так бывает после бури или наводнения или после боя, все устали и говорили мало. Мне тоже было не по себе, внутри сосало, было стыдно и казалось, что мы сделали что-то нехорошее, и еще было такое чувство, что надвигается большая беда, вот как сегодня утром, когда летели самолеты. И так оно и вышло через три дня.

Пабло за ужином говорил немного.

— Понравилось тебе, Пилар? — спросил он, набив рот жарким из молодого козленка. Мы ужинали в ресторанчике при автобусной станции. Народу было полно, пели песни, и официанты с трудом управлялись.

— Нет, — сказала я. — Не понравилось, если не считать дона Фаустино.

— А мне понравилось, — сказал он.

— Все? — спросила я.

— Все, — сказал он и, отрезав своим ножом большой ломоть хлеба, стал подбирать им соус с

тарелки. — Все, если не считать священника.

— Тебе не понравилось то, что сделали со священником? — Я удивилась, так как знала, что священники ему еще ненавистней фашистов.

— Он меня разочаровал, — печально сказал Пабло. Кругом так громко пели, что нам приходилось почти кричать, иначе не слышно было.

— Как так?

— Он плохо умер, — сказал Пабло. — Проявил мало достоинства.

— Какое уж тут могло быть достоинство, когда на него набросилась толпа? — сказала я. — А до того он, по-моему, держался с большим достоинством. Большего достоинства и требовать нельзя.

— Да, — сказал Пабло. — Но в последнюю минуту он струсил.

— Еще бы не струсить, — сказала я. — Ты видел, что они с ним сделали?

— Я не слепой, — сказал Пабло. — Но я считаю, что он умер плохо.

— На его месте каждый умер бы плохо, — сказала я ему. — Чего тебе еще нужно за твои деньги? Если хочешь знать, все, что там творилось, в Ayuntamiento, просто гнусность!

— Да, — сказал Пабло. — Порядку было мало.

Но ведь это священник. Он должен был показать пример.

— Я думала, ты не любишь священников.

— Да, — сказал Пабло и отрезал себе еще хлеба. — Но ведь это испанский священник. Испанский священник должен умирать как следует.

— По-моему, он совсем неплохо умер, — сказала я. — Ведь что творилось!

— Нет, — сказал Пабло. — Он меня совсем разочаровал. Целый день я ждал смерти священника. Я решил, что он последним пройдет сквозь строй. Просто дождаться этого не мог. Думал — вот будет зрелище! Я еще никогда не видел, как умирает священник.

— Успеешь еще, — язвительно сказала я. — Ведь сегодня только начало.

— Нет, — сказал Пабло. — Он меня разочаровал.

— Вот как! — сказала я. — Чего доброго, ты и в бога верить перестанешь.

— Не понимаешь ты, Пилар, — сказал он. — Ведь это же испанский священник.

— Что за народ испанцы! — сказала я ему. И верно, Inglés, что за гордый народ! Правда? Что за народ!

— Нам надо идти, — сказал Роберт Джордан. Он

взглянул на солнце. — Скоро полдень.

— Да, — сказала Пилар. — Сейчас пойдем. Вот только докончу про Пабло. В тот вечер он мне сказал:

— Пилар, сегодня у нас с тобой ничего не будет.

— Ладно, — сказала я. — Очень рада.

— Я думаю, это было бы нехорошо в день, когда убили столько народу.

— Qué va, — ответила я ему. — Подумаешь, какой праведник! Я не зря столько лет жила с матадорами, знаю, какие они бывают после корриды.

— Это верно, Пилар? — спросил он.

— А когда я тебе лгала? — сказала я ему.

— В самом деле, Пилар, я сегодня никуда не гожусь. Ты на меня не в обиде?

— Нет, hombre, — сказала я ему. — Но каждый день ты людей не убивай.

И он спал всю ночь как младенец, пока я его не разбудила на рассвете, а я так и не могла уснуть и в конце концов поднялась и села у окна, откуда видна была площадь в лунном свете, та самая, где днем стояли шеренги, и деревья на краю площади, блестевшие в лунном свете, и черные тени, которые от них падали, и скамейки, тоже

облитые лунным светом, и поблескивавшие осколки бутылок, а дальше обрыв, откуда всех сбросили, и за ним пустота. Кругом было тихо, только в фонтане плескалась вода, и я сидела и думала: как же скверно мы начинаем.

Окно было раскрыто, и со стороны Фонды мне вдруг послышался женский плач. Я вышла на балкон, босыми ногами ступая по железу; фасады домов вокруг площади были освещены луной, а плач доносился с балкона дона Гильермо. Это его жена стояла там на коленях и плакала.

Тогда я вернулась в комнату и снова села у окна, и мне не хотелось ни о чем думать, потому что это был самый плохой день в моей жизни, если не считать еще одного дня.

— А когда был этот другой день? — спросила Мария.

— Три дня спустя, когда город взяли фашисты.

— Про это не говори, — сказала Мария. — Я не хочу слушать. Довольно. И так слишком много.

— Я ведь говорила, что тебе не надо этого слушать, — сказала Пилар. — Видишь! Я не хотела, чтоб ты слушала. Вот теперь тебе приснятся дурные сны.

— Нет, — сказала Мария. — Но больше я не хочу.

— А мне бы хотелось как-нибудь еще послушать, — сказал Роберт Джордан.

— Ладно, — сказала Пилар. — Но Марии это вредно.

— Я не хочу, — жалобно сказала Мария. — Не надо, Пилар. Не рассказывай при мне, а то я волей-неволей буду слушать.

Губы у нее тряслись, и Роберт Джордан подумал, что она сейчас заплачет.

— Не надо, Пилар, не говори.

— Не бойся, стригунок, — сказала Пилар. — Не бойся. Но тебе я расскажу, Inglés, как-нибудь в другой раз.

— Но я хочу всегда быть там, где он, — сказала Мария. — Нет, Пилар, не рассказывай ты этого совсем.

— Я расскажу, когда ты будешь занята.

— Нет. Нет. Не надо. Не будем совсем говорить про это, — попросила Мария.

— Раз уж я рассказала про то, что делали мы, надо и это рассказать, иначе несправедливо, — ответила Пилар. — Но я расскажу так, что ты не услышишь.

— Неужели нельзя говорить о чем-нибудь приятном? — сказала Мария. — Неужели нужно всегда говорить про эти ужасы?

— Вот после обеда, — сказала Пилар, — останетесь вы вдвоем, ты и Inglés. Тогда будете говорить о чем хотите.

— Ну так пускай скорей придет после обеда, — сказала Мария. — Пусть оно прилетит.

— Придет, придет, — сказала ей Пилар. — Прилетит, а потом и улетит, и завтрашний день тоже улетит.

— После обеда, — сказала Мария. — После обеда. Пускай скорей придет после обеда.

Глава одиннадцатая

Они спустились с плато в лесистую долину и снова поднялись по тропке, которая сначала вилась вдоль ручья, а потом сворачивала и сразу круто забирала в гору, и когда они достигли вершины склона, поросшей все тем же густым сосняком, навстречу им выступил из-за дерева человек с карабином наперевес.

— Стой, — сказал он. И потом: — Hola, Пилар. Кто это с тобой?

— Это один Inglés, — сказала Пилар. — Но имя у него христианское. — Роберто. На какую распохабную высоту надо лезть, чтобы к вам добраться!

— Salud, camarada, — сказал часовой и протянул руку Роберту Джордану. — Что скажешь хорошего?

— Все хорошо, — ответил Роберт Джордан. — А у тебя?

— Тоже, — сказал часовой.

Он был очень молод; узкоплечий, худой, лицо скуластое, нос с горбинкой и серые глаза. Шапки на нем не было, и взлохмаченные черные

волосы падали на лоб; в его сильном пожатии чувствовалось дружелюбие, и глаза тоже смотрели дружелюбно.

— Здравствуй, Мария, — сказал он девушке. — Ты не устала?

— Qué va, Хоакин, — сказала девушка. — Мы не столько шли, сколько сидели и разговаривали.

— Ты — новый динамитчик? — спросил Хоакин. — Мы уже про тебя слышали.

— Я ночевал у Пабло, — сказал Роберт Джордан. — Да, я новый динамитчик.

— Мы рады тебе, — сказал Хоакин. — Что, опять поезд?

— А ты был в том деле? — спросил Роберт Джордан с улыбкой.

— Еще бы, — сказал Хоакин. — Там мы нашли вот эту. — Он лукаво кивнул на Марию. — Ты теперь красивая стала, — сказал он Марии. — Говорили уже тебе, какая ты красивая?

— Спасибо, Хоакин, но все-таки замолчи, — сказала Мария. — Тебя бы вот остричь наголо да посмотреть, какой ты будешь красивый.

— Я тебя нес, — сказал Хоакин девушке. — Я тебя нес на плечах.

— Не ты один, — сказала Пилар своим низким голосом. — Все ее несли. Где старик?

— В лагере.

— А вчера вечером где он был?

— В Сеговии.

— Новости есть?

— Да, — сказал Хоакин. — Есть новости.

— Хорошие или плохие?

— Кажется, плохие.

— Вы самолеты видели?

— Ох, — сказал Хоакин и покачал головой. — Лучше и не говори! Товарищ динамитчик, что это были за самолеты?

— Бомбардировщики «хейнкель-сто одиннадцать». Истребители «хейнкель» и «фиат», — ответил ему Роберт Джордан.

— Большие с низкими крыльями как называются?

— «Хейнкель-сто одиннадцать».

— Как бы ни назывались, от этого не легче, — сказал Хоакин. — Но я задерживаю вас. Пойдемте, я вас провожу к командиру.

— К командиру? — спросила Пилар.

Хоакин кивнул с серьезным видом.

— Мне так больше нравится, чем «вожак», — сказал он. — Звучит по-военному.

— Ты скоро совсем солдатом станешь, — сказала Пилар и засмеялась.

— Нет, — сказал Хоакин. — Но мне нравятся военные термины, с ними приказы яснее и дисциплина крепче.

— Вот этот придется тебе по душе, Inglés, — сказала Пилар. — Он у нас серьезный.

— Может, понести тебя? — спросил Хоакин девушку, обняв ее за плечи и с улыбкой заглядывая ей в глаза.

— Одного раза хватит, — ответила ему Мария. — Но и за то спасибо.

— А ты помнишь, как это было? — спросил ее Хоакин.

— Я помню, что меня несли, — сказала Мария. — А тебя не помню. Цыгана помню, потому что он меня то и дело бросал. Но все равно спасибо тебе, Хоакин, как-нибудь в другой раз я сама тебя понесу.

— А я хорошо помню, — сказал Хоакин. — Помню, как я держал тебя за обе ноги, а животом ты лежала у меня на плече, а твоя голова свешивалась мне на спину, и руки тоже там болтались.

— У тебя хорошая память, — сказала Мария и улыбнулась ему. — Я вот ничего не помню. Ни твоих рук, ни твоего плеча, ни твоей спины.

— А сказать тебе одну вещь? — спросил ее Хоакин.

— Ну, говори.

— Я тогда очень радовался, что ты висишь у меня на спине, потому что стреляли-то сзади!

— Вот свинья, — сказала Мария. — Верно, от того и цыган меня долго нес.

— Ну да, и еще от того, что ему приятно было подержать тебя за ноги.

— Мои герои, — сказала Мария. — Мои спасители.

— Слушай, guapa, — сказала ей Пилар. — Этот мальчик нес тебя очень долго, и в то время им было вовсе не до твоих ног. В то время на уме у всех были только пули. А если б он тебя бросил, он быстро добежал бы до такого места, куда пули уже не достигали.

— Я ему благодарна, — сказала Мария. — И как-нибудь в другой раз я сама его понесу. Дай нам пошутить, Пилар. Не плакать же мне от того, что он меня нес.

— Я бы тебя тогда охотно бросил, — продолжал дразнить ее Хоакин. — Да боялся, что Пилар меня пристрелит.

— Я еще никого не пристрелила, — сказала Пилар.

— No hace falta. А это и не требуется, — ответил ей Хоакин. — Из-за твоего языка тебя и так боятся

до смерти.

— Что это за разговоры, — сказала ему Пилар. — Ты всегда был таким вежливым мальчуганом. Что ты делал до войны, мальчуган?

— А что я мог делать? — сказал Хоакин. — Мне тогда было шестнадцать лет.

— Но все-таки?

— Так, случалось иногда заработать на чужих башмаках.

— Чинил, что ли?

— Нет, чистил.

— Que vé, — сказала Пилар. — Чего-то ты недоговариваешь. — Она оглядела его смуглое лицо, гибкую фигуру, копну черных волос, вспомнила его походку с каблука на носок. — Почему же у тебя не вышло?

— Что не вышло?

— Что? Ты знаешь что. Ты и сейчас косичку отращиваешь.

— Должно быть, страх помешал, — сказал юноша.

— Фигура у тебя подходящая, — сказала ему Пилар. — Но лицо так себе. Значит, страх помешал? А в деле с поездом ты держался молодцом.

— Теперь у меня страха нет, — сказал юноша. — Прошло. Мы насмотрелись такого, что похуже и

пострашнее быков. Какой бык может сравниться с пулеметом? Но все-таки, очутись я теперь на арене, не знаю, станут ли меня слушаться ноги.

— Он хотел быть матадором, — объяснила Пилар Роберту Джордану. — Но струсил.

— Ты любишь бой быков, товарищ динамитчик? — спросил Хоакин, открывая в улыбке белые зубы.

— Очень, — сказал Роберт Джордан. — Очень, очень люблю.

— А ты когда-нибудь видел его в Вальядолиде? — спросил Хоакин.

— Да. В сентябре, во время ярмарки.

— Я сам из Вальядолида, — сказал Хоакин. — Замечательный город, и люди там хорошие, но сколько же им пришлось вытерпеть в эту войну! — Лицо его потемнело. — Там у меня убили отца. И мать. И зятя, а вот теперь, недавно, сестру.

— Звери, — сказал Роберт Джордан.

Сколько раз уже он это слышал. Сколько раз видел, как люди с усилием выговаривают эти слова. Сколько раз наблюдал, как глаза наполняются слезами и голос становится хриплым, когда нужно произнести простое слово — отец, брат, мать, сестра. Разве сосчитаешь, сколько при-

шлось встретить людей, вспоминавших о своих близких именно так. И почти всегда это бывает неожиданно, как вот сейчас, с этим мальчиком, когда разговор вдруг коснется родного города, и при этом всегда отвечаешь: «Звери!»

Но ты только слышал о том, что случилось. Ты не видел, как падал убитый отец. Перед тобой не возникала картина его смерти, как возникала картина смерти фашистов, когда Пилар вела свой рассказ у ручья. Ты знал: отца расстреляли где-нибудь на дворе, или у стены дома, или в поле, или на огороде, или ночью на дороге при свете автомобильных фар. Порой тебе случалось сверху, с гор, видеть их огни и слышать выстрелы, а потом спускаться на дорогу и находить тела. Но ты не видел, как убивали мать, или сестру, или брата. Ты только слышал об этом; и ты слышал выстрелы и видел тела.

Пилар своим рассказом заставила его увидеть.

Если б эта женщина умела писать! Он попробует записать все так, как она рассказывала, если только ему удастся все вспомнить. Ах, черт, какой она рассказчик! Посильней Кеведо, подумал он. Кеведо не сумел бы так описать смерть какого-нибудь дона Фаустино, как это вышло у нее. Если бы у меня хватило таланта написать

такой рассказ, подумал он. Именно про то, что мы делали. Не про то, что делали с нами. Об этом он знал достаточно. Он немало наслышался таких рассказов во вражеском тылу. Но нужно знать людей, о которых идет речь. Нужно знать, что это были за люди, как они жили раньше.

Оттого, что мы постоянно переходим с места на место, от того, что нам не приходится задерживаться и самим нести расплату, мы, в сущности, не знаем, что бывает потом, подумал он. Ты приходишь в дом к крестьянину. Ты приходишь под вечер, ужинаешь с ним и его семьей и ложишься спать. Днем тебя прячут, а на следующую ночь тебя там уже нет. Ты сделал свое дело и ушел. Когда тебе снова случится попасть в те места, ты узнаешь, что твоих хозяев расстреляли. Вот и все.

Но это всегда происходило уже без тебя. Партизаны разрушали то, что нужно было разрушить, и шли дальше. Крестьяне оставались и расплачивались за все. Я и раньше знал о том, о чем рассказывала Пилар, подумал он. О том, что на первых порах мы делали с ними. Я всегда знал это, и мне было противно; я слышал, как об этом говорили со стыдом и без стыда, хвастались, гордились, оправдывали, объясняли или отрицали. Но эта проклятая баба заставила меня увидеть

все так, как будто я сам был при этом.

Ну что ж, подумал он, это тоже необходимо для твоего воспитания. А воспитание ты здесь получаешь хорошее, это ты почувствуешь потом, когда все кончится. Здесь, на войне, учишься, если только умеешь слушать. Ты, во всяком случае, научился многому. Хорошо, что в последние десять лет перед войной ты почти каждый год бывал в Испании. Если удается заслужить доверие, это главным образом из-за языка. Тебе доверяют потому, что ты отлично понимаешь язык и говоришь без запинки и во многих местах побывал в этой стране. Испанец в конечном счете предан только родной деревне. То есть прежде всего, разумеется, Испании, потом своему народу, потом своей провинции, потом своей деревне, своей семье и своему ремеслу. Если вы знаете испанский язык, это сразу располагает испанца в вашу пользу, если вы знаете его провинцию, расположение усиливается, но если вы знаете его деревню и его ремесло, вы становитесь для него своим в той мере, в какой это вообще возможно для иностранца. Для Роберта Джордана испанский язык никогда не был чужим, и потому эти люди редко обращались с ним как с иностранцем; разве только, когда вдруг ополчались

против него.

Конечно, бывает, что они ополчаются против тебя. Это случается даже часто, но ведь они готовы ополчиться против кого угодно. Даже против самих себя.

Нехорошо было так думать, но кто контролировал его мысли? Никто, кроме него самого. Он не боялся, что эти мысли приведут его в конце концов к пораженчеству. Самое главное было выиграть войну. Если мы не выиграем войны — кончено дело. Но он замечал все, и ко всему прислушивался, и все запоминал. Он принимал участие в войне и, покуда она шла, отдавал ей все свои силы, храня непоколебимую верность долгу. Но разума своего и своей способности видеть и слышать он не отдавал никому; что же до выводов из виденного и слышанного, то этим, если потребуется, он займется позже. Материала для выводов будет достаточно. Его уже достаточно. Порой даже кажется, что слишком много.

Посмотреть только на эту женщину, Пилар, подумал он. Как бы там ни сложилось дальше, но если будет время, надо упросить ее, чтобы она досказала мне эту историю. Посмотреть только, как она шагает рядом с этими двумя младенцами. Трудно подобрать трех более прекрасных детей

Испании. Она похожа на гору, а юноша и девушка точно два молодых деревца. Старые деревья уже все срублены, а молодые растут здоровыми, вот как эти. Несмотря на все, что им пришлось перенести, они кажутся такими свежими, и чистыми, и здоровыми, и нетронутыми, как будто никогда не знали несчастья. А ведь, по словам Пилар, Мария только-только пришла в себя. Верно, совсем была плоха.

Ему вспомнился один паренек, бельгиец, в Одиннадцатой бригаде. Их было шестеро добровольцев из одной деревни. Вся деревня состояла из двух сотен жителей, и этот парень раньше ни разу из нее не выезжал. Когда Роберт Джордан впервые встретил его в штабе бригады Ганса, все пятеро его товарищей уже погибли, он один уцелел; он был словно не в себе, и его взяли в штаб прислуживать за столом. У него были светлые волосы, широкое, румяное фламандское лицо и громадные неуклюжие руки крестьянина, и с подносом в руках он казался могучим и неуклюжим, как ломовая лошадь. И все время плакал. Весь обед или ужин он плакал, беззвучно, но неудержимо.

Когда ни взглянешь на него, он плачет. Попросишь налить вина — плачет, протянешь тарелку

за жарким — плачет, только лицо отворачивает. Потом вдруг он переставал; но стоило взглянуть на него, и у него снова набегали на глаза слезы. Он плакал и на кухне, ожидая очередного блюда. Все были очень ласковы с ним. Но ничто не помогало. Надо будет узнать, что с ним сталось, прошло ли это у него и смог ли он опять пойти на фронт.

А Мария, видно, теперь вполне оправилась. Так, по крайней мере, кажется. Он, правда, плохой психиатр. Вот Пилар — та настоящий психиатр. Наверно, для них обоих хорошо, что они были вместе этой ночью. Да, если только на том не оборвется. Для него это очень хорошо. У него сегодня легко на душе: спокойно и радостно и никакой тревоги. Дело у моста выглядит довольно рискованным, но ведь ему везет. Бывал он не раз в таких делах, которые обещали быть рискованными. Обещали быть; он уже и думает по-испански. Мария — прелесть.

Смотри на нее, сказал он себе. Смотри на нее.

Он смотрел, как она весело шагает в солнечных лучах, распахнув ворот своей серой рубашки. У нее поступь, как у молодого жеребенка, подумал он. Не каждый день встретишь такую. Не часто это бывает. Может быть, этого и не было, подумал он. Может быть, это тебе приснилось или ты все

выдумал и на самом деле этого вовсе не было. Может быть, это вот как иногда тебе снится, что героиня фильма, который ты видел, пришла к тебе ночью, такая ласковая и чудесная. Он всех их обнимал во сне. Гарбо он до сих пор помнит, и Харлоу. Да, Харлоу была много раз. Может быть, и это такой же сон.

Но он до сих пор помнит, как Гарбо приходила к нему во сне накануне атаки у Пособланко; на ней был шерстяной свитер, мягкий и шелковистый на ощупь, и когда он обнял ее, она наклонилась, и ее волосы упали ему на лицо, и она спросила, почему он никогда не говорил ей о своей любви, ведь она любит его уже давно. Она не казалась застенчивой, холодной и далекой. Так чудесно было обнимать ее, и она была такая ласковая и чудесная, как в дни Джека Гилберта, и все было совсем как на самом деле, и он любил ее гораздо больше, чем Харлоу, хотя Гарбо приходила только раз, а Харлоу… Может быть, и это такой же сон?

А может быть, и не сон, сказал он себе. Может быть, вот протяну сейчас руку и дотронусь до этой самой Марии. Может быть, ты просто боишься, сказал он себе. А вдруг окажется, что этого не было и это неправда, как все твои сны про киноактрис или про то, как твои прежние

любовницы возвращаются и спят с тобой в этом самом спальном мешке, на голых досках, на сене, на земле, во всех сараях, конюшнях, corrales и cortijos[34], в грузовиках, в гаражах, в лесах и во всех горных ущельях Испании. Все они приходили к нему, когда он спал в этом мешке, и все они были с ним гораздо нежнее, чем когда-то на самом деле. Может быть, и тут тоже так. Может быть, ты боишься дотронуться до нее, боишься проверить. Вдруг дотронешься, а это ты только выдумал и видел во сне.

Он шагнул к девушке и положил руку на ее плечо. Сквозь потертую ткань его пальцы ощутили гладкость кожи. Девушка взглянула на него и улыбнулась.

— Hola, Мария, — сказал он.

— Hola, Inglés, — ответила она, и он увидел ее золотисто-смуглое лицо, и коричневато-серые глаза, и улыбающиеся полные губы, и короткие, выгоревшие на солнце волосы, и она чуть откинула голову и с улыбкой посмотрела ему в глаза. Это все-таки была правда.

Они уже подходили к лагерю Эль Сордо; сосны впереди поредели, и за ними показалась круглая

---

[34] Примечания: 34
Скотные дворы и фермы (*исп.*).

выемка в склоне горы, похожая на поставленную боком миску. Тут в известняке, наверно, кругом полно пещер, подумал он. Вон две прямо на пути. Их почти не видно за мелким сосняком, разросшимся по склону. Хорошее место для лагеря, не хуже, чем у Пабло, а то и лучше.

— Расскажи, как убили твоих родных, — говорила Пилар Хоакину.

— Нечего рассказывать, женщина, — отвечал Хоакин. — Они все были левые, как и многие другие в Вальядолиде. Когда фашисты устроили чистку в городе, они сперва расстреляли отца. Он голосовал за социалистов. Потом они расстреляли мать. Она тоже голосовала за социалистов. Это ей первый раз в жизни пришлось голосовать. Потом расстреляли мужа одной из сестер. Он состоял в профсоюзе вагоновожатых. Ведь он не мог бы работать на трамвае, если бы не был членом профсоюза. Но политикой он не занимался. Я его хорошо знал. Это был человек не очень порядочный. И даже товарищ неважный. Потом муж другой сестры, тоже трамвайщик, ушел в горы, как и я. Они думали, что сестра знает, где он. Но она не знала. Тогда они ее расстреляли за то, что она не сказала им, где он.

— Вот звери, — сказала Пилар. — Но где же Эль

Сордо? Я его не вижу.

— Он здесь. Наверно, в пещере, — ответил Хоакин, потом остановился, упер ружье прикладом в землю и сказал: — Слушай, Пилар. И ты, Мария. Простите, если я причинил вам боль рассказом про своих близких. Я знаю, теперь у всех много горя, и лучше не говорить об этом.

— Надо говорить, — сказала Пилар. — Зачем же мы живем на свете, если не для того, чтобы помогать друг другу. Да и не велика помощь — слушать и молчать.

— Но Марии это, может быть, тяжело. У нее довольно своих несчастий.

— Qué va, — сказала Мария. — У меня их такая куча, что твои много не прибавят. Мне тебя очень жаль, Хоакин, и я надеюсь, что с твоей другой сестрой ничего не случится.

— Сейчас она жива, — сказал Хоакин. — Она в тюрьме. Но как будто ее там не очень мучают.

— Есть у тебя еще родные? — спросил Роберт Джордан.

— Нет, — сказал юноша. — Больше никого. Только зять, который ушел в горы, но я думаю, что его тоже нет в живых.

— А может быть, он жив, — сказала Мария. — Может быть, он с каким-нибудь отрядом в другом

месте.

— Я считаю, что он умер, — сказал Хоакин. — Он всегда был не слишком выносливый, и работал он трамвайным кондуктором, а это плохая подготовка для жизни в горах. Едва ли он мог выдержать год. Да и грудь у него слабая.

— А все-таки, может быть, он жив. — Мария положила ему руку на плечо.

— Кто знает. Все может быть, — сказал Хоакин.

Мария вдруг потянулась к нему, обняла его за шею и поцеловала, Хоакин отвернул лицо в сторону, потому что он плакал.

— Это как брата, — сказала ему Мария. — Я тебя целую, как брата.

Хоакин замотал головой, продолжая беззвучно плакать.

— Я твоя сестра, — сказала Мария. — И я тебя люблю, и у тебя есть родные. Мы все твои родные.

— И даже Ignlés, — прогудела Пилар. — Верно, Inglés?

— Да, — сказал Роберт Джордан юноше. — Мы все твои родные, Хоакин.

— Он твой брат, — сказала Пилар. — А, Inglés?

Роберт Джордан положил Хоакину руку на плечо.

Хоакин замотал головой.

— Мне стыдно, что я заговорил, — сказал он. — Нельзя говорить о таких вещах, потому что от этого всем делается еще труднее. Мне стыдно, что я причинил вам боль.

— Так тебя и так с твоим стыдом, — сказала Пилар своим красивым грудным голосом. — А если эта Мария опять поцелует тебя, так я и сама полезу целоваться. Давно мне не приходилось целовать матадоров, хотя бы и таких незадачливых, как ты, и я с удовольствием поцелую незадачливого матадора, который записался в коммунисты. Ну-ка, подержи его, Inglés, пока я его буду целовать.

— Deja[35], — сказал юноша и резко отвернулся. — Оставь меня в покое. Все уже прошло, и теперь мне стыдно.

Он стоял к ним спиной, силясь унять слезы. Мария вложила свою руку в руку Роберта Джордана. Пилар подбоченилась и насмешливо разглядывала юношу.

— Уж если я тебя поцелую, — сказала она ему, — это будет не по-сестрински. Знаем мы эти сестринские поцелуи.

---

[35] Примечания: 35
Отойди (*исп.*).

— Ни к чему твои шутки, — ответил Хоакин. — Я ведь сказал, все уже прошло и я жалею, что заговорил.

— Ладно, пошли тогда к старику, — сказала Пилар. — Надоели мне все эти переживания.

Юноша посмотрел на нее. Видно было по его глазам, что он вдруг почувствовал острую обиду.

— Не о твоих переживаниях речь, — сказала ему Пилар. — О моих. Очень ты чувствительный для матадора.

— Матадора из меня не вышло, — сказал Хоакин. — И нечего напоминать мне об этом каждую минуту.

— А косичку опять отращиваешь?

— Ну и что ж тут такого? Бой быков — очень полезное дело. Он многим дает работу, и теперь этим будет ведать государство. И, может быть, теперь я уже не буду бояться.

— Может быть, — сказала Пилар. — Может быть.

— Зачем ты с ним так грубо разговариваешь, Пилар? — сказала Мария. — Я тебя очень люблю, но сейчас ты прямо зверь, а не человек.

— Я и есть зверь, — сказала Пилар. — Слушай, Inglés. Ты обдумал, о чем будешь говорить с Эль Сордо?

— Да.

— Имей в виду, он слов тратить не любит, не то что я, или ты, или вот эти слезливые щенята.

— Зачем ты так говоришь? — уже сердито спросила Мария.

— Не знаю, — сказала Пилар и зашагала вперед. — А ты как думаешь?

— И я не знаю.

— Есть вещи, которые меня иногда очень злят, — сердито сказала Пилар. — Понятно? Вот, например, то, что мне сорок восемь лет. Слышишь? Сорок восемь лет и безобразная рожа в придачу. Или то, что вот такой горе-матадор с коммунистическим уклоном шарахается с испугу, когда я в шутку говорю, что поцелую его.

— Это неправда, Пилар, — сказал Хоакин. — Не было этого.

— Qué va, не было! Но мне плевать на вас всех. А вон он. Hola, Сантьяго! Как дела?

Человек, которого окликнула Пилар, был приземистый, плотный, с очень смуглым, скуластым лицом; у него были седые волосы, широко расставленные желто-карие глаза, тонкий у переносья, крючковатый, как у индейца, нос и большой узкий рот с длинной верхней губой. Он был чисто выбрит, его кривые ноги казались под

стать сапогам для верховой езды. Он вышел из пещеры им навстречу. День был жаркий, но его кожаная куртка на овечьем меху была застегнута до самого горла. Он протянул Пилар большую коричневую руку.

— Hola, женщина, — сказал он. — Hola, — сказал он Роберту Джордану, и поздоровался с ним, и пытливо заглянул ему в лицо.

Роберт Джордан увидел, что у него глаза желтые, как у кошки, и тусклые, как у пресмыкающегося.

— A, guapa, — сказал он Марии и потрепал ее по плечу. — Ела? — спросил он Пилар.

Она покачала головой.

— Поешь, — сказал он и посмотрел на Роберта Джордана. — Выпьешь? — И, сжав кулак, отогнул большой палец вниз и сделал движение, как будто наливая что-то.

— Спасибо, охотно.

— Хорошо, — сказал Эль Сордо. — Виски?

— У тебя есть виски?

Эль Сордо кивнул.

— Inglés? — спросил он. — Не Ruso?

— Americano.

— Американцев здесь мало, — сказал он.

— Теперь стало больше.

— Тем лучше. Северный или Южный?

— Северный.

— Все равно что Inglés. Когда взрываешь мост?

— Ты уже знаешь про мост?

Эль Сордо кивнул.

— Послезавтра утром.

— Хорошо, — сказал он. — Пабло? — спросил он Пилар.

Она покачала головой. Эль Сордо усмехнулся.

— Ступай, — сказал он Марии и опять усмехнулся. — Вернешься, — он достал из внутреннего кармана куртки большие часы на кожаном ремешке, — через полчаса.

Он знаком предложил им сесть на стесанное бревно, служившее скамейкой, потом взглянул на Хоакина и ткнул большим пальцем в сторону тропинки, по которой они пришли.

— Я погуляю с Хоакином и через полчаса вернусь, — сказала Мария.

Эль Сордо пошел в пещеру и принес бутылку шотландского виски и три стакана. Бутылку он держал под мышкой, стаканы нес в той же руке, прихватив пальцем каждый стакан, а другой рукой сжимал горлышко глиняного кувшина с водой. Он поставил бутылку и стаканы на бревно, а кувшин пристроил рядом на земле.

— Льда нет, — сказал он Роберту Джордану и протянул ему бутылку.

— Я не хочу, — сказала Пилар и накрыла свой стакан рукой.

— Лед негде брать, — сказал Эль Сордо и усмехнулся. — Весь растаял. Лед вон там. — Он указал на снег, блестевший на голых греблях гор. — Далеко, не достанешь.

Роберт Джордан хотел наполнить стакан Эль Сордо, но тот покачал головой и жестом показал, чтоб он налил себе.

Роберт Джордан налил виски почти до половины стакана, и тотчас же Эль Сордо, внимательно следивший за ним, передал ему кувшин с водой, и Роберт Джордан подставил стакан под холодную струю, плеснувшую из глиняного носика, как только он наклонил кувшин.

Эль Сордо тоже налил себе полстакана виски и долил доверху водой.

— Вина? — спросил он Пилар.

— Нет. Воды.

— Бери, — усмехнулся он. — Нехорошо, — сказал он Роберту Джордану и усмехнулся. — Знал много англичан. Всегда много виски.

— Где?

— На ранчо, — сказал Эль Сордо. — Хозяйские

гости.

— Где ты достаешь виски?

— Что? — Он не расслышал.

— Ты погромче, — сказала Пилар. — В то ухо, в другое.

Глухой указал на свое здоровое ухо и усмехнулся.

— Где ты достаешь виски? — закричал Роберт Джордан.

— Делаю, — сказал Эль Сордо и увидел, как рука Роберта Джордана, подносившая стакан ко рту, остановилась на полдороге.

— Нет, — сказал Эль Сордо и похлопал его по плечу. — Шучу. Из Ла-Гранхи. Услышал вчера — английский динамитчик идет. Хорошо. Очень рад. Достал виски. Для тебя. Нравится?

— Очень, — сказал Роберт Джордан. — Это очень хорошее виски.

— Рад слышать, — усмехнулся Эль Сордо. — Принес виски и новости тоже.

— Какие новости?

— Большое передвижение войск.

— Где?

— Сеговия. Самолеты ты видел?

— Да.

— Скверно, а?

— Скверно. А где именно передвижение войск?

— Много между Вильякастин и Сеговией. На вальядолидской дороге. Много между Вильякастин и Сан-Рафаэлем. Много. Много.

— Что же ты об этом думаешь?

— Мы что-то готовим?

— Может быть.

— Они знают. Тоже готовят.

— Возможно.

— Почему не взорвать мост сегодня ночью?

— Приказ.

— Чей приказ?

— Генерального штаба.

— Так.

— Это важно, когда именно взорвать? — спросила Пилар.

— Чрезвычайно важно.

— А если там уже войска?

— Я пошлю Ансельмо с точным донесением о том, какие именно части передвигаются и сосредоточиваются. Он сейчас наблюдает за дорогой.

— У тебя кто-то на дороге?

Роберт Джордан не знал, что Эль Сордо расслышал и что нет. С этими глухими никогда не знаешь наверняка.

— Да, — сказал он.

— У меня тоже. Почему не взорвать мост сегодня?

— Я должен действовать согласно приказу.

— Не нравится мне, — сказал Эль Сордо. — Это мне не нравится.

— Мне тоже, — сказал Роберт Джордан.

Эль Сордо покачал головой и глотнул виски из стакана.

— Что нужно от меня?

— Сколько у тебя всего людей?

— Восемь.

— Надо перерезать связь, ликвидировать пост в домике дорожного мастера и отойти к мосту.

— Это нетрудно.

— Инструкции будут даны письменно.

— Ни к чему. А Пабло?

— Перережет связь по эту сторону, ликвидирует пост у лесопилки и отойдет к мосту.

— А как будем уходить? — спросила Пилар. — У нас семеро мужчин, две женщины и пять лошадей. А у тебя? — прокричала она в ухо Эль Сордо.

— Восемь мужчин и четыре лошади. Faltan caballos, — сказал он. — Лошадей не хватает.

— Девять лошадей на семнадцать человек, — сказала Пилар. — Да еще кладь.

Эль Сордо промолчал.

— Нельзя достать еще лошадей? — спросил Роберт Джордан, наклонясь к здоровому уху Эль Сордо.

— Год воюю, — сказал Эль Сордо. — Имею четырех. — Он показал четыре пальца. — А ты хочешь до завтра — восемь.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Не забывай, что ты отсюда уходишь. Тебе не нужно соблюдать прежнюю осторожность. Не нужно думать о каждом шаге. Неужели нельзя сделать вылазку и увести восемь лошадей?

— Может быть, — сказал Эль Сордо. — Может быть — ни одной. Может быть — больше.

— У вас тут есть ручной пулемет? — спросил Роберт Джордан.

Эль Сордо кивнул.

— Где?

— Наверху.

— Какой системы?

— Не знаю названия. С дисками.

— С дисками? А сколько дисков?

— Пять.

— Кто-нибудь из вас умеет обращаться с ним?

— Я. Немножко. Стреляем мало. Не хотим поднимать шум. Не хотим изводить патроны.

— Я потом пойду взгляну, — сказал Роберт

Джордан. — А ручные гранаты у вас есть?

— Много.

— А патронов сколько на винтовку?

— Много.

— Сколько?

— Сто пятьдесят. Может быть, больше.

— А людей можно достать еще?

— Зачем?

— Надо будет захватить посты и прикрывать мост, пока я буду подготовлять взрыв. А для этого нужно вдвое больше людей, чем у нас есть.

— Насчет постов не беспокойся. Время?

— На рассвете.

— Не беспокойся.

— Еще бы человек двадцать — вот это бы меня вполне устроило, — сказал Роберт Джордан.

— Надежных нет. Ненадежных — надо?

— Нет. А сколько есть надежных?

— Может быть, четверо.

— Почему так мало?

— Верить нельзя.

— А если только на то, чтобы держать лошадей?

— Держать лошадей — надо очень надежных.

— Может быть, хоть десять человек наберется?

— Четверо.

— Ансельмо говорил мне, здесь, в горах, больше сотни.

— Все ненадежны.

— Ты сказала — тридцать, — повернулся Роберт Джордан к Пилар. — Тридцать, на которых более или менее можно положиться.

— А как люди Элиаса? — крикнула Пилар в ухо Глухому.

Он покачал головой.

— Ненадежны.

— Значит, даже десятка нельзя набрать? — спросил Роберт Джордан.

Эль Сордо посмотрел на него своими тусклыми желтыми глазами и покачал головой.

— Четверо, — сказал он и выставил четыре пальца.

— А твои надежны? — спросил Роберт Джордан и тут же пожалел, что спросил.

Эль Сордо кивнул.

— Dentro de la gravedad, — сказал он по-испански. — В меру опасности. — Он усмехнулся. — Что, скверно будет?

— Возможно.

— Мне все равно, — сказал Эль Сордо просто и без хвастовства. — Лучше четверо хороших, чем много плохих. В этой войне много плохих, мало

хороших. С каждым днем меньше хороших. А Пабло? — Он посмотрел на Пилар.

— Ты сам знаешь, — сказала Пилар. — С каждым днем хуже.

Эль Сордо пожал плечами.

— Пей, — сказал он Роберту Джордану. — Я даю своих и еще четверых. Всего двенадцать. Сегодня все обсудим. У меня динамит — шестьдесят брусков. Надо?

— Какой состав?

— Не знаю. Обыкновенный динамит. Принесу.

— Этим мы взорвем маленький мостик, верхний, — сказал Роберт Джордан. — Очень хорошо. Ты сегодня вечером придешь? Тогда захвати с собой. В приказе о том мостике ничего не сказано, но его тоже придется взорвать.

— Вечером приду. Потом — за лошадьми.

— Ты думаешь, удастся достать лошадей?

— Может быть. Теперь пойдем есть.

Что он, со всеми так разговаривает, подумал Роберт Джордан, или воображает, что так иностранцу легче понимать?

— А куда мы подадимся потом, когда с этим будет кончено? — прокричала Пилар в ухо Эль Сордо.

Он пожал плечами.

— Все это надо подготовить, — сказала Пилар.

— Надо, — сказал Эль Сордо. — Конечно.

Он пожал плечами.

— Это дело трудное, — сказала Пилар. — Нужно все обдумать до тонкости.

— Да, женщина, — сказал Эль Сордо. — Что тебя тревожит?

— Все! — прокричала Пилар.

Эль Сордо усмехнулся.

— Это ты от Пабло набралась, — сказал он.

Значит, таким кургузым языком он говорит только с иностранцами, подумал Роберт Джордан. Ладно. Очень рад, что наконец услышал от него нормальную человеческую речь.

— Куда же надо идти, по-твоему? — спросила Пилар.

— Куда?

— Да, куда?

— Есть много мест, — сказал Эль Сордо. — Много мест. Ты знаешь Гредос?

— Там слишком много народу. Вот увидишь, скоро за все эти места примутся, дай только срок.

— Да. Но это обширный край и очень дикий.

— Трудно будет добраться туда, — сказала Пилар.

— Все трудно, — сказал Эль Сордо. — Добираться одинаково, что до Гредоса, что до другого места. Надо идти ночью. Здесь теперь очень опасно. Чудо, что мы до сих пор здесь продержались. В Гредосе спокойнее.

— Знаешь, куда бы я хотела? — сказала Пилар.

— Куда? В Парамеру? Туда не годится.

— Нет, — сказала Пилар. — Я не хочу в Сьерра-Парамеру. Я хочу туда, где Республика.

— Это можно.

— Твои люди пойдут?

— Да. Если я скажу.

— А мои — не знаю, — сказала Пилар. — Пабло не захочет, хотя там он мог бы себя чувствовать в безопасности. Служить ему не надо, года вышли, разве что будут призывать из запаса. Цыган ни за что не пойдет. Не знаю, как другие.

— Здесь уже так давно тихо, что они забыли про опасность, — сказал Эль Сордо.

— Сегодняшние самолеты им напомнили, — сказал Роберт Джордан. — Но, по-моему, даже удобнее действовать из Гредоса.

— Что? — спросил Эль Сордо и посмотрел на него совсем уже тусклыми глазами.

Вопрос прозвучал не слишком дружелюбно.

— Оттуда вам было бы удобнее делать вылаз-

ки, — сказал Роберт Джордан.

— Вот как! — сказал Эль Сордо. — Ты знаешь Гредос?

— Да. Там можно действовать на железнодорожной магистрали. Можно разрушать пути, как мы делаем южнее, в Эстремадуре. Это лучше, чем вернуться на территорию Республики, — сказал Роберт Джордан. — Там от вас больше пользы.

Слушая его, Глухой и женщина все больше мрачнели. Когда он кончил, они переглянулись.

— Так ты знаешь Гредос? — спросил Эль Сордо. — Верно?

— Ну да, — сказал Роберт Джордан.

— И куда бы ты направился?

— За Барко-де-Авила. Там лучше, чем здесь. Можно совершать вылазки на шоссе и на железную дорогу между Бехаром и Пласенсией.

— Очень трудно, — сказал Эль Сордо.

— Мы действовали на этой самой дороге в Эстремадуре, где гораздо опаснее, — сказал Роберт Джордан.

— Кто это мы?

— Отряд guerrilleros[36] из Эстремадуры.

— Большой?

---

[36] Примечания: 36
Партизаны (*исп.*).

— Человек сорок.

— А тот, у которого слабые нервы и чудно́е имя, тоже был оттуда? — спросила Пилар.

— Да.

— Где он теперь?

— Умер, я ведь говорил тебе.

— И ты тоже оттуда?

— Да.

— Ты не догадываешься, что я хочу сказать? — спросила Пилар.

Я допустил ошибку, подумал Роберт Джордан. Сказал испанцам, что мы делали что-то лучше их, а у них не полагается говорить о своих заслугах и подвигах. Вместо того чтобы польстить им, стал указывать, что нужно делать, и теперь они оба рассвирепели. Ну что ж, либо они переварят это, либо нет. А пользы от них, конечно, будет гораздо больше в Гредосе, чем тут. Доказательством хотя бы то, что они ничего тут не сделали после того взрыва эшелона, который организовал Кашкин. Тоже не бог весть что за операция была. Фашисты потеряли паровоз и несколько десятков солдат, а тут говорят об этом как о самом значительном событии за всю войну. Ну, может быть, им теперь станет стыдно и они все-таки уйдут в Гредос. А может быть, они меня вышвырнут отсюда. Во

всяком случае, картина получается не особенно веселая.

— Слушай, Inglés, — сказала ему Пилар. — Как у тебя нервы?

— Ничего, — сказал Роберт Джордан. — Довольно крепкие.

— А то последний динамитчик, которого сюда присылали, хоть и знал свое дело, но нервы у него были никуда.

— Бывают и среди нас нервные люди, — сказал Роберт Джордан.

— Я не говорю, что он трус, держался он молодцом, — продолжала Пилар. — Но только уж очень много говорил — и все как-то по-чудному. — Она повысила голос. — Верно, Сантьяго, последний динамитчик, тот, что взрывал поезд, был немного чудной?

— Algo raro, — кивнул Эль Сордо, и уставился на Роберта Джордана круглыми, как отверстие пылесоса, глазами. — Si, algo raro, pero bueno[37].

— Murió, — сказал Роберт Джордан прямо в ухо Глухому. — Он умер.

— Как он умер? — спросил Глухой, переводя взгляд с глаз Роберта Джордана на его губы.

---

[37] Примечания: 37
Да, довольно странный, но славный (*исп.*).

— Я его застрелил, — сказал Роберт Джордан. — Он был тяжело ранен и не мог идти, и я его застрелил.

— Он всегда толковал об этом, — сказала Пилар. — Ему эта мысль прямо покоя не давала.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Он всегда толковал об этом, и эта мысль не давала ему покоя.

— Coma fué?[38] — спросил Глухой. — Вы взрывали поезд?

— Мы возвращались после взрыва поезда, — сказал Роберт Джордан. — Операция прошла удачно. Возвращаясь в темноте, мы наткнулись на фашистский патруль, и, когда мы побежали, пуля угодила ему в спину, но кости не задела ни одной и засела под лопаткой. Он еще долго шел с нами, но в конце концов обессилел от раны и не мог идти дальше. Оставаться он не хотел ни за что, и я застрелил его.

— Menos mal, — сказал Глухой. — Из двух зол меньшее.

— Ты уверен, что у тебя крепкие нервы? — спросила Пилар Роберта Джордана.

— Да, — ответил он. — Я уверен, что нервы у

---

[38] Примечания: 38
Как это было? (*исп.*)

меня в порядке, и я думаю, что, когда мы кончим это дело с мостом, вам лучше всего будет уйти в Гредос.

Не успел он это сказать, как женщина разразилась потоком непристойной брани, который забушевал вокруг него, точно кипящая белая пена, разлетающаяся во все стороны при внезапном извержении гейзера.

Глухой закачал головой и радостно ухмыльнулся, глядя на Роберта Джордана. Он долго качал головой, а Пилар ругалась не переставая, и Роберт Джордан понял, что все уладилось. Наконец она умолкла, потянулась за кувшином с водой, запрокинула голову, напилась и сказала как ни в чем не бывало:

— Уж ты нас не учи, Inglés, что нам делать дальше. Возвращайся туда, где Республика, девчонку бери с собой, а мы тут сами решим, в какой стороне нам умирать.

— Жить, — сказал Эль Сордо. — Успокойся, Пилар.

— И жить и умирать, — сказала Пилар. — Я-то знаю, чем все это кончится. Ты славный малый, Inglés, но зря ты вздумал учить нас, как нам быть потом, когда ты сделаешь свое дело.

— А это уж твое дело, — сказал Роберт Джор-

дан. — Я в это не вмешиваюсь.

— Но ты вмешался, — сказала Пилар. — Бери свою стриженую потаскушку и уходи туда, где Республика, но не смей закрывать дверь перед другими, которые в этой стране родились и Республике были преданы еще тогда, когда у тебя молоко на губах не обсохло.

Мария поднималась по тропинке и услышала последние слова Пилар, которые та, снова обозлившись, выкрикнула Роберту Джордану. Мария энергично замотала головой, глядя на Роберта Джордана, и подняла палец в знак предостережения. Увидев, что Роберт Джордан смотрит на девушку и улыбается, Пилар повернулась к ней лицом и сказала:

— Да. Именно потаскуха. И можете ехать вдвоем в Валенсию, а мы будем сидеть в Гредосе и есть козье дерьмо.

— Пусть я потаскуха, если тебе угодно, Пилар, — сказала Мария. — Раз ты так говоришь, значит, это правда. Но только успокойся. Что с тобой случилось?

— Ничего, — сказала Пилар и села на бревно; голос ее упал, и в нем уже не звенела металлом ярость. — Вовсе я тебя не называла потаскухой. Но мне так хочется туда, где Республика.

— Вот и пойдем все вместе, — сказала Мария.

— В самом деле, — сказал Роберт Джордан. — Раз уж тебе так не по душе Гредос.

Эль Сордо ухмыльнулся.

— Ладно, посмотрим, — сказала Пилар; ее гнев совсем улегся. — Дай мне стакан этого чудно́го напитка. У меня от злости горло пересохло. Посмотрим. Посмотрим, что еще будет.

— Видишь ли, товарищ, — объяснил Эль Сордо. — Самое трудное то, что это утром. — Он перестал говорить кургузыми фразами и смотрел Роберту Джордану в глаза спокойно и вразумляюще, не пытливо и не подозрительно и без той равнодушной снисходительности старого вояки, которая раньше сквозила в его взгляде. — Я понимаю твой план и знаю, что нужно ликвидировать посты и потом прикрывать мост, пока ты будешь делать свое дело. Это все я отлично понимаю. Это все было бы легко до рассвета или ближе к сумеркам.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Ступай погуляй еще немножко, ладно? — сказал он Марии, не глядя на нее.

Девушка отошла настолько, что разговор уже не долетал до нее, и села, обхватив руками колени.

— Вот, — сказал Эль Сордо. — Сделать это все

— невелика задача. Но чтобы потом при дневном свете уйти отсюда и добраться до другого места — это уже задача потруднее.

— Правильно, — сказал Роберт Джордан. — Я об этом думал. Ведь и мне придется уходить при дневном свете.

— Ты один, — сказал Эль Сордо. — А нас много.

— А что, если вернуться в лагерь и ждать темноты, а потом уже уходить? — сказала Пилар, отхлебнув из стакана и снова отставив его.

— Это тоже очень опасно, — возразил Эль Сордо. — Это, пожалуй, еще опаснее.

— Представляю себе, — сказал Роберт Джордан.

— Сделать это ночью было бы пустое дело, — сказал Эль Сордо. — Но раз ты ставишь условие, что это надо днем, все осложняется.

— Я знаю.

— А если ты все-таки сделаешь это ночью?

— Меня расстреляют.

— Если ты сделаешь это днем, тебя скорей всего тоже расстреляют, а заодно и всех нас.

— Для меня это уже не так важно, поскольку мост будет взорван, — сказал Роберт Джордан. — Но я понимаю теперь, в чем вся загвоздка. При дневном свете вы не можете организовать отход.

— Вот то-то и есть, — сказал Эль Сордо. — Нужно

будет — так сможем. Но я хочу, чтоб ты понял, чем люди озабочены и почему сердятся. Ты так говоришь о переходе в Гредос, как будто это военные маневры, которые ничего не стоит выполнить. Нам попасть в Гредос можно только чудом.

Роберт Джордан молчал.

— Выслушай меня, — сказал Эль Сордо. — Я сегодня много говорю. Но это для того, чтобы лучше можно было понять друг друга. Мы здесь вообще держимся чудом. Сделали это чудо лень и глупость фашистов, но все это только до поры до времени. Правда, мы очень осторожны, никого и ничего здесь, в горах, не трогаем.

— Я знаю.

— Но после дела с мостом нам придется уходить. Надо крепко подумать над тем, как уходить.

— Понятно.

— Вот, — сказал Эль Сордо. — А теперь надо поесть. Я очень много говорил.

— Никогда не слышала, чтоб ты так много разговаривал, — сказала Пилар. — Может, от этого? — Она приподняла стакан.

— Нет, — Эль Сордо покачал головой. — Это не от виски. Это от того, что у меня еще никогда не было о чем так много говорить.

— Я оценил твою помощь и твою верность Рес-

публике, — сказал Роберт Джордан. — Я оценил трудность, которую создает время, назначенное для взрыва.

— Не будем говорить об этом, — сказал Эль Сордо. — Мы здесь для того, чтобы сделать все, что можно. Но это нелегко.

— А на бумаге все очень просто, — усмехнулся Роберт Джордан. — На бумаге взрыв моста производится в момент начала наступления, для того чтобы отрезать дорогу за мостом. Очень просто.

— Пусть бы они нам дали что-нибудь сделать на бумаге, — сказал Глухой. — И подумать и выполнить — все на бумаге.

— Бумага все терпит, — вспомнил Роберт Джордан поговорку.

— И на многое годится, — сказала Пилар. — Es muy útil[39]. Хотела бы я употребить твой приказ для этой надобности.

— Я и сам хотел бы, — сказал Роберт Джордан. — Но так никогда не выиграешь войну.

— Да, — сказала женщина. — Пожалуй, это верно. А знаешь, чего бы я еще хотела?

— Уйти туда, где Республика, — сказал Глухой. Он повернулся к ней здоровым ухом, когда она

---

[39] Примечания: 39
Очень полезна (*исп.*).

заговорила. — Ya irás, mujer[40]. Вот выиграем войну, и тогда везде будет Республика.

— Ладно, — сказала Пилар. — А теперь, ради бога, давайте есть.

[40] Примечания: 40
Ты уйдешь, женщина (*исп.*).

Глава двенадцатая

После обеда они вышли из лагеря Эль Сордо и стали спускаться по той же крутой тропинке. Эль Сордо проводил их до нижнего сторожевого поста.

— Salud, — сказал он. — Вечером увидимся.

— Salud, camarada, — ответил ему Роберт Джордан, и все трое пошли по тропинке дальше, а Глухой стоял и смотрел им вслед.

Мария оглянулась и помахала ему, и Эль Сордо ответил ей тем принятым у испанцев коротким движением руки вверх, которое выглядит так, будто человек отмахивается от чего-то, и меньше всего на свете похоже на приветствие. За столом он сидел в той же овчинной куртке, даже не расстегнув ее, и все время был подчеркнуто вежлив, заботливо поворачивал голову, чтобы лучше слышать, и, снова перейдя на кургузый язык, расспрашивал Роберта Джордана о положении в Республике; но было ясно, что он хочет поскорее отделиться от них.

Когда они уходили, Пилар спросила:

— Ну, так как же, Сантьяго?

— Никак, женщина, — сказал Глухой. — Все в порядке. Я буду думать.

— Я тоже, — сказала тогда Пилар, и во все время спуска по крутой тропинке между соснами, по которой спускаться было легко и приятно, не то что подниматься, она не вымолвила ни слова.

Роберт Джордан и Мария тоже молчали, и так они быстро дошли до того места, откуда начинался последний крутой подъем в гору и тропинка уходила в густую чащу, чтобы прорезать ее насквозь и выйти на горный луг.

День клонился к вечеру, но майское солнце уже сильно припекало, и на половине подъема женщина вдруг остановилась. Роберт Джордан тоже остановился и, оглянувшись назад, увидел капли пота, выступившие у нее на лбу. Ее смуглое лицо как будто побледнело, кожа приняла желтоватый оттенок, и под глазами обозначились темные круги.

— Отдохнем немного, — сказал он. — Мы идем слишком быстро.

— Нет, — сказала она. — Пошли дальше.

— Отдохни, Пилар, — сказала Мария. — У тебя измученный вид.

— Замолчи, — сказала женщина. — Тебя не спрашивают.

Она снова полезла в гору, но, когда они добрались до перевала, она дышала тяжело, все лицо у нее взмокло, и его бледность теперь бросалась в глаза.

— Сядь, посиди, Пилар, — сказала Мария. — Ну прошу тебя, пожалуйста, посиди.

— Ладно, — сказала Пилар, и они уселись втроем под сосной, лицом туда, где за лугом темнела вся гряда Сьерры и отдельные вершины как будто выпирали из нее, сверкая снегом в лучах предвечернего солнца.

— Такая дрянь этот снег, а как красиво, — сказала Пилар. — Один обман этот снег. — Она повернулась к Марии. — Не сердись, что я тебя выругала, guapa. Сама не знаю, что на меня нашло сегодня. Характер скверный.

— Я на твои слова не обращаю внимания, когда ты злишься, — сказала ей Мария. — А злишься ты часто.

— Нет, это не злость, это хуже, — сказала Пилар, глядя на снеговые вершины.

— Тебе нездоровится, — сказала Мария.

— И не это, — сказала женщина. — Иди сюда, guapa, положи голову ко мне на колени.

Мария придвинулась к ней поближе, вытянула руки, сложила их так, как складывают, когда

спят без подушки, и улеглась на них головой. Лицо она повернула к Пилар и улыбнулась ей, но женщина все смотрела на луг, на горы. Не глядя, она погладила голову девушки, потом повела толстым коротким пальцем по ее лбу, вокруг уха и вниз вдоль кромки волос на шее.

— Сейчас я тебе ее отдам, Inglés, — сказала она.

Роберт Джордан сидел позади нее.

— Не надо так говорить, — сказала Мария.

— Да, пусть берет тебя, — сказала Пилар, не глядя на них обоих. — Ты мне никогда не была нужна. Но я ревную.

— Пилар, — сказала Мария. — Не говори так.

— Пусть берет тебя, — сказала Пилар и обвела пальцем вокруг мочки ее уха. — Но я очень ревную.

— Но, Пилар, — сказала Мария. — Ты ведь сама говорила мне, что у нас с тобой ничего такого нет.

— Что-нибудь такое всегда есть, — сказала женщина. — Всегда есть что-нибудь такое, чего не должно быть. Но у меня нет. Правда, нет. Я тебе желаю счастья, вот и все.

Мария промолчала, лежа все в той же позе и стараясь держать голову так, чтобы Пилар не было тяжело.

— Слушай, guapa, — сказала Пилар и стала рассеянно обводить пальцами овал ее лица. — Слушай, guapa, я тебя люблю, но пусть он берет тебя. Я не tortillera[41], я женщина, созданная для мужчин. Это правда. Но мне приятно так вот, при солнечном свете, говорить, что я тебя люблю.

— Я тебя тоже люблю.

— Qué va. Не болтай глупостей. Ты даже не понимаешь, о чем я говорю.

— Я понимаю.

— Qué va, что ты понимаешь! Ты пара этому Inglés. Это сразу видно, и пусть так и будет. И я на это согласна. На что другое я бы не согласилась. Я глупостями не занимаюсь. Я просто говорю тебе то, что есть. Немного найдется людей, а особенно женщин, которые будут говорить тебе то, что есть. Я ревную, и так и говорю, и так оно и есть, и так я и говорю.

— Перестань, — сказала Мария. — Перестань, Пилар.

— Por qué[42] перестань? — сказала женщина, по-прежнему не глядя на них обоих. — Не перестану, пока мне не захочется перестать. Ну, — она

---

[41] Примечания: 41
Лесбиянка (*исп.*).

[42] Примечания: 42
Почему (*исп.*).

наконец взглянула на девушку, — вот теперь мне захотелось. И я уже перестала, понятно?

— Пилар, — сказала Мария. — Не надо так говорить.

— Ты очень славный маленький зайчонок, — сказала Пилар. — А теперь убери свою голову, потому что блажь у меня уже прошла.

— Это вовсе не блажь, — сказала Мария. — А моей голове очень удобно здесь.

— Нет. Вставай, — сказала Пилар и, подложив свои большие руки под голову девушки, приподняла ее. — Ну, а ты что, Inglés? — спросила она и, не выпуская головы девушки из рук, посмотрела на дальние горы. — Тебе что, кошка язык отъела?

— Не кошка, — ответил ей Роберт Джордан.

— А какой же зверь тебе его отъел? — Она опустила голову девушки на землю.

— Не зверь, — сказал Роберт Джордан.

— Сам, значит, проглотил?

— Должно быть, — сказал Роберт Джордан.

— Ну и как, вкусно было? — Пилар с усмешкой повернулась к нему.

— Не очень.

— Я так и думала, — сказала Пилар. — Так я и думала. А теперь я отдам тебе твоего зайчонка. Я

и не собиралась отнимать у тебя твоего зайчонка. Это хорошее прозвище, подходит к ней. Я утром слышала, как ты ее называл так.

Роберт Джордан почувствовал, что краснеет.

— Трудная ты женщина, — сказал он ей.

— Нет, — сказала Пилар. — Но я такая простая, — не сразу поймешь. А тебя, Inglés?

— Вероятно, тоже. Хоть я и не слишком прост.

— Ты мне нравишься, Inglés, — сказала Пилар. Потом улыбнулась, наклонилась вперед, опять улыбнулась и покачала головой. — Вот если б я могла отнять у тебя зайчонка или тебя отнять у зайчонка.

— Ничего бы не вышло.

— Знаю, — сказала Пилар и снова улыбнулась. — Да я бы и не захотела. А в молодые годы — отняла бы.

— Это я верю.

— Веришь?

— Конечно, — сказал Роберт Джордан. — Но к чему весь этот разговор?

— Это так на тебя не похоже, — сказала Мария.

— Я сама на себя не похожа сегодня, — сказала Пилар. — Совсем не похожа. От твоего моста у меня голова разболелась, Inglés.

— Что ж, можно назвать его Мост головной

боли, — сказал Роберт Джордан. — Но он у меня полетит в теснину, как сломанная птичья клетка.

— Вот это хорошо, — сказала Пилар. — Ты еще так поговори.

— Он у меня разломится пополам, как очищенный банан.

— Я бы сейчас съела банан, — сказала Пилар. — Ну, еще, Inglés. Говори еще.

— Незачем, — сказал Роберт Джордан. — Идем в лагерь.

— Твой мост, — сказала Пилар. — Не убежит он от тебя. Я ведь обещала, что дам тебе побыть с ней вдвоем.

— Нет. У меня еще много дел.

— Это тоже дело и много времени не займет.

— Замолчи, Пилар, — сказала Мария. — Как ты грубо говоришь.

— А я грубая, — сказала Пилар. — Но я и очень деликатная тоже. Soy muy delicada. Я вас оставлю вдвоем. А про ревность это все пустой разговор. Меня разозлил Хоакин, потому что по его глазам я увидела, какая я уродина. И я не ревную. Я только завидую. Завидую, что тебе девятнадцать лет. Но эта зависть пройдет. Тебе не всегда будет девятнадцать. Ну, я иду.

Она встала и, подбоченившись одной рукой, взглянула на Роберта Джордана, который тоже встал. Мария сидела на земле под деревом, низко опустив голову.

— Мы все идем, — сказал Роберт Джордан. — Пора возвращаться в лагерь, впереди еще много дела.

Пилар кивнула в сторону Марии. Та сидела с опущенной головой и молчала. Пилар улыбнулась, едва заметно пожала плечами и спросила:

— Ты дорогу знаешь?

— Я знаю, — сказала Мария, не поднимая головы.

— Pues me voy, — сказала Пилар. — Тогда я пошла. Мы тебе приготовим что-нибудь вкусное на ужин, Inglés.

Она повернулась и пошла через заросший вереском луг к ручью, который вел к лагерю.

— Погоди, — окликнул ее Роберт Джордан. — Мы пойдем все вместе.

Мария сидела и молчала.

Пилар не оглянулась.

— Qué va, все вместе, — сказала она. — Увидимся в лагере.

Роберт Джордан смотрел ей вслед.

— С ней ничего не случится? — спросил он Ма-

рию. — У нее вид совсем больной.

— Пусть идет, — сказала Мария, все еще не поднимая головы.

— Не надо бы ее отпускать одну.

— Пусть идет, — сказала Мария. — Пусть идет!

Глава тринадцатая

Они шли по заросшему вереском горному лугу, и Роберт Джордан чувствовал, как вереск цепляется за его ноги, чувствовал тяжесть револьвера, оттянувшего ему пояс, и тепло солнечных лучей на лице, и холодок, пробегающий по спине от ветра со снежных вершин, и руку девушки в своей руке, крепкую и сильную, с тонкими пальцами, которые он захватил своими. От того, что ее ладонь лежала на его ладони, что их пальцы были сплетены, что ее запястье прижималось к его запястью, от этой близости ее ладони, и пальцев, и запястья шло в его руку что-то свежее, как первый порыв ветра, который рябит гладь застывшего в штиле моря, что-то легкое, как прикосновение перышка к губам, как листок, в тихую погоду падающий на землю; такое легкое, что достаточно было бы прикосновения пальцев, чтобы его почувствовать, но тесное пожатие руки настолько усиливало, настолько углубляло это «что-то», делало его таким острым, таким мучительным, таким сильным, что оно словно током пронизывало его и отдавалось во всем теле

щемящей тоской желания. Солнце отсвечивало на ее волосах цвета спелой пшеницы, на золотисто-смуглом нежном лице, на изгибе шеи, и он запрокинул ей голову, притянул ее к себе и поцеловал. Она задрожала от его поцелуя, и он крепко прижал к себе все ее тело и почувствовал ее маленькие крепкие груди, почувствовал их сквозь ткань двух рубашек, и он поднял руку, и расстегнул пуговицы на ее рубашке, и нагнулся, и поцеловал ее, а она стояла, дрожа, откинув голову назад. Потом ее подбородок коснулся его головы, и тотчас же он почувствовал, что она обхватила его голову и прижала к себе. Он выпрямился и обнял ее обеими руками так крепко, что она отделилась от земли, и, чувствуя, как она дрожит, он поцеловал ее шею и потом опустил ее на землю и сказал:

— Мария, о моя Мария.

Потом он сказал:

— Куда нам пойти?

Она ничего не ответила, только ее пальцы скользнули ему за ворот, и он почувствовал, как она расстегивает пуговицы его рубашки, и она сказала:

— Ты тоже. Я тебя тоже хочу поцеловать.

— Не надо, зайчонок.

— Нет, надо. Что ты, то и я.

— Нет. Так не бывает.

— Ну и пусть. И пусть. Пусть.

Потом был запах примятого вереска, и колкие изломы стеблей у нее под головой, и яркие солнечные блики на ее сомкнутых веках, и казалось, он на всю жизнь запомнит изгиб ее шеи, когда она лежала, запрокинув голову в вереск, и ее чуть-чуть шевелившиеся губы, и дрожание ресниц на веках, плотно сомкнутых, чтобы не видеть солнца и ничего не видеть, и мир для нее тогда был красный, оранжевый, золотисто-желтый от солнца, проникавшего сквозь сомкнутые веки, и такого же цвета было все — полнота, обладание, радость, — все такого же цвета, все в такой же яркой слепоте. А для него был путь во мраке, который вел никуда, и только никуда, и опять никуда, и еще, и еще, и снова никуда, локти вдавлены в землю, и опять никуда, и беспредельно, безвыходно, вечно никуда, и уже больше нет сил, и снова никуда, и нестерпимо, и еще, и еще, и еще, и снова никуда, и вдруг в неожиданном, в жгучем, в последнем весь мрак разлетелся и время застыло, и только они двое существовали в неподвижном остановившемся времени, и земля под ними качнулась и поплыла.

Потом он лежал на боку, зарыв голову в вереск, пронизанный солнцем, вдыхая его запах и запах корней и земли, и жесткие стебли царапали ему плечи и бока, а девушка лежала напротив него, и ее глаза все еще были закрыты, а потом она открыла их и улыбнулась ему, и он сказал очень устало и хоть и ласково, но откуда-то издалека:

— Ау, зайчонок.

А она засмеялась и сказала совсем не издалека:

— Ау, мой Inglés.

— Я не Inglés, — сказал он лениво.

— Нет, ты Inglés, — сказала она. — Ты мой Inglés. — И она потянулась и взяла его за оба уха и поцеловала в лоб. — Вот, — сказала она. — Ну как? Научилась я целоваться?

Потом они вместе шли вдоль ручья, и он сказал:

— Я тебя люблю, Мария, и ты такая чудесная, и такая красивая, и такая удивительная, что, когда я с тобой, мне хочется умереть, так я тебя люблю.

— Я каждый раз умираю, — сказала она. — А ты не умираешь?

— Нет. Почти. А ты чувствовала, как земля поплыла?

— Да. Когда я умирала. Обними меня, пожалуйста.

— Не надо. Я держу тебя за руку. Мне довольно твоей руки.

Он взглянул на нее, а потом перевел взгляд дальше, туда, где кончался луг, и увидел ястреба, высматривавшего добычу, и большие вечерние облака, наползавшие из-за гор.

— А с другими у тебя не бывает так? — спросила Мария, шагая с ним рядом, рука в руку.

— Нет. И это правда.

— Ты многих женщин любил?

— Любил. Но не так, как тебя.

— И с ними так не было? Правда?

— Было приятно, но так не было.

— И земля поплыла. А раньше земля никогда не плыла?

— Нет. Никогда.

— Да, — сказала Мария. — А ведь у нас всего только один день.

Он ничего не сказал.

— Но все-таки это было, — сказала Мария. — А я тебе нравлюсь? Скажи, нравлюсь? Я потом похорошею.

— Ты и сейчас очень красивая.

— Нет, — сказала она. — Но ты меня погладь по голове.

Он погладил и почувствовал, как ее короткие

мягкие волосы, примятые его рукой, тотчас же снова встают у него между пальцами, и он положил обе руки ей на голову и повернул к себе ее лицо и поцеловал ее.

— Мне очень нравится целоваться, — сказала она. — Но я еще не умею.

— Тебе это и не нужно.

— Нет, нужно. Раз я твоя жена, я хочу нравиться тебе во всем.

— Ты мне и так нравишься. Мне не надо, чтоб ты мне больше нравилась. Это бы ничего не изменило, если б ты мне еще больше нравилась.

— А вот увидишь, — сказала она радостно. — Теперь мои волосы просто забавляют тебя, потому что они не как у всех. Но они растут с каждым днем. Скоро они будут длинные, и тогда я перестану быть уродиной, и, может быть, тогда ты меня в самом деле очень полюбишь.

— У тебя чудесное тело, — сказал он. — Самое чудесное на свете.

— Оно как у девочки и очень худое.

— Нет. В красивом теле есть какая-то волшебная сила. Но не всегда. У одного она есть, а у другого нет. Вот у тебя есть.

— Для тебя, — сказала она.

— Нет.

— Да. Для тебя, и только для тебя, и всегда будет для тебя. Но это еще очень мало, мне хотелось бы дать тебе больше. Я научусь хорошо заботиться о тебе. Только скажи мне правду. Никогда раньше земля не плыла?

— Никогда, — сказал он, и это была правда.

— Вот теперь я счастлива, — сказала она. — Теперь я в самом деле счастлива.

— Ты сейчас думаешь о чем-то другом? — спросила она его.

— Да. О моей работе.

— Вот если бы у нас были лошади, — сказала Мария. — Я так счастлива, что хотела бы скакать на хорошей лошади, быстро-быстро, и чтобы ты скакал рядом со мной, и мы бы скакали все быстрей и быстрей, галопом, а счастья моего все равно не могли бы догнать.

— Мы могли бы догнать твое счастье на самолете, — сказал он рассеянно.

— И лететь высоко-высоко в небе, как те маленькие истребители, что так блестят на солнце, — сказала она. — И петлять и кувыркаться. Qué bueno[43]. — Она засмеялась. — Мое счастье даже не заметило бы этого.

---

[43] Примечания: 43
Как хорошо (*исп.*).

— У твоего счастья крепкое здоровье, — сказал он, почти не слыша, о чем она говорит.

Потому что он уже был далеко. Он шел рядом с ней, но голова его была занята проблемой моста, и все рисовалось ему так ясно, и четко, и рельефно, как в объективе фотоаппарата при хорошей наводке на фокус. Он видел оба поста, откуда Ансельмо и цыган ведут наблюдение. Он видел пустую дорогу и видел, как по ней проходят войска. Он видел место, где он установит оба ручных пулемета, чтобы получить наиболее удобное поле обстрела. А кто будет стрелять из них? — подумал он. Под конец я сам, а вначале кто? Он заложил динамитные шашки, закрепил и соединил их, вставил капсюли, провел шнур, сцепил концы и вернулся туда, где остался старый ящик с детонатором; и тут он стал думать обо всем, что могло случиться, и что могло помешать делу. Перестань, сказал он себе. Только что ты целовал эту девушку, и голова у тебя теперь ясная, совершенно ясная, а ты уже начинаешь тревожиться. Одно дело думать о том, что нужно, а другое дело — тревожиться. Не тревожься. Нечего тебе тревожиться. Ты знаешь, что тебе, быть может, придется сделать, и ты знаешь, что может случиться. Конечно, это может случиться.

Ты пошел на это, зная, за что борешься. Ты борешься как раз против того, что ты делаешь, что тебе приходится делать ради одной лишь возможности победы. Вот и теперь ты должен использовать этих симпатичных тебе людей так, как используют в интересах дела солдат, к которым не испытывают никаких чувств. Видно, все-таки Пабло умнее всех. Он сразу смекнул, чем это пахнет. Женщина — та всей душой за это, с самого начала; но постепенно и она начинает понимать, о чем, в сущности, идет речь, и это уже сказалось на ней. Эль Сордо сразу во всем разобрался и готов сделать, что нужно, но приятного для него в этом мало, так же как и для тебя, Роберт Джордан.

Значит, ты думаешь не о том, что будет с тобой, а о том, что будет с женщиной, с девушкой и с остальными, — ты это хочешь сказать? Хорошо. А что было бы с ними, если бы ты не пришел сюда? Что было с ними и как они жили до того, как ты сюда пришел? Нет, так думать не нужно. Ты за них не в ответе, разве только за то, как они выполнят свою часть задачи. Не ты давал приказ. Его дал Гольц. А кто такой Гольц? Хороший командир. Лучший из всех, под чьим началом тебе приходилось служить. Но должен ли человек

выполнять невыполнимый приказ, зная, к чему это поведет? Даже если этот приказ дал Гольц, который представляет не только армию, но и партию? Да. Выполнять нужно, потому что, лишь выполняя приказ, можно убедиться, что он невыполним. Откуда ты знаешь, что он невыполним, когда ты еще не пробовал выполнить его? Если каждый, получив приказ, станет говорить, что он невыполним, к чему это приведет? К чему мы все придем, если вместо того, чтобы выполнять приказы, будем всякий раз говорить «невыполнимо»?

Он видел достаточно командиров, для которых все приказы были невыполнимы. Эта свинья Гомес в Эстремадуре. Он видел достаточно атак, в которых фланги не пытались наступать, считая, что это невыполнимо. Нет, он будет делать то, что приказано, а если люди, которые должны помогать ему в этом, ему симпатичны, тем хуже для него.

Такова уж эта партизанская работа — всегда навлекаешь несчастье и двойную опасность на тех, у кого находишь приют и помощь. Но ради чего? Ради того, чтобы в конце концов перестала существовать всякая опасность и чтобы всем хорошо было жить в этой стране. Звучит трюизмом,

но это не важно. Важно, что это правда.

Если Республика потерпит поражение, тем, кто стоял за нее, не будет житья в Испании. А может быть, это не так? Нет, именно так, он знает, он достаточно всего насмотрелся в местностях, уже занятых фашистами.

Пабло скотина, но все остальные — замечательные люди, и разве не предательство — втянуть их в это? Может быть, но если это не будет сделано, через неделю сюда, в горы, придут два кавалерийских эскадрона и разгромят их лагерь.

Да. Ничего не выиграешь, решив не мешаться в их жизнь. Только будет соблюден принцип, что каждый человек живет сам по себе и нельзя вмешиваться ни в чью жизнь. Ага, значит, он придерживается этого принципа? Да, придерживается. Ну, а как же плановое общество и все прочее? Этим пусть занимаются другие. У него есть свои дела, которыми он займется после этой войны. Он участвует в этой войне потому, что она вспыхнула в стране, которую он всегда любил, и потому, что он верит в Республику и знает, что, если Республика будет разбита, жизнь станет нестерпимой для тех, кто верил в нее. На время войны он подчинил себя коммунистической дисциплине. Здесь, в Испании, коммунисты

показали самую лучшую дисциплину и самый здравый и разумный подход к ведению войны. Он признал их дисциплину на это время, потому что там, где дело касалось войны, это была единственная партия, чью программу и дисциплину он мог уважать.

Каковы ж тогда его политические убеждения? Нет у него теперь никаких, сказал он себе. Но об этом никому нельзя говорить, подумал он. Нельзя даже мысли такой допускать. А чем ты хочешь заняться после войны? Вернусь в Штаты и опять буду преподавать для заработка испанский язык и напишу правдивую книгу. Обязательно напишу, сказал он себе. И это будет нетрудно.

Надо поговорить о политике с Пабло. Любопытно, как шло его политическое развитие? Слева направо, вероятно; классический путь в духе старика Лерру. У Пабло много общего с Лерру. Да и Прието не лучше. Пабло и Прието одинаково верят в конечную победу. У всех у них политика конокрадов. Я стою за Республику как форму правления, но Республика должна будет выгнать вон всю эту шайку конокрадов, которая завела ее в тупик перед началом мятежа. Можно ли найти еще народ, вожди которого были бы такими истинными его врагами?

Враги народа. Выражение, без которого можно обойтись. Да, это ходячее выражение не стоит употреблять. Вот что сделала с ним ночь с Марией. Он уже успел стать политическим фанатиком и ханжой, похожим на какого-нибудь твердолобого баптиста, и словечки вроде «враги народа» сами собой приходят ему в голову. Революционно-патриотические штампы. Его разум приучился некритически воспринимать и употреблять их. Конечно, в них заключена правда, но слишком уж легко они слетают с языка. Но после того, что было ночью и сегодня днем, все это предстало перед ним более ясно и отчетливо. Странная вещь фанатизм. Чтоб быть фанатиком, нужно быть абсолютно, непререкаемо уверенным, что ты прав, а ничто так не укрепляет эту уверенность, как воздержание. Воздержание лучшее средство против ереси.

Любопытно, выдержит ли этот тезис дальнейшее углубление. Вероятно, именно потому коммунисты так воюют с духом богемы. Долой богему, то, чем грешил Маяковский. Но ведь Маяковский теперь снова причислен к лику святых. Да, потому что он уже покойник. Ты и сам скоро будешь покойником. Ну, нечего думать о таких вещах. Думай лучше о Марии.

Мария была тяжелым испытанием для его фанатизма. Решимости его она не поколебала, но ему теперь очень не хотелось умирать. Он охотно отказался бы от геройской или мученической кончины. Он не хотел повторять Фермопилы, не собирался разыгрывать Горация на этом мосту или соперничать с тем голландским мальчиком, который заткнул пальцем дырку в плотине. Нет. Он хотел подольше побыть с Марией. Вот, собственно говоря, и все. Он хотел очень, очень долго быть с Марией.

Едва ли для него еще существует то, что называется очень долго, но если бы оно существовало, он хотел бы провести его с Марией. Мы могли бы поселиться в отеле, ну, скажем, под именем доктора и миссис Ливингстон, подумал он.

А почему бы ему не жениться на ней? Ну конечно, подумал он. Мы поженимся и будем тогда мистер и миссис Роберт Джордан из Сан-Вэлли, штат Айдахо. Или из Корпус-Кристи, штат Техас, или из Бютта, штат Монтана.

Испанки — прекрасные жены. У меня никогда не было жены испанки, так что я это знаю. А когда я опять начну вести занятия в университете, из нее выйдет отличная преподавательская супруга, и если студенты, изучающие испанский язык,

зайдут как-нибудь вечерком выкурить трубочку и потолковать в неофициальной обстановке о Кеведо, Лопе де Вега, Гальдосе и других славных покойниках, Мария сможет рассказать им о том, как один из крестоносцев в синих рубашках, поборников правой веры, сел ей на голову, а другие скрутили ей руки за спину, задрали юбку и подолом заткнули рот.

Интересно, как примут Марию в Миссуле, штат Монтана. Если, конечно, мне удастся вернуться на мою старую службу в Миссуле. Боюсь, что я там окончательно прослыл красным и меня занесли в черный список. Хотя кто его знает. Может быть, и нет. Ведь они понятия не имеют, что я здесь делаю, да и не поверили бы никогда, если б им рассказать, а испанскую визу я получил еще до того, как ввели ограничения.

Мой срок истекает только осенью тридцать седьмого года. Я уехал летом тридцать шестого, и хотя отпуск у меня ровно на год, вернуться я должен к началу осеннего семестра, не раньше. До начала осеннего семестра времени еще много. И до послезавтра времени еще много, если уж на то пошло. Нет. Насчет университета, я думаю, можно не беспокоиться. Нужно только вернуться к началу осеннего семестра, и все будет в порядке.

Только постараться вернуться к началу осеннего семестра.

А все-таки странной жизнью я живу вот уже долгое время. Черт его знает, до чего странной. С Испанией связана твоя профессия и твоя служба, и нет ничего удивительного в том, что ты поехал в Испанию. Летом тебе не раз приходилось работать на строительстве различных технических сооружений, или на прокладке лесных дорог, или в артиллерийском парке, и ты научился обращаться с динамитом, поэтому в том, что ты взялся за работу подрывника, тоже ничего удивительного нет. Работа как работа, вот только всегда нужно торопиться.

Как только работа подрывника становится для тебя технической задачей, ты больше ничего, кроме технической задачи, в ней не видишь. Но тут есть еще много другого, что совсем не так просто, хотя, по правде сказать, ты довольно легко с этим свыкся. Например, тут всегда старательно ищешь наиболее благоприятные условия для убийства, неизбежно связанного с работой подрывника. Разве громкие слова делают убийство более оправданным? Разве от этих громких слов оно становится более приятным делом? Ты что-то уж очень охотно взялся за это, если хочешь знать.

И на что ты будешь похож, или, точнее сказать, на что ты будешь годен, когда окончится твоя служба Республике, предвидеть довольно трудно. Но, вероятно, ты от всего этого освободишься, написав про это, подумал он. Как только ты про это напишешь, все пройдет. И книга будет хорошая, если тебе удастся написать ее. Гораздо лучше той.

Но пока что в жизни ты можешь рассчитывать только на сегодня и завтра, сегодня и завтра, и так будет и дальше (надеюсь), подумал он, и поэтому используй то время, которое у тебя есть, и будь благодарен. А если с мостом кончится плохо? Не похоже, чтобы кончилось хорошо.

Зато с Марией все было хорошо. Разве нет? Ну разве нет, подумал он. Может быть, это все, что я еще могу взять от жизни. Может быть, это и есть моя жизнь, и вместо того, чтобы длиться семьдесят лет, она будет длиться только сорок восемь часов или семьдесят часов, вернее, семьдесят два. Трое суток по двадцать четыре часа — это как раз и будет семьдесят два часа.

Вероятно, за семьдесят часов можно прожить такую же полную жизнь, как и за семьдесят лет; если только жил полной жизнью раньше, до того, как эти семьдесят часов начались, и если уже

достиг известного возраста.

Что за чушь, подумал он. До чего можно дойти, когда вот так разговариваешь сам с собой. Самая настоящая чушь. А может быть, и не такая уж чушь. Ладно, там видно будет. Последний раз я спал с женщиной в Мадриде. Нет, не в Мадриде, а в Эскуриале. И если не считать того, что среди ночи я проснулся и мне вдруг показалось, будто это кто-то другой, и я был счастлив, пока не вспомнил, кто это на самом деле; это было все равно что ворошить пепел, только приятнее. А предпоследний раз это произошло в Мадриде, и если не считать того, что я все время сам себя старался обмануть, все было так же или даже еще хуже. Так что я не принадлежу к романтикам, воспевающим испанскую женщину, и никогда не придаю здесь случайной встрече большего значения, чем случайным встречам в любой другой стране. Но когда я с Марией, я люблю ее до того, что мне вправду хочется умереть, а я никогда раньше не верил, что так бывает и что это может случиться со мной.

Так что, если придется семьдесят лет жизни променять на семьдесят часов, мне есть чем произвести обмен, и я рад, что знаю об этом. И если для меня не существует того, что называется

очень долго, или до конца дней, или на веки вечные, а есть только сейчас, что ж, значит, надо ценить то, что сейчас, и я этим счастлив. Сейчас, ahora, maintenant, heute. Странно, что такое слово, как «сейчас», теперь означает весь мир, всю твою жизнь. Esta noche, сегодня вечером, ce soir, heute abend. Страна и жена. Pays et mari. Нет, не выходит. По-французски вместо жены получается муж. А к Frau и вовсе не подберешь рифмы. Взять слово «смерть», mort, muerte и Tod. Tod — самое мертвое из всех. Война, guerre, guerra и Krieg. Krieg больше всего подходит к войне — а может быть, нет. Может быть, это просто кажется, потому что немецкий язык знаешь хуже других. Милая, chérie, prenda, Schatz. Все никуда не годится против Марии. Мария — вот это имя.

Ну что ж, они это сделают все вместе, и теперь уже недолго осталось ждать. Правда, успех кажется все более и более сомнительным. Такое дело нельзя делать утром. Ведь уходить можно только с наступлением темноты, а продержаться здесь целый день немыслимо. Но если бы удалось дождаться наступления темноты, то можно было бы пробраться назад, в лагерь. А тогда все еще, может быть, обойдется. Ну хорошо, а если все-таки попытаться уйти при дневном свете?

Что тогда? Бедный Эль Сордо, он даже заговорил обыкновенным человеческим языком ради того, чтобы объяснить мне это все как следует. Как будто я сам об этом не думал всякий раз, когда оставался наедине со своими мыслями после разговора с Гольцем. Как будто это не застряло у меня в голове с позапозавчерашнего вечера, точно непереваренный кусок теста в желудке.

Удивительная вещь! Каждый раз решаешь, что вот это настоящее, а под конец оказывается, что ничего настоящего в этом нет, и так всю жизнь. Ведь никогда еще такого, как сейчас, не было. И ты уже решил, что этого у тебя никогда и не будет. И вот, придя на такое гиблое дело, взявшись с помощью двух жалких горсточек партизан взорвать при невыполнимых условиях мост, чтобы предотвратить контрнаступление, которое, вероятно, уже началось, встречаешь такую девушку, как Мария. Ну и что ж? Это на тебя похоже. Все дело только в том, что слишком поздно ты ее встретил.

И тут эта женщина, эта Пилар, буквально втолкнула девушку в твой спальный мешок, и что тогда случилось? Да, что случилось? Что случилось? Скажите мне, пожалуйста, что случилось? Да. Именно это и случилось. Как раз это

самое и случилось.

Нечего выдумывать, будто Пилар толкнула ее в твой спальный мешок, и нечего делать вид, будто это что-то незначительное или что-то грязное. Ты пропал, как только увидел ее. Как только она открыла рот и впервые заговорила с тобой, ты уже почувствовал это, сам знаешь. Раз это пришло, — а ты уже думал, что оно никогда не придет, — нечего бросать в это грязью, потому что ты знаешь, что это оно и есть, и ты знаешь, что оно пришло в ту самую минуту, когда ты первый раз увидел ее с тяжелой железной сковородой в руках.

Тогда оно тебя и сразило, и ты это знаешь, так зачем же выдумывать? У тебя внутри все переворачивается как только ты на нее взглянешь или она взглянет на тебя. Так почему же не признать это? Хорошо, я признаю. А насчет того, что Пилар будто бы толкнула ее к тебе, так Пилар только показала себя умной женщиной, и больше ничего. Она заботливо следила за девушкой, и она сразу поняла все, когда девушка вернулась в пещеру с пустой сковородой.

И она ускорила дело, Пилар ускорила дело, и благодаря ей была вчерашняя ночь и сегодняшний час после обеда. Она гораздо разумнее тебя, и

она понимает, что такое время. Да, сказал он себе, пожалуй, надо признать, что она в известной мере знает цену времени. Ей нелегко пришлось там, на горе, потому что она не хотела, чтобы другие лишились того, чего лишилась она, но признать, что она этого лишилась, оказалось выше ее сил. И ей пришлось нелегко, а мы, боюсь, только подливали масла в огонь.

Но так или иначе, это случилось, и это есть, и можно смело признаться в этом, а теперь тебе не осталось и двух ночей с Марией. Ни коротать век, ни жить вместе, ни иметь то, что положено иметь людям, — ничего. Одна ночь, которая уже миновала, один час сегодня днем, одна ночь впереди — может быть. Так-то.

Ни жизни, ни счастья, ни легких радостей бытия, ни детей, ни дома, ни ванной, ни чистой пижамы, ни утренней газеты, ни просыпаться вместе, чувствуя, что она рядом и ты не один. Нет. Ничего этого не будет. Но если это все, что еще может сбыться в жизни из твоих желаний, если ты наконец нашел это, так неужели нельзя провести хоть одну ночь в настоящей постели?

Ты просишь невозможного. Ты просишь совершенно невозможного. И если ты в самом деле любишь эту девушку так, как говоришь, поста-

райся любить ее очень крепко, и пусть будет хотя бы сильным то, что не может быть ни долгим, ни прочным. Слышишь? В старину у людей уходила на это вся жизнь. А ты, если тебе выпадет две ночи, будешь считать, что тебе необыкновенно повезло. Две ночи. Целых две ночи на то, чтобы любить, лелеять и чтить. В горе и в счастье. В болезни и в смерти. Нет, не так. В болезни и в здравии. Покуда не разлучит нас смерть. Две ночи. Более чем вероятно. Более чем вероятно, а теперь довольно думать об этом. Хватит. Это тебе может повредить. Не делай того, что тебе может повредить. Вот-вот.

Именно об этом говорил Гольц. Чем дольше он здесь, тем умнее кажется ему Гольц. Именно это Гольц и подразумевал, когда говорил о компенсации за нерегулярную службу. Может быть, и у Гольца это было, и все дело тут в обстоятельствах, в том, что нет времени и торопишься взять свое от жизни. Может быть, в таких обстоятельствах это бывает у каждого, и ему только кажется, что в этом есть что-то особенное, кажется, потому что это случилось с ним? Может быть, и Гольцу случалось наспех переспать с девушкой, когда он командовал нерегулярными кавалерийскими частями Красной Армии, и от сочетания обстоя-

тельств и всего остального те девушки казались ему такими же, какой сейчас Роберту Джордану кажется Мария?

Вероятно, Гольцу все это было знакомо, и именно это он и хотел сказать: умей прожить целую жизнь за две ночи, которые тебе отпущены; вместить все, что надо было бы иметь всегда, в тот короткий срок, когда ты можешь это иметь.

Философия правильная. Но он не верил, что Мария — только порождение обстоятельств. Разве что сыграли роль не только его, но и ее обстоятельства. Ее единственное обстоятельство не очень приятно, подумал он. Да, не очень приятно.

Что ж, если это так, значит, это так. Но нет закона, который заставил бы его сказать, что это хорошо. Я не знал, что способен чувствовать то, что я теперь почувствовал, думал он. Что со мной может случиться такое. Я бы хотел, чтобы так было всю жизнь. Так оно и будет, сказала другая половина его существа. Так оно и будет. Ты это чувствуешь сейчас, а это и есть вся твоя жизнь — сейчас. Больше ничего нет, кроме сейчас. Нет ни вчера, ни завтра. Сколько времени тебе потребуется на то, чтобы уразуметь это? Есть только сейчас, и если сейчас — это для тебя два

дня, значит, два дня — это вся твоя жизнь, и все должно быть сообразно этому. Вот это и называется прожить целую жизнь за два дня. И если ты перестанешь жаловался и просить о том, чего не может быть, это будет очень хорошая жизнь. Хорошая жизнь не измеряется библейскими периодами времени.

А потому не тревожься, бери то, что есть, и делай свое дело, и у тебя будет очень долгая жизнь и очень веселая. Разве не весело было последнее время? Чего ты жалуешься? Такая уж это работа, сказал он себе, и ему очень понравилась эта мысль; главное — не те новые истины, которые узнаешь, а те люди, с которыми приходится встречаться. Он был доволен, что сумел пошутить, и он снова вернулся к девушке.

— Я тебя люблю, зайчонок, — сказал он ей. — Что ты такое говорила сейчас?

— Я говорила, что тебе незачем беспокоиться о своей работе, потому что я не буду вмешиваться и не буду тебе надоедать Ты мне только скажи, если я чем-нибудь могу помочь тебе.

— Ничего не нужно, — сказал он. — Это очень простое дело.

— Я расспрошу Пилар, как надо заботиться о мужчине, и буду делать все, что она велит, — ска-

зала Мария. — А потом я и сама научусь видеть, что нужно, а чего не увижу, ты мне можешь сказать.

— Мне ничего не нужно.

— Qué va, ничего не нужно! Вот хотя бы твой спальный мешок, его сегодня утром надо было вытрясти, и проветрить, и повесить где-нибудь на солнце. А вечером убрать до того, как выпадет роса.

— Ну, дальше, зайчонок.

— Носки твои надо выстирать и высушить. Я буду следить, чтобы у тебя всегда было в запасе две пары.

— А еще что?

— Я могу чистить и смазывать твой револьвер, если ты покажешь мне, как это делается.

— Поцелуй меня, — сказал Роберт Джордан.

— Постой, это ведь серьезное дело. Ты мне покажешь, как чистить револьвер? У Пилар есть тряпки и масло. И шомпол у нас в пещере есть, — по-моему, он как раз подойдет.

— Ну конечно. Я тебе непременно покажу.

— И вот еще что, — сказала Мария. — Ты меня научи стрелять из него, и тогда каждый из нас сможет застрелить себя или другого, чтобы не попасться в плен, если будет ранен.

— Очень интересно, — сказал Роберт Джордан. — И много у тебя таких идей?

— Немного, — сказала Мария. — Но это очень хорошая идея. Пилар дала мне вот эту штуку и показала, как с ней обращаться. — Она расстегнула нагрудный карман рубашки, вынула небольшой кожаный футляр, такой, как для карманного гребешка, сняла перетягивавшую его резинку и вынула бритвенное лезвие. — Я всегда ношу это с собой, — объяснила она. — Пилар говорит, нужно сделать надрез вот здесь, под самым ухом, и провести до сих пор. — Она показала пальнем. — Она говорит, что тут проходит большая артерия и если так провести, то непременно заденешь ее. И она говорит, что это не больно, нужно только крепко нажать под ухом и сейчас же вести вниз. Она говорит, это очень просто, и если уж так сделаешь, то помешать нельзя.

— Правильно, — сказал Роберт Джордан. — Здесь сонная артерия.

Значит, она все время с этим ходит, подумал он. Решение принято, и все подготовлено на тот случай, если надо будет его осуществить.

— Но лучше, если ты меня застрелишь, — сказала Мария. — Обещай, если когда-нибудь случится так, что это будет нужно, ты возьмешь и застре-

лишь меня.

— Конечно, — сказал Роберт Джордан. — Обещаю.

— Ну вот, спасибо, — сказала Мария. — Я знаю, что это не так легко.

— Ничего, — сказал Роберт Джордан.

Обо всем этом забываешь, подумал он. Забываешь обо всех прелестях гражданской войны, когда слишком много думаешь о своей работе. Ты совсем забыл об этом. Что ж, так и нужно. Вот Кашкин не мог забыть, и это мешало его работе. А может быть, у бедняги с самого начала было предчувствие? Странно, что он без всякого волнения думал о том, как пришлось застрелить Кашкина. Когда-нибудь, вероятно, он почувствует волнение от этой мысли. Но пока не чувствует никакого.

— Я еще много чего могу для тебя сделать, — сказала Мария, шагая рядом с ним, очень серьезная и по-женски озабоченная.

— Кроме того, что застрелить меня?

— Да. Я могу свертывать для тебя сигареты, когда твои с трубочками все выйдут. Меня Пилар научила, и я очень хорошо умею их свертывать — туго и ровно, и табак не просыпается.

— Великолепно, — сказал Роберт Джордан. — И ты сама заклеиваешь их языком?

— Да, — сказала девушка. — А когда ты будешь ранен, я буду за тобой ухаживать, и перевязывать тебя, и кормить…

— А если я не буду ранен? — спросил Роберт Джордан.

— Ну, я буду ухаживать за тобой, когда ты заболеешь, и варить тебе бульон, и умывать тебя, и все для тебя делать. И буду тебе читать вслух.

— А если я не заболею?

— Ну, я буду приносить тебе кофе по утрам, как только ты проснешься…

— А если я не люблю кофе? — спросил Роберт Джордан.

— Нет, любишь, — радостно сказала девушка. — Сегодня утром ты выпил две кружки.

— А представь себе, что мне вдруг надоел кофе, а застрелить меня не понадобилось, и я не ранен, и не болею, и бросил курить, и носков у меня только одна пара, и я сам научился вытряхивать свой спальный мешок. Что тогда, зайчонок? — Он потрепал ее по плечу. — Что тогда?

— Тогда, — сказала Мария, — я попрошу у Пилар ножницы и подстригу тебя покороче.

— Мне не нравится короткая стрижка.

— Мне тоже, — сказала Мария. — Мне нравится, как у тебя сейчас. Вот. А если тебе совсем ничего

не нужно будет, я буду сидеть и смотреть на тебя, а ночью мы будем любить друг друга.

— Отлично, — сказал Роберт Джордан. — Последняя часть проекта заслуживает особенного одобрения.

— По-моему, тоже. Это лучше всего, — улыбнулась Мария. — Ах, Inglés, — сказала она.

— Меня зовут Роберто.

— Я знаю. Но мне больше нравится Inglés, как зовет тебя Пилар.

— А все-таки мое имя Роберто.

— Нет, — сказала она. — Теперь твое имя Inglés, уже второй день. Скажи мне, Inglés, я тебе не могу помочь в твоей работе?

— Нет. То, что я делаю, нужно делать одному и с ясной головой.

— Хорошо, — сказала она. — А когда ты это кончишь?

— Если все пойдет гладко, то сегодня вечером.

— Хорошо, — сказала она.

Внизу под ними темнел последний перелесок, за которым был лагерь.

— Кто это? — спросил, указывая, Роберт Джордан.

— Пилар, — сказала девушка, глядя по направлению его руки. — Ну конечно, это Пилар.

На краю луга, у самой лесной опушки, сидела женщина, опустив голову на руки. Оттуда, где они стояли, она была похожа на большой темный узел, выделяющийся на рыжине стволов.

— Идем, — сказал Роберт Джордан и пустился бегом через луг.

В высоком, до колен, вереске бежать было очень трудно, и он вскоре замедлил ход и пошел шагом. Теперь он видел, что женщина уткнулась головой в сложенные на коленях руки, и ее очень широкая фигура казалась черной на фоне сосны. Он подошел и резко окликнул:

— Пилар!

— А! — сказала она. — Намиловались?

— Тебе нездоровится? — спросил он, наклоняясь над ней.

— Qué va, — сказала она. — Просто я спала.

— Пилар, — сказала Мария, подойдя и опускаясь на колени рядом с ней. — Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь?

— Я себя чувствую замечательно, — сказала Пилар, но продолжала сидеть. Она оглядела их обоих. — Ну как, Inglés, — спросила она. — Еще раз показал свою прыть?

— Ты правда хорошо себя чувствуешь? — спросил Роберт Джордан, не обращая внимания на

ее слова.

— А чего мне делается? Я спала. А вы?

— Нет.

— Ну, — сказала Пилар девушке. — Тебе, я вижу, это пришлось по душе.

Мария покраснела и ничего не ответила.

— Оставь ее в покое, — сказал Роберт Джордан.

— Тебя не спрашивают, — ответила ему Пилар. — Мария, — сказала она, и голос ее прозвучал сурово.

Девушка не подняла глаз.

— Мария, — повторила женщина. — Я сказала, что тебе это, видно, пришлось по душе.

— Оставь ее в покое, — повторил Роберт Джордан.

— Молчи ты, — сказала Пилар, не глядя на него. — Слушай, Мария, скажи мне одну вещь.

— Нет, — сказала Мария и покачала головой.

— Мария, — сказала Пилар, и голос у нее был такой же суровый, как ее лицо, а в лице не было дружелюбия. — Скажи мне одну вещь, по своей воле скажи.

Девушка покачала головой.

Роберт Джордан думал: если б только мне не нужно было работать с этой женщиной, и ее пьяницей-мужем, и ее жалким отрядом, я бы ей

сейчас закатил такую пощечину, что…

— Ну, говори, — сказала Пилар девушке.

— Нет, — сказала Мария. — Нет.

— Оставь ее в покое, — сказал Роберт Джордан каким-то чужим голосом. Все равно дам ей пощечину, и черт с ними со всеми, подумал он.

Пилар даже не ответила ему. Это не напоминало змею, гипнотизирующую птицу, или кошку, играющую с птицей. В ней не было ничего хищного или коварного. Но она вся была напряжена, как кобра, приподнявшая голову и раздувшая шею. Напряжение это чувствовалось. Чувствовалась угроза, скрытая в этом напряжении. Однако злости не было, только властное желание знать. Лучше бы мне не видеть этого, подумал Роберт Джордан. Но пощечину тут давать не за что.

— Мария, — сказала Пилар. — Я тебя не трону. Ты мне скажи по своей воле.

De tu propia voluntad, — так это звучало по-испански.

Девушка покачала головой.

— Мария, — сказала Пилар. — Ну, по своей воле. Ты меня слышишь? Скажи что-нибудь.

— Нет, — тихо ответила девушка. — Нет и нет.

— Ты ведь мне скажешь, — сказала ей Пилар. — Что-нибудь, все равно что. Вот увидишь.

Ты должна сказать.

— Земля плыла, — сказала Мария, не глядя на женщину. — Правда. Но этого не расскажешь.

— Так, — сказала Пилар, и ее голос прозвучал тепло и ласково, и в нем не было принуждения. Но Роберт Джордан заметил мелкие капли пота, проступившие у нее на лбу и над верхней губой. — Вот оно что. Вот оно, значит, как было.

— Это правда, — сказала Мария и закусила губу.

— Конечно, это правда, — ласково сказала Пилар. — Только не говори об этом людям, потому что они никогда не поверят тебе. Скажи, Inglés, в тебе нет цыганской крови?

Роберт Джордан помог ей подняться.

— Нет, — сказал он. — Насколько я знаю.

— В Марии тоже нет, насколько она знает, — сказала Пилар. — Pues es muy raro. Это очень странно.

— Но это было, Пилар, — сказала Мария.

— Cómo que no, hija? — сказала Пилар. — Почему же не быть, дочка? Когда я была молодая, у меня так плыла земля, что даже страшно было, вдруг она вся уйдет из-под меня. Каждую ночь это бывало.

— Лжешь ты, — сказала Мария.

— Да, — сказала Пилар. — Лгу. Это бывает только три раза в жизни. Она у тебя в самом деле плыла?

— Да, — сказала девушка. — Это правда.

— А у тебя, Inglés? — Пилар посмотрела на Роберта Джордана. — Только не лги!

— Да, — сказал он. — Это правда.

— Ладно, — сказал Пилар. — Ладно. Это хорошо.

— Что это ты такое говорила про три раза? — спросила Мария. — Что это такое значит?

— Три раза, — сказала Пилар. — Один у тебя уже был.

— Только три раза?

— А у многих людей ни разу, — сказала ей Пилар. — Ты точно помнишь, что она плыла?

— Удержаться трудно было, — сказала Мария.

— Значит, верно, плыла, — сказала Пилар. — Ну, раз так, вставай и идем в лагерь.

— Что это за вздор про три раза? — спросил Роберт Джордан у женщины, когда они шли через сосновый лес.

— Вздор? — Она искоса глянула на него. — Это совсем не вздор, мой маленький англичанин.

— Что же это, колдовство, вроде гаданья по руке?

— Это так и есть, все gitanos[44] это по себе знают.

— Но мы не gitanos.

— Да. Но тебе повезло. Бывает иногда, что везет не только цыганам.

— Значит, ты это всерьез сказала про три раза?

Она как-то странно посмотрела на него.

— Оставь меня в покое, Inglés, — сказала она. — Не приставай ко мне. Ты еще слишком молод, чтобы я с тобой разговаривала.

— Но, Пилар… — сказала Мария.

— Молчи, — ответила ей Пилар. — Один раз у тебя уже было, еще тебе осталось два.

— А у тебя сколько было? — спросил ее Роберт Джордан.

— Два, — сказала Пилар и подняла два пальца. — Два. И третьего уже не будет.

— Почему? — спросила ее Мария.

— Да замолчи ты, — сказала Пилар. — Молчи. Ох, уж эти мне молокососы!

— Почему не будет третьего? — спросил Роберт Джордан.

— И ты тоже молчи, понятно? — сказала Пилар. — Молчи.

---

[44] Примечания: 44
Цыгане (*исп.*).

Ладно, сказал себе Роберт Джордан. Меня на это не возьмешь. Я знаю немало цыган, и все они с причудами. Да, впрочем, и мы тоже. Разница только в том, что мы честно зарабатываем свой хлеб. Никто не знает, от какого племени мы происходим, и что мы унаследовали от него, и какие тайны скрывались в дремучих лесах, где жили наши прародители. Мы знаем только, что мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем о том, что с нами случается по ночам. Впрочем, когда это случается днем, это очень хорошо. Что случилось — случилось, но вот этой женщине не только непременно нужно было заставить девушку сказать, хотя та этого не хотела, — ей нужно взять это себе и сделать своим. Ей нужно примешать к этому какую-то цыганскую чертовщину. Может быть, ей и нелегко пришлось там, на горе, но только что, на опушке, она одержала верх. Если б то, что она сделала, было сделано со зла, ее стоило бы застрелить. Но это было не со зла. Это было только желание сохранить свою хватку жизни. Сохранить ее через Марию.

Когда с этой войной будет покончено, ты можешь взяться за изучение женской психологии, сказал он себе. Начнешь хотя бы с Пилар. Правду сказать, у нее сегодня был трудный день. До сих

пор она ни разу еще не пускала в ход цыганских фокусов. Вот разве только гаданье по руке. Да, верно, гаданье по руке. И я не думаю, что она просто дурачила меня с этим гаданьем. Она действительно не хочет говорить, что она прочла у меня на руке. Она в это поверила и молчит. Но это еще ничего не доказывает.

— Послушай, Пилар, — сказал он женщине.

Пилар взглянула на него и улыбнулась.

— Чего тебе? — спросила она.

— Брось ты эту таинственность, — сказал Роберт Джордан. — Не люблю я этого.

— Да? — сказала Пилар.

— Я не верю в людоедов, прорицателей, гадалок и во всякие цыганские бредни.

— Вот как? — сказала Пилар.

— Да. И девушку ты, пожалуйста, оставь в покое.

— Хорошо. Я оставлю ее в покое.

— И таинственность свою тоже оставь, — сказал Роберт Джордан. — У нас достаточно серьезной работы, и нечего осложнять все разными глупостями. Поменьше тайн, побольше дела.

— Понятно, — сказала Пилар и кивнула головой в знак согласия. — Но скажи мне, Inglés, — она улыбнулась ему, — плыла земля?

— Да, черт тебя возьми! Плыла!

Пилар засмеялась, и, смеясь, смотрела на Роберта Джордана.

— Ох, Inglés, Inglés, — сказала она сквозь смех. — Очень ты смешной. Придется тебе крепко потрудиться, чтобы вернулась вся твоя важность.

Ну тебя к черту, подумал Роберт Джордан. Но промолчал. Пока они разговаривали, солнце заволокло тучами, и, оглянувшись назад, он увидел, что небо над горами серое и тяжелое.

— Так и есть, — сказала ему Пилар, посмотрев на небо. — Будет снег.

— Теперь? Чуть не в июне?

— Что ж тут такого? Горы не ведут счет месяцам. Да и луна сейчас еще майская.

— Снега не может быть, — сказал он. — Невозможно, чтобы пошел снег.

— А все-таки он пойдет, Inglés, — сказала она.

Роберт Джордан поглядел на серую толщу неба, и у него на глазах солнце, едва просвечивавшее сквозь тучи, скрылось совсем, и все кругом стало серое, тяжелое и плотное; даже вершины гор отрезала серая туча.

— Да, — сказал он. — Кажется, ты права.

Глава четырнадцатая

Когда они добрались до лагеря, снег уже шел, наискось пересекая просветы между соснами. Сначала он падал медленно, большими редкими хлопьями, кружившимися среди стволов, потом, когда налетел холодный ветер с гор, повалил густо и беспорядочно, и Роберт Джордан, стоя у входа в пещеру, смотрел на это с безмолвным бешенством.

— Много снега выпадет, — сказал Пабло.

Голос у него был хриплый, глаза мутные и налитые кровью.

— Цыган вернулся? — спросил его Роберт Джордан.

— Нет, — сказал Пабло. — Ни цыган, ни старик.

— Проводишь меня к верхнему посту у дороги?

— Нет, — сказал Пабло. — Я в это мешаться не стану.

— Не надо, найду сам.

— В такую метель можно и заблудиться, — сказал Пабло. — Я бы на твоем месте не ходил.

— Нужно только спуститься вниз по склону, а потом идти вдоль дороги.

— Найти, может быть, ты и найдешь. Но твои постовые наверняка вернутся, раз такой снег, и ты разминешься с ними.

— Старик без меня не вернется.

— Вернется. В такой снег он не будет там сидеть.

Пабло посмотрел на снежные хлопья, которые ветер гнал мимо входа в пещеру, и сказал:

— Ты недоволен, что пошел снег, Inglés?

Роберт Джордан выругался, а Пабло посмотрел на него своими мутными глазами и засмеялся.

— Лопнуло теперь твое наступление, Inglés, — сказал он. — Входи в пещеру, твои люди сейчас явятся.

Мария раздувала огонь в очаге, а Пилар возилась у кухонного стола. Очаг дымил, но девушка поворошила в нем палкой, помахала сложенной в несколько раз газетой, и пламя загудело, вспыхнуло и яркими языками потянулось вверх, к отверстию в своде пещеры.

— Чертов снег, — сказал Роберт Джордан. — Ты думаешь, много выпадет?

— Много, — весело сказал Пабло. Потом он крикнул Пилар: — Ты тоже недовольна, что снег, женщина? Ты ведь теперь командир, так ты тоже должна быть недовольна.

— A mi qué?[45] — сказала Пилар через плечо. — Снег так снег.

— Выпей вина, Inglés, — сказал Пабло. — Я целый день пил вино, дожидаясь, когда пойдет снег.

— Дай мне кружку, — сказал Роберт Джордан.

— За снег, — сказал Пабло и потянулся к нему со своей кружкой.

Роберт Джордан чокнулся с ним, глядя ему прямо в глаза. А ты, мутноглазая пьяная скотина, подумал он. С каким наслаждением я бы треснул тебя этой кружкой по зубам. Но, но, спокойнее, сказал он себе, спокойнее.

— Красиво, когда снег, — сказал Пабло. — В такую погоду уже нельзя спать под открытым небом.

Ах, так тебе и это не дает покоя, подумал Роберт Джордан. Много у тебя забот, Пабло, очень много.

— Нельзя? — вежливо переспросил он.

— Нельзя. Холодно очень, — сказал Пабло. — И сыро.

Не знаешь ты, почему я отдал за свой пуховичок шестьдесят пять долларов, подумал Роберт

---

[45] Примечания: 45
А мне-то что? (*исп.*)

Джордан. Хотел бы я иметь сейчас столько долларов, сколько ночей я в нем проспал на снегу.

— Значит, ты мне советуешь лечь здесь? — вежливо спросил он.

— Да.

— Спасибо, — сказал Роберт Джордан. — Я все-таки лягу снаружи.

— На снегу?

— Да! (Черт бы тебя побрал с твоими свинячьими красными глазками и свинячьим рылом, заросшим свинячьей щетиной!) На снегу. (На этом подлом, неожиданном, предательском, сволочном, все дело испортившем дерьме, которое называется снег.)

Он подошел к Марии, только что подбросившей еще одно сосновое полено в очаг.

— Но для твоего дела это плохо, да? — спросила она. — Ты огорчен?

— Qué va, — сказал он. — Что толку огорчаться. Скоро ужин?

— Я так и думала, что у тебя аппетит разыграется, — сказала Пилар. — Хочешь кусок сыру пока?

— Спасибо, — сказал он, и она достала круг сыра, который висел в сетке на крюке, вбитом в свод пещеры, отрезала толстый, увесистый ломоть с начатого уже края и протянула Роберту

Джордану. Он съел его стоя. Сыр был бы вкусней, если б чуть поменьше отдавал козлом.

— Мария, — позвал Пабло из-за стола.

— Что? — спросила девушка.

— Вытри почище стол, Мария, — сказал Пабло и ухмыльнулся Роберту Джордану.

— Сам вытри, где пролил, — сказала ему Пилар. — Только сначала вытри подбородок и рубашку, а потом уже стол.

— Мария, — снова позвал Пабло.

— Не обращай на него внимания. Он пьян, — сказала Пилар.

— Мария, — сказал Пабло. — Снег все еще идет, и это очень красиво.

Не знает он, какой у меня мешок, подумал Роберт Джордан. Не знают маленькие свинячьи глазки, почему я заплатил Вудсу шестьдесят пять долларов за этот мешок. А все-таки скорей бы уже возвращался цыган. Как только он вернется, сейчас же пойду за стариком. Я бы сейчас пошел, но боюсь, как бы и в самом деле не разминуться. Я еще не знаю, где он себе выбрал место для поста.

— Хочешь поиграть в снежки? — сказал он Пабло. — Хочешь снежками покидаться?

— Что? — спросил Пабло. — Что ты там такое выдумал?

— Ничего, — сказал Роберт Джордан. — Твои седла хорошо укрыты?

— Да.

Тогда Роберт Джордан сказал по-английски:

— Что ж, теперь придется кормить лошадей зерном. Или выпустить их, и пусть откапывают корм из-под снега?

— Что?

— Ничего. Это твоя забота, дружище. Я отсюда пешком уйду.

— Почему ты заговорил по-английски? — спросил Пабло.

— Не знаю, — сказал Роберт Джордан. — Если я очень устал, я иногда говорю по-английски. Или если очень зол на что-нибудь. Или если, скажем, у меня какая-нибудь неудача. Когда у меня большая неудача, я говорю по-английски, просто чтобы услышать звук английской речи. Она очень успокоительно звучит. Советую тебе попробовать при случае.

— Что ты там говоришь, Inglés? — спросила Пилар. — Как будто что-то интересное, только понять нельзя.

— Ничего, — сказал Роберт Джордан. — Я сказал по-английски «ничего».

— Ну, так ты лучше говори по-испански, — ска-

зала Пилар. — По-испански и короче и проще.

— Верно, — сказал Роберт Джордан.

Но ах, черт, подумал он, ах, Пабло, ах, Мария и вы, двое братьев там, в углу, чьи имена я позабыл и должен буду припомнить, если бы вы знали, как я иногда устаю от этого. От этого, и от вас, и от себя, и от войны, и вот надо же было, ну надо же было, чтобы вдруг пошел снег. Честное слово, это уже слишком. Нужно принять все, как оно есть, и перебороть это, а теперь прекрати свои драматические переживания и примирись с тем, что снег идет, ведь ты уже как будто примирился с этим несколько минут назад, и думай о том, что ты должен выяснить, как там с цыганом, и пойти снять старика. А все-таки надо же! Снег в конце мая! Ладно, хватит, сказал он себе. Хватит, наконец. Это ведь твоя чаша, сказал он себе. Как там говорится про чашу? Нужно будет либо укрепить память, либо никогда не приводить цитат, потому что, когда не можешь точно вспомнить цитату, она неотступно преследует тебя, как забытое имя, и ты не можешь от нее отделаться. Да, как же там говорится про чашу?

— Налей мне чашу вина, — сказал он Пабло по-испански. Потом: — А снегу навалило много. Верно?

Пьяный посмотрел на него и ухмыльнулся. Потом опять кивнул головой и ухмыльнулся.

— Ни тебе наступления. Ни тебе aviónes[46]. Ни тебе моста. Только снег, — сказал Пабло.

— Что ж, по-твоему, это, надолго? — спросил Роберт Джордан, сев рядом с ним. — Что ж, так все лето и будет идти, а, Пабло?

— Все лето не будет, — сказал Пабло. — А сегодня и завтра будет.

— Почему ты так думаешь?

— Метель бывает разная, — сказал Пабло веско и наставительно. — Иногда метель приходит с Пиренеев. Тогда жди холодов. Но для такой теперь уже поздно.

— Так, — сказал Роберт Джордан. — Ну, и то хорошо.

— А эта метель из Кантабрико, — сказал Пабло. — Она идет с моря. Когда ветер дует в эту сторону, всегда бывает сильная метель и много снегу.

— Откуда ты все это знаешь, приятель? — спросил Роберт Джордан.

Теперь, когда бешенство в нем улеглось, метель пьянила его, как всегда пьянила всякая буря.

---

[46] Примечания: 46
Самолеты (*исп.*).

Буран, шторм, внезапно налетевший ливневый шквал, тропический ураган, летний грозовой ливень в горах оказывали на него ни с чем не сравнимое действие. Это было как опьянение боем, только чище. И в бою тоже бушует ветер, но горячий, сухой и горячий, ветер, от которого пересыхает и жжет во рту, и дует он резкими порывами — горячий, с пылью; то налетает, то замирает, изменчивый, как боевая удача. Да, он хорошо знал этот ветер.

Но метель — это совсем другое дело. В метель можно близко подойти к лесному зверю, и он не испугается тебя. Звери вслепую блуждают по лесу, и бывает, что олень подойдет к самой хижине и стоит у стены, прячась от ветра. В метель, случается, наезжаешь прямо на лося, и он принимает твою лошадь за другого лося и мирно трусит тебе навстречу. В метель всегда начинает казаться, будто на свете нет врагов и вражды. В метель ветер может дуть с ураганной силой, но он чистый и белый, и воздух полон вихревой белизны, и все кругом меняет свой облик, а когда ветер стихнет, наступает тишина и неподвижность. Вот сейчас разыгралась настоящая метель, и ею можно наслаждаться. Она погубила все дело, но ею можно наслаждаться.

— Я много лет был погонщиком, — сказал Пабло. — Мы перевозили на больших подводах груз через горы, еще до того, как появились грузовики. Тогда-то я и научился распознавать погоду.

— А как ты примкнул к движению?

— Я всегда был левым, — сказал Пабло. — У нас многие были из Астурии, а там народ политически очень развитой. Я всегда был за Республику.

— А что ты делал до начала движения?

— Работал у одного коннозаводчика в Сарагосе. Он поставлял лошадей для корриды и в армию. Там я и Пилар встретил, она тогда была с матадором Финито де Паленсиа — помнишь, она рассказывала.

Он сказал это с явной гордостью.

— Неважный был матадор, — сказал один из братьев и покосился на спину Пилар, стоявшей у очага.

— Вот как? — сказала Пилар, быстро повернувшись к нему лицом. — Неважный был матадор?

Стоя здесь, в пещере у очага, она вдруг увидела его, маленького, смуглого, с бесстрастным лицом, увидела его печальные глаза, и ввалившиеся щеки, и взмокшие черные завитки волос надо лбом, на котором слишком тесная шляпа оставила красную полоску, незаметную для других.

Вот он стоит перед быком-пятилетком, который только что вскинул на рога лошадь и всей силой напруженной шеи поднимает ее выше, выше, вместе с всадником, колющим эту шею острым наконечником пики, все выше и выше, пока наконец лошадь не грохнулась оземь с глухим стуком, отбросив всадника к деревянному барьеру, и бык, пригнув могучую шею и выставив рога, рванулся вперед, чтобы ее прикончить. Вот он, Финито, матадор не из лучших, стоит напротив быка, повернувшись к нему боком. Она увидела ясно, как он наматывает на древко тяжелую ткань мулеты — ткань, тяжело обвисшую от крови, которой она пропиталась, когда он проводил ею над головой быка, и над мокрым, лоснящимся загривком, и дальше, вдоль спины, когда бык бросился и бандерильи зазвенели. Она увидела, как Финито стоит в пяти шагах от головы быка, словно вросшего в землю, стоит вполоборота к быку, и медленно поднимает шпагу до уровня его лопатки, и нацеливает острие клинка в точку, которую не может еще увидеть, потому что голова быка приходится выше его глаз. Сейчас взмахом тяжелой, мокрой ткани в левой руке он заставит быка пригнуть голову; но пока он только чуть покачивается на каблуках и нацеливает острие

клинка, стоя вполоборота к расщепленному на конце рогу; а бык тяжело дышит и не сводит с мулеты глаз.

Она видела его теперь совсем ясно и слышала его тонкий, высокий голос, когда он повернул голову и оглядел публику, сидевшую в первом ряду над красным барьером, и сказал: «Посмотрим, удастся ли нам убить его вот так!»

Она услышала голос и потом увидела, как согнулось его колено, и он пошел вперед, прямо на рог, который, словно по волшебству, опустился, следуя за движением мулеты в смуглой худой руке, уводящим рога вниз и мимо, и как острие вонзилось в пыльный бугор загривка.

Она видела, как блестящий клинок погружался медленно и верно, будто бык, напирая, сам вбирал его в себя, и она следила за ним, пока смуглый кулак не прикоснулся к натянутой шкуре, и тогда маленький смуглый человек, ни разу не оторвавший глаз от места, куда входила шпага, весь подобрался, отводя подальше от рога свой плоский втянутый живот, а потом, отскочив назад, стал в позу — в левой руке древко мулеты, правая поднята вверх — и приготовился смотреть, как умирает бык.

Вот он стоит и смотрит, как бык силится удер-

жаться на ногах, как он качается, точно подрубленное дерево, перед тем как упасть, как ловит уходящую из-под ног землю, а он стоит и смотрит, подняв правую руку в жесте, знаменующем торжество. И она знала, что он испытывает приятное расслабляющее чувство облегчения от того, что все уже кончено, что бык умирает, что рог не ударил, не вонзился, когда он изогнулся всем телом, пропуская его, и пока он стоял и думал об этом, колени у быка подогнулись, и он рухнул, свалился замертво, задрав все четыре ноги в воздух, и она увидела, как маленький смуглый человек устало, без улыбки зашагал к барьеру.

Она знала, что он не мог бы сейчас побежать, даже если б его жизнь зависела от этого, и она смотрела, как он медленным шагом подошел к барьеру, вытер рот полотенцем, и взглянул на нее, и покачал головой, а потом вытер полотенцем лицо и начал свое триумфальное шествие вокруг арены.

Вот он медленным, волочащимся шагом обходит арену, улыбается, раскланивается, улыбается, а за ним идут его помощники, нагибаются, подбирают сигары, бросают обратно в публику шляпы; а он продолжает свое шествие, улыбающийся, с печальными глазами, и, закончив круг, останав-

ливается перед ней. Потом она еще раз взглянула и увидела его уже сидящим на приступке деревянного барьера с полотенцем у рта.

Все это Пилар увидела, стоя у очага, и, увидев, сказала:

— Так, значит, он не был хорошим матадором? С какими людьми я теперь должна проводить свою жизнь!

— Он был хорошим матадором, — сказал Пабло. — Ему мешал его маленький рост.

— А потом он, видно, был чахоточный, — сказал Примитиво.

— Чахоточный? — сказала Пилар. — А как ему было не нажить чахотки после всего, что досталось на его долю? В этой стране, где бедный человек так и умрет бедняком, если только он не преступник вроде Хуана Марча, не матадор и не оперный тенор! Как ему было не нажить чахотки? В стране, где капиталисты обжираются до катара желудка, так что уже не могут жить без соды, а бедняки голодают с первого до последнего дня своей жизни, как ему было не нажить чахотки? Когда с малых лет шатаешься по ярмаркам, чтобы научиться искусству боя быков, и ездишь зайцем в вагонах третьего класса, прячась под скамейками, потому что нет денег на билет, и ле-

жишь там, в грязи и пыли, среди свежих плевков и высохших плевков, как тут не нажить чахотки, особенно если грудь у тебя измята рогами быка?

— Я ничего и не говорю, — сказал Примитиво. — Я только сказал, что он был чахоточный.

— Конечно, он был чахоточный, — сказала Пилар, размахивая большой деревянной ложкой. — Он был маленького роста, и у него был тонкий голос, и он очень боялся быков. Никогда я не встречала человека, который бы так боялся перед выходом на арену, и никогда я не видела человека, который был бы так бесстрашен во время боя. Эй, ты! — сказала она Пабло. — Ты вот боишься смерти. Носишься со своим страхом. А вот Финито боялся, может, больше тебя, а на арене был храбр как лев.

— Он славился как очень отважный матадор, — сказал один из братьев.

— Никогда не встречала человека, который бы так боялся, — сказала Пилар. — Он даже ни одной бычьей головы не держал в доме. Один раз на ярмарке в Вальядолиде он убил быка Пабло Ромеро, и очень хорошо убил…

— Я помню, — сказал старший из братьев. — Я был на этом бое. Бык был желто-бурый, крутолобый, с очень длинными рогами. Он весил больше

тридцати arrobas[47]. Это был последний бык, которого Финито убил в Вальядолиде.

— Правильно, — сказала Пилар. — А под конец ярмарки любители боя быков, которые всегда собирались в кафе «Колон» и называли себя клубом имени Финито, устроили банкет в его честь, и они сделали из головы этого быка чучело и решили на банкете преподнести ему. Во время ужина голова уже висела на стене кафе «Колон», но была покрыта материей. Я тоже была на этом банкете, а кроме меня, была Пастора, которая еще более уродлива, чем я, и Нинья де лос Пейнес, и много других цыганок и самых первоклассных девиц. Банкет получился хоть и небольшой, но очень оживленный и даже бурный, потому что за ужином Пастора с другой очень известной девицей затеяли спор о приличиях. Я была всем очень довольна, но, сидя рядом с Финито, я заметила, что он ни разу не взглянул на бычью голову, которая висела на стене, обернутая пурпурной материей, как статуи святых в церквах на той неделе, когда поминают страсти нашего бывшего господа бога.

Финито ел очень мало, потому что в последнюю корриду сезона в Сарагосе бык, которого он уби-

---

[47] Примечания: 47
Испанская мера веса, равная 11,5 кг.

вал, нанес ему удар рогом наотмашь, от которого он долгое время был без памяти, и с тех пор его желудок не удерживал пищи, а потому за ужином он то и дело подносил ко рту платок и сплевывал в него кровь. Да, так про что это я говорила?

— Про бычью голову, — сказал Примитиво. — Про чучело головы быка.

— Да, — сказала Пилар. — Да. Но я должна рассказать некоторые подробности, чтоб вы себе ясно могли все представить. Финито, как известно, никогда весельчаком не был. Он был человек очень мрачный, и я не припомню случая, чтоб он смеялся над чем-нибудь, когда мы бывали одни. Даже если случалось что-нибудь очень смешное. Он на все смотрел очень, очень серьезно. Он был почти такой же серьезный, как Фернандо. Но этот банкет давался в его честь клубом любителей, который носил его имя, и потому он должен был показать себя там любезным, и общительным, и веселым. За ужином он все время улыбался и говорил разные любезности, и, кроме меня, никто не видел, что он делал со своим носовым платком. У него было с собой три платка, но скоро он их все три извел, и вот он говорит мне очень тихо:

— Пилар, я больше не могу. Я должен уйти.

— Что ж, пойдем, — сказала я. Потому что я

видела, что ему очень худо. Кругом веселье было в полном разгаре, и шум стоял такой, что в ушах звенело.

— Нет. Не могу я уйти, — говорит Финито. — Все-таки этот клуб носит мое имя, и я с этим должен считаться.

— Если ты болен, давай уйдем, — сказала я.

— Нет, — сказал он. — Я останусь. Налей мне бокал мансанильи.

Я подумала, что лучше бы ему не пить, раз он ничего не ел и раз у него такое дело с желудком, но, видно, он уже больше не мог выносить весь этот шум и веселье, не подкрепившись чем-нибудь. И вот он схватил бутылку мансанильи и очень быстро выпил ее почти всю. Платков у него больше не было, и он теперь употреблял свою салфетку для той же надобности, что раньше платки.

Между тем участники банкета разошлись вовсю. Некоторые члены клуба посадили себе на плечи девиц, из тех, что были полегче, и бегали с ними вокруг стола. Пастору уговорили спеть, а Эль Ниньо Рикардо играл на гитаре, и просто отрадно было глядеть, как все веселились, хоть и спьяну, но дружно и от души. Никогда мне еще не случалось бывать на банкете, где царило бы

такое настоящее цыганское веселье, а ведь дело еще не дошло до открытия бычьей головы, ради чего, собственно говоря, и было все затеяно.

Мне самой было очень весело, я хлопала в ладоши, когда играл Рикардо, собирала компанию, чтобы хлопать, когда будет петь Нинья де лос Пейнес, и за всем этим даже не заметила, что Финито уже извел свою салфетку и теперь взялся за мою. Он все пил и пил мансанилью, и глаза у него заблестели, и он весело кивал головой во все стороны. Говорить много он не мог из страха, как бы посреди разговора не пришлось хвататься за салфетку; но он делал вид, что очень доволен и весел, а это, в конце концов, от него и требовалось.

Все шло хорошо, пока мой сосед по столу, бывший импресарио Рафаэля эль Гальо, не вздумал рассказать мне историю, которая кончалась так: «И вот Рафаэль приходит ко мне и говорит: „Вы самый мой лучший друг на свете и самый благородный. Я вас люблю, как родного брата, и хочу вам сделать подарок“. И тут он мне подает роскошную бриллиантовую булавку для галстука и целует меня в обе щеки, и мы оба даже прослезились от умиления. Потом Рафаэль эль Гальо, отдав мне бриллиантовую булавку для галстука, уходит из кафе, и тогда я говорю Ретане, который

сидел со мной: „Этот подлый цыган только что подписал контракт с другим импресарио“. — „С чего ты это взял?“ — говорит Ретана. „Я с ним работаю десять лет, — отвечаю я, — и никогда он мне не делал подарков“, — так рассказывал импресарио Эль Гальо. „Ничего другого это не может означать“. И так оно и было, именно тогда Эль Гальо и ушел от него.

Но тут в разговор вмешалась Пастора, не столько для того, чтобы заступиться за доброе имя Рафаэля, потому что никто не мог бы сказать о нем хуже, чем говорила она сама, сколько потому, что импресарио обидел весь цыганский народ, назвав Рафаэля «подлый цыган». И она вмешалась с таким пылом и так выражалась при этом, что импресарио должен был замолчать. Пришлось тогда мне вмешаться, чтобы унять Пастору, а еще другая gitana вмешалась, чтобы унять меня, и шум поднялся такой, что нельзя было разобрать даже слов, кроме одного слова «шлюха», которое выкрикивалось громче всех, но в конце концов порядок водворили, и мы трое, с которых все и началось, уселись на места и взялись за свои бокалы, и тут вдруг я увидела, что Финито смотрит на бычью голову, все еще обернутую пурпурной материей, и в глазах у него ужас.

В эту самую минуту президент клуба начал речь, после которой с бычьей головы должны были снять покрывало, и все время, пока он говорил, а кругом кричали «ole!» и стучали по столу кулаками, я следила за Финито, а он, забившись в кресло, уткнул рот в свою, нет, уже в мою салфетку и, точно завороженный, с ужасом смотрел на бычью голову на стене.

К концу речи Финито стал трясти головой и все старался поглубже забиться в кресло.

«Ты что, малыш?» — спросила я его, но он меня не узнавал и только тряс головой и твердил: «Нет. Нет. Нет».

Между тем президент клуба, кончив свою речь под одобрительные возгласы остальных, встал на стул, развязав шнур, которым пурпурное покрывало было обвязано вокруг бычьей головы, и медленно стал стягивать покрывало вниз, а оно зацепилось за один рог, но он дернул, и оно соскользнуло с отполированных острых рогов, и огромный желтый бык глянул на всех, выставив выгнутые черные рога с белыми кончиками, острыми, как иглы дикобраза; голова была совсем как живая, тот же крутой лоб, и ноздри раздуты, а глаза блестят и смотрят прямо на Финито.

Все закричали и захлопали в ладоши, а Финито

еще глубже забился в кресло, и тут все стихли и оглянулись на него, а он только повторял: «Нет, нет», — и старался уйти в кресло еще глубже, а потом вдруг очень громко выкрикнул: «Нет!» — и большой сгусток черной крови выскочил у него изо рта, но он даже не поднес салфетку, и сгусток скатился по его подбородку, а он все смотрел на быка и наконец сказал: «Весь сезон, да. Ради денег, да. Ради хлеба, да. Но я не могу есть хлеб. Вы слышите? Мой желудок не варит. А теперь, когда сезон окончен, — нет! Нет!» Он оглядел всех сидевших за столом, потом опять взглянул на быка и еще раз сказал «нет», а потом опустил голову на грудь и закрылся салфеткой и долго сидел так, молча, и банкет, который начался так хорошо и должен был стать образцом веселья и дружеского общения, окончился неудачно.

— И скоро после того он умер? — спросил Примитиво.

— Зимой, — сказала Пилар. — Он так и не поправился после сарагосского быка. Такие удары хуже, чем когда рог вонзается острием, потому что они повреждают внутренности и выздороветь уже нельзя. Финито потом получал их чуть не каждый раз, когда убивал быка, и от того-то успех изменил ему. Из-за своего маленького роста

он не мог вовремя увертываться от рога, и рог почти всегда ударял его плашмя. Но, понятно, по большей части удары бывали легкие.

— Не надо бы ему совсем идти в матадоры при таком росте, — сказал Примитиво.

Пилар посмотрела на Роберта Джордана и покачала головой. Потом, все еще качая головой, она нагнулась над большим чугунным котлом.

Что за народ, думала она. Что за народ эти испанцы. «Не надо бы ему совсем идти в матадоры при таком росте». А я слушаю это и ничего не говорю. Меня это даже не злит, я объяснила и теперь молчу. Как это просто для того, кто ничего не понимает. Qué sencillo![48] Один, ничего не понимая, говорит: «Он был неважный матадор». Другой, ничего не понимая, говорит: «Он был чахоточный». А третий, после того как тот, кто понимает, объяснил ему, встает и говорит: «Не надо бы ему совсем идти в матадоры при таком росте».

Склонившись над очагом, она видела распростертое на кровати обнаженное смуглое тело с узловатыми шрамами на обеих ляжках, глубоким следом от рога справа, под нижним ребром,

---

[48] Примечания: 48
Как просто! (*исп.*)

и длинным белым рубцом, на боку, уходящим под мышку. Она видела закрытые глаза, и мрачное смуглое лицо, и курчавые черные волосы, откинутые со лба, и сама она сидела рядом с ним на кровати и растирала ему ноги, разминала пальцами икры и потом легонько похлопывала ребрами ладоней, ослабляя сводившее мускулы напряжение.

— Ну как? — спрашивала она. — Как ноги, малыш?

— Хорошо, Пилар, хорошо, — отвечал он, не открывая глаз.

— Может быть, растереть тебе грудь?

— Нет, Пилар. Грудь не трогай.

— А ноги выше колен?

— Нет. Там очень болит.

— Так ведь если я разотру их и смажу мазью, они разогреются и боль станет легче.

— Нет, Пилар. Спасибо тебе. Мне лучше, когда они лежат спокойно.

— Я оботру тебя спиртом.

— Хорошо. Только очень осторожно.

— Последнего быка ты убил просто великолепно, — говорила она ему, и он отвечал:

— Да, я его хорошо убил.

Потом, обтерев его спиртом и накрыв просты-

ней, она ложилась рядом с ним на кровать, и он высовывал смуглую руку, и дотрагивался до нее, и говорил: «Ты женщина из женщин, Пилар». И для него это уже была шутка, потому что шутить по-настоящему он не умел; потом он засыпал, как всегда после боя, а она лежала рядом, держа его руку в своих, и прислушивалась к его дыханию.

Он часто пугался во сне, и она чувствовала, как его пальцы тесней сжимают ее руку, и видела капли пота, выступавшие у него на лбу, и, если он просыпался, она говорила: «Ничего, ничего», — и он снова засыпал. Пять лет она прожила с ним и никогда ему не изменяла, то есть почти никогда, а когда его схоронили, она сошлась с Пабло, который водил под уздцы лошадей пикадоров на арене и сам был как бык, вроде тех, на которых Финито положил всю свою жизнь. Но бычья сила, как и бычья храбрость, держится недолго, теперь она узнала это, да и что вообще долго держится на свете? Я держусь, подумала она. Да, я держусь долго. Но кому это нужно?

— Мария, — сказала она. — Надо смотреть, что делаешь. Для чего тебе огонь — сварить ужин или сжечь целый город?

И тут у входа в пещеру показался цыган. Он весь был засыпан снегом и, остановившись у вхо-

да с карабином в руке, принялся топать ногами, сбивая снег.

Роберт Джордан встал и пошел ему навстречу.

— Ну, что? — спросил он цыгана.

— На большом мосту смена каждые шесть часов, по два человека, — сказал цыган. — В домике дорожного мастера восемь рядовых и капрал. Вот тебе твой хронометр.

— А на лесопилке?

— Это тебе старик скажет. Он наблюдает за дорогой, ему и лесопилку видно.

— А что на дороге? — спросил Роберт Джордан.

— Движение такое же, как всегда, — сказал цыган. — Ничего необыкновенного нет. Несколько машин, вот и все.

У цыгана был замерзший вид, его темное лицо скривилось от холода, руки покраснели. Не входя в пещеру, он снял свою куртку и встряхнул ее.

— Я дождался смены караула, — сказал он. — Смена была в двенадцать и потом в шесть. Долго все-таки. Не хотел бы я служить в этой армии.

— Надо сходить за стариком, — сказал Роберт Джордан, надевая свою кожаную куртку.

— Ну уж нет, — сказал цыган. — Мне сейчас надо только миску горячего супу и местечко поближе к огню. Пусть кто-нибудь из них тебя

проводит, я расскажу, как найти. Эй, вы, лодыри, — крикнул он сидевшим у стола. — Кто пойдет с Inglés за стариком?

— Я пойду, — сказал Фернандо. — А где он?

— Вот слушай, — сказал цыган. — Нужно идти так. — И он объяснил ему, где старик Ансельмо устроил себе пост для наблюдения за дорогой.

Глава пятнадцатая

Ансельмо, съежившись, сидел за деревом, толстый ствол которого защищал его от снега. Он крепко прижимался к стволу, руки у него были засунуты в рукава куртки, правая рука в левый рукав, левая — в правый, голова по самые уши втянута в воротник. Если придется сидеть здесь долго, я замерзну, думал он, и, главное, без толку. Inglés велел мне дожидаться смены, но ведь он не мог знать, что поднимется метель. На дороге ничего необычного не заметно, а все, что делается на том посту и на лесопилке, я уже хорошо знаю. Надо возвращаться в лагерь. Каждый, у кого есть голова на плечах, сказал бы, что мне пора возвращаться в лагерь. Побуду здесь еще немножко и пойду, решил он. С приказами всегда так, слишком уж они строгие. Если что изменится, это в расчет не принимают. Он потер ногой об ногу, потом высвободил руки из рукавов, нагнулся, растер себе икры и постучал ногой об ногу, чтобы разогнать кровь. Здесь, за деревом, не так холодно, оно укрывает от ветра, но все-таки скоро надо будет встать и уйти, а то замерзнешь.

Как раз в ту минуту, когда он, согнувшись, растирал себе ноги, на дороге послышался шум автомобиля. На колеса были надеты цепи, и одна ослабевшая цепь шлепала. Он посмотрел в ту сторону и увидел на заснеженной дороге машину, раскрашенную неровными мазками в зеленый и коричневый цвета; стекла у нее были замазаны синим, чтобы ничего нельзя было увидеть снаружи, а для тех, кто сидел внутри, был оставлен небольшой полукруглый просвет. Это была машина Генерального штаба, замаскированный «роллс-ройс» выпуска тридцать пятого года, но Ансельмо не знал этого. Он не мог увидеть, что в «роллс-ройсе» сидят трое офицеров, закутанных в плащи, двое — на заднем сиденье, третий — на откидном. Офицер, сидевший на откидном сиденье, смотрел на дорогу сквозь просвет в закрашенном синей краской стекле. Но Ансельмо не знал этого. Они не увидели друг друга.

Машина промелькнула сквозь снег как раз под тем местом, где сидел Ансельмо. Он разглядел шофера в наброшенном на плечи пончо, его красное лицо и стальной шлем; разглядел торчащий ствол ручного пулемета, который держал сидевший рядом с шофером ординарец. Как только машина скрылась за поворотом, Ансельмо сунул

руку за пазуху, вынул из нагрудного кармана рубашки два листка, вырванные из записной книжки Роберта Джордана, и сделал пометку под рисунком, который обозначал легковые машины. Это была десятая по счету. Шесть уже прошли обратно. Четыре еще там. Это было не больше, чем обычно проезжало по этой дороге, но Ансельмо не умел отличать «форды», «фиаты», «оппели», «рено» и «ситроены» штаба дивизии, которая действовала в этом районе, от «роллс-ройсов», «ланчий», «мерседесов» и «изотто» Генерального штаба. Будь здесь на месте старика Роберт Джордан, он подметил бы, какие именно машины шли в ту сторону, и сумел бы оценить все значение этого факта. Но Роберта Джордана здесь не было, а старик попросту отметил на листке из блокнота, что вверх по дороге прошла еще одна машина.

К этому времени Ансельмо уже окончательно продрог и решил идти в лагерь, не дожидаясь, когда стемнеет. Он не боялся сбиться с пути, а просто решил, что сидеть здесь бесполезно, тем более что ветер становился все холоднее и метель не утихала.

Но, встав и потоптавшись на месте и посмотрев сквозь снег на дорогу, он не пошел вверх по склону, а прислонился к сосне с подветренной

стороны и так и остался стоять там.

Мне велено ждать, думал он. Может быть, Inglés уже идет сюда, и, если я уйду, он заплутается, разыскивая меня в такую метель. Мало ли нам приходилось страдать в этой войне из-за отсутствия дисциплины и нарушения приказов, так что лучше уж я подожду его еще немного. Но если он скоро не придет, я уйду отсюда и не посмотрю ни на какой приказ, потому что мне надо доставить донесение и замерзать насмерть сейчас не время — дел слишком много, и нечего перегибать палку в другую сторону.

Напротив, через дорогу, из трубы лесопилки шел дым, и его запах доносился до Ансельмо сквозь снег. Фашистам хорошо там, думал он, им тепло и уютно, а завтра ночью мы их убьем. Странно все получается, и лучше об этом не думать. Я наблюдал за ними весь день и вижу, что они такие же люди, как и мы. Я мог бы подойти сейчас к лесопилке, постучаться в дверь, и они приняли бы меня радушно, вот разве что им приказано опрашивать всех неизвестных людей и требовать от них документы. Значит, между нами стоят только приказы. Эти люди не фашисты. Я называю их так, но они не фашисты. Они такие же бедняки, как и мы. Не надо им было воевать

против нас, а мне лучше не думать о том, что их придется убить.

Эти постовые — галисийцы. Я как только услышал их сегодня днем, так сразу узнал это по их говору. Они не могут дезертировать, потому что это значит подвести семью под расстрел. Галисийцы бывают или очень умные, или совсем тупицы и скоты. Я знавал и таких и других. Листер тоже галисиец, они с Франко из одного города. А любопытно, как этим постовым нравится, что в такое время года идет снег? У них ведь нет высоких гор, как у нас, и там всегда дожди и всегда все зелено.

В окне лесопилки засветился огонь, и Ансельмо зябко поежился и подумал: черт бы побрал этого Inglés. У нас, в нашем краю, галисийцы сидят в тепле и под крышей, а я должен жаться тут за деревом и мерзнуть, а ютимся мы в какой-то норе среди скал, будто дикие звери. Но завтра, подумал он, звери вылезут из норы, и вот эти, кому сейчас так уютно живется, умрут, закутанные в свои теплые одеяла. Как те, которым пришлось умереть в ночь налета на Отеро, подумал он. Ему было неприятно вспоминать Отеро.

Той ночью, в Отеро, он убивал в первый раз, и теперь он надеялся, что ему не придется уби-

вать, когда наступит время разделаться с этими постовыми. Там, в Отеро, Пабло ударил ножом часового, которому Ансельмо набросил одеяло на голову, и тот, почти задохшийся, ухватил его за ногу и всхлипывал там, под одеялом, и Ансельмо пришлось на ощупь тыкать его ножом до тех пор, пока он не отпустил ногу и не затих. Ансельмо прижал его горло коленкой, чтобы не было крику, и все тыкал ножом, а Пабло тем временем швырнул гранату в окно караульного помещения, где спали постовые. И когда вспыхнуло пламя, а глазах стало так, точно весь мир пошел желтыми и красными пятнами, и тут в окно караульной полетели еще две гранаты. Пабло успел выдернуть обе чеки и швырнул гранаты в окно одну за другой, и тех, кого не убило в постели, убило, как только они вскочили с постели, при взрыве второй гранаты. Это было в те славные для Пабло дни, когда он точно дьявол, носился по всей провинции и ни на одном фашистском посту не могли спокойно спать по ночам.

А теперь его песенка спета, крышка ему, он точно вылощенный кабан, думал Ансельмо. Когда операция окончена и визг прекратился, семенники выкидывают, и кабан, который теперь уже не кабан, идет искать их, уткнувшись рылом в зем-

лю, находит и съедает. Нет, до этого у Пабло еще не дошло, усмехнулся Ансельмо. Ведь вот, оказывается, и на Пабло можно возвести напраслину. Но что он стал совсем не тот — это верно, и что мерзости в нем достаточно — это тоже верно.

Как холодно, думал он. Хорошо бы, Inglés пришел поскорее, и хорошо бы, мне никого не надо было убивать в этом деле. Пусть эти четыре галисийца с капралом достанутся на долю тех, кто любит убивать. Так сказал Inglés. Если потребуется, я выполню свой долг, но Inglés сказал, что я буду при нем, на мосту, а этим займутся другие. На мосту будет бой, и если я вытерплю и не убегу, значит, я сделал все, чего можно требовать в этой войне от старика. Но пусть Inglés приходит поскорее, потому что мне холодно, а когда я вижу огонь в окне лесопилки и знаю, что галисийцам тепло, мне становится еще холоднее. Хорошо бы сейчас опять очутиться у себя дома и чтобы война кончилась. Но у тебя больше нет дома, подумал он. Сначала надо выиграть войну, раньше этого домой не вернешься.

В лесопилке один из солдат сидел на своей койке и смазывал башмаки. Другой спал. Третий что-то стряпал, а капрал читал газету. Их каски висели на гвоздях, вбитых в стену, винтовки

стояли у дощатой стены.

— Что это за места такие, что снег идет здесь чуть ли не в июне? — сказал солдат, сидевший на койке.

— Это игра природы, — ответил ему капрал.

— Сейчас еще майская луна, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — Она еще не кончилась.

— Что это за места такие, что снег идет здесь в мае? — твердил солдат на койке.

— В горах снег в мае не редкость, — сказал капрал. — Я никогда так не мерз в Мадриде, как в мае!

— И никогда так не парился, — сказал солдат, занимавшийся стряпней.

— В мае погода всегда неустойчивая, — сказал капрал. — Здесь, в Кастилии, в мае бывает сильная жара, но бывает и холодно.

— Или дожди заладят, — сказал солдат, сидевший на койке. — Прошлый год в мае месяце почти каждый день шел дождь.

— Неправда, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — Кроме того, хоть это был май, но еще не кончилась апрельская луна.

— Рехнуться можно от твоих лун, — сказал капрал. — Перестань ты твердить про свою луну.

— Кого кормит море или земля, те знают, что

важно не то, какой сейчас месяц, важно, какая луна, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — Вот, например, сейчас майская луна только началась. А по календарю скоро июнь.

— Почему же тогда времена года остаются всегда на своем месте? — спросил капрал. — Прямо голова лопается от этой чепухи!

— Ты горожанин, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — Ты из Луго, откуда тебе знать про море и про землю!

— В городе народ больше знает, чем всякие analfabetos[49], которые всю жизнь торчат в море или на земле.

— В эту луну появляются первые косяки сардин, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — В эту луну снастят лодки, а скумбрия уходит на север.

— Почему же тебя не взяли во флот, если ты из Нойи? — спросил капрал.

— Потому что по спискам я значусь не в Нойе, а в Негрейре, по месту рождения. А из Негрейры, которая стоит на реке Тамбре, берут в армию.

— Тем хуже для вас, — сказал капрал.

— А ты не думай, что во флоте так уж безопас-

---

[49] Примечания: 49
Неграмотные (*исп.*).

но, — сказал солдат, сидевший на койке. — Даже если не попадешь в морской бой, то в береговой охране в зимние месяцы тоже всякое бывает.

— Хуже армии ничего нет, — сказал капрал.

— Эх, ты, а еще капрал, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — Разве можно так говорить?

— Да нет, — сказал капрал, — я про то, где всего опасней. Про бомбежки, атаки, про окопную жизнь.

— Здесь ничего такого нет, — сказал солдат, сидевший на койке.

— Да, милостью божией, — сказал капрал. — Но кто знает, может, нас это еще не минует. Не век же нам будет так вольготно, как здесь.

— А как ты думаешь, скоро нас отсюда откомандируют?

— Не знаю, — сказал капрал. — Хорошо бы здесь отсиживаться всю войну.

— По шесть часов на посту — это слишком долго, — сказал солдат, занимавшийся стряпней.

— Пока метель не кончится, будем сменяться через каждые три часа, — сказал капрал. — Это можно.

— А почему сегодня столько проехало штабных машин? — спросил солдат, сидевший на койке. —

Не нравятся мне эти штабные машины.

— Мне тоже, — сказал капрал. — Такие штуки — плохой признак.

— И самолеты, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — Самолеты тоже плохой признак.

— Ну, авиация у нас мощная, — сказал капрал. — У красных такой авиации нет. На сегодняшние самолеты прямо сердце радовалось.

— Мне приходилось видеть красные самолеты в бою, и это тоже не шутка, — сказал солдат, сидевший на койке. — Мне приходилось видеть их двухмоторные бомбардировщики в бою, и это страшное дело.

— Но все-таки у них не такая мощная авиация, как у нас, — сказал капрал. — Наша авиация непобедима.

Так они говорили, пока Ансельмо, стоя у дерева, поглядывал сквозь снег на дорогу и на огонь в окне лесопилки.

Хорошо, если бы мне не пришлось убивать, думал Ансельмо. Наверно, после войны наложат тяжелую кару за все эти убийства. Если у нас не будет религии после войны, тогда, наверно, придумают какое-нибудь гражданское покаяние, чтобы все могли очиститься от стольких убийств, а если нет, тогда у нас не будет хорошей, доброй

основы для жизни. Убивать нужно, я знаю, но человеку нехорошо это делать, и, наверно, когда все это кончится и мы выиграем войну, на всех наложат какое-нибудь покаяние, чтобы мы все могли очиститься.

Ансельмо был очень добрый человек, и когда ему приходилось подолгу оставаться наедине с самим собой, а он почти все время бывал один, подобные мысли об убийстве не покидали его.

Любопытно, как думает Inglés на самом-то деле. Он сказал, что ему это нетрудно, а ведь он, кажется, отзывчивый, мягкий. Может быть, те, кто помоложе, смотрят на это проще. Может быть, иностранцы и люди не нашей религии по-другому относятся к этому. Но, по-моему, в конце концов убийства ожесточают человека, и если даже без этого нельзя обойтись, то все равно убивать — большой грех, и когда-нибудь нам придется приложить много сил, чтобы искупить его.

Было уже совсем темно, и он снова посмотрел через дорогу на огонь в окне лесопилки и стал размахивать руками, стараясь согреться. Вот теперь уже можно идти в лагерь, подумал он, и все-таки что-то удерживало его у этого дерева над дорогой. Снег пошел сильнее, и Ансельмо подумал: эх, если бы взорвать этот мост сегодня

ночью. В такую ночь ничего бы не стоило захватить оба поста и взорвать мост, и дело с концом. В такую ночь можно сделать все, что угодно.

Потом он прислонился к дереву и легонько потопал ногами, уже не думая больше о мосте. Наступление темноты всегда вызывало у него чувство одиночества, а сегодня ему было так одиноко, что он даже ощущал какую-то пустоту внутри, как от голода. В прежнее время от одиночества помогали молитвы, и часто бывало так, что, вернувшись с охоты, он бессчетное количество раз повторял какую-нибудь одну молитву, и от этого становилось легче. Но с тех пор, как началась война, он не молился ни разу. Ему недоставало молитвы, но он считал, что молиться теперь будет нечестно и лицемерно, и он не хотел испрашивать себе каких-нибудь особых благ или милостей в отличие от остальных людей.

Пусть я одинок, думал он. Но так же одиноки все солдаты, и все солдатские жены, и все те, кто потерял родных или близких. Жены у меня нет, но я рад, что она умерла до войны. Она бы не поняла ее. И детей у меня нет и никогда не будет. Я и днем чувствую себя одиноким, если я ничем не занят, но больше всего мне бывает одиноко, когда наступает темнота. И все-таки есть одно, чего у

меня никто не отнимет, ни люди, ни бог, — это то, что я хорошо потрудился для Республики. Я много труда положил для того, чтобы потом, когда кончится война, все мы зажили лучшей жизнью. Я отдавал все свои силы войне с самого ее начала, и я не сделал ничего такого, чего следовало бы стыдиться.

Только об одном я жалею — что приходится убивать. Но ведь будет же у нас возможность искупить этот грех, потому что его приняли на душу многие люди, и, значит, надо придумать справедливую кару для всех. Мне бы очень хотелось поговорить об этом с Inglés, но он молод и, наверно, не поймет меня. Он уже заводил об этом разговор. Или я сам его заводил? Inglés, должно быть, много убивал, но не похоже, чтобы ему это было по душе. В тех, кто охотно идет на убийство, всегда чувствуешь что-то мерзкое.

Все-таки убивать — большой грех, думал он. Потому что это есть то самое, чего мы не имеем права делать, хоть это и необходимо. Но в Испании убивают слишком легко, и не всегда в этом есть необходимость, а сколько у нас под горячую руку совершается несправедливого, такого, чего потом уже не исправишь. Хорошо бы отделаться от таких мыслей, подумал он. Хорошо бы, назна-

чили какое-нибудь искупление за это и чтобы его можно было начать сейчас же, потому что это то единственное, о чем мне тяжело вспоминать наедине с самим собой. Все остальное людям прощается, или они искупают свои грехи добром или какими-нибудь достойными делами. Но убийство, должно быть, очень большой грех, и мне бы хотелось, чтобы все это было как-то улажено. Может, потом назначат дни, когда надо будет работать на государство, или придумают еще что-нибудь, чтобы люди могли снять с себя этот грех. Например, платить, как мы раньше платили церкви, подумал он и улыбнулся. Церковь умела управляться с грехами. Эта мысль понравилась ему, и он улыбался в темноте, когда подошел Роберт Джордан. Он подошел совсем тихо, и старик увидел его, когда он уже стоял у дерева.

— Hola, viejo, — шепотом сказал Роберт Джордан и хлопнул его по плечу. — Ну как, старик?

— Очень холодно, — сказал Ансельмо.

Фернандо остановился чуть поодаль от них, повернувшись спиной к ветру и снегу.

— Пошли, — все так же шепотом сказал Роберт Джордан. — Пошли в лагерь, там обогреешься. Просто преступление, что тебя здесь продержали столько времени.

— Вон свет, это у них, — показал Ансельмо.

— А где часовой?

— Его отсюда не видно. Он за поворотом.

— Ну и черт с ними, — сказал Роберт Джордан. — Расскажешь все, когда будем в лагере. Пошли, пошли.

— Подожди, я тебе покажу, — сказал Ансельмо.

— Утром все посмотрим, — сказал Роберт Джордан. — Вот, возьми, выпей.

Он протянул старику свою флягу. Ансельмо запрокинул голову и сделал глоток.

— Ух ты! — сказал он и вытер губы рукой. — Как огонь.

— Ну, — сказал в темноте Роберт Джордан, — пошли.

Стало уже так темно, что кругом ничего не было видно, кроме быстро мчавшихся снежных хлопьев и неподвижной черноты сосен. Фернандо стоял немного выше по склону. Полюбуйтесь на этот манекен, подумал Роберт Джордан. Пожалуй, его тоже надо угостить.

— Эй, Фернандо, — сказал он, подходя к нему. — Хочешь выпить?

— Нет, — сказал Фернандо. — Спасибо.

Это тебе спасибо, подумал Роберт Джордан. Какое счастье, что манекены не потребляют

спиртного. У меня совсем немного осталось. Как же я рад видеть этого старика, подумал Роберт Джордан. Он посмотрел на Ансельмо, шагая рядом с ним вверх по склону, и опять хлопнул его по спине.

— Я рад тебя видеть, viejo, — сказал он ему. — Когда я не в духе, стоит мне только посмотреть на тебя, и сразу легче делается. Ну, пойдем, пойдем.

Они поднимались в гору сквозь метель.

— Возвращение в чертоги Пабло, — сказал Роберт Джордан. По-испански это прозвучало великолепно.

— El Palacio del Miedo, — сказал Ансельмо. — Чертоги Страха.

— Чертоги Бессилия, — подхватил Роберт Джордан.

— Какого бессилия? — спросил Фернандо.

— Это я так, — сказал Роберт Джордан. — Того самого.

— А почему? — спросил Фернандо.

— Кто его знает, — сказал Роберт Джордан. — В двух словах не расскажешь. Спроси Пилар. — Он обнял Ансельмо за плечи, притянул его к себе и крепко встряхнул. — Знаешь что? — сказал он. — Я рад тебя видеть. Ты даже представить себе не можешь, что это значит — в этой стране

найти человека на том же самом месте, где его оставил. — Вот какое он чувствовал доверие и близость к нему, если решился сказать хоть слово против страны.

— Мне тоже приятно тебя видеть, — сказал Ансельмо. — Но я уже собирался уходить.

— Черта с два! — радостно сказал Роберт Джордан. — Ты замерз бы, а не ушел.

— Ну как там, наверху? — спросил Ансельмо.

— Замечательно, — сказал Роберт Джордан. — Все совершенно замечательно.

Он радовался той внезапной радостью, которая так редко выпадает на долю человека, которому приходится командовать в революционной армии; такая радость вспыхивает, когда видишь, что хотя бы один твой фланг держится крепко. Если бы оба фланга держались крепко, это было бы уж слишком, подумал он. Не знаю, кто бы мог вынести такое. А если разобраться в том, что такое фланг, любой фланг, то можно свести его к одному человеку. Да, к одному человеку. Не такая аксиома была ему нужна. Но этот человек — надежен. Один надежный человек. Ты будешь моим левым флангом, когда начнется бой, думал он. Говорить тебе об этом сейчас, пожалуй, не стоит. Бой будет очень короткий, думал он. Но и

очень славный бой. Ну что ж, мне всегда хотелось самостоятельно провести хоть один бой. Я всегда находил погрешности в тех боях, где командовали другие, начиная с Азенкура и до наших дней. Свой собственный бой надо провести как следует. Это будет бой короткий, но безупречный. Если все сложится так, как оно должно сложиться по моим расчетам, то этот бой будет действительно безупречен.

— Нет, правда, — сказал он Ансельмо. — Я ужасно рад тебя видеть.

— И я рад видеть тебя, — сказал старик.

Сейчас, когда они взбирались по склону в темноте, и ветер дул им в спину, и их заносило снегом, Ансельмо уже не чувствовал себя одиноким. Он перестал чувствовать свое одиночество с той минуты, как Inglés хлопнул его по плечу. Inglés был веселый, довольный, они шутили друг с другом.

Inglés сказал, что все идет хорошо и тревожиться не о чем. Глоток абсента согрел Ансельмо, и ноги у него тоже начали согреваться от ходьбы.

— На дороге ничего особенного, — сказал он.

— Ладно, — ответил ему Inglés. — Покажешь мне, когда придем.

Ансельмо шел радостный, и ему было очень

приятно думать, что он не покинул своего наблюдательного поста.

Если бы он вернулся в лагерь, ничего бы плохого в этом не было. Это был бы вполне разумный и правильный поступок, принимая во внимание обстоятельства, думал Роберт Джордан. Но он остался, выполняя приказ, думал Роберт Джордан. Выстоять на посту в такую снежную бурю. Это о многом говорит. Недаром по-немецки буря и атака называются одним и тем же словом — «Sturm». Я бы, конечно, мог подобрать еще одного-двоих, которые остались бы на посту. Конечно, мог бы. Интересно, остался бы Фернандо? Вполне вероятно. В конце концов, он сам вызвался проводить меня сюда. Ты думаешь, он остался бы? А как бы это было хорошо! Упорства у него хватит. Надо будет прощупать его. Интересно знать, о чем сейчас думает этот манекен.

— О чем ты думаешь, Фернандо? — спросил Роберт Джордан.

— А почему ты спрашиваешь?

— Из любопытства, — сказал Роберт Джордан. — Я очень любопытный.

— Я думаю об ужине, — сказал Фернандо.

— Любишь поесть?

— Да. Очень.

— А как ты находишь — Пилар стряпает вкусно?

— Так себе, — ответил Фернандо.

Прямо второй Кулидж, подумал Роберт Джордан. А все-таки мне кажется, что он бы остался.

Они медленно взбирались по склону сквозь метель.

Глава шестнадцатая

— Эль Сордо был здесь, — сказала Пилар Роберту Джордану.

Они вошли с холода в дымное тепло пещеры, и женщина кивком подозвала Роберта Джордана к себе.

— Он пошел насчет лошадей.

— Хорошо. А мне он ничего не просил передать?

— Вот только то, что пойдет насчет лошадей.

— А как дела у нас?

— No sé[50], — сказала она. — Полюбуйся на него.

Роберт Джордан увидел Пабло сразу, как только вошел, и Пабло ухмыльнулся ему. Сейчас Роберт Джордан опять посмотрел на Пабло, сидевшего за столом, и с улыбкой помахал ему рукой.

— Inglés! — крикнул Пабло. — А снег-то все еще идет, Inglés.

Роберт Джордан кивнул.

— Сними сандалии, я их посушу, — сказала Мария. — Повешу вот тут, перед очагом.

---

[50] Примечания: 50
Не знаю (*исп.*).

— Смотри не сожги, — сказал ей Роберт Джордан. — Я босиком не хочу расхаживать. В чем дело? — повернулся он к Пилар. — Что это у вас — собрание? А разве часовых не выставили?

— В такую метель? Qué va!

За столом, прислонясь к стене, сидели шестеро мужчин. Ансельмо и Фернандо все еще стряхивали снег с курток и штанов и постукивали ногами о стену у входа в пещеру.

— Сними куртку, — сказала Мария. — А то снег растает, и она намокнет.

Роберт Джордан стащил с себя куртку, стряхнул снег с брюк и развязал шнурки своих альпаргат.

— Намочишь тут все кругом, — сказала Пилар.

— Ты же сама меня позвала.

— Ну и что же? Вернись ко входу и стряхни снег там.

— Прошу прощения, — сказал Роберт Джордан, становясь босыми ногами на земляной пол. — Разыщи-ка мне носки, Мария.

— Господин и повелитель, — сказала Пилар и сунула полено в огонь.

— Hay que aprovechar el tiempo, — ответил ей Роберт Джордан. — Надо пользоваться тем временем, которое еще есть.

— Тут заперто, — сказала Мария.

— Возьми ключ. — И он бросил ключ Марии.

— К этому замку не подходит.

— Не в этом мешке, в другом. Они там наверху, сбоку.

Девушка вынула носки, затянула завязки у рюкзака, заперла замок и подала Роберту Джордану носки вместе с ключом.

— Садись, надень носки и разотри ноги как следует, — сказала она.

Роберт Джордан усмехнулся, глядя на нее.

— Может, ты мне их волосами осушишь? — спросил он специально для Пилар.

— Вот свинья, — сказала Пилар. — Сначала корчил из себя властелина, теперь на место самого бывшего господа бога метит. Стукни его поленом, Мария.

— Не надо, — сказал ей Роберт Джордан. — Я шучу, потому что я доволен.

— Ты доволен?

— Да, — сказал он. — По-моему, все идет прекрасно.

— Роберто, — сказала Мария. — Садись вот сюда, посуши ноги, а я дам тебе чего-нибудь выпить, чтобы ты согрелся.

— Можно подумать, что до него никому не случалось промочить ноги, — сказала Пилар. — Что

с неба ни разу ни одной снежинки не упало.

Мария принесла овчину и бросила ее на земляной пол.

— Вот, — сказала она. — Подложи себе под ноги, пока сандалии не просохнут.

Овчина была недавно высушенная и недубленая, и когда Роберт Джордан стал на нее, она захрустела, как пергамент.

Очаг дымил, и Пилар крикнула Марии:

— Раздуй огонь, дрянная девчонка. Что тут, коптильня, что ли?

— Сама раздуй, — сказала Мария. — Я ищу бутылку, которую принес Эль Сордо.

— Вон она, за мешками, — сказала Пилар. — Что ты с ним нянчишься, как с грудным младенцем?

— Вовсе нет, — сказала Мария. — Не как с младенцем, а как с мужчиной, который озяб и промок. И который пришел к себе домой. Вот, нашла. — Она протянула бутылку Роберту Джордану. — Это то, что ты пил днем. Из такой бутылки можно сделать хорошую лампу. Когда мы опять будем жить при электричестве, какая из нее лампа получится! — Она с восхищением посмотрела на плоскую бутылку. — Это как пьют, Роберто?

— Разве я не Inglés? — сказал ей Роберт Джордан.

— На людях я называю тебя Роберто, — тихо сказала она и покраснела. — Как ты будешь пить, Роберто?

— Роберто, — хриплым голосом проговорил Пабло и мотнул головой в сторону Роберта Джордана. — Как ты будешь пить, дон Роберто?

— А ты хочешь? — спросил Роберт Джордан.

Пабло покачал головой.

— Я напиваюсь вином, — с достоинством ответил он.

— Ну и ступай к своему Бахусу, — сказал по-испански Роберт Джордан.

— Первый раз про такого слышу, — с трудом выговорил Пабло. — Здесь, в горах, такого нет.

— Налей Ансельмо, — сказал Роберт Джордан Марии. — Вот кто действительно прозяб.

Он надевал сухие носки, ощущая во рту чистый и чуть обжигающий вкус виски с водой. Но это не то что абсент, это не обволакивает все внутри, думал он. Лучше абсента ничего нет.

Кто бы мог представить себе, что здесь найдется виски, думал он. Но если уж на то пошло, так единственное место во всей Испании, где можно рассчитывать на виски, — это Ла-Гранха. Но каков Эль Сордо — мало того что расстарался достать бутылку виски для гостя-динамитчика, он

еще не забыл захватить ее с собой и оставил здесь. Это у них не простая любезность! Любезность — это выставить бутылку и церемонно выпить с гостем. Так и сделал бы француз и приберег бы оставшееся для другого случая. Но проявить неподдельное внимание к гостю, в своей предупредительности не только достать то, что ему может быть приятно, но принести и оставить, в то время как сам занят чем-то таким, что дает все основания думать лишь о самом себе и о своем деле, — на это способны только испанцы. Лучшие из них. Не забывают захватить с собой виски — вот одна из тех особенностей, за которые ты любишь этот народ. Не надо романтизировать их, подумал он. Испанцы бывают разные, так же как и американцы. Но все-таки захватить с собой виски — это просто великолепно.

— Ну как, нравится? — спросил он Ансельмо.

Старик сидел у очага и улыбался, держа кружку своими большими руками. Он покачал головой.

— Нет? — спросил его Роберт Джордан.

— Девочка налила сюда воды, — сказал Ансельмо.

— Роберто так пьет, — сказала Мария. — Ты что, какой-нибудь особенный, что тебе надо по-другому?

— Нет, — ответил ей Ансельмо. — Я не особенный. Но я люблю, когда оно жжет.

— Дай это мне, — сказал Роберт Джордан девушке, — а ему налей так, чтобы жгло.

Он слил оставшееся у Ансельмо виски себе и вернул пустую кружку девушке, а она осторожно налила в нее из бутылки.

— А-а. — Ансельмо взял кружку, запрокинул голову и залпом выпил все. Потом посмотрел на Марию, которая стояла возле него с бутылкой, и подмигнул ей заслезившимися глазами. — Вот, — сказал он. — Вот это так. — Потом облизнул губы. — Вот чем надо убивать червячка, который нас точит.

— Роберто, — сказала Мария и подошла к нему, все еще держа бутылку. — Теперь можно тебе подавать?

— А готово?

— Готово, дело за тобой.

— Все уже поели?

— Все, кроме тебя, Ансельмо и Фернандо.

— Что ж, будем ужинать, — сказал он ей. — А ты?

— Потом, вместе с Пилар.

— Садись с нами.

— Нет. Это нехорошо.

— Садись и ешь. В моей стране муж не станет есть прежде жены.

— Это в твоей стране. А здесь лучше потом.

— Ешь с ним, — сказал Пабло, взглянув на нее. — Ешь с ним. Пей с ним. Спи с ним. Умирай с ним. Делай все, как делают в его стране.

— Ты пьян? — сказал Роберт Джордан, подойдя к столу.

Пабло, грязный, небритый, с блаженным видом уставился на него.

— Да, — сказал Пабло. — А из какой ты страны, Inglés? Где это женщины едят вместе с мужчинами?

— В Estados Unidos[51], штат Монтана.

— Это у вас мужчины ходят в юбках, как женщины?

— Нет. Это в Шотландии.

— Послушай, Inglés, — сказал Пабло. — Когда ты ходишь в юбке…

— Я не хожу в юбке, — сказал Роберт Джордан.

— Когда ты ходишь в юбке, — продолжал Пабло, — что у тебя надето под низом?

— Я не знаю, что шотландцы носят под юбкой, — сказал Роберт Джордан. — Меня самого

---

[51] Примечания: 51
Соединенные Штаты (*исп.*).

это всегда интересовало.

— При чем тут Escoceses?[52] — сказал Пабло. — Кому какое дело до Escoceses? Кому какое дело до людей, которые так чудно называются. Мне на них наплевать. Я спрашиваю про тебя, Inglés. Про тебя. Что ты носишь под низом, когда ходишь в юбке.

— Я тебе уже два раза сказал, что у нас в юбках не ходят, — ответил ему Роберт Джордан. — Ни спьяну, ни для смеха.

— Нет, а под юбкой-то что? — твердил свое Пабло. — Ведь все знают, что у вас ходят в юбках. Даже солдаты. Я видел на картинках и в цирке Прайса тоже видал. Что у тебя под юбкой, Inglés?

— Все, что нужно, — сказал Роберт Джордан.

Ансельмо рассмеялся, и остальные, прислушивавшиеся к разговору, тоже рассмеялись — все, кроме Фернандо. Ему было неприятно, что такой грубый разговор завели при женщинах.

— Ну что ж, так и должно быть, — сказал Пабло. — Но у кого все, что нужно, на месте, тот, мне кажется, юбку не надевает.

— Не связывайся с ним, Inglés, — сказал плосколицый, со сломанным носом, которого звали

---

[52] Примечания: 52
Шотландцы (*исп.*).

Примитиво. — Он пьян. Лучше расскажи, что у вас разводят, в вашей стране.

— Рогатый скот и овец, — сказал Роберт Джордан. — Хлеба и бобов у нас тоже много. И сахарная свекла есть.

Роберт Джордан, Ансельмо и Фернандо теперь сидели за столом, и остальные придвинулись к ним — все, кроме Пабло, который сидел один перед миской с вином. Подали тушеное мясо, такое же, как накануне, и Роберт Джордан с жадностью накинулся на еду.

— А горы у вас есть? Судя по названию, в такой стране должны быть горы, — вежливо сказал Примитиво, стараясь поддержать разговор. Ему было стыдно за пьяного Пабло.

— Гор много, и есть очень высокие.

— А пастбища хорошие?

— Замечательные! Летние высокогорные пастбища, которые принадлежат государству. А осенью скот перегоняют с гор вниз.

— А земля у вас кому принадлежит — крестьянам?

— Земля большей частью принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Сначала она принадлежала государству, но если человек выбирал себе участок и делал заявку, что он будет его обра-

батывать, ему давалось право владения на сто пятьдесят гектаров.

— Расскажи, как это делалось, — попросил Агустин. — Такая аграрная реформа мне нравится.

Роберт Джордан объяснил сущность гомстед-акта. Ему никогда не приходило в голову, что это можно счесть аграрной реформой.

— Здорово! — сказал Примитиво. — Значит, у вас в стране коммунизм.

— Нет. У нас республика.

— Я считаю, — сказал Агустин, — что при республике всего можно добиться. По-моему, никакого другого правительства и не надо.

— А крупных собственников у вас нет? — спросил Андрес.

— Есть, и очень много.

— Значит, несправедливости тоже есть.

— Ну, еще бы! Несправедливостей много.

— Но вы с ними боретесь?

— Стараемся, все больше и больше. Но все-таки несправедливостей много.

— А есть у вас большие поместья, которые надо разделить на части?

— Да. Но есть люди, которые думают, что такие поместья сами по себе разобьются на части, если облагать их высоким налогом.

— Как же это?

Подбирая хлебом соус, Роберт Джордан объяснил систему подоходных налогов и налогов на наследство.

— Впрочем, крупные поместья стоят как ни в чем не бывало, — сказал он, — хотя у нас есть еще и поземельный налог.

— Но ведь когда-нибудь крупные собственники и богачи восстанут против таких налогов? По-моему, такие налоги могут вызвать переворот. Недовольные восстанут против правительства, когда поймут, чем это грозит им, вот как у нас сделали фашисты, — сказал Примитиво.

— Очень возможно.

— Тогда вам придется воевать, так же как нам.

— Да, нам придется воевать.

— А много в вашей стране фашистов?

— Много таких, которые еще сами не знают, что они фашисты, но придет время, и им станет это ясно.

— А разве нельзя расправиться с ними, пока они еще не подняли мятеж?

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Расправиться с ними нельзя. Но можно воспитывать людей так, чтобы они боялись фашизма и сумели распознать его, когда он проявится, и выступить

на борьбу с ним.

— А знаешь, где нет ни одного фашиста? — спросил Андрес.

— Где?

— В том городе, откуда Пабло, — сказал Андрес и усмехнулся.

— Ты знаешь, что у них там было? — спросил Роберта Джордана Примитиво.

— Да. Я слышал об этом.

— Тебе Пилар рассказывала?

— Да.

— Всего она не могла тебе рассказать, — тяжело выговорил Пабло.

— Тогда ты сам расскажи, — сказала Пилар. — Если я ничего не знаю, расскажи сам.

— Нет, — сказал Пабло. — Я никому об этом не рассказывал.

— Да, — сказала Пилар. — И никогда не расскажешь. И ты дорого бы дал, чтобы этого не было.

— Нет, — сказал Пабло. — Неправда. Если бы повсюду расправились с фашистами, как я расправился, война бы у нас не началась. Но я бы хотел, чтобы все это было сделано по-другому.

— Почему ты так говоришь? — спросил его Примитиво. — Разве ты теперь иначе смотришь на политику?

— Нет. Но там было много зверства, — сказал Пабло. — В те дни я был злой, как зверь.

— А сейчас ты пьяный, — сказала Пилар.

— Да, — сказал Пабло. — С вашего разрешения, я пьяный.

— Зверем ты мне больше нравился, — сказала женщина. — Пьяница — это гаже всего. Вор, когда он не ворует, — человек как человек. Мошенник не станет обманывать своих. Убийца придет домой и вымоет руки. Но пьяница смердит и блюет в собственной постели и сжигает себе все нутро спиртом.

— Ты женщина, и ты ничего не понимаешь, — спокойно сказал Пабло. — Я пьян от вина, и у меня было бы хорошо на душе, если б не люди, которых я убил. Мне горько о них думать. — Он мрачно покачал головой.

— Дайте ему того, что Эль Сордо принес, — сказала Пилар. — Дайте ему, пусть приободрится хоть немного. А то так загрустил, что мочи нет смотреть.

— Если бы я мог вернуть им жизнь, я бы вернул, — сказал Пабло.

— Иди ты, так тебя и так, — сказал Агустин. — Ты где это говоришь?

— Я бы их всех воскресил, — грустно сказал

Пабло. — Всех до единого!

— Заткни глотку! — заорал на него Агустин. — Заткни глотку или убирайся отсюда вон. Ведь ты фашистов убивал!

— Ты меня слышал, — сказал Пабло. — Я бы воскресил их всех.

— А потом пошел бы по водам, как посуху, — сказала Пилар. — В жизни не видела другого такого человека! Вчера в тебе еще было немного мужества. А сегодня ничего не осталось, и на полудохлого котенка не хватит. И он еще радуется собственной мерзости.

— Надо было или всех убить, или никого не убивать. — Пабло мотнул головой. — Всех или никого.

— Слушай, Inglés, — сказал Агустин. — Как это случилось, что ты приехал в Испанию? Не обращай внимания на Пабло. Он пьян.

— Первый раз я приехал двенадцать лет тому назад, хотел изучить страну и язык, — сказал Роберт Джордан. — Я преподаю испанский в университете.

— А ты ничуть не похож на профессора, — сказал Примитиво.

— У него нет бороды, — сказал Пабло. — Вы смотрите, у него нет бороды.

— Ты правда профессор?

— Преподаватель.

— Но ты учишь кого-то?

— Да.

— Но почему испанскому языку? — спросил Андрес. — Ведь ты англичанин, тебе было бы проще учить английскому.

— Он говорит по-испански не хуже нас, — сказал Ансельмо. — Почему же ему не учить других испанскому языку.

— Да. Но все-таки не много ли на себя берет тот иностранец, который учит испанскому языку? — сказал Фернандо. — Я тебя ничем не хочу обидеть, дон Роберто.

— Он не настоящий профессор, — сказал Пабло, очень довольный собой. — У него нет бороды.

— Ведь английский язык ты знаешь лучше, — продолжал Фернандо. — По-моему, учить по-английски тебе было бы и легче и проще.

— Ведь он не испанцев учит, — перебила его Пилар.

— Надеюсь, что не испанцев, — сказал Фернандо.

— Дай договорить, упрямый мул, — сказала ему Пилар. — Он учит испанскому языку американцев. Северных американцев.

— Разве они не говорят по-испански? — спросил Фернандо. — Южные американцы говорят.

— Упрямый мул, — сказала Пилар. — Он учит испанскому языку северных американцев, которые говорят по-английски.

— А все-таки ему легче было бы учить английскому языку, раз он сам говорит по-английски, — сказал Фернандо.

— Разве ты не слышишь, что он говорит по-испански? — Пилар посмотрела на Роберта Джордана и с безнадежным видом покачала головой.

— Да, говорит. Но с акцентом.

— С каким? — спросил Роберт Джордан.

— С эстремадурским, — чопорно ответил Фернандо.

— Ох, мать родимая! — сказала Пилар. — Что за народ!

— Очень возможно, — сказал Роберт Джордан. — Я как раз оттуда и приехал.

— И он это знает, — сказала Пилар. — Эй, ты, старая дева. — Она повернулась к Фернандо. — Наелся? Хватило тебе?

— Я бы ел еще, если бы знал, что еды у нас достаточно, — ответил ей Фернандо. — А ты, пожалуйста, не думай, дон Роберто, я против тебя

ничего не имею.

— Так тебя, — коротко сказал Агустин. — И еще раз так тебя. Для того ли мы делали революцию, чтобы называть товарища доном Роберто?

— По-моему, теперь, после революции, мы все можем называть друг друга «дон», — сказал Фернандо. — Так оно и должно быть при Республике.

— Так тебя, — сказал Агустин. — Так и так!

— И я стою на своем: дону Роберто было бы гораздо легче и проще учить английскому языку.

— У дона Роберто нет бороды, — сказал Пабло. — Он не настоящий профессор.

— То есть как так нет бороды? — сказал Роберт Джордан. — А это что? — Он погладил себя по щекам и подбородку, покрытым трехдневной светлой щетиной.

— Какая же это борода? — сказал Пабло. — Это не борода. — Пабло почти развеселился. — Он дутый профессор.

— Так и так вас всех, — сказал Агустин. — Тут прямо какой-то сумасшедший дом.

— А ты выпей, — сказал ему Пабло. — Мне, например, кажется, что все так, как оно и должно быть. Вот только у дона Роберто нет бороды.

Мария провела ладонью по щеке Роберта Джор-

дана.

— У него есть борода, — сказала она Пабло.

— Тебе лучше знать, — сказал Пабло, и Роберт Джордан взглянул на него.

Я не верю, что он так уж пьян, подумал Роберт Джордан. Нет, он не пьян. И с ним надо быть начеку.

— Слушай, ты, Пабло, — сказал он. — Как по-твоему, снег долго будет идти?

— А по-твоему как?

— Я тебя спрашиваю.

— Спрашивай других, — ответил ему Пабло. — Я тебе не разведка. У тебя ведь бумажка от вашей разведки. Спрашивай женщину. Теперь она командует.

— Я спрашиваю тебя.

— Иди ты, так тебя и так, — ответил ему Пабло. — И тебя, и женщину, и девчонку.

— Он пьян, — сказал Примитиво. — Не обращай на него внимания, Inglés.

— По-моему, он не так уж пьян, — сказал Роберт Джордан.

Мария стояла позади Роберта Джордана, и он видел, что Пабло смотрит на нее через его плечо. Маленькие кабаньи глазки смотрели на нее с круглого, заросшего щетиной лица, и Роберт

Джордан подумал: многих убийц приходилось мне видеть и за эту войну, и раньше, и все они разные — один на другого не похож. Нет каких-то общих признаков или особенностей, и преступный тип — это тоже выдумка. Но Пабло, да, Пабло, конечно, не красавец!

— Я не верю, что ты умеешь пить, — сказал он Пабло. — И не верю, что ты пьян.

— Я пьян, — с достоинством сказал Пабло. — Пить — это пустяки. Все дело в том, чтобы уметь напиваться. Estoy muy borracho[53].

— Сомневаюсь, — ответил ему Роберт Джордан. — Трус ты — вот это верно.

В пещере вдруг стало так тихо, что он услышал, как шипят дрова в очаге, около которого возилась Пилар. Он слышал, как захрустела овчина, когда он стал на нее всей своей тяжестью. Ему казалось, что он даже слышит, как падает снег. Этого не могло быть, но тишину там, где падал снег, он слышал.

Надо убить его и покончить со всем этим, думал Роберт Джордан. Не знаю, что у него на уме, но ничего хорошего я от него не жду. Послезавтра мост, а этот человек ненадежен, и он может

---

[53] Примечания: 53
Я сильно пьян (*исп.*).

сорвать мне все дело. Нечего тянуть. Надо покончить с этим!

Пабло ухмыльнулся, поднял указательный палец и провел им себе по горлу. Потом покачал головой, еле-еле поворачивавшейся на его короткой, толстой шее.

— Нет, Inglés, — сказал он. — Я на эту удочку не попадусь.

Он посмотрел на Пилар и сказал ей:

— Так от меня не отделаешься.

— Sinverguenza[54], — сказал ему Роберт Джордан, уже окончательно решивший действовать. — Cabarde[55].

— Что ж, может быть, — сказал Пабло. — А все-таки я на эту удочку не попадусь. Выпей, Inglés, и мигни женщине, что, мол, ничего у нее не вышло.

— Заткнись, — сказал Роберт Джордан. — Она тут ни при чем. Я сам хочу тебя раззадорить.

— Не стоит трудиться, — ответил ему Пабло. — Я не поддамся.

---

[54] Примечания: 54
Бессовестный (*исп.*).

[55] Примечания: 55
Трус (*исп.*).

— Ты bicho raro[56], — сказал ему Роберт Джордан, не желая упускать случай, не желая дать маху во второй раз; ему казалось, что все это когда-то уже было, что круг замкнулся, что он будто повторяет на память то ли вычитанное из книг, то ли приснившееся во сне.

— Да, я подлый, — сказал Пабло. — Очень подлый и очень пьяный. За твое здоровье, Inglés. — Он зачерпнул вина из миски и поднял кружку. — Salud!

Да, ты подлый, думал Роберт Джордан, и хитрый, и далеко не простой. Он дышал так громко, что уже не слышал шипенья дров в очаге.

— За твое здоровье, — сказал Роберт Джордан и зачерпнул вина из миски. Без тостов и предательство не предательство, подумал он. Не отставай и ты. — Salud, — сказал он. — Salud и еще раз salud. — Ах ты, salud, подумал он. Вот тебе, salud, получай!

— Дон Роберто, — тяжело выговорил Пабло.

— Дон Пабло, — сказал Роберт Джордан.

— Ты не профессор, — сказал Пабло, — потому что у тебя нет бороды. А чтобы разделаться со мной, ты должен меня убить, а на это у тебя

---

[56] Примечания: 56
Подлая тварь (*исп.*).

кишка тонка.

Он смотрел на Роберта Джордана, так крепко сжав губы, что они превратились в узкую полоску. Рыбий рот, подумал Роберт Джордан. И голова круглая, как у тех рыб, которые заглатывают воздух, когда их вытаскивают из воды, и раздуваются шаром.

— Salud, Пабло, — сказал Роберт Джордан, поднял кружку и отхлебнул виски. — Я от тебя многому научился.

— Я, значит, учу профессора. — Пабло кивнул. — Мы с тобой будем друзьями, дон Роберто.

— Мы и так друзья, — сказал Роберт Джордан.

— Нет, мы будем добрыми друзьями.

— Мы и так добрые друзья.

— Уйду-ка я отсюда, — сказал Агустин. — Ведь вот, говорят, будто человек должен съесть за свою жизнь тонну этого добра, а у меня уже сейчас по двадцать пять фунтов в каждом ухе застряло.

— А ты чего взъерепенился, черномазый? — сказал ему Пабло. — Не нравится, что мы подружились с доном Роберто?

— Ты поосторожнее насчет черномазых. — Агустин подошел к Пабло и остановился перед ним, низко держа стиснутые кулаки.

— Так тебя называют, — сказал Пабло.

— Не тебе меня так называть.

— Ну, назову белый…

— И так не позволю.

— Какой же ты — красный?

— Да. Красный. Rojo. Ношу красную звезду и стою за Республику. А зовут меня Агустин.

— Какой патриот, — сказал Пабло. — Посмотри, Inglés, какой примерный патриот.

Агустин ударил его по губам тыльной стороной левой руки. Пабло не двинулся. Уголки губ у него были мокрые от вина, выражение лица не изменилось, но Роберт Джордан заметил, что глаза Пабло сузились, точно у кошки на ярком свету, когда от зрачка остается только вертикальная щелочка.

— И так не выйдет, — сказал Пабло. — На это не рассчитывай, женщина. — Он повернул голову к Пилар. — Я не поддамся.

Агустин ударил Пабло еще раз. Теперь он ударил его кулаком. Роберт Джордан держал руку под столом на револьвере. Он спустил предохранитель и левой рукой оттолкнул Марию. Она отступила на шаг, и тогда он сильно толкнул ее в бок, чтобы она отошла совсем. На этот раз Мария послушалась, и он увидел уголком глаза, как она скользнула вдоль стены пещеры к очагу,

и тогда Роберт Джордан перевел взгляд на Пабло. Круглая голова Пабло была повернута к Агустину, маленькие тусклые глазки смотрели на него в упор. Зрачки у Пабло сузились еще больше. Он облизнул губы, поднял руку, вытер рот и, опустив глаза, увидел кровь на руке. Он провел языком по губам и сплюнул.

— И так не выйдет, — сказал он. — Нашли дурака. Я на это не поддамся.

— Cabrón, — сказал Агустин.

— Ну, еще бы, — сказал Пабло. — Ты ведь знаешь, какого этой женщине нужно.

Агустин в третий раз ударил его, и Пабло засмеялся, показав гнилые, желтые, искрошенные зубы в покрасневшей полоске рта.

— Брось, — сказал Пабло и, взяв кружку, зачерпнул вина из миски. — Кишка у вас тонка, чтобы убить меня, а давать волю рукам глупо.

— Cobarde, — сказал Агустин.

— И ругаться тоже глупо, — сказал Пабло и громко забулькал вином, прополаскивая им рот. Он сплюнул на пол. — Руганью меня теперь не проймешь.

Агустин стоял, глядя на Пабло сверху вниз, и ругал его, выговаривая слова медленно, раздельно, злобно и презрительно, ругал с упорной разме-

ренностью, точно захватывал вилами пласты навоза с телеги и шлепал их в борозду.

— И так не выйдет, — сказал Пабло. — Брось, Агустин. И больше не дерись. Руки отобьешь.

Агустин круто повернулся и пошел к выходу из пещеры.

— Не уходи, — сказал Пабло. — Снег идет. Устраивайся здесь поудобнее.

— Ты! Ты! — Агустин закричал на него, стараясь выразить все свое презрение одним этим словом.

— Да, я, — сказал Пабло. — И я-то останусь жить, а вы все умрете.

Он зачерпнул вина и поднял кружку, повернувшись к Роберту Джордану.

— За здоровье профессора, — сказал он. Потом повернулся к Пилар. — За здоровье сеньоры командирши. — Потом обвел кружкой всех остальных. — За ваше здоровье, легковеры.

Агустин подошел к нему и, ударив по кружке ребром ладони, вышиб ее у него из рук.

— Ну и глупо, — сказал Пабло. — Зря добро пропало.

Агустин ответил грубым ругательством.

— Нет, — сказал Пабло, зачерпывая себе вина. — Разве ты не видишь, что я пьян? Трезвый я

больше молчу. Много ты от меня разговоров слышал? Но умному человеку иной раз приходится выпить, чтобы не так скучно было с дураками.

— Иди ты, так тебя и так, — сказала ему Пилар. — Я тебя, труса, наизусть знаю.

— Вот язык у женщины! — сказал Пабло. — Ладно, иду — надо лошадей посмотреть.

— Иди, милуйся со своими лошадьми, кобылятник, — сказал Агустин. — Для тебя это дело привычное.

— Нет, — сказал Пабло и покачал головой. Он взглянул на Агустина, снимая со стены свой плащ. — Эх ты, — сказал он. — Сквернослов.

— А что ты будешь делать со своими лошадьми? — спросил Агустин.

— Пойду посмотрю их, — сказал Пабло. — Я их очень люблю. Они даже сзади красивее, чем вот такие люди, и ума у них больше. Ну, не скучайте, — добавил он и ухмыльнулся. — Расскажи им про мост, Inglés, объясни, кто что должен делать во время атаки. Растолкуй, как провести отступление. Куда ты их поведешь, Inglés, после моста? Куда ты поведешь этих патриотов? Я об этом целый день думал, пока пил.

— Ну, и что ты надумал? — спросил Агустин.

— Что надумал? — сказал Пабло и, не открывая

рта, ощупал десны языком. — Какое тебе дело, что я надумал?

— Говори, — сказал ему Агустин.

— Я много о чем думал, — сказал Пабло. Он закутался в грязно-желтый плащ, оставив непокрытой свою круглую голову. — Много о чем.

— О чем же? — сказал Агустин. — О чем?

— Я думал о том, что все вы легковеры, — сказал Пабло. — Идете на поводу у иностранца, который вас погубит, и у женщины, у которой мозги под юбкой.

— Уходи! — крикнула на него Пилар. — Уходи! Чтобы твоего поганого духу тут не было, кобылятник проклятый.

— Вот язык! — восхитился Агустин, но мысли его были заняты другим. Он все еще не успокоился.

— Я иду, — сказал Пабло. — Но скоро вернусь. — Он приподнял попону, закрывавшую вход в пещеру, и вышел. Потом крикнул снаружи: — А снег-то все идет, Inglés.

Глава семнадцатая

Теперь в пещере стало тихо, было слышно только, как шипит снег, падая сквозь отверстие в своде на горячие угли.

— Пилар, — сказал Фернандо. — Мяса там не осталось?

— А, отвяжись, — сказала женщина.

Но Мария взяла миску Фернандо, подошла с ней к котлу, отставленному с огня, и ложкой зачерпнула жаркого. Потом оставила миску перед Фернандо и погладила его по плечу, когда он нагнулся над столом. С минуту она постояла около Фернандо, не снимая руки с его плеча. Но Фернандо даже не взглянул на нее. Он был занят едой.

Агустин стоял около очага. Остальные сидели за столом. Пилар села напротив Роберта Джордана.

— Ну, Inglés, — сказала она, — вот ты и увидел его во всей красе.

— Что он теперь сделает? — спросил Роберт Джордан.

— Все, что угодно, может сделать. — Женщина опустила глаза. — Все, что угодно. Он теперь на все способен.

— Где у вас пулемет? — спросил Роберт Джордан.

— Вон там, в углу, завернут в одеяло, — сказал Примитиво. — Он тебе нужен?

— Пока нет, — сказал Роберт Джордан. — Я только хотел знать, где он.

— Он здесь, — сказал Примитиво. — Я внес его сюда и завернул в свое одеяло, чтобы механизм не заржавел. Диски вон в том мешке.

— На это он не пойдет, — сказала Пилар. — С máquina он ничего не сделает.

— Ты же сама говоришь, что он способен на все.

— Да, — сказала она. — Но он не умеет обращаться с máquina. Швырнуть бомбу — это он может. Это на него больше похоже.

— Дураки мы и слюнтяи, что его не убили, — сказал цыган. До сих пор он не принимал участия в разговоре. — Надо было, Роберто, убить его вчера вечером.

— Убей его, — сказала Пилар. Ее большое лицо потемнело и осунулось. — Теперь я тоже за это.

— Я был против, — сказал Агустин. Он стоял возле очага, опустив свои длинные руки, и его щеки, затененные ниже скул щетиной, в отблеске огня казались ввалившимися. — Но теперь

я тоже за это, — сказал Агустин. — Он гнусный человек, и он нам всем хочет погибели.

— Пусть все скажут. — Голос у Пилар был усталый. — Ты, Андрес?

— Matarlo[57], — кивнув головой, сказал старший из двух братьев, тот, у которого темные волосы узким мысом росли на лбу.

— Эладио?

— Тоже, — сказал младший брат. — Он очень опасный человек. И пользы от него мало.

— Примитиво?

— Тоже.

— Фернандо?

— А нельзя ли его арестовать? — спросил Фернандо.

— А кто будет стеречь арестованного? — сказал Примитиво. — Для этого надо, по крайней мере, двух человек. И что с ним делать дальше?

— Продать фашистам, — сказал цыган.

— Еще чего не хватало, — сказал Агустин. — Не хватало нам такой мерзости!

— Я только предлагаю, — сказал цыган Рафаэль. — По-моему, фашисты с радостью за него уцепятся.

---

[57] Примечания: 57
Убить его (*исп.*).

— Довольно, перестань, — сказал Агустин. — Мерзость какая!

— Уж не мерзостнее, чем сам Пабло, — оправдывался цыган.

— Одной мерзостью другую не оправдаешь, — сказал Агустин. — Ну, все высказались. Остались только старик и Inglés.

— Они тут ни при чем, — сказала Пилар. — Он их вожаком не был.

— Подождите, — сказал Фернандо. — Я еще не кончил.

— Ну, говори, — сказала Пилар. — Говори, пока он не вернулся. Говори, пока он не швырнул сюда ручную гранату и мы не взлетели на воздух вместе с динамитом и со всем, что тут есть.

— По-моему, Пилар, ты преувеличиваешь, — сказал Фернандо. — Я не думаю, чтобы у него были такие намерения.

— Я тоже не думаю, — сказал Агустин. — Потому что тогда и вино взлетит на воздух, а на вино его скоро опять потянет.

— А что, если его отдать Эль Сордо, а Эль Сордо пусть продает его фашистам, — предложил Рафаэль. — Выколем ему глаза, тогда с ним легко будет справиться.

— Замолчи, — сказала Пилар. — Когда я тебя

слушаю, у меня такое в душе подымается, — а всему виной твоя мерзость.

— Фашисты все равно гроша ломаного за него не дадут, — сказал Примитиво. — Это уже другие пробовали, и ничего не выходило. Расстреляют заодно и тебя, только и всего.

— А по-моему, за слепого сколько-нисколько, а дадут, — сказал Рафаэль.

— Замолчи, — сказала Пилар. — И если ты хоть раз заикнешься об этом, можешь убираться отсюда вместе с ним, с Пабло.

— А ведь сам Пабло выколол глаза раненому guardia civil, — стоял на своем цыган. — Ты что, забыла?

— Перестань, — сказала ему Пилар. Ей было неприятно, что об этом говорят при Роберте Джордане.

— Мне не дали договорить, — перебил их Фернандо.

— Говори, — ответила ему Пилар. — Говори, кончай.

— Поскольку арестовывать Пабло не имеет смысла, — начал Фернандо, — и поскольку использовать его для каких-либо сделок…

— Кончай, — сказала Пилар. — Кончай, ради господа бога!

— …было бы постыдно, — спокойно продолжал Фернандо, — я склоняюсь к тому мнению, что Пабло надо ликвидировать, чтобы обеспечить успешное проведение намеченной операции.

Пилар посмотрела на маленького человечка, покачала головой, закусила губу, но промолчала.

— Таково мое мнение, — сказал Фернандо. — Полагаю, есть основания видеть в Пабло опасность для Республики…

— Матерь божия! — сказала Пилар. — Вот язык у человека! Даже здесь умудрился бюрократизм развести!

— …ибо это явствует как из его слов, так и из его недавних действий, — продолжал Фернандо. — И хотя он заслуживает благодарности за свои действия в начале движения и вплоть до последних дней…

Не вытерпев, Пилар отошла к очагу. Через минуту она снова вернулась на прежнее место.

— Фернандо, — спокойно сказала она и поставила перед ним миску. — Вот тебе мясо, сделай милость, заткни им себе рот чинно и благородно и молчи. Мы твое мнение уже знаем.

— Но как же… — начал Примитиво и запнулся, не кончив фразу.

— Estoy listo, — сказал Роберт Джордан. — Я

готов сделать это. Поскольку вы все решили, что так нужно, я согласен оказать вам эту услугу.

Что за дьявол, подумал он. Наслушавшись Фернандо, я и сам заговорил на его лад. Должно быть, это заразительно. Французский — язык дипломатии. Испанский — язык бюрократизма.

— Нет, — сказала Мария. — Нет.

— Это не твое дело, — сказала девушке Пилар. — Держи язык на привязи.

— Я сделаю это сегодня, — сказал Роберт Джордан. Он увидел, что Пилар смотрит на него, приложив палец к губам. Она указывала глазами на вход.

Попона, которой был завешен вход, отодвинулась, и в пещеру просунулась голова Пабло. Он ухмыльнулся им всем, пролез под попоной и опять приладил ее над входом, повернувшись к ним спиной. Потом стащил с себя плащ через голову и стряхнул с него снег.

— Обо мне говорили? — Он обратился с этим вопросом ко всем. — Я помешал?!

Никто не ответил ему, и, повесив свой плащ на колышек, вбитый в стену, он подошел к столу.

— Qué tal?[58] — спросил он, взял свою кружку,

---

[58] Примечания: 58
Как дела? (*исп.*)

которая стояла на столе пустая, и хотел зачерпнуть из миски вина. — Тут ничего нет, — сказал он Марии. — Пойди налей из бурдюка.

Мария взяла миску, подошла с ней к пыльному, сильно растянутому, просмоленному до черноты бурдюку, который висел на стене шеей вниз, и вытащила затычку из передней ноги, но не до конца, а так, чтобы вино лилось в миску тонкой струйкой. Пабло смотрел, как она стала на колени, смотрел, как прозрачная красная струя быстро льется в миску, закручиваясь в ней воронкой.

— Ты потише, — сказал он ей. — Там теперь ниже лопаток.

Все молчали.

— Я сегодня выпил от пупка до лопаток, — сказал Пабло. — На целый день хватило работы. Что это с вами? Язык проглотили?

Все по-прежнему молчали.

— Заткни покрепче, Мария, — сказал Пабло. — Как бы не пролилось.

— Теперь вина у тебя будет много, — сказал Агустин. — Хватит напиться.

— У одного язык нашелся, — сказал Пабло и кивнул Агустину. — Поздравляю. Я думал, вы все онемели от этого.

— От чего от этого? — спросил Агустин.

— От того, что я пришел.

— Думаешь, нам так уж важно, что ты пришел?

Может быть, Агустин подхлестывает себя, думал Роберт Джордан. Может быть, он хочет сделать это сам. Ненависти у него достаточно. Я ничего такого к Пабло не чувствую, думал он. Да, ненависти у меня нет. Он омерзителен, но ненависти к нему у меня нет. Хотя эта история с выкалыванием глаз говорит о многом. Впрочем, это их дело — их война. Но в ближайшие два дня ему здесь не место. Пока что я буду держаться в стороне, думал он. Я уже свалял сегодня дурака из-за него и готов разделаться с ним. Но заводить эту предварительную дурацкую игру я не стану. И никаких состязаний в стрельбе, и никаких других глупостей здесь, около динамита, тоже не будет, Пабло, конечно, подумал об этом. А ты подумал? — спросил он самого себя. Нет, ни ты не подумал, ни Агустин. Значит, так вам и надо.

— Агустин, — сказал он.

— Что? — Агустин отвернулся от Пабло и хмуро взглянул на Роберта Джордана.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал Роберт Джордан.

— Потом.

— Нет, сейчас, — сказал Роберт Джордан. — Por favor[59].

Роберт Джордан отошел к выходу, и Пабло проводил его взглядом. Агустин, высокий, с ввалившимися щеками, встал и тоже пошел к выходу. Он шел неохотно, и вид у него был презрительный.

— Ты забыл, что в мешках? — тихо, так, чтобы другие не расслышали, сказал ему Роберт Джордан.

— А, туда твою! — сказал Агустин. — Привыкнешь и не вспоминаешь.

— Я сам забыл.

— Туда твою! — сказал Агустин. — Ну и дураки мы! — Он размашистой походкой вернулся назад и сел за стол. — Выпей вина, Пабло, друг, — сказал он. — Ну, как лошади?

— Очень хорошо, — сказал Пабло. — И метель начала затихать.

— Думаешь, совсем затихнет?

— Да, — сказал Пабло. — Сейчас уже не так метет и пошла крупа. Ветер не уляжется, но снег перестанет. Ветер переменился.

— Думаешь, прояснится к утру? — спросил его

---

[59] Примечания: 59
Пожалуйста (*исп.*).

Роберт Джордан.

— Да, — сказал Пабло. — Погода будет холодная и ясная. Ветер еще не раз переменится.

Полюбуйтесь на него, думал Роберт Джордан. Теперь он само дружелюбие. Тоже переменился вместе с ветром. Он закоренелый убийца и с виду свинья свиньей, но чувствителен, как хороший барометр. Да, думал он, свинья тоже умное животное. Пабло ненавидит нас, а может быть, только наши планы, и оскорблениями доводит дело до того, что мы готовы его убить. Но тут он останавливается, и все начинается сначала.

— Нам повезет с погодой, Inglés, — сказал Пабло Роберту Джордану.

— Нам? — сказала Пилар. — Нам?

— Да, нам. — Пабло ухмыльнулся, взглянув на нее, и отпил вина из кружки. — А почему нет? Я все обдумал, пока ходил к лошадям. Почему бы нам не столковаться?

— В чем? — спросила женщина. — В чем?

— Во всем, — сказал ей Пабло. — Вот, например, насчет моста. Я теперь с тобой заодно.

— Теперь ты с нами заодно? — сказал Агустин. — После всего, что наговорил?

— Да, — ответил ему Пабло. — После того, как погода переменилась, я с вами заодно.

Агустин покачал головой.

— Погода, — сказал он и опять покачал головой. — И после того, как я бил тебя по зубам?

— Да. — Пабло ухмыльнулся, глядя на него, и потрогал пальцами губы. — И после этого.

Роберт Джордан наблюдал за Пилар. Она смотрела на Пабло, точно это был какой-то диковинный зверь. С ее лица все еще не сошло то выражение, которое появилось на нем, когда заговорили о выколотых глазах. Она покачала головой, словно стараясь отделаться от этого, потом откинула голову назад.

— Слушай, ты, — сказала она Пабло.

— Да, женщина?

— Что с тобой творится?

— Ничего, — сказал Пабло. — Я передумал. Вот и все.

— Ты подслушивал, — сказала она.

— Да, — ответил он. — Только ничего не расслышал.

— Ты боишься, что мы убьем тебя.

— Нет, — ответил он и посмотрел на нее поверх кружки с вином. — Этого я не боюсь. Ты сама знаешь.

— Тогда что же с тобой делается? — сказал Агустин. — То ты, пьяный, накидываешься на нас

всех, отступаешься от дела, недостойно говоришь о нашей смерти, оскорбляешь женщин, мешаешь нам сделать то, что нужно сделать…

— Я был пьян, — сказал Пабло.

— А теперь…

— Теперь я не пьян, — сказал Пабло. — И я передумал.

— Пусть тебе другие верят. Я не поверю, — сказал Агустин.

— Верь не верь — твое дело, — сказал Пабло. — Но, кроме меня, до Гредоса тебя никто не проведет.

— До Гредоса?

— После моста только туда и можно будет податься.

Вопросительно глядя на Пилар, Роберт Джордан поднял руку, но так, что Пабло этого не видел, и постучал пальцем по своему правому уху.

Женщина кивнула. Потом кивнула еще раз. Она сказала что-то Марии, и девушка подошла к Роберту Джордану.

— Она говорит: конечно, слышал, — сказала Мария на ухо Роберту Джордану.

— Значит, Пабло, — степенно заговорил Фернандо, — ты теперь с нами заодно и согласен принять участие во взрыве моста?

— Да, друг, — сказал Пабло. Он посмотрел на Фернандо в упор и кивнул головой.

— Честное слово? — спросил Примитиво.

— Честное слово, — ответил ему Пабло.

— И ты думаешь, что все сойдет хорошо? — спросил Фернандо. — Ты теперь веришь в это?

— Конечно, — сказал Пабло. — А ты разве не веришь?

— Верю, — сказал Фернандо. — Но я никогда не теряю веры.

— Уйду я отсюда, — сказал Агустин.

— Не ходи, холодно, — дружелюбно сказал ему Пабло.

— Пусть холодно, — сказал Агустин. — Не могу я больше оставаться в этом manicomio.

— Напрасно ты называешь нашу пещеру сумасшедшим домом, — сказал Фернандо.

— Manicomio для буйных, — сказал Агустин. — И я уйду отсюда, пока не спятил вместе с вами.

Глава восемнадцатая

Это словно карусель, думал Роберт Джордан. Но не такая карусель, которая кружится быстро под звуки шарманки и детишки сидят верхом на бычках с вызолоченными рогами, а рядом кольца, которые нужно ловить на палку, и синие, подсвеченные газовыми фонарями сумерки на Авеню-дю-Мэн, и лотки с жареной рыбой, и вертящееся колесо счастья, где кожаные язычки хлопают по столбикам с номерами, и тут же сложены пирамидой пакетики пиленого сахару для призов. Нет, это вовсе не такая карусель, хотя эти люди в своем ожидании очень похожи на тех мужчин в кепках и женщин в вязаных свитерах, с блестящими в свете фонарей волосами, что стоят у колеса счастья и ждут, когда оно остановится. Да, люди такие же. Но колесо другое. Это вертикальное колесо, и на нем движешься вверх и вниз.

Два оборота оно уже сделало. Это большое колесо, установленное под прямым углом к земле, и когда его пускают, оно делает один оборот и, вернувшись в исходное положение, останавли-

вается. Вместе с ним описываешь круг и ты и тоже останавливаешься, вернувшись к исходной точке. Даже призов нет, подумал он, и кому охота кататься на таком колесе! А всякий раз садишься и делаешь круг, хоть и не собирался. Оборот только один; один большой, долгий круг — сначала вверх, потом вниз, и опять возвращаешься к исходной точке. Вот и сейчас мы вернулись к исходной точке, подумал он. Вернулись, ничего не разрешив.

В пещере было тепло, ветер снаружи улегся. Роберт Джордан сидел за столом, раскрыв перед собой записную книжку, и набрасывал план минирования моста. Он начертил три схемы, выписал формулы, изобразил при помощи двух рисунков всю технику взрыва предельно просто и наглядно, так, чтобы Ансельмо мог один довершить дело, если бы во время операции что-нибудь случилось с ним самим. Закончив все чертежи, он стал проверять их еще раз.

Мария сидела рядом и через плечо смотрела на его работу. Он знал, что Пабло сидит напротив и остальные тоже здесь, разговаривают и играют в карты; он вдыхал воздух пещеры, в котором запах кухни и пищи сменился дымным чадом и запахом мужчин — табак, винный перегар и

кислый дух застарелого пота, — а когда Мария, следя за его карандашом, положила на стол руку, он взял ее, поднес к лицу и вдохнул свежий запах воды и простого мыла, исходивший от нее после мытья посуды. Потом он опустил руку Марии и снова взялся за работу, не глядя на девушку и потому не видя, как она покраснела. Она оставила руку на столе, рядом с его рукой, но он ее больше не трогал.

Когда с техникой взрыва было покончено, он перевернул листок и стал писать боевой приказ. Мысль его работала быстро и четко, и то, что он писал, нравилось ему. Он исписал две странички, потом внимательно перечитал их.

Как будто все, сказал он себе. Все совершенно ясно, и, кажется, я ничего не упустил. Оба поста будут уничтожены, а мост взорван согласно приказу Гольца, и это все, за что я отвечаю. А в эту историю с Пабло мне вовсе не следовало ввязываться, но какой-нибудь выход и тут найдется. Будет Пабло или не будет Пабло, мне, в конце концов, все равно. Но я не намерен лезть на это колесо в третий раз. Два раза я на него садился, и два раза оно делало полный оборот и возвращалось к исходной точке, и больше я на него не сяду.

Он закрыл записную книжку и оглянулся на Марию.

— Мария, — сказал он ей. — Поняла ты тут что-нибудь?

— Нет, Роберто, — сказала девушка и накрыла своей рукой его руку, все еще державшую карандаш. — А ты уже кончил?

— Да. Теперь уже все решено и подписано.

— Что ты там делаешь, Inglés? — спросил через стол Пабло. Глаза у него опять стали мутные.

Роберт Джордан пристально посмотрел на него. Подальше от колеса, сказал он себе. Не лезь на это колесо. Оно, кажется, опять начинает вертеться.

— Разрабатываю план взрыва, — вежливо сказал он.

— Ну и как, выходит? — спросил Пабло.

— Очень хорошо, — сказал Роберт Джордан. — Выходит очень хорошо.

— А я разрабатываю план отступления, — сказал Пабло, и Роберт Джордан посмотрел в его пьяные свиные глазки, а потом на миску с вином. Миска была почти пуста.

Прочь от колеса, сказал он себе. Опять он пьет. Верно. Но на колесо ты все-таки не лезь. Говорят, Грант во время Гражданской войны почти никогда не бывал трезвым. Это факт. Наверно, Грант

взбесился бы от такого сравнения, если бы увидел Пабло. Грант еще и сигары курил к тому же. Что ж, надо будет раздобыть где-нибудь сигару для Пабло. К такому лицу это так и просится: наполовину изжеванная сигара. Где только ее достать?

— Ну и как идет дело? — учтиво спросил Роберт Джордан.

— Очень хорошо, — сказал Пабло и покивал головой важно и наставительно. — Muy bien.

— Что-нибудь надумал? — спросил Агустин, поднимая голову от карт.

— Да, — сказал Пабло. — У меня мыслей много.

— Где ты их выловил? В этой миске? — спросил Агустин.

— Может быть, и там, — сказал Пабло. — Кто знает. Мария, подлей в миску вина, сделай милость.

— Вот уж в бурдюке, наверно, полным-полно замечательных мыслей. — Агустин вернулся к картам. — Ты бы влез туда, поискал их.

— Зачем, — невозмутимо ответил Пабло, — я их нахожу и в миске.

Нет, он тоже не лезет на колесо, подумал Роберт Джордан. Так оно и вертится вхолостую. Наверно, на нем нельзя долго кататься, на этом колесе. Это опасная забава. Я рад, что мы с него слезли. У

меня и то раза два от него голова кружилась. Но пьяницы и по-настоящему жестокие или подлые люди катаются на таком колесе до самой смерти. Сперва оно несет тебя вверх, и размах у него каждый раз другой, но потом все равно приводит вниз. Ну и пусть вертится, подумал он. Меня на него не заманишь больше. Нет, сэр, генерал Грант, хватит, повертелся.

Пилар сидела у огня, повернув свой стул так, чтобы ей можно было заглядывать в карты двух игроков, сидевших спиной к ней. Она следила за игрой.

Переход от смертельного напряжения к мирной домашней жизни — вот что самое удивительное, думал Роберт Джордан. Когда треклятое колесо идет вниз, вот тут-то и попадешься. Но я с этого колеса слез, подумал он. И больше меня на него не затащишь.

Два дня тому назад я не подозревал о существовании Пилар, Пабло и всех остальных, думал он. Никакой Марии для меня и на свете не было. И, надо сказать, мир тогда был гораздо проще. Я получил от Гольца приказ, который был вполне ясен и казался вполне выполнимым, хотя выполнение представляло некоторые трудности и могло повлечь некоторые последствия. Я думал,

что после взрыва моста я либо вернусь на фронт, либо не вернусь, а если вернусь, то попрошусь ненадолго в Мадрид. В эту войну отпусков не дают никому, но я уверен, что два или три дня мне удалось бы получить.

В Мадриде я собирался купить кое-какие книги, взять номер в отеле «Флорида» и принять горячую ванну, представлял себе, что пошлю Луиса, швейцара, за бутылкой абсента, — может быть, ему удалось бы достать в Мантекериас Леонесас или в другом месте, — и после ванны полежу на кровати с книгой, попивая абсент, а потом позвоню к Гэйлорду и узнаю, можно ли зайти туда пообедать.

Обедать в «Гран-Виа» ему не хотелось, потому что кормят там, правду сказать, неважно и нужно приходить очень рано, а то и вовсе ничего не получишь. И потом, там всегда болтается много знакомых журналистов, а думать все время о том, как бы не сказать лишнего, было очень скучно. Ему хотелось выпить абсента, и чтобы потянуло на разговор, и тогда отправиться к Гэйлорду, где отлично кормят и подают настоящее пиво, и пообедать с Карковым и узнать, какие новости на фронтах.

Когда он первый раз попал в отель Гэйлорда

— местопребывание русских в Мадриде, ему там не понравилось, обстановка показалась слишком роскошной и стол слишком изысканным для осажденного города, а разговоры, которые там велись, слишком вольными для военного времени. Но я очень быстро привык, подумал он. Не так уж плохо иметь возможность вкусно пообедать, когда возвращаешься после такого дела, как вот это. А в тех разговорах, которые сперва показались ему вольными, как выяснилось потом, было очень много правды. Вот найдется о чем порассказать у Гэйлорда, когда все будет кончено, подумал он. Да, когда все будет кончено.

Можно ли явиться к Гэйлорду с Марией? Нет. Нельзя. Но можно оставить ее в номере, и она примет горячую ванну, и когда ты вернешься от Гэйлорда, она будет тебя ждать. Да, именно так, а потом, когда ты расскажешь о ней Каркову, можно будет и привести ее, потому что все очень заинтересуются и захотят ее увидеть.

А можно бы и вовсе не ходить к Гэйлорду. Можно пообедать пораньше в «Гран-Виа» и поспешить обратно, во «Флориду». Но ты наверняка пойдешь к Гэйлорду, потому что тебе захочется опять вкусно поесть и понежиться среди роскоши и комфорта после всего этого. А потом ты

вернешься во «Флориду», и там тебя будет ждать Мария. Конечно, она поедет с ним в Мадрид, когда тут все будет кончено. Когда тут все будет кончено. Да, когда тут все будет кончено. Если тут все сойдет хорошо, он может считать, что заслужил обед у Гэйлорда.

Там, у Гэйлорда, можно было встретить знаменитых испанских командиров, которые в самом начале войны вышли из недр народа и заняли командные посты, не имея никакой военной подготовки, и оказывалось, что многие из них говорят по-русски. Это было первое большое разочарование, испытанное им несколько месяцев назад, и оно навело его на горькие мысли. Но потом он понял, в чем дело, и оказалось, что ничего тут такого нет. Это действительно были рабочие и крестьяне. Они участвовали в революции 1934 года, и когда революция потерпела крах, им пришлось бежать в Россию, и там их послали учиться в Военную академию для того, чтобы они получили военное образование, необходимое для командира, и в другой раз были готовы к борьбе.

Во время революции нельзя выдавать посторонним, кто тебе помогает, или показывать, что ты знаешь больше, чем тебе полагается знать. Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедли-

во по существу, ложь не должна иметь значения.

Там, у Гэйлорда, он узнал, например, что Валентин Гонсалес, прозванный El Campesino, то есть крестьянин, вовсе и не крестьянин, а бывший сержант Испанского иностранного легиона; он дезертировал и дрался на стороне Абд эль-Керима. Но и в этом ничего такого не было. Почему бы и нет? В подобной войне сразу необходимы крестьянские вожди, а настоящий крестьянский вождь может оказаться чересчур похожим на Пабло. Ждать, пока появится настоящий крестьянский вождь, некогда, да к тому же в нем может оказаться слишком много крестьянского. А потому приходится таких вождей создавать. Правда, когда он увидел Campesino, его черную бороду, его толстые, как у негра, губы и лихорадочные, беспокойные глаза, он подумал, что такой может причинить не меньше хлопот, чем настоящий крестьянский вождь. В последнюю встречу ему даже показалось, что этот человек сам уверовал в то, что о нем говорили, и почувствовал себя крестьянином. Это был смельчак, отчаянная голова: трудно найти человека смелее. Но, господи, до чего же он много говорил! И в пылу разговора мог сказать что угодно, не задумываясь о последствиях своей неосмотрительности. А

последствия эти не раз уже бывали печальны. Но при всем том как бригадный командир он оказывался на высоте даже в самых, казалось бы, безнадежных положениях. Ему никогда не приходило в голову, что положение может быть безнадежным, и потому, даже когда это так и бывало, он умел найти выход.

Там же, у Гэйлорда, можно было повстречать простого каменщика из Галисии, Энрике Листера, который теперь был командиром дивизии и тоже говорил по-русски. Туда же приходил столяр из Андалузии, Хуан Модесто, которому только что поручили командование армейским корпусом. Он тоже не в Пуэрто-де-Санта-Мария научился русскому языку, разве только если там были курсы Берлица, которые посещали столяры. Из всех молодых командиров он пользовался самым большим доверием у русских, потому что он был настоящим партийцем, «стопроцентным», как они любили говорить, щеголяя этим американизмом.

Да, без Гэйлорда нельзя было бы считать свое образование законченным. Именно там человек узнавал, как все происходит на самом деле, а не как оно должно бы происходить. Я, пожалуй, только начал получать образование, подумал он.

Любопытно, придется ли продолжить его? Все, что удавалось узнать у Гэйлорда, было разумно и полезно, и это было как раз то, в чем он нуждался. Правда, в самом начале, когда он еще верил во всякий вздор, это ошеломило его. Но теперь он уже достаточно разбирался во многом, чтобы признать необходимость скрывать правду, и все, о чем он узнавал у Гэйлорда, только укрепляло его веру в правоту дела, которое он делал. Приятно было знать все, как оно есть на самом деле, а не как оно якобы происходит. На войне всегда много лжи. Но правда о Листере, Модесто и El Campesino гораздо лучше всех небылиц и легенд. Когда-нибудь эту правду не будут скрывать ни от кого, но пока он был доволен, что существует Гэйлорд, где он может узнать ее.

Туда он и собирался отправиться после того, как купит книги, и полежит в горячей ванне, и выпьет абсента, и почитает немного. Но все эти планы он строил раньше, когда еще не было Марии. Ну что ж, они возьмут два номера, и пока он будет у Гэйлорда, она может делать что хочет, а он оттуда придет прямо к ней. Ждала же она столько времени здесь, в горах, что ей стоит подождать немножко в отеле «Флорида». И у них будет целых три дня в Мадриде. Три дня — это

очень много времени. Он поведет ее посмотреть братьев Маркс. Эта программа держится уже три месяца и, наверно, продержится еще три. Ей понравятся братья Маркс, подумал он. Ей это очень понравится.

Но от Гэйлорда до этой пещеры — долгий путь, подумал он. Нет, не этот путь долгий. Долгим будет путь из этой пещеры до Гэйлорда. Первый раз он попал к Гэйлорду с Кашкиным, и ему там не понравилось. Кашкин сказал, что ему непременно нужно познакомиться с Карковым, потому что Карков очень интересуется американцами и потому что он самый ярый поклонник Лопе де Вега и считает, что нет и не было в мире пьесы лучше «Овечьего источника». Может быть, это и верно, но он, Роберт Джордан, не находил этого.

У Гэйлорда ему не понравилось, а Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался смешным — тщедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах, с крошечными руками и ногами, и говорит так, точно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней

дерзости и такое остроумие.

Кашкин наговорил о Роберте Джордане бог знает чего, и Карков первое время был с ним оскорбительно вежлив, но потом, когда Роберт Джордан, вместо того чтобы корчить из себя героя, рассказал какую-то историю, очень веселую и выставлявшую его самого в непристойно-комическом свете, Карков от вежливости перешел к добродушной грубоватости, потом к дерзости, и они стали друзьями.

У ворот отеля Гэйлорда стоят часовые с примкнутыми штыками, и сегодня вечером это самое приятное и самое комфортабельное место в осажденном Мадриде. Ему захотелось сегодня вечером быть не здесь, а там. Хотя и здесь не так уж плохо сейчас, колесо перестало вертеться. И снегопад тоже стихает.

Он охотно показал бы Каркову свою Марию, но неудобно явиться с ней туда, надо раньше спросить, можно ли, да и вообще посмотреть, как его там примут после этого дела. Наступление ведь к тому времени окончится, и Гольц тоже будет там, и если у него тут все сойдет хорошо, об этом все узнают от Гольца. Да и насчет Марии Гольц тоже посмеется над ним. После всего, что он ему наговорил о девушках.

Он потянулся к миске, стоявшей перед Пабло, и зачерпнул кружку вина.

— С твоего разрешения, — сказал он.

Пабло кивнул. Увлекся, видно, своими стратегическими соображениями, подумал Роберт Джордан. Ищет решение задачи в миске с вином. Но мерзавец, верно, и в самом деле не лишен способностей, если мог так долго верховодить здесь. Глядя на Пабло, Роберт Джордан старался представить себе, какой бы из него вышел партизанский вожак во времена Гражданской войны в Америке. Их ведь было очень много. Но мы о них ничего не знаем. Не о таких, как Куонтрил, как Мосби, как его собственный дед, а о вожаках небольших партизанских отрядов. Кстати, насчет вина. Ты в самом деле думаешь, что Грант был пьяницей? Дед всегда уверял, что да, что в четыре часа пополудни Грант всегда бывал немного навеселе и что во время осады Виксбурга он пил мертвую несколько дней. Но дед уверял, что, как бы ни был Грант пьян, он действовал всегда совершенно рассудительно, только вот разбудить его бывало нелегко. Но если уж разбудишь, он действовал рассудительно.

В этой войне ни одна из сторон не имеет своего Гранта, своего Шермана или своего Слонуолла

Джексона. И Джеба Стюарта тоже не видно. И Шеридана тоже. Зато Мак-Клелланов сколько угодно. У фашистов кишмя кишит Мак-Клелланами, а у нас их по меньшей мере трое.

И военных гениев тоже пока не выдвинула эта война. Ни одного. Даже похожего ничего не было. Клебер, Лукач и Ганс, командуя Интернациональными бригадами, с честью выполнили свою роль в обороне Мадрида, но потом старый, лысый, очкастый, самодовольный, как филин глупый, неинтересный в разговоре, по-бычьи храбрый и тупой, раздутый пропагандой защитник Мадрида Миаха стал так завидовать популярности Клебера, что заставил русских отстранить его от командования и отправить в Валенсию. Клебер был хороший солдат, но ограниченный и слишком разговорчивый для того дела, которым занимался. Гольц был хороший командир и отличный солдат, но его все время держали на положении подчиненного и не давали ему развернуться. Готовящееся наступление было его первой крупной операцией, и пока Роберту Джордану не очень нравилось все то, что он слышал об этом наступлении.

Он жалел, что не видел сражения на плато за Гвадалахарой, когда итальянцы были разбиты.

Он тогда был в Эстремадуре. Об этом сражении ему рассказывал Ганс недели две тому назад у Гэйлорда, и так образно, что он словно сам все увидел. Был один момент, когда казалось, что все проиграно, — это когда итальянцы прорвали фронт близ Трихуэке, и если б им тогда удалось перерезать Ториха-Бриуэгскую дорогу, Двенадцатая бригада оказалась бы отрезанной. Но мы знали, что деремся с итальянцами, сказал Ганс, и мы рискнули на маневр, которому при всяком другом противнике не было бы оправдания. И маневр удался.

Все это Ганс ему показал на своей карте. Ганс повсюду таскал с собой эту карту в полевой сумке и до сих пор восхищался и наслаждался своим чудесным маневром. Ганс был отличный солдат и хороший товарищ. Испанские части Листера, Модесто и Кампесино тоже очень хорошо показали себя в этом сражении, рассказывал Ганс, и это целиком надо поставить в заслугу их командирам и той дисциплине, которую они сумели ввести. Но и Листеру, и Модесто, и Кампесино большинство их ходов было подсказано русскими военными консультантами. Они были похожи на пилотов-новичков, летающих на машине с двойным управлением, так что пилот-инструктор в

любую минуту может исправить допущенную ошибку. Ну что ж, этот год покажет, хорошо ли они усвоили урок.

Они были коммунистами и сторонниками железной дисциплины. Дисциплина, насаждаемая ими, сделает из испанцев хороших солдат. Листер был особенно строг насчет дисциплины, и он сумел выковать из дивизии настоящую боеспособную единицу. Одно дело — удерживать позиции, другое — пойти на штурм позиций и захватить их, и совсем особое дело — маневрировать войсками в ходе боевых действий, думал Роберт Джордан, сидя в пещере за столом. Интересно, как Листер, такой, каким я его знаю, справится с этим, когда двойное управление будет снято. А может быть, оно не будет снято, подумал он. Может быть, они не уйдут. Может быть, они еще укрепятся. Интересно, как относятся русские ко всему этому делу. Гэйлорд, вот где можно все узнать. Есть много вопросов, насущных для меня, ответ на которые я могу получить только у Гэйлорда.

Одно время ему казалось, что для него вредно бывать у Гэйлорда. Там все было полной противоположностью пуританскому, религиозному коммунизму дома номер 63 по улице Веласкеса,

дворца, где помещался Мадридский штаб Интернациональных бригад. На улице Веласкеса, 63, ты чувствовал себя членом монашеского ордена, а уж что касается атмосферы, которая когда-то господствовала в штабе Пятого полка, до того как он был разбит на бригады по уставу новой армии, — у Гэйлорда ее и в помине не было.

В тех обоих штабах ты чувствовал себя участником крестового похода. Это единственное подходящее слово, хотя оно до того истаскано и затрепано, что истинный смысл его уже давно стерся. Несмотря на бюрократизм, на неумелость, на внутрипартийные склоки, ты испытывал то чувство, которого ждал и не испытал в день первого причастия. Это было чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о котором так же неловко и трудно говорить, как о религиозном экстазе, и вместе с тем такое же подлинное, как то, которое испытываешь, когда слушаешь Баха, или когда стоишь посреди Шартрского или Леонского собора и смотришь, как падает свет сквозь огромные, витражи, или когда глядишь на полотна Мантеньи, и Греко, и Брейгеля в Прадо. Оно определяло твое место в чем-то, во что ты верил безоговорочно и безоглядно и чему ты обязан был ощущением братской

близости со всеми теми, кто участвовал в нем так же, как и ты. Это было нечто совсем незнакомое тебе раньше, но теперь ты узнал его, и оно вместе с теми причинами, которые его породили, стало для тебя таким важным, что даже твоя смерть теперь не имеет значения; и если ты стараешься избежать смерти, то лишь для того, чтобы она не помешала исполнению твоего долга. Но самое лучшее было то, что можно было что-то делать ради этого чувства и этой необходимости. Можно было драться.

Вот мы и дрались, думал он. И для тех, кто дрался хорошо и остался цел, чистота чувства скоро была утрачена. Даже и полугода не прошло.

Но когда участвуешь в обороне позиции или города, эта первоначальная чистота возвращается. Так было во время боев в Сьерре. Там чувствовалась во время боя настоящая революционная солидарность. Там, когда впервые возникла необходимость укрепить дисциплину, он это понял и одобрил. Нашлись трусы, которые побежали под огнем. Он видел, как их расстреливали и оставляли гнить у дороги, позаботившись только взять у них патроны и ценности. То, что брали патроны, сапоги и кожаные куртки, было совершенно правильно. То, что брали ценности, было просто

разумно. Иначе все досталось бы анархистам.

Тогда казалось правильным, необходимым и справедливым, что бежавших расстреливали на месте. Ничего дурного здесь не было. Они бежали потому, что думали только о себе. Фашисты атаковали, и мы остановили их на крутом склоне, среди серых скал, сосняка и терновых кустов Гвадаррамы. Целый день мы удерживали эту дорогу под воздушной бомбежкой и огнем артиллерии, которую они подвели совсем близко, и под конец те, кто уцелел, пошли в контратаку и отогнали фашистов. Потом, когда они попытались зайти слева, пробираясь небольшими отрядами между скал и деревьев, мы засели в Санитариуме и отстреливались из окон и с крыши, хотя они обошли нас уже с обеих сторон, и, зная, что значит попасть в окружение, мы все-таки продержались, пока контратака не оттеснила их снова назад.

Среди всего этого, в страхе, от которого сохнет во рту и в горле, в пыли раскрошенной штукатурки и неожиданном ужасе рушащейся стены, дурея от вспышек и грохота взрывов, прочищаешь пулемет, оттаскиваешь в сторону тех, кто стрелял из него раньше, ничком бросаешься на кучу щебня, головой за щиток, исправляешь поломку, выравниваешь ленту, и вот уже лежишь

за щитком, и пулемет снова нащупывает дорогу; ты сделал то, что нужно было сделать, и знаешь, что ты прав. Ты узнал иссушающее опьянение боя, страхом очищенное и очищающее, лето и осень ты дрался за всех обездоленных мира, против всех угнетателей, за все, во что ты веришь, и за новый мир, который раскрыли перед тобой. В эту осень, думал он, ты научился не замечать лишений, терпеливо снося холод, и сырость, и грязь бесконечных саперных и фортификационных работ. И чувство, которое ты испытывал летом и осенью, оказалось погребенным под усталостью, нервным напряжением, маетой недоспанных ночей. Но оно не умерло, и все, через что пришлось пройти, только послужило ему оправданием. Именно в те дни, думал он, ты испытывал глубокую, разумную и бескорыстную гордость, — каким скучным дураком ты показался бы со всем этим у Гэйлорда, подумал он вдруг.

Да, тогда ты не пришелся бы ко двору у Гэйлорда, подумал он. Ты был слишком наивен. Ты был словно осенен благодатью. Но, может быть, и у Гэйлорда тогда все было по-другому, подумал он. Да, в самом деле, тогда было по-другому, сказал он себе. Совсем по-другому. Тогда вообще не было Гэйлорда.

Карков рассказывал ему про то время. Тогда все русские, сколько их там было в Мадриде, жили в «Палас-отеле». Он в те дни никого из них не знал. Это было еще до организации первых партизанских отрядов, еще до встречи с Кашкиным и другими. Кашкин был тогда на севере, в Ируне и Сан-Себастьяне, участвовал в неудачных боях под Виторией. Он приехал в Мадрид только в январе, а пока Роберт Джордан дрался в Карабанчеле и Усере и в те три дня, когда они остановили наступление правого крыла фашистов на Мадрид и дом за домом очищали от марокканцев и tercio[60] разрушенное предместье на краю серого, спекшегося на солнце плато и создавали линию обороны для защиты этого уголка города, — все это время Карков был в Мадриде.

Об этих днях Карков говорил без всякого цинизма. То было время, когда всем казалось, что все потеряно, и у каждого сохранилась более ценная, чем отличия и награды, память о том, как он поступает, когда кажется, что все потеряно. Правительство бросило город на произвол судьбы и бежало, захватив с собой все машины военного министерства, и старику Миахе при-

---

[60] Примечания: 60
Легионеров (*исп.*).

ходилось объезжать позиции на велосипеде. Этому Роберт Джордан никак не мог поверить. При всем патриотизме он не мог вообразить себе Миаху на велосипеде; но Карков настаивал, что так и было.

Но были и такие вещи, о которых Карков не писал. В «Палас-отеле» находились тогда трое тяжело раненных русских — два танкиста и летчик, оставленные на его попечение. Они были в безнадежном состоянии, и их нельзя было тронуть с места, Каркову необходимо было позаботиться о том, чтобы эти раненые не попали в руки фашистов в случае, если город решено будет сдать.

В этом случае Карков, прежде чем покинуть «Палас-отель», обещал дать им яд. Глядя на трех мертвецов, из которых один был ранен тремя пулями в живот, у другого была начисто снесена челюсть и обнажены голосовые связки, у третьего раздроблено бедро, а лицо и руки обожжены до того, что лицо превратилось в сплошной безбровый, безресничный, безволосый волдырь, никто не сказал бы, что это русские. Никто не мог бы опознать русских в трех израненных телах, оставшихся в номере «Палас-отеля». Ничем не докажешь, что голый мертвец, лежащий перед тобой, — русский. Мертвые не выдают своей

национальности и своих политических убеждений.

Роберт Джордан спросил Каркова, как он относится к необходимости сделать это, и Карков ответил, что особенного восторга все это в нем не вызывает.

— А как вы думали это осуществить? — спросил Роберт Джордан и добавил: — Ведь не так просто дать яд человеку.

Но Карков сказал:

— Нет, очень просто, если всегда имеешь это в запасе для самого себя. — И он открыл свой портсигар и показал Роберту Джордану, что спрятано в его крышке.

— Но ведь, если вы попадете в плен, у вас первым делом отнимут портсигар, — возразил Роберт Джордан. — Скажут «руки вверх», и все.

— А у меня еще вот тут есть, — усмехнулся Карков и показал на лацкан своей куртки. — Нужно только взять кончик лацкана в рот, вот так, раздавить ампулу зубами и глотнуть.

— Так гораздо удобнее, — сказал Роберт Джордан. — А скажите, это действительно пахнет горьким миндалем, как пишут в детективных романах?

— Не знаю, — весело сказал Карков. — Ни разу

не нюхал. Может быть, разобьем одну ампулку, попробуем?

— Лучше приберегите.

— Правильно, — сказал Карков и спрятал портсигар. — Понимаете, я вовсе не пораженец, но критический момент всегда может наступить еще раз, а этой штуки вы нигде не достанете. Читали вы коммюнике с Кордовского фронта? Оно бесподобно. Это теперь мое самое любимое из всех коммюнике.

— А что в нем сказано?

Роберт Джордан прибыл в Мадрид с Кордовского фронта, и у него вдруг что-то сжалось внутри, как бывает, когда кто-нибудь подшучивает над вещами, над которыми можете шутить только вы, но никто другой.

— Nuestra gloriosa tropa siga avanzando sin perder ni una sola palma de terrene, — процитировал Карков на своем диковинном испанском языке.

— Не может быть, — усомнился Роберт Джордан.

— Наши славные войска продолжают продвигаться вперед, не теряя ни пяди территории, — повторил Карков по-английски. — Так сказано в коммюнике. Я вам его разыщу.

Жива была еще память о людях, которых ты

знал и которые погибли в боях под Пособланко; но у Гэйлорда это было предметом шуток.

Вот что сейчас представлял собой Гэйлорд. Но было время, когда Гэйлорда не было, и если положение изменилось настолько, что Гэйлорд мог стать тем, чем его сделали уцелевшие после первых дней войны, Роберт Джордан очень рад этому и рад бывать там. То, что ты чувствовал в Сьерре, и в Карабанчеле, и в Усере, теперь ушло далеко, думал он. Но кому удается сохранить тот первый целомудренный пыл, с каким начинают свою работу молодые врачи, молодые священники и молодые солдаты? Разве что священникам, иначе они должны бросить все. Но вот если взять Каркова?

Ему никогда не надоедало думать о Каркове. В последний раз, когда они встретились у Гэйлорда, Карков великолепно рассказывал об одном английском экономисте, который много времени провел в Испании. Роберт Джордан в течение долгих лет читал статьи этого человека и всегда относился к нему с уважением, не зная о нем ничего. То, что этот человек написал об Испании, ему не очень нравилось. Это было чересчур просто и ясно и слишком схематично, и многие статистические данные были явно, хоть и непред-

намеренно подтасованы. Но он решил, что когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что о ней пишут в газетах и журналах, и оценил добрые намерения этого человека.

Наконец он его однажды увидел. Это было под вечер, перед атакой в Карабанчеле. Они сидели под стенами цирка, где обычно происходил бой быков; на двух соседних улицах шла перестрелка, и люди нервничали в ожидании начала атаки. Им был обещан танк, но он не пришел, и Монтеро сидел, подперев голову рукой, и все повторял:

— Танк не пришел. Танк не пришел.

День был холодный, и по улице мело желтую пыль, а Монтеро был ранен в левую руку, и рука у него немела.

— Нам нельзя без танка, — говорил он. — Придется ждать танка, а ждать мы не можем. — От боли голос его звучал раздраженно.

Роберт Джордан пошел посмотреть, не остановился ли танк за углом, у большого многоквартирного дома, мимо которого проходит трамвай, — так думал Монтеро. Там он и стоял. Но это был не танк. В то время испанцы называли танком все что угодно. Это был старый броневик. Добравшись до этого места за углом большого дома, водитель не захотел ехать дальше, к цир-

ку. Он стоял позади своей машины, положив на металлическую обшивку скрещенные руки и уткнув в них голову в мягком кожаном шлеме. Когда Роберт Джордан заговорил с ним, он замотал головой, не поднимая ее. Потом он повернул голову, но не взглянул на Роберта Джордана.

— Я не получал приказа ехать туда, — угрюмо сказал он.

Роберт Джордан вынул револьвер из кобуры и приставил дуло к кожаному пальто водителя.

— Вот тебе приказ, — сказал он ему.

Водитель опять замотал головой в мягком кожаном шлеме, как у футболиста, и сказал:

— Пулемет без патронов.

— У нас там есть патроны, — сказал ему Роберт Джордан. — Садись, и едем. Ленты там зарядим. Садись.

— Некому стрелять из пулемета, — сказал водитель.

— А где он? Где пулеметчик?

— Убит, — сказал водитель. — Там, внутри.

— Вытащи его, — сказал Роберт Джордан. — Вытащи его оттуда.

— Я не хочу дотрагиваться до него, — сказал водитель. — А он лежит между пулеметом и рулем, и я не могу сесть за руль.

— Иди сюда, — сказал Роберт Джордан. — Мы сейчас вдвоем его вытащим.

Он ушиб голову, пролезая в дверцу броневика, и из небольшой ранки над бровью текла кровь, размазываясь по лицу. Мертвый пулеметчик был очень тяжелый и уже успел окоченеть, так что разогнуть его было невозможно, и Роберту Джордану пришлось бить кулаком по его голове, чтобы вышибить ее из узкого зазора между сиденьем и рулем, где она застряла. Наконец он догадался подтолкнуть ее коленом снизу, и она высвободилась, и, обхватив тело поперек, он стал тянуть его к дверце.

— Помоги мне, — сказал он водителю.

— Я не хочу прикасаться к нему, — сказал водитель, и Роберт Джордан увидел, что он плачет. Слезы стекали прямыми ручейками по его почерневшему от пыли лицу, и из носа тоже текло.

Стоя снаружи у дверцы, Роберт Джордан вытащил мертвого пулеметчика из машины, и мертвый пулеметчик упал на тротуар почти у самых трамвайных рельсов, все такой же скрюченный, словно согнутый пополам. Там он и лежал, прижавшись серо-восковой щекой к плитам тротуара, подогнув под себя руки, как в машине.

— Садись, черт тебя раздери, — сказал Роберт Джордан, делая водителю знак своим револьвером. — Садись сейчас же!

И тут вдруг из-за угла вышел человек. Он был в длинном пальто, без шляпы, волосы у него были седые, скулы выдавались, а глаза сидели глубоко и близко друг к другу. В руке он держал пачку сигарет «Честерфилд» и, вынул одну сигарету, протянул ее Роберту Джордану, который в это время с помощью револьвера подсаживал водителя в броневик.

— Одну минутку, товарищ, — сказал он Роберту Джордану по-испански. — Не можете ли вы дать мне кое-какие разъяснения по поводу этого боя.

Роберт Джордан взял сигарету и спрятал ее в нагрудный карман своей синей рабочей блузы. Он узнал этого товарища по фотографиям. Это был английский экономист.

— Иди ты знаешь куда, — сказал он ему по-английски и потом по-испански водителю броневика: — Вперед. К цирку. Понятно? — И с силой захлопнул тяжелую боковую дверь и запер ее, и машина понеслась по длинному отлогому спуску, и пули застучали по обшивке, точно камешки по железному котлу.

Потом, когда заработал пулемет, это было

точно дробный стук молотка по обшивке. Они затормозили у стены цирка, еще обклеенной прошлогодними афишами, там, где близ окошечка кассы стояли вскрытые патронные ящики, и товарищи ждали под прикрытием стены с винтовками за плечом, с гранатами на поясе и в карманах, и Монтеро сказал:

— Хорошо. Вот и танк. Теперь можно атаковать.

В тот же вечер, когда последние дома на холме уже были заняты, он лежал, удобно устроившись за кирпичной стеной у отверстия, пробитого в кладке для бойницы, и смотрел на великолепное поле обстрела, простиравшееся между ними и горной грядой, куда отступили фашисты, и с чувством близким к наслаждению, думал о том, как удачно защищен левый фланг крутым холмом с разрушенной виллой на вершине. Он зарылся в кучу соломы и закутался в одеяло, чтобы не продрогнуть, когда начнет подсыхать насквозь пропотевшая одежда. Лежа так, он вдруг вспомнил про экономиста и засмеялся, а потом пожалел, что был с ним груб. Но когда англичанин протянул ему сигарету, словно сунул ее в виде платы за информацию, ненависть бойца к нестроевику вспыхнула в нем с такой силой, что

он не сдержался.

Теперь ему вспомнился Гэйлорд и разговор к Карковым об этом человеке.

— Так вот вы его где встретили, — сказал тогда Карков. — Я сам в этот день не был дальше Пуэнте-де-Толедо. Он, значит, пробрался очень близко к фронту. Но это, кажется, был последний день его подвигов. На следующий день он уехал из Мадрида. Лучше всего он себя показал в Толедо. В Толедо он совершил прямо чудеса храбрости. Он был одним из авторов проекта взятия Алькасара. Посмотрели бы вы на него в Толедо. Мне кажется, успехом этой осады мы во многом обязаны его помощи и его советам. Это был, между прочим, самый нелепый этап войны. Это была просто вершина нелепости. Но скажите мне, что говорят об этом человеке в Америке?

— В Америке, — сказал Роберт Джордан, — считают, что он очень близок к Москве.

— Это неверно, — сказал Карков. — Но у него великолепное лицо, с таким лицом и манерами можно добиться чего угодно. Вот с моим лицом ничего не добьешься. То немногое, чего мне удалось достичь в жизни, было достигнуто несмотря на мое лицо, которое не способно ни вдохновлять людей, ни внушать им любовь и доверие.

А у этого Митчелла не лицо, а клад. Настоящее лицо заговорщика. Всякий, кто знает заговорщиков по литературе, немедленно проникается к нему доверием. И манеры у него тоже чисто заговорщицкие. Стоит вам увидеть, как он входит в комнату, и вы сейчас же чувствуете, что перед вами заговорщик самой высокой марки. Любой из ваших богатых соотечественников, движимый, как ему кажется, великодушным желанием помочь Советскому Союзу или жаждущий застраховать себя хоть чем-нибудь на случай возможного успеха партии, сразу поймет по виду этого человека, что он не может быть никем иным, как доверенным агентом Коминтерна.

— Значит, с Москвой у него нет связей?

— Никаких. Слушайте, товарищ Джордан. Вы знаете, что дураки бывают двух типов?

— Вредные и безвредные?

— Нет. Я говорю о тех двух типах дураков, которые встречаются в России. — Карков усмехнулся и начал: — Первый — это зимний дурак. Зимний дурак подходит к дверям вашего дома и громко стучится. Вы выходите на стук и видите его впервые в жизни. Зрелище он собой являет внушительное. Это огромный детина в высоких сапогах, меховой шубе и меховой шапке, и весь

он засыпан снегом. Он сначала топает ногами, и снег валится с его сапог. Потом он снимает шубу и встряхивает ее, и с шубы тоже валится снег. Потом он снимает шапку и хлопает ею о косяк двери. И с шапки тоже валится снег. Потом он еще топает ногами и входит в комнату. Тут только вам удается как следует разглядеть его, и вы видите, что он дурак. Это зимний дурак. А летний дурак ходит по улице, размахивает руками, вертит головой, и всякий за двести шагов сразу видит, что он дурак. Это летний дурак. Митчелл — дурак зимний.

— Но почему же ему здесь доверяют? — спросил Роберт Джордан.

— Лицо, — сказал Карков. — Его великолепная gueule de conspirateur[61]. И потом еще очень ловкий трюк — он всегда делает вид, будто только что явился откуда-то, где пользуется большим доверием и уважением. Правда, — Карков улыбнулся, — для того чтобы этот его трюк не терял силы, ему приходится все время переезжать с места на место. Знаете, испанцы — удивительный народ, — продолжал Карков. — У здешнего правительства очень много денег. Очень много

---

[61] Примечания: 61
Физиономия заговорщика (*франц.*).

золота. Друзьям они ничего не дают. Вы — друг. Отлично. Вы, значит, сделаете все бесплатно и не нуждаетесь в вознаграждении. Но людям, представляющим влиятельную фирму или страну, которая не состоит в друзьях и должна быть обработана, — таким людям они дают щедрой рукой. Это очень любопытный факт, если в него вникнуть.

— Мне это не нравится. Помимо всего, эти деньги принадлежат испанским рабочим.

— И не нужно, чтобы вам это нравилось. Нужно только, чтобы вы понимали, — сказал ему Карков. — При каждой нашей встрече я даю вам небольшой урок, и так постепенно вы приобретете все необходимые знания. Очень занятно, когда преподаватель сам учится.

— Вряд ли я теперь буду преподавать, когда вернусь. Меня, вероятно, выбросят как красного.

— Ну что ж, тогда приезжайте в Советский Союз и будете продолжать там свое образование. Это, пожалуй, было бы для вас лучше всего.

— Но моя специальность — испанский язык.

— Есть много стран, где говорят по-испански, — сказал Карков. — Не везде же так трудно придется, как в Испании. И потом, не забывайте о том, что вы уже почти девять месяцев не за-

нимаетесь преподаванием. За девять месяцев можно приобрести новую профессию. Много ли вы читали по диалектике?

— Я читал «Руководство по марксизму», которое вышло под редакцией Эмиля Бернса. Больше ничего.

— Если вы его прочли до конца, это не так уж мало. Там тысячи полторы страниц, и на каждую надо потратить время. Но есть еще другие книги, которые вам нужно прочесть.

— Теперь некогда заниматься чтением.

— Я знаю, — сказал Карков. — Но когда-нибудь потом. Есть книги, прочтя которые вы поймете многое из того, что сейчас происходит. А то, что происходит сейчас, послужит материалом для книги, — очень нужной книги, объясняющей многое, что необходимо знать. Может быть, эту книгу напишу я. Надеюсь, что именно я напишу ее.

— Кому же и написать, как не вам.

— Не льстите, — сказал Карков. — Я журналист. Но, как все журналисты, я мечтаю заниматься литературой. Сейчас я готовлю материал для очерка о Кальво Сотело. Это был законченный фашист; настоящий испанский фашист. Франко и все остальные совсем не то. Я изучаю речи Сотело

и все его писания. Он был очень умен, и это было очень умно, что его убили.

— Я думал, что вы против метода политических убийств.

— Мы против индивидуального террора, — улыбнулся Карков. — Конечно, мы против деятельности преступных террористических и контрреволюционных организаций. Ненависть и отвращение вызывает у нас двурушничество таких, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники. Мы презираем и ненавидим этих людей. — Он снова улыбнулся. — Но все-таки можно считать, что метод политических убийств применяется довольно широко.

— Вы хотите сказать…

— Я ничего не хочу сказать. Но, конечно, мы казним и уничтожаем выродков, накипь человечества. Их мы ликвидируем. Но не убиваем. Вы понимаете разницу?

— Понимаю, — сказал Роберт Джордан.

— И если я иногда шучу, — а вы знаете, как опасно шутить даже в шутку, — ну так вот, если я иногда шучу, это еще не значит, что испанскому народу не придется когда-нибудь пожалеть о том, что он не расстрелял кое-каких генералов, которые и сейчас находятся у власти. Просто я не

люблю, когда расстреливают людей.

— А я теперь отношусь к этому спокойно, — сказал Роберт Джордан. — Я тоже не люблю, но отношусь к этому спокойно.

— Знаю, — сказал Карков. — Мне об этом говорили.

— Разве это так важно? — сказал Роберт Джордан. — Я только старался говорить то, что думаю.

— К сожалению, — сказал Карков, — это одно из условий, позволяющих считать надежным человека, которому при других обстоятельствах понадобилось бы гораздо больше времени, чтобы попасть в этот разряд.

— А разве я непременно должен быть надежным?

— При вашей работе вы должны быть абсолютно надежным. Надо мне как-нибудь поговорить с вами, посмотреть, как работает ваш интеллект. Жаль, что мы никогда не разговариваем серьезно.

— Я свой интеллект законсервировал до победного окончания войны, — сказал Роберт Джордан.

— Тогда боюсь, что он вам еще долго не понадобится. Но все-таки вы должны его упражнять время от времени.

— Я читаю «Мундо обреро», — сказал тогда Роберт Джордан, а Карков ответил:

— Ладно. Я и шутки понимать умею. Но в «Мундо обреро» попадаются очень разумные статьи. Самые разумные из всех, которые написаны об этой войне.

— Да, — сказал Роберт Джордан. — Согласен. Но все-таки нельзя увидеть полную картину событий, читая только партийный орган.

— Вы все равно не увидите этой картины, — сказал Карков, — даже если будете читать двадцать газет, а если и увидите, мне не совсем ясно, чем это вам поможет. У меня это представление есть все время, и я только и делаю, что стараюсь забыть о нем.

— По-вашему, все настолько плохо?

— Теперь лучше, чем было. Постепенно удается избавиться от самого худшего. Но до хорошего еще далеко. Задача теперь создать мощную армию, и некоторые элементы, те, что идут за Модесто, за Кампесино, Листером и Дюраном, вполне надежны. Более чем надежны. Великолепны. Вы сами это увидите. Потом есть еще бригады, хотя их роль изменилась. Но армия, в которой есть и хорошие и дурные элементы, не может выиграть войну. Все бойцы армии должны

достигнуть определенного уровня политического развития; все должны знать, за что дерутся и какое это имеет значение. Все должны верить в борьбу, которая им предстоит, и все должны подчиняться дисциплине. Создается мощная регулярная армия, а нет времени для создания дисциплины, необходимой, чтобы такая армия достойно вела себя под огнем. Мы называем эту армию народной, но ей не хватает основных преимуществ подлинно народной армии, и в то же время ей не хватает железной дисциплины, без которой не может существовать армия регулярная. Увидите сами. Это очень рискованное предприятие.

— У вас сегодня настроение не очень хорошее.

— Да, — сказал Карков. — Я только что из Валенсии, где я повидал многих людей. Из Валенсии никто не возвращается в хорошем настроении. Когда вы в Мадриде, на душе у вас спокойно и ясно и кажется, что война может окончиться только победой. Валенсия — совсем другое дело. Там еще верховодят трусы, которые бежали из Мадрида. Они уютно погрузились в административно-бюрократическую истому. На тех, кто остался в Мадриде, они смотрят свысока. Их очередная мания — это ослабление военного

комиссариата. А Барселона! Посмотрели бы вы, что делается в Барселоне!

— А что?

— Самая настоящая оперетта. Сначала это был рай для всяких психов и революционеров-романтиков. Теперь это рай для опереточных вояк. Из тех, что любят щеголять в форме, красоваться, и парадировать, и носить красные с черным шарфы. Любят все, что связано с войной, не любят только сражаться! От Валенсии становится тошно, а от Барселоны смешно.

— А что вы думаете о путче ПОУМ?[62]

— Ну, это совершенно несерьезно. Бредовая затея всяких психов и сумасбродов, в сущности, просто ребячество. Было там несколько честных людей, которых сбили с толку. Была одна неглупая голова и немного фашистских денег. Очень мало, бедный ПОУМ. Дураки все-таки.

— Много народу погибло во время этого путча?

— Меньше, чем потом расстреляли или еще расстреляют. ПОУМ. Это все так же несерьезно, как само название. Уж назвали бы КРУП или ГРИПП. Хотя нет. ГРИПП гораздо опаснее. Он может дать серьезные осложнения. Кстати, вы знаете, они

---

[62] Примечания: 62
Троцкистская организация в Каталонии.

собирались убить меня, Вальтера, Модесто и Прието. Чувствуете, какая путаница у них в голове? Ведь все мы совершенно разные люди. Бедный ПОУМ. Они так никого и не убили. Ни на фронте, ни в тылу. Разве только нескольких человек в Барселоне.

— А вы были там?

— Да. Я послал оттуда телеграмму с описанием этой гнусной организации троцкистских убийц и их подлых фашистских махинаций, но, между нами говоря, это несерьезно, весь этот ПОУМ. Единственным деловым человеком там был Нин. Мы было захватили его, но он у нас ушел из-под рук.

— Где он теперь?

— В Париже. Мы говорим, что он в Париже. Он вообще очень неплохой малый, но подвержен пагубным политическим заблуждениям.

— Но это правда, что они были связаны с фашистами?

— А кто с ними не связан?

— Мы не связаны.

— Кто знает. Надеюсь, что нет. Вы ведь часто бываете в их тылу. — Он усмехнулся. — А вот брат одного из секретарей республиканского посольства в Париже на прошлой неделе ездил

в Сен-Жан-де-Люс и виделся там с людьми из Бургоса.

— Мне больше нравится на фронте, — сказал тогда Роберт Джордан. — Чем ближе к фронту, тем люди лучше.

— А в фашистском тылу вам не нравится?

— Очень нравится. У нас там есть прекрасные люди.

— Да, а у них, вероятно, есть прекрасные люди в нашем тылу. Мы их ловим и расстреливаем, а они ловят и расстреливают наших. Когда вы на их территории, думайте всегда о том, сколько людей они засылают к нам.

— Я об этом думаю.

— Ну ладно, — сказал Карков. — Сегодня вам, вероятно, еще много о чем надо подумать, а потому допивайте пиво, которое у вас в кружке, и отправляйтесь по своим делам, а я пойду наверх, проведаю кое-кого. Кое-кого из верхних номеров. Приходите ко мне еще.

Да, думал Роберт Джордан. Многому можно научиться у Гэйлорда. Карков читал его первую и единственную книгу. Книга не имела успеха. В ней было всего двести страниц, и он сомневался, прочитали ли ее хоть две тысячи человек. Он вложил в нее все, что узнал об Испании за десять лет

путешествий по ней пешком, в вагонах третьего класса, в автобусах, на грузовиках, верхом на лошадях и мулах. Он знал Страну Басков, Наварру, Арагон, Галисию, обе Кастилии и Эстремадуру вдоль и поперек. Но Борроу, Форд и другие написали уже столько хороших книг, что он почти ничего не сумел добавить. Однако Карков сказал, что книга хорошая.

— Иначе я бы с вами не возился, — сказал он ему. — Я нахожу, что вы пишете абсолютно правдиво, а это редкое достоинство. Поэтому мне хочется, чтоб вы узнали и поняли некоторые вещи.

Хорошо. Пусть все это кончится, и тогда он напишет новую книгу. Но только о том, что он знает. Правдиво, и о том, что он знает. Придется только подучиться писательскому мастерству, чтобы справиться с этим. Все, о чем он узнал в эту войну, далеко не так просто.

Глава девятнадцатая

— Что ты делаешь? — спросила его Мария. Она стояла рядом с ним.

Он повернул голову и улыбнулся ей.

— Ничего, — сказал он. — Сижу, думаю.

— О чем? О мосте?

— Нет. С мостом все решено. О тебе и об одном отеле в Мадриде, где живут мои знакомые русские, и о книге, которую я когда-нибудь напишу.

— В Мадриде много русских?

— Нет. Очень мало.

— А в фашистских газетах пишут, что их там сотни тысяч.

— Это ложь. Их очень мало.

— А тебе нравятся русские? Тот, который был здесь до тебя, тоже был русский.

— Тебе он нравился?

— Да. Я тогда лежала больная, но он показался мне очень красивым и очень смелым.

— Выдумает тоже — красивый! — сказала Пилар. — Нос плоский, как ладонь, а скулы шириной с овечий зад.

— Мы с ним были друзья-товарищи, — сказал

Роберт Джордан Марии. — Я очень его любил.

— Любить любил, — сказала Пилар. — А потом все-таки пристрелил его.

Когда она сказала это, сидевшие за столом подняли глаза от карт, и Пабло тоже посмотрел на Роберта Джордана. Все молчали, потом цыган Рафаэль спросил:

— Это правда, Роберто?

— Да, — сказал Роберт Джордан. Ему было неприятно, что Пилар заговорила об этом, неприятно, что он сам рассказал про это у Эль Сордо. — По его просьбе. Он был тяжело ранен.

— Qué cosa mas rara[63], — сказал цыган. — Он все время беспокоился об этом, пока был с нами. И не запомню, сколько раз я сам ему обещал это сделать. Чудно, — повторил он и покачал головой.

— Он был очень чудной, — сказал Примитиво. — Не как все.

— Слушай, — сказал один из братьев, Андрес. — Вот ты профессор и все такое. Веришь ты, будто человек может наперед знать, что с ним случится?

— Нет, я в это не верю, — сказал Роберт Джордан. Пабло с любопытством посмотрел на него, а

---

[63] Примечания: 63
Как чудно (*исп.*).

Пилар наблюдала за ним бесстрастным, ничего не выражающим взглядом. — У этого русского товарища нервы были не в порядке, потому что он слишком много времени провел на фронте. Он участвовал в боях под Ируном, а там, сами знаете, было тяжко. Очень тяжко. Потом он воевал на севере. А с тех пор, как были организованы первые группы для работы в фашистском тылу, он находился здесь, в Эстремадуре и Андалузии. Я думаю, он просто очень устал, очень изнервничался, и поэтому ему мерещилось бог знает что.

— Я не сомневаюсь, что он видел много страшного, — сказал Фернандо.

— Как все мы, — сказал Андрес. — Но слушай, Inglés, как ты думаешь, может человек наперед знать, что с ним будет?

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Это все невежество и суеверие.

— Ну, ну, — сказала Пилар. — Послушаем профессора. — Она говорила с ним, как с ребенком, который умничает не по летам.

— Я думаю, что дурные предчувствия рождает страх, — сказал Роберт Джордан. — Когда видишь что-нибудь нехорошее…

— Вот как сегодняшние самолеты, — сказал Примитиво.

— Или такого гостя, как ты, — негромко сказал Пабло, и Роберт Джордан взглянул на него через стол, понял, что это не вызов на ссору, а просто высказанная вслух мысль, и продолжал начатую фразу.

— Когда видишь что-нибудь нехорошее, то со страху начинаешь думать о смерти, и тебе кажется, что дурное предзнаменование неспроста, — закончил Роберт Джордан. — Я уверен, что все дело только в этом. Я не верю ни гадалкам, ни прорицателям и вообще не верю ни во что сверхъестественное.

— Но тот, прежний, у которого было такое чудно́е имя, он знал свою судьбу, — сказал цыган. — И как он ждал, так все и вышло.

— Ничего он не знал, — сказал Роберт Джордан. — Он боялся, что так будет, и это не давало ему покоя. Вам не удастся убедить меня, будто он что-то знал заранее.

— И мне не удастся? — спросила Пилар и, взяв в горсть золы из очага, сдула ее с ладони. — И мне тоже не удастся убедить тебя?

— Нет. Ничто не поможет — ни твое колдовство, ни твоя цыганская кровь.

— Потому что ты из глухих глухой, — сказала Пилар, повернувшись к нему, и в неровном

мерцании свечки черты ее широкого лица показались особенно резкими и грубыми. — Я не скажу, что ты глупый. Ты просто глухой. А глухой не слышит музыки. И радио он тоже не слышит. А если он этого не слышит, ему ничего не стоит сказать, что этого нет. Qué va, Inglés! Я видела смерть на лице этого человека с чудным именем, будто она была выжжена там каленым железом.

— Ничего ты не видела, — стоял на своем Роберт Джордан. — Это был страх и дурные предчувствия. Страх появился у него после всего, что ему пришлось вынести. Дурные предчувствия мучили его потому, что он воображал себе всяческие ужасы.

— Qué va, — сказала Пилар. — Я видела смерть так ясно, будто она сидела у него на плече. И это еще не все — от него пахло смертью.

— Пахло смертью! — передразнил ее Роберт Джордан. — Может, не смертью, а страхом? У страха есть свой запах.

— De la muerte[64], — повторила Пилар. — Слушай. Бланкет, самый знаменитый из всех peon de brega, работал с Гранеро, и он рассказывал мне, что в день смерти Маноло Гранеро они перед

---

[64] Примечания: 64
Смертью (*исп.*).

корридой заехали в церковь, и там от Маноло так сильно запахло смертью, что Бланкета чуть не стошнило. А ведь он был с Маноло в отеле и видел, как тот принимал ванну и одевался перед боем. И в машине по дороге в цирк они сидели бок о бок и никакого запаха не было. В церкви его тоже никто больше не учуял, кроме Хуана Луиса де ла Роса. И когда они все четверо выстроились перед выходом на арену, Марсиал и Чикуэло тоже ничего не почувствовали. Но Бланкет рассказывал мне, что Хуан Луис был белый как полотно, и Бланкет спросил его: «Ты тоже?» — «Просто дышать невозможно, — сказал ему Хуан Луис. — Это от твоего матадора». — «Pues nada, — сказал Бланкет. — Ничего не поделаешь. Будем думать, что это нам кажется». — «А от других?» — спросил Хуан Луис Бланкета. «Нет, — сказал Бланкет. — Но от этого несет хуже, чем несло от Хосе в Талавере». И в тот же самый день бык Покапена с фермы Верагуа придавил Маноло Гранеро к барьеру перед вторым tendido[65] в мадридской Plaza de Toros. Я была там с Финито, и я все видела. Бык раскроил ему череп рогом, и голова Маноло застряла под estribo, в самом низу

[65] Примечания: 65
Сектором (*исп.*).

барьера, куда швырнул его бык.

— А ты сама что-нибудь учуяла? — спросил Фернандо.

— Нет, — сказала Пилар. — Я была слишком далеко. Мы сидели в третьем tendido, в седьмом ряду. Но оттуда, сбоку, мне все было видно. В тот же вечер Бланкет, а он работал раньше с Хоселито, который тоже погиб при нем, рассказал об этом Финито, когда они сидели в Форносе, и Финито спросил Хуана Луиса де ла Роса, так ли все было, но Хуан ничего ему не ответил, только кивнул головой, что, мол, правда. Я сама видела, как это случилось. А ты, Inglés, верно, так же глух к таким вещам, как были глухи в тот день Чикуэло, и Марсиал Лаланда, и все banderilleros, и пикадоры, и все gente Хуана Луиса и Моноло Гранеро. Но сам Хуан Луис и Бланкет не были глухи. И я тоже не глуха на такое.

— Почему ты говоришь про глухоту, когда тут все дело в чутье? — спросил Фернандо.

— Так тебя и так! — сказала Пилар. — Вот кому надо быть профессором, а не тебе, Inglés. Но я могу порассказать и о многом другом, и ты, Inglés, не спорь против того, чего тебе просто не видно и не слышно. Ты не слышишь того, что слышит собака. И учуять то, что чует собака, ты тоже не

можешь. Но какая доля может выпасть человеку, это тебе уже отчасти известно.

Мария положила руку на плечо Роберту Джордану, и он вдруг подумал: пора кончать эту болтовню, надо пользоваться временем, которого так мало осталось. Но сейчас еще рано. Придется как-то убить остаток вечера. И он спросил Пабло:

— А ты веришь в колдовство?

— Да как тебе сказать, — ответил Пабло. — Я, пожалуй, думаю так же, как и ты. Со мной никогда не случалось ничего сверхъестественного. А что такое страх — я знаю. Очень хорошо знаю. Однако я верю, что Пилар умеет читать судьбу по руке. Может быть, она действительно чует этот запах, если только не врет.

— С какой стати мне врать! — оказала Пилар. — Я, что ли, выдумала это? Бланкет — человек серьезный и вдобавок набожный. Он не цыган, а валенсийский мещанин. Разве ты никогда его не видел?

— Видел, — сказал Роберт Джордан. — Много раз. Он маленький, с серым лицом и владеет мулетой, как никто. И на ногу легкий, как заяц.

— Правильно, — сказала Пилар. — Лицо у него серое из-за больного сердца, и цыгане говорят, будто он всегда носит с собой смерть, но ему

ничего не стоит отмахнуться от нее мулетой, все равно как стереть пыль со стола. Бланкет не цыган, а все-таки он учуял смерть в Хоселито, когда они выступали в Талавере. Правда, я не знаю, как это ему удалось, ведь запах мансанильи, должно быть, все перешибал. Бланкет рассказывал об этом как-то нехотя, и те, кому он рассказывал, не верили ему, — мол, все это выдумки, Хосе, мол, вел в то время такую жизнь, что это у него просто пахло потом из-под мышек. Но через несколько лет то же самое случилось с Маноло Гранеро, и Хуан Луис де ла Роса был тому свидетелем. Правда, Хуана Луиса не очень-то уважали, хотя в своем деле он толк знал. Уж очень он был большой бабник. А Бланкет был человек серьезный и скромный и никогда не лгал. И поверь мне, Inglés, я учуяла смерть в твоем товарище с чудным именем.

— Не может этого быть, — сказал Роберт Джордан. — Вот ты говоришь, что Бланкет учуял это перед самым выходом на арену. Перед самым началом корриды. Но ведь операция с поездом прошла у вас удачно. И Кашкин не был убит. Как же ты могла учуять это в то время?

— Время тут ни при чем, — пояснила Пилар. — От Игнасио Санчеса Мехиаса так сильно пахло

смертью в последний его сезон, что многие отказывались садиться с ним рядом в кафе. Это все цыгане знали.

— Такие вещи придумывают после того, как человек уже умер, — не сдавался Роберт Джордан. — Все прекрасно знали, что Санчесу Мехиасу недолго ждать cornada[66], потому что он вышел из формы, стиль у него был тяжелый и опасный, ноги потеряли силу и легкость и рефлексы были уже не такие быстрые.

— Правильно, — ответила ему Пилар. — Это все правда. Но цыгане знали, что от него пахнет смертью, и когда он появлялся в «Вилла-Роса», такие люди, как Рикардо и Фелипе Гонсалес, убегали оттуда через маленькую дверь позади стойки.

— Они, наверно, задолжали ему, — сказал Роберт Джордан.

— Возможно, — сказала Пилар. — Очень возможно. Но, кроме того, они чуяли в нем смерть, и это все знали.

— Она правильно говорит, Inglés, — сказал цыган Рафаэль. — У нас все об этом знают.

— Не верю я ни одному слову, — сказал Роберт Джордан.

---

[66] Примечания: 66
Удар рогом (*исп.*).

— Слушай, Inglés, — заговорил Ансельмо. — Я не охотник до всякого колдовства. Но Пилар у нас в таких делах славится.

— А все-таки чем же это пахнет? — спросил Фернандо. — Какой он, этот запах? Если пахнет чем-то, значит, должен быть определенный запах.

— Ты хочешь знать, Фернандито? — Пилар улыбнулась ему. — Думаешь, тебе тоже удастся учуять его?

— Если он действительно существует, почему бы и мне его не учуять?

— В самом деле — почему? — Пилар посмеивалась, сложив на коленях свои большие руки. — А ты когда-нибудь плавал по морю на пароходе, Фернандо?

— Нет. И не собираюсь.

— Тогда ты ничего не учуешь, потому что в него входит и тот запах, который бывает на пароходе, когда шторм и все иллюминаторы закрыты. Понюхай медную ручку задраенного наглухо иллюминатора, когда палуба уходит у тебя из-под ног и в желудке томление и пустота, и вот тогда ты учуешь одну составную часть этого запаха.

— Ничего такого я учуять не смогу, потому что ни на каких пароходах плавать не собираюсь, —

сказал Фернандо.

— А я несколько раз плавала по морю на пароходе, — сказала Пилар. — В Мексику и в Венесуэлу.

— Ну, а что там еще есть, в этом запахе? — спросил Роберт Джордан. Пилар насмешливо посмотрела на него, с гордостью вспоминая свои путешествия.

— Учись, Inglés, учись. Правильно делаешь. Учись. Так вот, после того, что тебе велено было сделать на пароходе, сойди рано утром вниз, к Толедскому мосту в Мадриде, и остановись около matadero[67]. Стой там на мостовой, мокрой от тумана, который наползает с Мансанареса, и дожидайся старух, что ходят до рассвета пить кровь убитой скотины. Выйдет такая старуха из matadero, кутаясь в шаль, и лицо у нее будет серое, глаза пустые, а на подбородке и на скулах торчит пучками старческая поросль, точно на проросшей горошине, — не щетина, а белесые ростки на омертвелой, восковой коже. И ты, Inglés, обними ее покрепче, прижми к себе и поцелуй в губы, и тогда ты узнаешь вторую составную часть этого запаха.

— У меня даже аппетит отбило, — сказал цы-

---

[67] Примечания: 67
Бойни (*исп.*).

ган. — Слушать тошно про эти ростки.

— Рассказывать дальше? — спросила Пилар Роберта Джордана.

— Конечно, — сказал он. — Учиться так учиться.

— С души воротит от этих ростков на старушечьих лицах, — сказал цыган. — Почему это на старух такая напасть, Пилар? Ведь у нас этого никогда не бывает.

— Ну еще бы! — насмешливо сказала Пилар. — У нас все старухи в молодости были стройные, — конечно, если не считать постоянного брюха, знака мужней любви, с которым цыганки никогда не расстаются…

— Не надо так говорить, — сказал Рафаэль. — Нехорошо это.

— Ах, ты обиделся, — сказала Пилар. — А тебе приходилось когда-нибудь видеть цыганку, которая не собиралась рожать или не родила только что?

— Вот ты.

— Брось, — сказала Пилар. — Обидеть всякого можно. Я говорю о том, что в старости каждый бывает уродлив на свой лад. Тут расписывать нечего. Но если Inglés хочет научиться распознавать этот запах, пусть сходит к matadero рано

утром.

— Обязательно схожу, — сказал Роберт Джордан. — Но я и так его учую, без поцелуев. Меня эти ростки на старушечьих лицах напугали не меньше, чем Рафаэля.

— Поцелуй старуху, Inglés, — сказала Пилар. — Поцелуй для собственной науки, а потом, когда в ноздрях у тебя будет стоять этот запах, вернись в город, и как увидишь мусорный ящик с выброшенными увядшими цветами, заройся в него лицом поглубже и вдохни всей грудью, так, чтобы запах гниющих стеблей смешался с теми запахами, которые уже сидят у тебя в носоглотке.

— Так, сделано, — сказал Роберт Джордан. — А какие это цветы?

— Хризантемы.

— Так. Я нюхаю хризантемы, — сказал Роберт Джордан. — А дальше что?

— Дальше нужно еще вот что, — продолжала Пилар. — Чтобы день был осенний, с дождем или с туманом, или чтобы это было ранней зимой. И вот в такой день погуляй по городу, пройдись по Калье-де-Салюд, когда там убирают casas de putas[68] и опоражнивают помойные ведра в

[68] Примечания: 68
Публичные дома (*исп.*).

сточные канавы, и как только сладковатый запах бесплодных усилий любви вместе с запахом мыльной воды и окурков коснется твоих ноздрей, сверни к Ботаническому саду, где по ночам те женщины, которые уже не могут работать в домах, делают свое дело у железных ворот парка, и у железной решетки, и на тротуаре. Вот тут, в тени деревьев, у железной ограды они проделывают все то, что от них потребует мужчина, начиная с самого простого за плату в десять сентимо и кончая тем великим, ценой в одну песету, ради чего мы вообще живем на свете. И там, на засохшей клумбе, которую еще не успели перекопать и засеять, на ее мягкой земле, куда более мягкой, чем тротуар, ты найдешь брошенный мешок, и от него будет пахнуть сырой землей, увядшими цветами и всем тем, что делалось на нем ночью. Этот мешок соединит в себе все — запах земли, и сухих стеблей, и гнилых лепестков, и тот запах, который сопутствует и смерти и рождению человека. Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него.

— Нет.

— Да, — сказала Пилар. — Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него. Вздохни поглубже, и тогда, если все прежние

запахи еще остались при тебе, ты услышишь тот запах близкой смерти, который все мы знаем.

— Хорошо, — сказал Роберт Джордан. — И ты говоришь, что так пахло от Кашкина, когда он был здесь?

— Да.

— Ну что же, — серьезно сказал Роберт Джордан. — Если это правда, то я хорошо сделал, что застрелил его.

— Ole, — сказал цыган.

Остальные засмеялись.

— Молодец, — похвалил Роберта Джордана Примитиво. — Это ей острастка.

— Слушай. Пилар, — сказал Фернандо. — Неужели ты думаешь, что такой образованный человек, как дон Роберто, будет заниматься такими гадостями?

— Нет, не думаю, — сказала Пилар.

— Ведь это же омерзительно.

— Да, — согласилась Пилар.

— Неужели ты думаешь, что он будет так себя унижать?

— Нет, не будет, — сказала Пилар. — Ложись-ка ты лучше спать, слышишь?

— Подожди, Пилар… — не унимался Фернандо.

— Замолчи! — с неожиданной злобой сказала

Пилар. — Не строй из себя дурака, и я тоже больше не буду, как дура, пускаться в разговоры с людьми, которые ничего не понимают.

— Да, признаться, я не понимаю... — начал было Фернандо.

— Оставь свои признания при себе и не ломай голову зря, — сказала Пилар. — Снег все еще идет?

Роберт Джордан подошел к выходу из пещеры, приподнял попону и выглянул наружу. Ночь была ясная и холодная, и метель утихла. Он посмотрел вдаль — на белизну между стволами, потом вверх — на чистое небо. У него захватило дыхание от свежего холодного воздуха.

Если Эль Сордо отправился сегодня добывать лошадей, сколько будет следов на снегу, подумал он. Потом опустил попону и вернулся в дымную пещеру.

— Прояснело, — сказал он. — Метель кончилась.

Глава двадцатая

Ночью он лежал и дожидался, когда девушка придет к нему. Ветра теперь не было, и сосны неподвижно стояли в ночной темноте. Стволы их четко выделялись на снегу, укрывшем все кругом, и он лежал в своем спальном мешке, чувствуя пружинящую упругость самодельной постели, и ноги у него были вытянуты во всю длину теплого мешка, бодрящий воздух обвевал ему голову и при каждом вдохе холодил ноздри. Он лежал на боку, а под голову вместо подушки положил сандалии, обернув их брюками и курткой; боком он чувствовал металлический холодок большого увесистого револьвера, который вынул из кобуры, когда раздевался, и привязал шнуром к кисти правой руки. Он отодвинул от себя револьвер и залез поглубже в мешок, не переставая смотреть на черную расщелину в скале где был вход в пещеру. Небо очистилось, и отраженного снегом света было вполне достаточно, чтобы видеть стволы деревьев и громаду скалы, где была пещера.

Перед тем как лечь, он взял топор, вышел из пещеры, прошагал по свежевыпавшему снегу в

дальний конец просеки и срубил молоденькую елку. В темноте он подтащил ее к отвесной скале близ пещеры. Там, выбрав место, защищенное от ветра скалой, он поставил елку стоймя и, держа ее за ствол левой рукой, правой ухватил топор у самого обуха и обрубил одну за другой все ветки, так что на снегу их набралась целая куча. Потом он бросил оголенный ствол и пошел в пещеру за доской, которую видел там у стены. Этой доской он расчистил место у скалы, подобрал ветки и, стряхнув с каждой снег, уложил их пушистыми султанчиками тесно одну к другой в несколько рядов, смастерив таким образом подстилку для своего спального мешка. Обрубленный ствол он положил в ногах поперек этой подстилки, чтобы ветки не топорщились, и с обеих сторон укрепил его, забив в землю деревянные колышки, отщепленные от края доски.

Потом он пошел обратно, в пещеру, нырнул под попону и поставил доску и топор у стены.

— Что ты делал? — спросила Пилар.

— Смастерил себе постель.

— Я из этой доски полку собиралась сделать, а ты ее изрубил.

— Виноват.

— Ничего, это не важно, — сказала она. — На

лесопилке доски найдутся. Какую ты себе постель сделал?

— Такую, как у меня на родине делают.

— Ну что ж, спи на ней крепче, — сказала она, а Роберт Джордан открыл один из своих рюкзаков, вытянул оттуда спальный мешок, завернутые в него вещи уложил заново, вынес мешок из пещеры, снова нырнув головой под попону, и разостлал его поверх веток закрытым концом к обрубленному стволу, укрепленному колышками в ногах постели. Открытый конец мешка приходился под самой скалой. Потом он вернулся в пещеру за рюкзаками, но Пилар сказала ему:

— Они и эту ночь могут со мной переночевать.

— А часовых сегодня разве не будет? — спросил он. — Ночь ясная, и метель кончилась.

— Фернандо пойдет, — сказала Пилар.

Мария стояла в дальнем конце пещеры, и Роберт Джордан не видел ее.

— Спокойной ночи вам всем, — сказал он. — Я иду спать.

Из тех, кто расстилал одеяла и матрацы на земляном полу перед очагом и отставлял подальше дощатые столы и крытые сыромятной кожей табуретки, расчищая место для спанья, только Примитиво и Андрес оглянулись на него и сказа-

ли: «Buenas noches»[69].

Ансельмо уже спал в уголке, завернувшись с головой в одеяло и плащ. Пабло уснул сидя.

— Дать тебе овчину для твоей постели? — негромко спросила Роберта Джордана Пилар.

— Нет, — сказал он. — Спасибо. Мне ничего не нужно.

— Спи спокойно, — сказала она. — Я за твои вещи отвечаю.

Фернандо вышел вместе с Робертом Джорданом и постоял около него, пока он раскладывал спальный мешок.

— Странная тебе пришла мысль в голову, дон Роберто, спать на воздухе, — сказал он, стоя в темноте, закутанный в плащ и с карабином за плечом.

— А я привык так. Спокойной ночи.

— Если привык, тогда ничего.

— Когда тебя сменяют?

— В четыре часа.

— До четырех еще промерзнешь.

— Я привык, — сказал Фернандо.

— Ну, если привык, тогда ничего, — вежливо сказал Роберт Джордан.

---

[69] Примечания: 69
Доброй ночи (*исп.*).

— Да, — согласился Фернандо. — Ну, надо идти. Спокойной ночи, дон Роберто.

— Спокойной ночи, Фернандо.

А потом он устроил себе подушку из снятой одежды, забрался в мешок, улегся там и стал ждать, чувствуя пружинящие еловые ветки сквозь фланелевое пуховое легкое тепло, пристально глядя на вход, в пещеру над снежной белизной, чувствуя, как бьется сердце в эти минуты ожидания.

Ночь была ясная, и голова у него была ясная и холодная, как ночной воздух. Он вдыхал аромат еловых веток, хвойный запах примятых игл и более резкий аромат смолистого сока, проступившего в местах среза. Пилар, думал он, Пилар и запах смерти. А я люблю такой запах, как вот сейчас. Такой и еще запах свежескошенного клевера и примятой полыни, когда едешь за стадом, запах дыма от поленьев и горящей осенней листвы. Так пахнет, должно быть, тоска по родине — запах дыма, встающего над кучами листьев, которые сжигают осенью на улицах в Миссуле. Какой запах ты бы выбрал сейчас? Нежную травку, которой индейцы устилают дно корзин? Прокопченную кожу? Запах земли после весеннего дождя? Запах моря, когда пробираешься сквозь

прибрежные заросли дрока в Галисии? Или бриза, веющего в темноте с берегов Кубы? Он пахнет цветущими кактусами и диким виноградом. А может быть, выберешь запах поджаренной грудинки утром, когда хочется есть? Или утреннего кофе? Или надкушенного с жадностью яблока? Или сидра в давильне, или хлеба, только что вынутого из печи? Ты, должно быть, проголодался, подумал он и лег на бок и снова стал смотреть на вход в пещеру при отраженном снегом свете звезд.

Кто-то вылез из-под попоны, и он видел, что этот человек стал у расщелины скалы, которая служила входом в пещеру. Потом он услышал, как скрипнул снег под ногами, и человек нырнул под попону и снова скрылся в пещере.

Она, должно быть, не придет до тех пор, пока все не уснут, подумал он. Сколько времени пропадет даром. Полночи уже прошло. Ох, Мария! Приходи поскорей, Мария, ведь времени мало. Он услышал мягкий шорох снега, упавшего с ветки на землю, покрытую снегом. Подул легкий ветерок. Он почувствовал его у себя на лице. Вдруг ему стало страшно, что она не придет. Поднявшийся ветер напомнил о близости утра. С веток снова посыпался снег, и он услышал, как ветер шевелит

верхушки сосен.

Ну же, Мария! Приходи поскорее, думал он. Приходи. Не жди там. Теперь уже не так важно дожидаться, когда они заснут.

И тут он увидел, как она показалась из-за попоны, закрывавшей вход в пещеру. Она остановилась там на минутку, и он знал, что это она, но не мог разглядеть, что она делает. Он тихо свистнул, а она все еще стояла у входа в пещеру и что-то делала там, скрытая густой тенью, падающей от скалы. Потом она побежала к нему, держа что-то в руках, и он видел, как она, длинноногая, бежит по снегу. Потом она опустилась рядом на колени, стукнувшись об него головой с размаху, и отряхнула снег с босых ног. И поцеловала его и сунула ему сверток.

— Положи это вместе с твоей подушкой, — сказала она. — Я сняла все там, чтобы не терять времени.

— Босая — по снегу?

— Да, — сказала она, — и в одной свадебной рубашке.

Он крепко прижал ее к себе, и она потерлась головой о его подбородок.

— Не дотрагивайся до ног, — сказала она. — Они очень холодные, Роберто.

— Давай их сюда, грейся.

— Нет, — сказала она. — Они и так скоро согреются. А ты скажи поскорее, что любишь меня.

— Я люблю тебя.

— Вот так. Так. Так.

— Я люблю тебя, зайчонок.

— А мою свадебную рубашку любишь?

— Это все та же, прежняя?

— Да. Та же, что прошлой ночью. Это моя свадебная рубашка.

— Дай сюда ноги.

— Нет. Тебе будет неприятно. Они и так согреются. Они теплые. Это только сверху они холодные от снега. Скажи еще раз.

— Я люблю тебя, зайчонок.

— Я тебя тоже люблю, и я твоя жена.

— Там уже спят?

— Нет, — сказала она. — Но я больше не могла. Да и какое это имеет значение?

— Никакого, — сказал он, чувствуя ее всем своим телом, тоненькую, длинную, чудесно теплую. — Сейчас ничто не имеет значения.

— Положи мне руку на голову, — сказала она, — а я попробую поцеловать тебя. Так хорошо? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Сними свою свадебную

рубашку.

— Надо снять?

— Да, если только тебе не холодно.

— Qué va, холодно. Я как в огне.

— Я тоже. А потом тебе не будет холодно?

— Нет. Потом мы будем как лесной зверек, один зверек, и мы будем так близко друг к другу, что не разобрать, где ты и где я. Ты чувствуешь? Мое сердце — это твое сердце.

— Да. Не различишь.

— Ну вот. Я — это ты, и ты — это я, и каждый из нас — мы оба. И я люблю тебя, ох, как я люблю тебя. Ведь правда, что мы с тобой одно? Ты чувствуешь это?

— Да, — сказал он. — Правда.

— А теперь чувствуешь? У тебя нет своего сердца — это мое.

— И своих ног нет, и рук нет, и тела нет.

— Но мы все-таки разные, — сказала она. — А я хочу, чтобы мы были совсем одинаковые.

— Ты глупости говоришь.

— Да. Хочу. Хочу. И я хотела тебе сказать про это.

— Ты глупости говоришь.

— Ну, пусть глупости, — тихо сказала она, уткнувшись ему в плечо. — Но мне хотелось так

сказать. Если уж мы с тобой разные, так я рада, что ты Роберто, а я Мария. Но если тебе захочется поменяться, я поменяюсь с радостью. Я буду тобой, потому что я люблю тебя.

— Я не хочу меняться. Лучше быть как одно и чтобы каждый оставался самим собой.

— И мы сейчас будем как одно и никогда больше не расстанемся. — Потом она сказала: — Я буду тобой, когда тебя не будет здесь. Как я люблю тебя, как мне надо заботиться о тебе!

— Мария.

— Да.

— Мария.

— Да.

— Мария.

— Да. Да.

— Тебе холодно?

— Нет. Натяни мешок на плечи.

— Мария.

— Я не могу говорить.

— О Мария, Мария, Мария!

Потом, после, тесно прижавшись к нему в длинном теплом мешке, куда не проникал ночной холод, она лежала молча, прижавшись головой к его щеке, счастливая, и потом тихо сказала:

— А тебе?

— Como tu[70], — сказал он.

— Да, — сказала она. — Но днем было по-другому.

— Да.

— А мне так лучше. Умирать не обязательно.

— Ojala no, — сказал он. — Надеюсь, что нет.

— Я не об этом.

— Я знаю. Я знаю, о чем ты думаешь. Мы думаем об одном и том же.

— Тогда зачем же ты заговорил не о том, о чем я думала?

— У нас, мужчин, мысли идут по-другому.

— Тогда я рада, что мы с тобой разные.

— Я тоже рад, — сказал он. — Но я понимаю, о каком умирании ты говорила. Это я просто так сказал, по своей мужской привычке. А чувствую я то же, что и ты.

— Что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, это так и должно быть.

— Я люблю тебя, и я люблю твое имя, Мария.

— Оно самое обыкновенное.

— Нет, — сказал он. — Оно не обыкновенное.

— А теперь давай спать, — сказала она. — Я засну быстро.

---

[70] Примечания: 70
Как и тебе (*исп.*).

— Давай спать, — сказал он, чувствуя рядом с собой длинное легкое тело, чувствуя, как оно согревает его своим теплом, успокаивает его, словно по волшебству прогоняет его одиночество одним лишь прикосновением бедер, плеч и ног, вместе с ним ополчается против смерти, и он сказал: — Спи спокойно, длинноногий зайчонок.

Она сказала:

— Я уже сплю.

— Я сейчас тоже засну, — сказал он. — Спи спокойно, любимая.

Потом он заснул, и во сне он был счастлив.

Но среди ночи он проснулся и крепко прижал ее к себе, словно это была вся его жизнь и ее отнимали у него. Он обнимал ее, чувствуя, что вся жизнь в ней, и это на самом деле было так. Но она спала крепко и сладко и не проснулась. Тогда он лег на бок и натянул край мешка ей на голову и поцеловал ее в шею, а потом подтянул шнур и положил револьвер рядом, чтобы он был под рукой, и так он лежал и думал в ночной темноте.

Глава двадцать первая

На рассвете подул теплый ветер, и Роберт Джордан слышал, как снег на деревьях подтаивает и тяжело падает вниз. Утро было весеннее. С первым же глотком воздуха он понял, что прошедшая метель — это обычная причуда горного климата и что к полудню снег стает. Потом он услышал стук лошадиных копыт; забитые мокрым снегом, они глухо топали на рыси. Он услышал шлепанье карабинного чехла о седло и скрип кожи.

— Мария, — сказал он и тряхнул девушку за плечо, чтобы она проснулась. — Спрячься в мешок. — И он застегнул одной рукой ворот рубашки, а другой схватился за револьвер и спустил предохранитель. Стриженая голова девушки нырнула в мешок, и в ту же минуту он увидел всадника, выезжающего из-за деревьев. Он весь сжался в мешке и, держа револьвер обеими руками, прицелился в человека, который приближался к нему. Он никогда раньше не видел этого человека.

Всадник теперь почти поравнялся с ним. Он ехал на крупном сером мерине, и на нем был

плащ, накинутый на манер пончо, берет цвета хаки и высокие черные сапоги. Из чехла, висевшего на седле справа, торчал приклад и продолговатый магазин автомата. Лицо у всадника было юное, резко очерченное: еще мгновение, и он увидел Роберта Джордана.

Его рука потянулась вниз, к чехлу, и когда он низко пригнулся в седле, стараясь одним рывком выхватить автомат из чехла, Роберт Джордан увидел у него слева на плаще красную эмблему.

Прицелившись ему в середину груди, чуть пониже эмблемы, Роберт Джордан выстрелил.

Выстрел громыхнул в тишине заснеженного леса.

Лошадь метнулась, словно пришпоренная, а молодой человек скользнул вниз, все еще цепляясь за чехол автомата, и правая нога у него застряла в стремени. Лошадь понеслась по лесу, волоча его за собой лицом вниз, подкидывая его на неровностях почвы, и тогда Роберт Джордан встал, держа револьвер в правой руке.

Крупный серый конь галопом мчался между деревьями. Волочившееся тело оставляло за собой широкую полосу примятого снега, окрашенную с одной стороны красным. Из пещеры выбегали люди. Роберт Джордан нагнулся, вытащил из

свертка брюки и стал натягивать их.

— Оденься, — сказал он Марии.

Он услышал шум самолета, летевшего высоко в небе. Впереди он видел серого коня, остановившегося между деревьями, и всадника, который все еще висел лицом вниз, застряв одной ногой в стремени.

— Пойди приведи лошадь, — крикнул он Примитиво, который бежал к нему. Потом: — Кто был на верхнем посту?

— Рафаэль, — крикнула Пилар из пещеры. Она стояла у входа, волосы у нее были еще не подобраны и висели двумя косами вдоль спины.

— Кавалерийский разъезд близко, — сказал Роберт Джордан. — Где он, ваш пулемет? Давайте его сюда.

Он слышал, как Пилар крикнула, обернувшись назад: «Агустин!» Потом она ушла в пещеру, и оттуда выбежали двое — один с ручным пулеметом на плече треногой вперед, другой с мешком, в котором были диски.

— Отправляйся с ними туда, наверх, — сказал Роберт Джордан Ансельмо. — Ляжешь и будешь держать треногу, — сказал он.

Ансельмо и те двое побежали по тропинке, уходившей вверх между деревьями.

Солнце еще не вышло из-за гор; Роберт Джордан, выпрямившись, застегивал брюки и затягивал пояс, револьвер все еще был привязан у него к кисти руки. Потом он сунул его в кобуру на поясе, распустил петлю и надел ее себе на шею.

Когда-нибудь тебя удушат вот этой штукой, подумал он. Ну что ж, револьвер свое дело сделал. Он вытащил его из кобуры, вынул обойму, вставил в нее один патрон из патронташа на кобуре и вернул обойму на место.

Он посмотрел сквозь деревья, туда, где Примитиво, держа лошадь под уздцы, высвобождал ногу кавалериста из стремени. Убитый висел, уткнувшись лицом в снег, и Роберт Джордан увидел, как Примитиво обшаривает его карманы.

— Эй! — крикнул он. — Веди лошадь сюда.

Присев на землю, чтобы надеть свои сандалии на веревочной подошве, Роберт Джордан услышал, как Мария, одеваясь, возится в мешке. Сейчас в его жизни уже не было места для нее.

Этот кавалерист ничего такого не ждал, думал Роберт Джордан. Он ехал вовсе не по следам и не только не был начеку, но не считал нужным соблюдать осторожность. Он даже не заметил следов, которые ведут к верхнему посту. Он, должно быть, из какого-нибудь кавалерийского разъезда,

их много здесь, в горах. Но скоро его хватятся и придут сюда по его же следу. Если только снег не растает до тех пор, подумал он. Если только с самим разъездом ничего не случится.

— Ты бы пошел вниз, — сказал он Пабло.

Теперь все они вышли из пещеры и стояли с карабинами в руках и с гранатами за поясом. Пилар протянула Роберту Джордану кожаную сумку с гранатами, он взял три и сунул их в карман. Потом нырнул под попону, разыскал свои рюкзаки, открыл тот, в котором был автомат, вынул приклад и ствол, насадил ложу, соединил их, вставил магазин, еще три положил в карман, запер замок рюкзака и шагнул к выходу. Полны карманы скобяного товара, подумал он. Только бы не лопнули по швам. Он вышел из пещеры и сказал Пабло:

— Я пойду наверх. Агустин умеет обращаться с пулеметом?

— Да, — сказал Пабло. Он не сводил глаз с Примитиво, который вел лошадь. — Mira qué caballo, — сказал он. — Полюбуйтесь, какой конь!

Серый весь взмок от пота и чуть дрожал, и Роберт Джордан похлопал его по холке.

— Я поставлю его вместе с остальными, — сказал Пабло.

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Его следы ведут сюда. Надо, чтобы они вывели обратно.

— Правильно, — согласился Пабло. — Я уеду на нем отсюда и припрячу где-нибудь, а когда снег растает, приведу обратно. У тебя сегодня хорошо работает голова, Inglés.

— Пошли кого-нибудь вниз, — сказал Роберт Джордан. — А нам надо пойти наверх.

— Это ни к чему, — сказал Пабло. — Туда верхом не проехать. Но мы сможем выбраться отсюда; кроме этой, я знаю еще две дороги. А сейчас лучше не оставлять лишних следов, на случай, если появятся самолеты. Дай мне bota с вином, Пилар.

— Опять напьешься до бесчувствия? — сказала Пилар. — Вот возьми лучше это. — Она протянула руку и сунула ему в карман две гранаты.

— Qué va, напьешься, — сказал Пабло. — Тут положение серьезное. Все равно дай мне bota. Не воду же пить, когда едешь на такое дело.

Он поднял руки, взял повод и вскочил в седло. Потом усмехнулся и погладил беспокоившуюся лошадь. Роберт Джордан видел, как он с нежностью сжал бока лошади шенкелями.

— Qué caballo más bonito[71], — сказал Пабло и

---

[71] Примечания: 71
Какой красивый конь (*исп.*).

погладил серого. — Qué caballo más hermoso[72]. Ну, трогай. Чем скорее выведу тебя отсюда, тем лучше.

Он потянулся вниз, вынул из чехла легкий автомат с предохранительным кожухом, вернее, пистолет-пулемет, приспособленный под девятимиллиметровые патроны, и оглядел его со всех сторон.

— Вот это вооружение, — сказал он. — Вот это современная кавалерия.

— Вот она, современная кавалерия, носом в землю лежит, — сказал Роберт Джордан. — Vamonos. Андрес, оседлай лошадей и держи их наготове. Если услышишь стрельбу, подъезжай с ними к просеке. Захвати с собой оружие, а лошадей пусть держат женщины. Фернандо, тебе поручаю мои мешки, их тоже надо захватить. Только, пожалуйста, поосторожнее с ними. Ты тоже следи за мешками, — сказал он Пилар. — На твою ответственность, чтобы захватили их вместе с лошадьми. Vamonos, — сказал он. — Пошли.

— Мы с Марией подготовим все к уходу, — сказала Пилар. — Полюбуйся на него, — обратилась она к Роберту Джордану, показав на Пабло, кото-

---

[72] Примечания: 72
Какой великолепный конь (*исп.*).

рый грузно, как настоящий vaquero[73], восседал на сером, испуганно раздувавшем ноздри, и вставлял новый магазин в автомат. — Видишь, какой он стал от этой лошади.

— Мне бы сейчас двух таких лошадей, — горячо сказал Роберт Джордан.

— Опасность — вот твоя лошадь.

— Ну, тогда дайте мне мула, — усмехнулся Роберт Джордан. — Обчисть-ка его, — сказал он Пилар и мотнул головой в сторону убитого, который лежал, уткнувшись лицом в снег. — Возьми все — письма, бумаги и положи в рюкзак, в наружный карман. Все возьми, поняла?

— Да.

— Vamonos, — сказал он.

Пабло ехал впереди, а двое мужчин шли за ним гуськом, чтобы не оставлять лишних следов. Роберт Джордан нес свой автомат дулом вниз, держа его за переднюю скобу. Хорошо бы, если б к нему подошли патроны от автомата убитого, подумал он. Да нет, не подойдут. Это немецкий автомат. Это автомат Кашкина.

Солнце встало из-за гор. Дул теплый ветер, и снег таял. Было чудесное весеннее утро.

---

[73] Примечания: 73
Пастух (*исп.*).

Роберт Джордан оглянулся и увидел, что Мария стоит рядом с Пилар. Потом она бросилась бегом вверх по тропинке. Он пропустил Примитиво вперед и остановился поговорить с ней.

— Слушай, — сказала она. — Можно, я пойду с тобой?

— Нет. Помоги Пилар.

Она шла за ним, держа его за локоть.

— Я пойду с тобой.

— Нет.

Она продолжала идти вплотную за ним.

— Я буду держать треногу пулемета, как ты учил Ансельмо.

— Никакой треноги ты держать не будешь.

Она поравнялась с ним, протянула руку и сунула ему в карман.

— Нет, — сказал он. — Ты лучше позаботься о своей свадебной рубашке.

— Поцелуй меня, — сказала она, — раз ты уходишь.

— Стыда в тебе нет, — сказал он.

— Да, — сказала она. — Совсем нет.

— Уходи. Работы у нас будет много. Если они придут сюда по следам, придется отстреливаться.

— Слушай, — сказала она. — Ты видел, что у

него было на груди?

— Да. Конечно, видел.

— Сердце Иисусово.

— Да, его наваррцы носят.

— И ты метил в него?

— Нет. Пониже. А теперь уходи.

— Слушай, — сказала она. — Я все видела.

— Ничего ты не видела. Какой-то человек. Какой-то человек верхом на лошади. Уходи.

— Скажи, что любишь меня.

— Нет. Сейчас нет.

— Не любишь сейчас?

— Déjamos[74]. Уходи. Нельзя все сразу — и любить, и заниматься этим делом.

— Я хочу держать треногу пулемета, и когда он будет стрелять, я буду любить тебя — все сразу.

— Ты сумасшедшая. Уходи.

— Нет, я не сумасшедшая, — сказала она. — Я люблю тебя.

— Тогда уходи.

— Хорошо. Я уйду. А если ты меня не любишь, то я люблю тебя за двоих.

Он взглянул на нее и улыбнулся, продолжая думать о своем.

---

[74] Примечания: 74
Оставим это (*исп.*).

— Когда услышите стрельбу, — сказал он, — уводите лошадей. Помоги Пилар управиться с моими мешками. Может, ничего такого и не будет. Я надеюсь, что не будет.

— Я ухожу, — сказала она. — Посмотри, какая лошадь у Пабло.

Серый шел вверх по тропе.

— Да. Ну, уходи.

— Уйду.

Ее рука, стиснутая в кулак у него в кармане, уперлась ему в бедро. Он взглянул на нее и увидел, что она плачет. Она выдернула кулак из кармана, крепко обняла Роберта Джордана обеими руками за шею и поцеловала.

— Иду, — сказала она. — Me voy. Иду.

Он оглянулся и увидел, что она все еще стоит на месте в первых утренних лучах, освещающих ее смуглое лицо и стриженую золотисто-рыжеватую голову. Она подняла кулак, потом повернулась и, понурившись, пошла вниз по тропинке.

Примитиво обернулся и посмотрел ей вслед.

— Хорошенькая была бы девчонка, если бы не стриженые волосы, — сказал он.

— Да, — сказал Роберт Джордан. Он думал о чем-то другом.

— А как она в постели? — спросил Примитиво.

— Что?

— В постели как?

— Придержи язык.

— Чего же тут обижаться, когда…

— Довольно, — сказал Роберт Джордан. Он оглядывал выбранную позицию.

Глава двадцать вторая

— Наломай мне сосновых веток, — сказал Роберт Джордан Примитиво, — только поскорее. Совсем это не хорошее место для пулемета, — сказал он Агустину.

— Почему?

— Ставь его вот сюда, — Роберт Джордан указал пальцем, — объясню потом. Вот так. Давай помогу. Вот, — сказал он, присаживаясь на корточки.

Он глянул в узкую, продолговатую расселину, замечая высоту скал с одной и с другой стороны.

— Надо выдвинуть его дальше, — сказал он, — дальше, сюда. Вот. Хорошо. Ну, пока сойдет, а там надо будет сделать все как следует. Так. Подложи здесь несколько камней. Вот, возьми. Теперь другой, с этой стороны. Оставь зазор, так, чтобы можно было поворачивать ствол. Этот камень поближе сюда. Ансельмо! Сходи в пещеру и принеси мне топор. Побыстрее. Неужели у вас не было настоящей огневой точки? — спросил он Агустина.

— Мы всегда его ставили здесь.

— Это вам Кашкин так велел?

— Нет. Пулемет нам принесли, когда Кашкина уже тут не было.

— А тот, кто принес, не знал разве, как с ним обращаться?

— Нет. Принесли носильщики.

— Как это у нас все делается! — сказал Роберт Джордан. — Значит, вам его дали без всяких инструкций?

— Ну да, просто в подарок. Один нам и один Эль Сордо. Четыре человека их принесли. Ансельмо ходил с ними проводником.

— Удивительно, как еще они не попались — вчетвером переходить линию фронта!

— Я и сам думал об этом, — сказал Агустин. — Я думал, тот, кто их послал, так и рассчитывал, что они попадутся. Но Ансельмо провел их благополучно.

— Ты умеешь обращаться с пулеметом?

— Да. Выучился. Я умею. Пабло умеет. Примитиво умеет. И Фернандо тоже. Мы все его разбирали и опять собирали на столе в пещере, так и выучились. Один раз как разобрали, так два дня собрать не могли. С тех пор уже больше не разбирали.

— Но он действует?

— Да. Только мы цыгану и остальным не даем им баловаться.

— Вот видишь. Так, как он у вас стоял, от него никакого толку не было, — сказал Роберт Джордан. — Смотри. Эти скалы не столько защищают с флангов, сколько служат прикрытием для тех, кто на тебя нападает. Для такого пулемета нужно ровное поле обстрела. Но нужно, чтобы у тебя была возможность попадать и сбоку. Понял? Вот смотри. Теперь все это пространство простреливается.

— Вижу, — сказал Агустин. — Нам, понимаешь, никогда не приходилось обороняться, только разве когда наш город брали. В деле с эшелоном — там были солдаты с máquina.

— Будем учиться все вместе, — сказал Роберт Джордан. — Нужно только соблюдать главные правила. Где же цыган, ведь его пост здесь?

— Не знаю.

Пабло проехал по ущелью, повернул и сделал круг на ровной поляне, ставшей полем обстрела для пулемета. Потом Роберт Джордан увидел, что он спускается по склону, держась вдоль следа, оставленного лошадью, когда она шла вверх. Доехав до леса, он свернул влево и исчез за деревьями.

Не наткнулся бы он на кавалерийский разъезд, подумал Роберт Джордан. А то прямо поведет

на нас.

Примитиво натаскал сосновых веток, и Роберт Джордан стал втыкать их сквозь снег в немерзлую землю рядом с пулеметом, так что они прикрыли его с обеих сторон.

— Неси еще, — сказал он. — Надо устроить укрытие для всех, кто будет при пулемете. Не очень это хорошо получается, но пока сойдет, а когда Ансельмо принесет топор, мы еще подправим. Теперь вот что, — сказал он. — Если услышишь самолет, ложись сейчас же так, чтобы на тебя падала тень от скалы. Я буду тут, у пулемета.

Солнце уже стояло высоко, дул легкий ветер, и среди скал, на солнце, было тепло и приятно. Четыре лошади, думал Роберт Джордан. Две женщины, я, Ансельмо, Примитиво, Фернандо, Агустин, потом этот, старший из братьев, фу, черт, никак не вспомню, как его зовут. Уже восемь. Это не считая цыгана. Значит, девять. Еще Пабло, ну, у того теперь своя лошадь, можно не считать. Андрес, вот как его зовут, старшего брата. Потом еще другой брат. Эладио. Десять. Это выходит меньше, чем по половине лошади на человека. Трое, скажем, останутся здесь и будут обороняться, а четверо могут уйти. Пятеро, считая Пабло. Остается еще двое, с Эладио даже трое. Где он,

кстати сказать?

Один бог знает, что будет сегодня с Глухим, если до него доберутся по следам на снегу. И надо же было, чтоб снег перестал именно тогда. Но он быстро растает, и это спасет дело. Только не для Глухого. Боюсь, что для Глухого дела уже не спасешь.

Если только сегодня день пройдет спокойно и нам не придется драться, мы завтра управимся — даже теми силами, которые у нас есть. Я знаю, что управимся. Может быть, не очень хорошо. Не так чисто, как следовало бы, не так, как хотелось бы все сделать, но, максимально используя всех, мы управимся. *Только бы нам не пришлось драться сегодня*. Не дай бог, чтобы нам пришлось сегодня драться.

А пока надо отсиживаться здесь, лучше ничего не придумаешь. Если двинуться куда-нибудь, мы только оставим лишние следы. Место, в конце концов, подходящее, а если бы дело дошло до самого худшего, здесь есть три дороги. А там наступит ночь, и в темноте можно откуда угодно добраться до моста, чтоб утром сделать то, что нужно. Не знаю, почему меня это все так тревожило раньше. Ничего тут трудного нет. Хоть бы только самолеты вовремя поднялись в воздух.

Хоть бы только это. Завтра на дороге будет пыль столбом.

Да, а сегодня день будет очень тихий или очень бурный. Слава богу, что мы спровадили отсюда кавалерийского коня. Даже если разъезд нападет теперь на его след, едва ли они разберутся, куда этот след ведет. Подумают, что их головной остановился и повернул назад, и поедут по новому следу Пабло. Интересно, куда отправилась эта свинья. Должно быть, постарается запутать следы, а потом, когда весь снег растает, сделает круг и понизу вернется сюда. От этой лошади он, правда, сам не свой. Может быть, и сбежит с ней вместе. Ну ладно, пусть сам заботится о себе. Ему не привыкать. А у меня к нему все-таки особенного доверия нет.

Чем устраивать тут настоящую огневую точку, выгоднее использовать эти скалы и получше замаскировать пулемет там, где он стоит, а то начнешь рыть и копать — и влипнешь, если вдруг наскочит кавалерия или налетят самолеты. Можно и так удерживаться здесь до тех пор, пока в этом будет смысл, все равно я не могу здесь долго оставаться. Я должен взять свои материалы и двигаться к мосту, и Ансельмо тоже со мной пойдет. А если затеять тут бой, кто же тогда оста-

нется, чтобы прикрывать нас?

И тут, оглядываясь по сторонам, он увидел цыгана, выходившего слева из-за скалы. Он шел вразвалку, покачивая бедрами, карабин был у него за плечом, его смуглое лицо все расплылось в улыбке, и в каждой руке он нес по большому убитому зайцу. Он держал их за ноги, и они раскачивались на ходу.

— Hola, Роберто! — весело крикнул он.

Роберт Джордан прикрыл рот рукой, и цыган испуганно осекся. Прячась за скалами, он проскользнул к тому месту, где Роберт Джордан сидел на корточках у прикрытого ветками пулемета. Он тоже присел на корточки и положил зайцев в снег. Роберт Джордан взглянул на него.

— Ах ты hijo de la gran puta[75], — сказал он тихо. — Где ты шляешься, так тебя и так?

— Я шел за ними по следу, — сказал цыган. — Вот достал обоих. Они свадьбу справляли в лесу.

— А твой пост?

— Я же совсем недолго, — прошептал цыган. — А что? Что-нибудь случилось?

— Кавалерийский разъезд был здесь.

---

[75] Примечания: 75
Сын шлюхи (*исп.*).

— Rediós![76] — сказал цыган. — Ты сам их видел?

— Один и сейчас в лагере, — сказал Роберт Джордан. — Приехал в гости к завтраку.

— Мне чудилось, будто я слышал выстрел, — сказал цыган. — Ах, так и так, в бога, в душу! Где же он прошел? Здесь?

— Здесь. Через твой пост.

— Ау, mi madre![77] — сказал цыган. — Бедный я, несчастный человек.

— Не будь ты цыган, я бы тебя расстрелял.

— Нет, Роберто. Не говори так. Мне очень жаль. Это все зайцы. Перед самым рассветом я услышал, как самец топчется на снегу. Ты себе представить не можешь, что они там разделывали. Я сразу бросился на шум, но они удрали. Тогда я пошел по следу, и там, высоко, настиг их и убил обоих. Ты пощупай, жиру сколько, и это в такую пору. Представляешь, что нам Пилар приготовит из них! Мне очень жаль, Роберто, не меньше, чем тебе. А этого кавалериста убили?

— Да.

— Кто, ты?

---

[76] Примечания: 76
Господи ты боже мой! (*исп.*)

[77] Примечания: 77
Ай, мама моя! (*исп.*)

— Да.

— Qué tio![78] — сказал цыган, явно желая польстить. — Ты просто чудо какое-то.

— Иди ты! — сказал Роберт Джордан. Он не мог удержать улыбки. — Тащи своих зайцев в лагерь, а нам принеси чего-нибудь позавтракать.

Он протянул руку и пощупал зайцев; они лежали на снегу безжизненные, длинные, тяжелые, пушистые, долгоногие, долгоухие, с открытыми черными глазами.

— А в самом деле жирные, — сказал он.

— Жирные! — сказал цыган. — Да у них у каждого бочка сала на ребрах. Таких зайцев я и во сне никогда не видел.

— Ну, ступай, — сказал Роберт Джордан, — и побыстрей возвращайся с завтраком, да захвати мне документы того requeté[79]. Пилар тебе их даст.

— Ты на меня не сердишься, Роберто?

— Не сердишься! Я возмущен, как это можно было бросить пост. А что, если бы наехал целый кавалерийский эскадрон?

— Rediós, — сказал цыган. — Какой ты разумный.

---

[78] Примечания: 78
Какой молодец! (*исп.*)

[79] Примечания: 79
Член одной из монархистских организаций.

— Слушай меня. Чтоб ты никогда больше не смел уходить с поста. Никогда. Такими словами, как расстрел, я попусту не кидаюсь.

— Понятно, больше не буду. А потом, знаешь что? Никогда больше не выпадет случая, чтобы два таких зайца сразу. Такое только раз в жизни бывает.

— Anda![80] — сказал Роберт Джордан. — И скорей приходи.

Цыган подхватил зайцев и скрылся между скалами, а Роберт Джордан опять перевел взгляд на открытую поляну и склон горы за ней. Две вороны, описав круг, опустились на сосну, росшую ниже по склону. К ним подлетела третья, и Роберт Джордан подумал: вот мои часовые. Пока они сидят спокойно, можно с этой стороны никого не ждать.

Цыган, подумал он. Ну какой от него толк? Он безграмотен политически, недисциплинирован, и на него ни в чем нельзя положиться. Но он мне нужен для завтрашнего. Завтра у меня для него найдется дело. Цыган на войне — это даже как-то не вяжется. Таких надо бы освобождать от военной службы, как освобождают по моральным

---

[80] Примечания: 80
Ступай! (*исп.*)

убеждениям. Все равно от них никакого толку. Но в эту войну по моральным убеждениям не освобождали. Никого не освобождали. Война захватывала всех одинаково. Ну вот, теперь она добралась и до этой оравы бездельников. Она теперь здесь.

Вернулись Агустин и Примитиво с ветками, и Роберт Джордан тщательно замаскировал пулемет, замаскировал так, что с воздуха ничего нельзя было заметить, а со стороны леса все выглядело вполне естественно. Он указал им удобное место для наблюдательного поста: на высокой скале справа, откуда видно было все кругом, а единственный подход слева можно было взять под наблюдение с другой точки.

— Только если ты кого-нибудь увидишь оттуда, не стреляй, — сказал Роберт Джордан. — Брось сюда камень, маленький камушек, чтобы привлечь внимание, а потом сигнализируй винтовкой, вот так. — Он поднял винтовку над головой, словно защищаясь от чего-то. — Сколько их — покажешь так. — Он несколько раз махнул винтовкой вверх и вниз. — Если пешие, держи винтовку дулом вниз. Вот так. Но не стреляй оттуда, пока не услышишь пулеметную стрельбу. Целиться с такой высоты надо в колени. Если я два раза свистну,

спускайся, держась под прикрытием, сюда, к máquina.

Примитиво поднял винтовку.

— Я понял, — сказал он. — Это очень просто.

— Значит, сначала ты бросаешь камушек, чтобы обратить внимание, потом показываешь, откуда и сколько человек. Но смотри, чтобы тебя не заметили.

— Да, — сказал Примитиво. — А гранату тоже нельзя бросать?

— Только после того, как заработает пулемет. Может случиться так, что конные проедут мимо, разыскивая своего товарища, а к нам и не заглянут. Может быть, они поедут по следам Пабло. Если можно избежать боя, надо его избежать. Надо всеми силами стараться его избежать. Ну, лезь наверх.

— Me voy, — сказал Примитиво и стал карабкаться по крутой скале.

— Теперь ты, Агустин, — сказал Роберт Джордан. — Что ты умеешь делать с пулеметом?

Агустин присел на корточки, высокий, черный, обросший щетиной, с провалившимися глазами, с узким ртом и большими, загрубелыми от работы руками.

— Pues[81], заряжать его умею. Наводить. Стрелять. Больше не умею ничего.

— Помни, стрелять нужно, только подпустив их на пятьдесят метров, и то если ты окончательно убедишься, что они направляются к пещере, — сказал Роберт Джордан.

— Ладно. А как я буду знать, где пятьдесят метров?

— Вон у той скалы. Если среди них будет офицер, стреляй в него первого. Потом переводи на остальных. Переводи медленно. Достаточно чуть повернуть, все время придерживая, чтобы ствол у тебя не прыгал, и целься внимательно, и больше шести выстрелов зараз без крайней необходимости не давай, потому что при стрельбе ствол подпрыгивает. Каждый раз стреляй в одного человека, а потом переводи на следующего. Если бьешь по конному, целься в живот.

— Ладно.

— Кто-нибудь должен держать треногу, для устойчивости. Вот так. Он же тебе и диски будет заряжать.

— А ты куда пойдешь?

— Я буду вон там, налево. Там повыше и можно

---

[81] Примечания: 81
Ну (*исп.*).

видеть все вокруг. Я буду прикрывать тебя слева со своей маленькой máquina. Вон там. Если они появятся, можно будет всех их перебить. Но не стреляй, пока они не подойдут достаточно близко.

— А хорошо бы всех перебить. Устроить им бойню. Menuda matanza!

— Нет, уж лучше пусть не приходят совсем.

— Если бы не твой мост, мы могли бы их всех перебить и потом уйти отсюда.

— Никакого смысла. Это никому ничего не дало бы. Мост — часть плана, рассчитанного на то, чтобы выиграть войну. А это что? Пустой случай. Ничего не значит.

— Qué va, ничего. Раз фашист убит, значит, одним фашистом меньше.

— Да. Но этот мост может помочь нам взять Сеговию. Главный город провинции. Ты только подумай. До сих пор нам еще ни одного такого не удалось взять.

— Ты правда веришь в это? Что мы можем взять Сеговию?

— Да. Это возможно, если мы взорвем мост так, как требуется.

— Хорошо бы и этих всех перебить, и мост взорвать.

— У тебя большой аппетит, — сказал Роберт Джордан.

Все это время он наблюдал за воронами. И вдруг заметил, что одна как будто насторожилась. Она каркнула и взлетела. Но вторая по-прежнему сидела на ветке. Роберт Джордан оглянулся на Примитиво, угнездившегося высоко на скале. Примитиво внимательно смотрел вперед, но сигналов никаких не подавал. Роберт Джордан нагнулся и проверил затвор пулемета. Ворона все сидела на своей ветке. Вторая облетела широкий круг над снежной поляной и тоже уселась на прежнее место. Снег, пригреваемый солнцем и теплым ветром, валился с обвисших под его тяжестью веток.

— У тебя завтра будет случай перебить многих, — сказал Роберт Джордан. — Нужно уничтожить пост на лесопилке.

— Я готов, — сказал Агустин. — Estoy listo.

— И второй пост, в домике дорожного мастера, за мостом.

— Могу тот, могу этот, — сказал Агустин. — И оба могу.

— Оба нельзя. Они должны быть уничтожены одновременно, — сказал Роберт Джордан.

— Ну, тогда любой, — сказал Агустин. — Давно

уж мне не хватает какого-нибудь дела. Пабло тут нас всех в безделье сгноил.

Вернулся Ансельмо с топором.

— Тебе надо еще веток? — спросил он. — По-моему, и так ничего не видно.

— Не веток, — сказал Роберт Джордан. — Два маленьких деревца. Мы их вроем, и все тогда будет выглядеть естественнее. А то тут слишком мало деревьев кругом, и эта зелень не кажется естественной.

— Сейчас принесу.

— Подрубай пониже, чтобы пней не было видно.

Роберт Джордан услышал стук топора в леске позади. Он посмотрел вверх, на Примитиво, потом вниз, на сосны, черневшие за поляной. Одна ворона по-прежнему сидела на месте. И тут он услышал мерный высокий рокот приближающегося самолета. Он поднял голову и увидел его. Крошечный, серебряный, блестящий на солнце, он как будто неподвижно висел в вышине.

— Увидеть нас с такой высоты невозможно, — сказал он Агустину. — Но лучше все-таки лечь. Это уже второй разведывательный самолет сегодня.

— А вчерашние ты забыл? — спросил Агустин.

— Сегодня кажется, что это был дурной сон, — сказал Роберт Джордан.

— Они, наверно, в Сеговии. Дурной сон ждет случая сбыться.

Самолет уже скрылся за вершинами гор, но гул моторов все еще был слышен.

Когда Роберт Джордан опустил голову, он увидел, что ворона вспорхнула. Она полетела напрямик между деревьями, не каркая.

Глава двадцать третья

— Ложись, — шепнул Роберт Джордан Агустину, потом повернул голову и замахал рукой — ложись, ложись — старику Ансельмо, который вылез из-за скалы с сосенкой на плече, точно рождественский дед с елкой. Роберт Джордан увидел, как старик бросил свою сосенку за скалу и сам скрылся там же, и теперь уже перед Робертом Джорданом не было ничего, кроме поляны и леса. Он ничего не видел и ничего не слышал, но чувствовал, как колотится у него сердце, и потом он услышал стук камня о камень и дробное тарахтенье покатившегося обломка. Он повернул голову вправо и, подняв глаза, увидел, как винтовка Примитиво четыре раза вскинулась и опустилась в горизонтальном положении. Потом опять ничего не стало видно, только белая снежная полоса с круглившимися на ней следами копыт и дальше лес.

— Кавалерия, — тихо сказал он Агустину.

Агустин оглянулся, и его смуглые запавшие щеки разъехались в улыбке. Роберт Джордан заметил, что Агустин вспотел. Он протянул руку

и положил ему на плечо. Он не успел снять руки, как они увидели четырех всадников, выезжавших из леса, и он почувствовал, как напряглись под его ладонью мускулы Агустина.

Один всадник ехал впереди, трое других немного отстали. Головной ехал по следам на снегу. Он все время смотрел вниз. Остальные двигались за ним без всякого строя. Все четверо настороженно прислушивались. Роберт Джордан лежал на снегу, широко разведя локти, и поверх прицела пулемета следил за приближающимися всадниками, ясно чувствуя удары своего сердца.

Головной доехал по следу до того места, где Пабло сделал круг, и остановился. Остальные подъехали к нему и тоже остановились.

Роберт Джордан теперь ясно видел их за синеватым стальным стволом пулемета. Он видел лица, видел сабли, висящие у пояса, потемневшие от пота лошадиные бока, конусообразные очертания плащей цвета хаки и такого же цвета береты, сбитые набок по-наваррски. Головной повернул свою лошадь прямо на расселину в скале, где был установлен пулемет, и Роберт Джордан мог разглядеть его молодое, потемневшее от ветра и солнца лицо, близко посаженные глаза, нос с горбинкой и длинный треугольный подбородок.

Сидя на лошади — лошадь грудью повернута прямо к Роберту Джордану, голова ее вздернута, из чехла, притороченного к седлу, торчит приклад автомата, — головной указал пальцем на расселину, в которой был установлен пулемет.

Роберт Джордан глубже вдавил локти в землю, не отводя глаз от прицела и от четверых всадников, сгрудившихся на снегу. У троих автоматы были вынуты из чехлов. Двое держали их поперек седла. Третий выставил свой вправо, уперев приклад в бедро.

Редко случается целиться в противника на таком близком расстоянии, подумал он. Обычно люди кажутся маленькими куколками, и правильная наводка стоит большого труда; или же они бегут, рассыпаются, снова бегут, и тогда приходится наугад поливать огнем склон горы, или целую улицу, или просто бить по окнам; а иногда видишь, как они далеко-далеко двигаются по дороге. Только когда имеешь дело с поездом, удается видеть их так, как сейчас. Только тогда они такие, как сейчас, и с четырьмя пулеметами можно заставить их разбежаться. На таком расстоянии они кажутся вдвое больше.

Ты, думал он, глядя на кончик мушки, неподвижно остановившейся теперь против прорези

прицела и направленной в середину груди головного всадника, чуть правее красной эмблемы, ярко выделяющейся при утреннем свете на фоне плаща. Ты, думал он, теперь уже по-испански, и при этом крепко прижимал предохранитель, чтобы не раздался раньше времени торопливый треск пулеметной очереди. Ты, подумал он, вот ты и умер в расцвете молодости. Эх ты, думал он, эх ты, эх ты. Но пока не надо этого. Пока не надо этого.

Он почувствовал, что Агустин, лежавший рядом, поперхнулся, но сдержал кашель и проглотил подступившую мокроту. Потом, продолжая смотреть по направлению жирного от смазки, синеватого ствола пулемета и по-прежнему не спуская пальца с предохранителя, он увидел, как головной повернул лошадь и показал рукой в сторону леса, куда вел след Пабло. Все четверо повернули и рысью направились к лесу, и Агустин чуть слышно прошептал:

— Cabrónes!

Роберт Джордан оглянулся назад, туда, где Ансельмо бросил деревцо.

Цыган Рафаэль пробирался к ним между скал с винтовкой через плечо и двумя седельными вьюками в руках. Роберт Джордан махнул ему рукой,

и цыган нырнул куда-то вниз и скрылся из виду.

— Мы могли убить всех четверых, — спокойно сказал Агустин. Он все еще был мокрый от пота.

— Да, — шепотом отозвался Роберт Джордан. — Но если б мы подняли стрельбу, кто знает, к чему это могло бы привести.

Тут он снова услышал стук упавшего камня и быстро оглянулся. Но ни цыгана, ни Ансельмо не было видно. Он взглянул на свои часы, потом поднял голову и увидел, что Примитиво без конца поднимает и опускает винтовку быстрыми короткими взмахами. Пабло опередил их на сорок пять минут, подумал Роберт Джордан, и тут он услышал топот приближающегося кавалерийского отряда.

— No te apures, — шепнул он Агустину. — Не беспокойся. Они проедут мимо, как и те.

Отряд показался на опушке леса, двадцать верховых колонной попарно, одетые и вооруженные так же, как первые четверо, — сабля на поясе, автомат в чехле сбоку; они проехали через поляну и снова углубились в лес.

— Tu ves? — сказал Роберт Джордан Агустину. — Видишь?

— Много их, — сказал Агустин.

— Если б мы убили тех четверых, нам пришлось

бы иметь дело со всеми этими, — тихо сказал Роберт Джордан. Сердце у него теперь билось спокойно, рубашка на груди промокла от тающего снега. Он ощутил внутри щемящую пустоту.

Солнце сильно пригревало, и снег таял быстро. Роберт Джордан видел, как вокруг подножия деревьев образуются ложбинки, а прямо перед ним, у пулемета, снег стал рыхлый и узорчатый, как кружево, потому что солнце нагревало его сверху, а снизу дышала теплом земля.

Роберт Джордан взглянул вверх, на Примитиво, и тот со своего поста подал ему сигнал: «Ничего», — показав скрещенные руки ладонями вниз.

Из-за скалы показалась голова Ансельмо, и Роберт Джордан сделал ему знак подойти. Старик, переползая от скалы к скале, добрался до пулемета и лег возле него ничком.

— Много, — сказал он. — Много.

— Не нужны мне твои деревья, — сказал ему Роберт Джордан. — Больше лесонасаждений не потребуется.

Оба, и Ансельмо и Агустин, осклабились.

— Обошлись и так, а сажать деревья теперь опасно, потому что эти самые люди поедут обратно, и они, возможно, не такие уж дураки.

Ему хотелось разговаривать, а это всегда слу-

жило у него признаком, что только что миновала большая опасность. Он всегда мог судить, насколько плохо было дело, по тому, как сильно его тянуло потом на разговор.

— Хорошо у нас вышло с этой маскировкой, верно? — сказал он.

— Хорошо, — сказал Агустин. — Хорошо, так и так всех фашистов. Мы могли убить этих четверых. Ты видел? — спросил он Ансельмо.

— Видел.

— Вот что, — сказал Роберт Джордан старику. — Тебе придется пойти на вчерашний пост или на другое место, выберешь сам, чтобы понаблюдать за дорогой, как вчера, и отметить, какие происходят передвижения. Надо было давно это сделать. Сиди там, пока не стемнеет. Потом возвращайся, и мы пошлем кого-нибудь еще.

— А как же мои следы?

— Иди низом, как только сойдет снег. На дороге будет грязь от талого снега. Постарайся определить по колеям, много ли грузовиков проехало и не было ли танков. Больше нам ничего не удастся выяснить, пока ты не займешь свой пост.

— Ты мне разрешишь сказать? — спросил старик.

— Конечно, говори.

— С твоего разрешения, не лучше ли будет, если я пойду в Ла-Гранху, узнаю, что там было ночью, и поручу кому-нибудь следить и записывать так, как ты меня научил? А вечером нам принесут бумажку, или, еще лучше, я сам пойду за ней в Ла-Гранху.

— Ты не боишься наткнуться на эскадрон?

— Если снег сойдет — нет.

— А есть в Ла-Гранхе человек, который годится для такого дела?

— Есть. Для такого дела есть. Я поручу это женщине. В Ла-Гранхе есть несколько женщин, на которых можно положиться.

— Должно быть, есть, — сказал Агустин. — Даже наверно есть. И такие, которые годятся для другого дела, тоже есть. Может, я пойду вместо старика?

— Нет, уж пусть старик идет. Ты умеешь обращаться с пулеметом, а день еще велик.

— Я пойду, когда растает снег, — сказал Ансельмо. — Он быстро тает.

— Как ты думаешь, могут они поймать Пабло? — спросил Роберт Джордан Агустина.

— Пабло хитрый, — сказал Агустин. — Умного оленя разве без гончих поймаешь?

— Случается, — сказал Роберт Джордан.

— С Пабло не случится, — сказал Агустин. — Правда, это теперь только труха от прежнего Пабло. Но недаром он жив и сидит как ни в чем не бывало тут, в горах, и хлещет вино, когда столько других погибло у стенки.

— Он в самом деле такой хитрый, как о нем говорят?

— Еще хитрее.

— Особенного ума он тут пока не выказал.

— Como qué no?[82] Не будь у него особенного ума, не уцелеть бы ему вчера. Знаешь, Inglés, по-моему, ничего ты не смыслишь ни в политике, ни в партизанской войне. И в том и в другом первое дело — это уметь сохранить свою жизнь. Вспомни, как он ловко сумел сохранить свою жизнь вчера. А сколько ему пришлось проглотить навозу и от меня и от тебя!

Теперь, когда Пабло снова действовал заодно с отрядом, не следовало ничем порочить его, и Роберт Джордан тотчас же пожалел, что выразил сомнение в его уме. Он и сам знал, что Пабло умен. Ведь именно Пабло сразу уловил все слабые стороны приказа о разрушении моста. Он сделал это замечание просто из антипатии к Пабло и, еще

---

[82] Примечания: 82
Как же нет? (*исп.*)

не кончив фразы, почувствовал свою ошибку. Все так вышло из-за его потребности разрядить напряжение в словах. Чтобы переменить разговор, он сказал, повернувшись к Ансельмо:

— А как же ты пойдешь в Ла-Гранху днем?

— Что ж тут такого, — сказал старик. — Я ведь не с военным оркестром пойду.

— И не с колокольчиком на шее, — сказал Агустин. — И не со знаменем в руках.

— Какой дорогой ты пойдешь?

— Поверху, а потом вниз, через лес.

— А если ты попадешься?

— У меня есть документы.

— У нас у всех документов много, только кое-какие ты тогда не забудь проглотить.

Ансельмо покачал головой и похлопал по нагрудному карману своей блузы.

— Не в первый раз мне попадаться, — сказал он. — А есть бумагу пока еще не приходилось.

— Надо бы смазывать их горчицей на этот случай, — сказал Роберт Джордан. — Я всегда ношу наши документы в левом кармане рубахи. А фашистские — в правом. Так, по крайней мере, не ошибешься в спешке.

Должно быть, когда головной первого кавалерийского разъезда указал на расселину в скале,

дело было по-настоящему плохо, что-то очень уж они теперь разговорились. Слишком разговорились, подумал он.

— Послушай, Роберто, — сказал Агустин. — Говорят, правительство все правеет и правеет с каждым днем. В Республике уже не говорят «товарищ», а говорят «сеньор» и «сеньора». Нельзя ли твой карман переставить?

— Когда оно совсем поправеет, тогда я переложу документы в задний карман брюк, — сказал Роберт Джордан. — И прошью его посередине.

— Нет, уж лучше пусть остаются в рубашке, — сказал Агустин. — Неужели мы выиграем войну и проиграем революцию?

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Но если мы проиграем войну, тогда не будет ни революции, ни Республики, ни тебя, ни меня — ничего, только один большой carajo[83].

— Вот и я так говорю, — сказал Ансельмо. — Лишь бы нам выиграть войну. И хорошо бы выиграть войну и никого не расстреливать. Хорошо бы нам править справедливо и чтобы каждый получил свою долю благ, так же как каждый боролся за них. И пусть бы тем, кто дерется против

---

[83] Примечания: 83
Испанское ругательство.

нас, объяснили, что они ошибались.

— Нам многих придется расстрелять, — сказал Агустин. — Многих, многих, многих.

Он крепко сжал правую руку в кулак и постучал по ладони левой.

— Лучше бы нам никого не расстреливать. Даже самых главных. Лучше бы нам исправить их работой.

— Я им нашел бы работу, — сказал Агустин и, набрав пригоршню снега, положил в рот.

— Какую, злодей? — спросил Роберт Джордан.

— Два достойнейших занятия.

— Какие же?

Агустин положил в рот еще снегу и посмотрел в ту сторону, где скрылся кавалерийский отряд. Потом он выплюнул растаявший снег.

— Vaya. Ну и завтрак, — сказал он. — Где этот вонючий цыган?

— Какие занятия? — спросил Роберт Джордан. — Что же ты не говоришь, злоязычник?

— Прыгать с самолетов без парашюта, — сказал Агустин, и глаза у него заблестели. — Это для тех, кого мы пожалеем. А остальных — тех просто приколотить к забору гвоздями, и пусть висят.

— Подлые твои слова, — сказал Ансельмо. — Так у нас никогда не будет Республика.

— Когда я глядел на ту четверку и думал, что мы можем их убить, я был как кобыла, ожидающая жеребца в загоне, — сказал Агустин.

— Но ты знаешь, почему мы их не убили, — спокойно сказал Роберт Джордан.

— Да, — сказал Агустин. — Да. Но мне не терпелось, как той самой кобыле. Тебе не понять, если ты сам этого не чувствовал.

— С тебя пот градом катился, — сказал Роберт Джордан. — Я думал, это от страха.

— И от страха тоже, — сказал Агустин. — И от страха и от другого. Нет на свете ничего сильней того, про что я сказал.

Да, подумал Роберт Джордан. Мы идем на это с холодной головой, но у них по-другому, и всегда было по-другому. Это их святейшая вера. Та, в которой они жили до того, как с дальних берегов Средиземного моря пришла к ним новая религия. От старой веры они никогда не отступались, а лишь затаили ее, давая ей выход в войнах и инквизиции. Это люди аутодафе — акта веры. Убивать приходится всем, но мы убиваем иначе, чем они. А ты, подумал он, ты разве никогда не поддавался этому? С тобой такого не бывало в Сьерре? И под Усерой? Ни разу за все время, что ты провел в Эстремадуре? Ни разу вообще? Qué

va, сказал он себе. Это со мной бывало при каждом эшелоне.

Прекрати все эти сомнительные литературные домыслы о берберах и древних иберийцах и признайся, что и тебе знакома радость убийства, как знакома она каждому солдату-добровольцу, что бы он ни говорил об этом. Ансельмо ее не знает, потому что он не солдат, а охотник. И нечего идеализировать старика. Охотники убивают животных, а солдаты — людей. Не обманывай самого себя, подумал он. И не разводи литературщины по этому поводу. Ты теперь заразился, и надолго. И не пытайся взвалить что-то на Ансельмо. Он настоящий христианин. Редкое явление для католической страны.

Но тогда, с Агустином, я был уверен, что это страх, подумал он. Естественный страх перед боем. А оказывается, это было то. Может быть, конечно, он теперь просто бахвалится. Но и страх тоже был. Я ощущал это всей ладонью. Ладно, пора кончать разговоры.

— Иди посмотри, принес ли цыган еду, — сказал он Ансельмо. — Сюда его не пускай. Он дурак. Возьми у него и принеси сам. И сколько бы там ни было, пусть сходит, принесет еще. Я проголодался.

Глава двадцать четвертая

И вот теперь уже утро стало настоящим майским утром, небо было высокое и ясное, теплый ветер обвевал плечи Роберту Джордану. Снег быстро таял, а они сидели и завтракали. На долю каждого пришлось по два больших сандвича с мясом и козьим сыром, а Роберт Джордан нарезал своим складным ножом толстые кружки лука и положил их с обеих сторон на мясо и на сыр.

— У тебя такой дух пойдет изо рта, что фашисты на том конце леса почуют, — сказал Агустин, сам набив полный рот.

— Дай мне бурдюк с вином, я запью, — сказал Роберт Джордан; рот у него был полон мяса, сыра, лука и пережеванного хлеба.

Он был голоден как никогда и, набрав в рот вина, чуть отдававшего дегтем от кожаного меха, сразу проглотил. Потом он еще выпил вина, приподняв мех так, что струя лилась прямо ему в горло, и при этом низ бурдюка коснулся хвои сосновых ветвей, маскировавших пулемет, и голова Роберта Джордана тоже легла на сосновые ветки, когда он запрокинул ее, чтоб удобнее было пить.

— Хочешь еще? — спросил его Агустин, протягивая ему из-за пулемета свой сандвич.

— Нет. Спасибо. Ешь сам.

— Не могу. Не привык есть так рано.

— Ты правда не хочешь?

— Правда, правда. Бери.

Роберт Джордан взял сандвич и положил его на колени, а сам достал луковицу из бокового кармана куртки, того, где лежали гранаты, и раскрыл нож, чтобы нарезать ее. Он снял верхний тонкий серебристый лепесток, загрязнившийся в кармане, потом отрезал толстый кружок. Внешнее колечко отвалилось, и он поднял его, согнул пополам и сунул в сандвич.

— Ты всегда ешь лук за завтраком? — спросил Агустин.

— Когда его можно достать.

— У тебя на родине все его едят?

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Там это совсем не принято.

— Рад слышать, — сказал Агустин. — Я всегда считал Америку цивилизованной страной.

— А чем тебе не нравится лук?

— Запахом. Больше ничем. В остальном он как роза.

Роберт Джордан улыбнулся ему с полным

ртом.

— Как роза, — сказал он. — Совсем как роза! Роза — это роза — это лук.

— У тебя от лука ум за разум заходит, — сказал Агустин. — Берегись.

— Лук — это лук — это лук, — весело сказал Роберт Джордан и прибавил мысленно: «Камень — это Stein, это скала, это валун, это голыш».

— Прополощи рот вином, — сказал Агустин. — Чудной ты человек, Inglés. Ничем ты не похож на того динамитчика, который раньше работал с нами.

— Я на него одним не похож.

— Чем же, скажи.

— Я жив, а он умер, — сказал Роберт Джордан. И подумал: что это такое с тобой? Разве можно так говорить? Неужели это тебя от еды так развезло? От лука ты пьян, что ли? Неужели это теперь для тебя ничего не значит? Это никогда много не значило, чистосердечно сказал он себе. Ты старался делать вид, будто это значит много, но ты только делал вид. А теперь так мало осталось времени, что лгать не стоит.

— Нет, — сказал он уже серьезно. — Этому человеку тяжело пришлось.

— А ты? Разве тебе не тяжело приходится?

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Я из тех, кому никогда не приходится особенно тяжело.

— Я тоже, — сказал ему Агустин. — Одни люди все тяжело переносят, а другие нет. Я все переношу легко.

— Тем лучше, — Роберт Джордан снова поднял бурдюк с вином. — А вот с этим еще лучше.

— Но за других мне бывает тяжело.

— Это как всем добрым людям.

— А за себя нет.

— У тебя есть жена?

— Нет.

— У меня тоже нет.

— Но у тебя теперь есть Мария.

— Да.

— Чудно все-таки, — сказал Агустин. — После того как мы подобрали ее в том деле с поездом, Пилар никого из нас близко к ней не подпускала, стерегла ее, будто в монастыре кармелиток. Ты даже представить себе не можешь, как она ее свирепо стерегла. И вот приходишь ты, и она преподносит ее тебе словно в подарок. Что ты на это скажешь?

— Совсем не так было.

— А как же было?

— Она мне поручила заботиться о ней.

— А твоя главная забота — любиться с ней всю ночь?

— Если ничего не случится.

— Хороша забота.

— А тебе не понятно, что можно проявлять заботу и таким способом?

— Да ведь так любой из нас мог о ней позаботиться.

— Не будем больше говорить об этом, — сказал Роберт Джордан. — Я ее люблю по-настоящему.

— По-настоящему?

— В мире нет ничего более настоящего.

— А потом? После моста?

— Она уйдет со мной.

— Тогда, — сказал Агустин, — пусть никто больше не скажет об этом ни слова и пусть вам обоим будет много счастья.

Он приподнял кожаный мех и долго пил из него, потом передал Роберту Джордану.

— Еще одно, Inglés, — сказал он.

— Говори.

— Я сам тоже ее любил.

Роберт Джордан положил ему руку на плечо.

— Очень любил, — сказал Агустин. — Очень. Так, что даже и вообразить нельзя.

— Верю.

— Я как ее увидел, так с тех пор только о ней и думал.

— Верю.

— Слушай. Я с тобой говорю всерьез.

— Говори.

— Я до нее ни разу не дотронулся, ничего у меня с ней не было, но я ее люблю очень сильно. Ты с ней не шути. Хоть она и спит с тобой, не думай, что она шлюха.

— Я ее всегда буду любить.

— Ну, смотри. Но вот еще что. Ты не знаешь, какая это была бы девушка, если б не случилась революция. Ты за нее отвечать должен. Ей вот в самом деле тяжело пришлось. Она не такая, как мы.

— Я женюсь на ней.

— Нет. Не в этом дело. Это ни к чему, раз у нас революция. Но… — он кивнул головой, — пожалуй, так было бы лучше.

— Я женюсь на ней, — сказал Роберт Джордан и почувствовал, как при этих словах клубок подступил к горлу. — Я ее очень сильно люблю.

— Это можно потом, — сказал Агустин. — Когда время будет более подходящее. Главное, что у тебя есть такое намерение.

— Есть.

— Слушай, — сказал Агустин. — Я, может, говорю о том, что меня вовсе не касается, но много ли ты девушек знал здесь, в Испании?

— Не очень много.

— Кто же они были, шлюхи?

— Не только.

— Сколько ж их было?

— Несколько.

— А ты спал с ними?

— Нет.

— Вот видишь!

— Да.

— Я только хочу сказать, что для Марии это не баловство.

— Для меня тоже.

— Если б я думал иначе, я бы тебя застрелил еще прошлой ночью, когда ты лежал с ней. У нас тут за это нередко убивают.

— Слушай, старина, — сказал Роберт Джордан. — У нас мало времени, и потому все так вышло, не по правилам. Времени — вот чего нам не хватает. Завтра нам предстоит бой. Для меня одного это не имеет значения. Но для нас с Марией это означает, что мы всю свою жизнь должны прожить за то время, что еще осталось.

— А день да ночь — времени немного, — сказал

Агустин.

— Да. Но у нас было еще вчера, и прошлая ночь, и эта.

— Вот что, — сказал Агустин. — Если я могу помочь тебе…

— Нет. Нам ничего не нужно.

— Если я что-нибудь могу сделать для тебя или для стригунка…

— Нет.

— Правда, человек для человека мало что может сделать.

— Нет. Очень много.

— Что же?

— Как бы дело ни обернулось сегодня или завтра, обещай полностью доверять мне и повиноваться во время боя, даже если приказы покажутся тебе неправильными.

— Я тебе доверяю. Особенно после встречи с кавалерией и после того, как ты спровадил лошадь.

— Это все пустяки. Все, что мы делаем, делается ради одного. Ради того, чтоб выиграть войну. Если мы ее не выиграем, все остальное не имеет смысла. Завтра нам предстоит очень важное дело. По-настоящему важное. Будет бой. В бою нужна дисциплина. Потому что многое на самом

деле не так, как кажется. Дисциплина должна основываться на доверии.

Агустин сплюнул на землю.

— Это все одно дело, а Мария — другое, — сказал он. — Времени осталось немного, так хоть используйте его по-человечески. Если я чем могу помочь тебе, приказывай. А в завтрашнем деле можешь на меня рассчитывать целиком. Если надо умереть ради завтрашнего дела, — что ж, пойдем охотно и с легкой душой.

— Я сам так чувствую, — сказал Роберт Джордан. — Но приятно слышать это от тебя…

— И вот еще что, — сказал Агустин. — Вот тот, наверху, — он указал туда, где сидел Примитиво, — на него можно положиться. Пилар — о ней и говорить нечего, ты еще ей не знаешь цены. Старик Ансельмо тоже. Андрес тоже. Эладио тоже. Он человек тихий, но надежный. И Фернандо. Не знаю, как он тебе кажется. Про него, правда, не скажешь, что он живой, как ртуть. В нем живости не больше, чем в быке, который тащит в гору воз с поклажей. Но драться и выполнять приказы — es muy hombre![84] Увидишь сам.

— Значит, все хорошо.

---

[84] Примечания: 84

Он умеет, как настоящий мужчина (*исп.*).

— Нет. Есть два ненадежных. Цыган и Пабло. Но отряд Глухого по сравнению с нами — это все равно что мы по сравнению с кучей козьего дерьма.

— Тем лучше.

— Да, — сказал Агустин. — Но я хотел бы, чтоб все было сегодня.

— Я тоже. Чтоб уже покончить с этим. Но ничего не поделаешь.

— Ты думаешь, придется туго?

— Может быть…

— Но ты не унываешь, Inglés?

— Нет.

— И я нет. Несмотря на Марию и на все.

— А знаешь почему?

— Нет.

— И я нет. Может быть, это от погоды. Погода очень хорошая.

— Кто его знает. А может быть, от того, что предстоит дело.

— Наверно, так, — сказал Роберт Джордан. — Но не сегодня. Самое главное, самое важное — это чтобы ничего не случилось сегодня.

И тут он что-то услышал. Какой-то шум донесся издалека сквозь шелест теплого ветра в верхушках деревьев. Он не был уверен, не показалось ли ему, и стал прислушиваться, открыв рот и погля-

дывая вверх, на Примитиво. На мгновение он как будто опять уловил звук, но только на мгновение. Ветер шумел в соснах, и Роберт Джордан весь напрягся, вслушиваясь. Опять ветер донес едва слышный отголосок чего-то.

— Умереть я от этого не умру, — услышал он голос Агустина. — Не бывать Марии моей — ну что ж! Буду обходиться шлюхами, как и до сих пор.

— Тише, — сказал Роберт Джордан, не слушая его; они лежали рядом, но он смотрел в другую сторону. Агустин быстро глянул на него.

— Qué pasa?[85] — спросил он.

Роберт Джордан прикрыл рот рукой и снова стал вслушиваться. Опять донесся тот же звук. Он был слабый, приглушенный, сухой и очень далекий. Но теперь уже не оставалось сомнений. Это был четкий, дробный раскат пулеметной очереди. Казалось, где-то очень далеко взрываются одна за другой пачки крошечных петард.

Роберт Джордан взглянул на Примитиво. Тот сидел, подняв голову, повернув лицо к ним и приложив к уху согнутую чашечкой ладонь. Когда Роберт Джордан посмотрел на него, он показал пальцем в сторону гребня гряды.

---

[85] Примечания: 85
Что случилось? (*исп.*)

— У Эль Сордо идет бой, — сказал Роберт Джордан.

— Так поспешим на помощь, — сказал Агустин. — Собирай народ. Vamonos.

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Мы останемся здесь.

Глава двадцать пятая

Роберт Джордан посмотрел вверх и увидел, что Примитиво стоит на своем наблюдательном посту, выпрямившись, и делает знаки винтовкой. Роберт Джордан кивнул, но Примитиво продолжал указывать винтовкой, прикладывая к уху руку, и опять настойчиво указывал, как будто боясь, что его не поняли.

— Оставайся здесь, у пулемета, но пока ты не будешь совсем, совсем уверен, что они идут на тебя, не стреляй. Даже и тогда не стреляй, жди, пока они не дойдут вот до тех кустов. — Роберт Джордан показал пальцем. — Понял?

— Да. Но…

— Никаких «но». Я тебе потом объясню. Я иду к Примитиво.

Ансельмо был рядом, и он сказал ему:

— Viejo, ты оставайся тут, с Агустином и пулеметом. — Он говорил с расстановкой, не спеша. — Стрелять он не должен, разве только если верховые подъедут совсем вплотную. Если они только покажутся, как в тот раз, не надо их трогать. Если придется стрелять, держи треногу,

чтоб не шаталась, и подавай ему диски.

— Хорошо, — сказал старик. — А Ла-Гранха?

— Пойдешь позднее.

Роберт Джордан полез наверх, карабкаясь по серым валунам, мокрым и скользким под рукой, когда он цеплялся за них, подтягиваясь. Покрывавший их снег быстро таял на солнце. Сверху валуны уже подсыхали, и, продолжая карабкаться, он оглянулся и увидел сосновый лес, и длинную прогалину за ним, и долину перед дальней цепью высоких гор. Наконец он добрался до углубления между двумя большими камнями, в котором угнездился Примитиво, и тот сказал ему:

— На Глухого напали. Что будем делать?

— Ничего, — сказал Роберт Джордан.

Отсюда стрельба была ясно слышна, и когда он посмотрел вперед, он увидел, как вдалеке за долиной, в том месте, откуда начинался новый крутой подъем, выехал из лесу кавалерийский отряд и стал подниматься по снежному склону, со стороны которого доносилась стрельба. Он видел длинную двойную цепочку всадников, темнеющую на снегу. Он следил за цепочкой, пока она не доползла до гребня гряды и не скрылась в дальнем лесу.

— Надо идти на помощь, — сказал Примитиво. Голос у него был хриплый и безжизненный.

— Невозможно, — сказал Роберт Джордан. — Я этого ждал с самого утра.

— Почему?

— Они вчера увели лошадей из селения. Снег перестал, и их нашли по следам.

— Но мы должны идти к ним на помощь, — сказал Примитиво. — Нельзя их бросать так. Это наши товарищи.

Роберт Джордан положил ему руку на плечо.

— Мы ничего не можем сделать, — сказал он. — Если б мы могли, я бы сделал все.

— Туда можно добраться поверху. Мы можем взять лошадей и обе máquina. Ту, что внизу, и твой автомат. И пойти к ним на помощь.

— Послушай… — сказал Роберт Джордан.

— Я вот что слушаю, — сказал Примитиво.

Раскаты стрельбы следовали один за другим, без перерыва. Потом послышались взрывы ручных гранат, тяжелые и глухие в сухой трескотне пулеметов.

— Они погибли, — сказал Роберт Джордан. — Они погибли уже тогда, когда перестал идти снег. Если мы пойдем туда, мы тоже погибнем. Нам нельзя разбивать свои силы.

Серая щетина небритой бороды покрывала подбородок и часть шеи Примитиво, подбиралась к нижней губе. Лицо у него было плоское и почти коричневое там, где не было щетины, нос сломанный и приплюснутый, серые глаза сидели глубоко; глядя ему в лицо, Роберт Джордан увидел, как подергивается щетина возле углов его рта и на горле.

— Ты только послушай, — сказал Примитиво. — Там настоящая бойня.

— Если окружили лощину со всех сторон, тогда так и есть, — сказал Роберт Джордан. — Но, может, кому-нибудь удалось выбраться.

— Мы могли бы подойти и ударить сзади, — сказал Примитиво. — Возьмем лошадей и пойдем вчетвером.

— А дальше что? Что после того, как ты на них ударишь сзади?

— Мы соединимся с Глухим.

— Чтобы умереть там? Посмотри на солнце. До вечера еще далеко.

Небо было высокое и безоблачное, солнце палило им в спину.

На южном склоне по ту сторону прогалины, лежавшей под ними, обнажились длинные полосы черной земли, на ветвях сосен снега почти совсем

не осталось. Над камнями, которые только что были мокрыми, стлался теперь легкий пар.

— Придется тебе снести это, — сказал Роберт Джордан. — Hay que aguantar[86]. Бывают такие вещи на войне.

— Но неужели мы ничего не можем сделать? Совсем ничего? — Примитиво смотрел ему в глаза, и Роберт Джордан знал, что он доверяет ему. — А если тебе послать только меня и еще кого-нибудь с маленьким пулеметом?

— Бесполезно, — сказал Роберт Джордан.

Ему показалось, что он увидел в небе то, чего ждал, но это был ястреб, подхваченный ветром и выравнивавший теперь свой полет над линией дальнего леса.

— Бесполезно. Даже если мы все пойдем, — сказал он.

Стрельба в это время усилилась, и чаще стало слышаться уханье ручных гранат.

— О, так их и так, — сказал Примитиво в подлинном экстазе богохульства; в глазах у него стояли слезы, щеки подергивались. — О господь и пресвятая дева, туды их и растуды!

— Успокойся, — сказал Роберт Джордан. — Ско-

---

[86] Примечания: 86
Надо терпеть (*исп.*).

ро и тебе придется драться с ними. Смотри, вон идет Пилар.

Женщина поднималась к ним, с трудом карабкаясь с камня на камень.

Примитиво все повторял: «Так их и так. О господь и пресвятая дева, туда их!» — каждый раз, когда ветер доносил новый раскат стрельбы. Роберт Джордан спустился пониже, чтобы помочь Пилар.

— Qué tal, женщина? — спросил он, взяв ее за обе руки и подтягивая, когда она тяжело перелезала через последний камень.

— Бинокль твой, — сказала она и сняла с шеи ремень бинокля. — Значит, до Глухого уже добрались?

— Да.

— Pobre[87], — сказала она сочувственно. — Бедный Глухой.

Она еще не отдышалась после подъема и, держась за руку Роберта Джордана, крепко сжимая ее в своей, оглядывалась по сторонам.

— Как там дела, по-твоему?

— Плохи. Очень плохи.

---

[87] Примечания: 87
Бедный (*исп.*).

— Он — jodido?[88]

— Скорее всего.

— Pobre, — сказала она. — Должно быть, из-за лошадей?

— Вероятно.

— Pobre, — сказала Пилар. И потом: — Рафаэль мне наворотил целую кучу россказней про кавалерию. Кто здесь был?

— Сначала разъезд, потом часть эскадрона.

— Где, в каком месте?

Роберт Джордан показал ей, где останавливались всадники и где был установлен замаскированный пулемет. Отсюда, с поста Примитиво, виден был только один сапог Агустина, торчавший из-под прикрытия.

— А цыган уверял, будто они подъехали так близко, что дуло пулемета уткнулось передней лошади в грудь, — сказала Пилар. — Ну и порода! Бинокль ты забыл в пещере.

— Вы уложили вещи?

— Мы уложили все, что можно взять. Про Пабло ничего не слышно?

— Он проехал на сорок минут раньше эскадрона. Они направились по его следу.

---

[88] Примечания: 88
Погиб, пропал (*исп.*).

Пилар усмехнулась. Она все еще держалась за него. Потом отпустила его руку.

— Не видать им его, — сказала она. — Но как же с Глухим? Мы ничего не можем сделать?

— Ничего.

— Pobre, — сказала она. — Я его очень любила, Глухого. Ты совсем, совсем уверен, что он jodido?

— Да, я видел много кавалерии.

— Больше, чем здесь было?

— Целый отряд. Я видел, он поднимался в гору.

— Слушай, как стреляют, — сказала Пилар. — Pobre, pobre Сордо.

Они прислушались к звукам стрельбы.

— Примитиво хотел идти к нему туда, — сказал Роберт Джордан.

— С ума спятил, что ли? — сказала Пилар человеку с плоским лицом. — Развелось у нас тут locos[89], прямо деваться некуда.

— Я хочу помочь им.

— Qué va, — сказала Пилар. — Нашелся герой. Боишься, что не скоро умрешь, если будешь сидеть тут, на месте?

Роберт Джордан посмотрел на нее, на ее массивное смуглое, скуластое, как у индианки, лицо,

---

[89] Примечания: 89
Сумасшедших (*исп.*).

широко расставленные черные глаза и смеющийся рот с тяжелой, скорбно изогнутой верхней губой.

— Ты должен рассуждать как мужчина. У тебя уже седина в волосах.

— Не смейся надо мной, — угрюмо ответил Примитиво. — Если у человека есть хоть капля сердца и капля воображения…

— То он должен уметь держать себя в руках, — сказала Пилар. — Ты и с нами недолго проживешь. Нечего тебе искать смерти с чужими. А уж насчет воображения, так у цыгана его на всех хватит. Таких мне тут сказок наворотил.

— Если б ты была при этом, ты бы не стала называть это сказками, — сказал Примитиво. — Дело было очень серьезное.

— Qué va, — сказала Пилар. — Ну, приехали несколько верховых и опять уехали. А уж вы из себя героев строите. Давно без дела сидим, вот от того все.

— А то, что сейчас у Глухого, это тоже несерьезно? — спросил Примитиво, на этот раз презрительно. Видно было, какие мучения доставляет ему каждый залп, доносимый ветром, и ему хотелось или пойти туда, или чтобы Пилар ушла и оставила его в покое.

— Ладно, — сказала Пилар. — Что случилось, то случилось. И нечего самому распускать слюни из-за чужого несчастья.

— Иди знаешь куда, — сказал Примитиво. — Бывают женщины такие глупые и такие жестокие, что просто сил нет!

— Чтобы придать силы мужчинам, не приспособленным для продолжения рода, я ухожу, — сказала Пилар. — Все равно у вас здесь ничего не видно.

И тут Роберт Джордан услышал самолет в вышине. Он поднял голову, и ему показалось, что он узнал тот самый разведывательный самолет, который он уже видел раньше. Теперь самолет, должно быть, возвращался с фронта и летел на большой высоте в сторону гребня гряды, где у Эль Сордо шел бой с фашистами.

— Вон она, зловещая птица, — сказала Пилар. — Видно с нее, что там делается?

— Конечно, — сказал Роберт Джордан. — Если только летчик не слепой.

Они смотрели, как самолет скользит ровно и быстро, отливая серебром на солнце. Он летел слева, и на месте пропеллеров виден был двойной ореол.

— Ложись, — сказал Роберт Джордан.

Самолет уже летел над ними, тень его скользила по прогалине, мотор ревел во всю мочь. Он пронесся над ними и полетел дальше, к устью долины. Они следили за его ровным, уверенным полетом, пока он не скрылся из виду, потом он появился опять, описывая широкий круг, два раза пролетел над гребнем гряды и окончательно исчез в направлении Сеговии.

Роберт Джордан взглянул на Пилар. Она покачала головой, на лбу у нее выступили капли пота. Нижнюю губу она закусила.

— У каждого свое, — сказала она. — У меня — вот это.

— Уж не заразилась ли ты от меня страхом? — ехидно спросил Примитиво.

— Нет. — Она положила руку ему на плечо. — От тебя нельзя заразиться, потому что у тебя страха нет. Я это знаю. Мне жаль, что я с тобой так грубо шутила. Все мы в одном котле варимся. — Потом она обратилась к Роберту Джордану: — Я пришлю еды и вина. Что-нибудь тебе нужно еще?

— Сейчас ничего. Где остальные?

— Весь твой резерв цел и невредим, внизу, с лошадьми. — Она усмехнулась. — Все скрыто от чужих глаз. Все готово, чтобы уходить. Мария стережет твои мешки.

— Если самолеты все-таки нагрянут к нам, смотри, чтоб она не выходила из пещеры.

— Слушаю, милорд Inglés, — сказала Пилар. — Твоего цыгана (дарю его тебе) я послала по грибы, хочу сделать подливку к зайцам. Сейчас грибов много, а зайцев, я думаю, надо съесть сегодня, хотя на другой день или на третий они были бы еще вкусней.

— Да, лучше съесть их сегодня, — сказал Роберт Джордан, и Пилар положила свою большую руку ему на плечо, туда, где проходил ремень от автомата, а потом подняла ее и взъерошила ему волосы.

— Ну и Inglés, — сказала Пилар. — Мария принесет тебе жаркое, как только оно будет готово.

Стрельба там, на дальней высоте, почти замерла, только время от времени доносились отдельные выстрелы.

— Как ты думаешь, там все кончено? — спросила Пилар.

— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Судя по звукам стрельбы, на них напали, но они сумели отбиться, Теперь, вероятно, те окружили их со всех сторон, засели под прикрытием и ждут самолетов.

Пилар обратилась к Примитиво:

— Веришь, что я тебя не хотела обидеть?

— Ya lo sé[90], — сказал Примитиво. — Я от тебя еще не такое слышал, и то не обижался. У тебя скверный язык. Но теперь ты придержи его, женщина. Глухой был мне хорошим товарищем.

— А мне нет? — спросила его Пилар. — Слушай, плосконосый. На войне трудно высказать то, что чувствуешь. С нас довольно и своих бед, где тут еще брать на себя чужие.

Примитиво все еще хмурился.

— Лекарства бы тебе какого-нибудь, — сказала ему Пилар. — Ну, я пойду готовить обед.

— Ты принесла мне документы того requeté? — спросил ее Роберт Джордан.

— Ах, дура я, — сказала она. — Совсем забыла про них. Я пришлю с Марией.

---

[90] Примечания: 90
Знаю (*исп.*).

Глава двадцать шестая

Было уже почти три часа, а самолеты все еще не появились. Снег к полудню стаял весь, и камни накалились на солнце. На небе не было ни облачка, и Роберт Джордан сидел на камне без рубашки, подставив спину солнцу, и читал письма, взятые из карманов убитого кавалериста. Время от времени он поднимал голову, смотрел на линию леса по ту сторону долины, смотрел на гребень гряды над ним и потом снова брался за письма. Новых кавалерийских отрядов не было видно. Иногда со стороны лагеря Эль Сордо доносился звук выстрела. Но это случалось не часто.

Из воинских документов он узнал, что убитый был родом из Тафальи в Наварре, двадцати одного года, холост, сын кузнеца. Он был приписан к Энскому кавалерийскому полку, и это удивило Роберта Джордана, так как он считал, что этот полк находится на севере. Молодой человек был карлистом; в начале войны, в боях за Ирун, он получил ранение.

Наверно, я встречал его на feria[91] в Памплоне,

---

[91] Примечания: 91
Ярмарке (*исп.*).

в толпе, бежавшей по улицам впереди быков, подумал Роберт Джордан. На войне всегда убиваешь не того, кого хочешь, сказал он себе. Почти всегда, поправился он и продолжал читать.

Из личных писем первые, попавшиеся ему, были очень церемонны, очень аккуратно написаны, и речь в них шла преимущественно о местных событиях. Это были письма сестры убитого, и Роберт Джордан узнал, что в Тафалье все хорошо, что отец здоров, что мать такая же, как всегда, жалуется только немного на боль в спине, и она, сестра, надеется, что он тоже здоров и не слишком подвергается опасности, и очень рада, что он бьет красных и помогает освободить Испанию от их владычества. Дальше перечислялись парни из Тафальи, убитые и тяжело раненные за то время, что она ему не писала. Убитых было десять. Очень много для такого городишка, как Тафалья, подумал Роберт Джордан.

В письме много говорилось о религии, сестра писала, что молится святому Антонию, и пресвятой деве Пиларской, и другим пресвятым девам, чтобы они сохранили его, и просила не забывать о том, что он находится также под защитой святого сердца Иисусова, которое, как она надеется, он постоянно носит на груди, ведь уже бессчетное

число раз — это было подчеркнуто — доказано, что оно имеет силу отвращать пули. А затем она остается любящая его сестра Конча.

Письмо было немного замусолено по краям, и, дочитав до конца, Роберт Джордан аккуратно положил его на место, к воинским документам, и развернул другое, написанное таким же старательным почерком. Это письмо было от невесты убитого, его novia, оно тоже было деликатное и церемонное, но в нем чувствовалась лихорадочная тревога за судьбу жениха. Роберт Джордан прочел и это письмо, а потом сложил все письма и бумаги вместе и сунул в задний карман брюк. Ему не захотелось читать остальные.

Кажется, одно доброе дело я сегодня сделал, подумал он. Да, видно, сделал, подтвердил он себе.

— Что это ты там читаешь? — спросил его Примитиво.

— Тут письма и документы того requeté, которого мы подстрелили сегодня утром. Хочешь взглянуть?

— Я не умею читать, — сказал Примитиво, — а есть что-нибудь интересное?

— Нет, — ответил ему Роберт Джордан. — Все личные письма.

— А как дела там, откуда он? Есть про это в

письмах?

— Дела как будто ничего, — сказал Роберт Джордан. — Среди его земляков много убитых. — Он поглядел на маскировку пулемета, которую пришлось немного переделать и подправить после того, как растаял снег. Сейчас она выглядела довольно естественно. Он отвернулся и стал смотреть по сторонам.

— Из какого он города? — спросил Примитиво.

— Из Тафальи.

Ладно, сказал он себе. Я сожалею, если только от этого кому-нибудь легче.

Едва ли, сказал он себе.

Ладно, вот и прекрати это, сказал он себе.

Ладно, прекратил.

Но прекратить было не так-то легко. Скольких же ты всего убил за это время, спросил он себя. Не знаю. А ты считаешь, что ты вправе убивать? Нет. Но я должен. Сколько из тех, кого ты убил, были настоящие фашисты? Очень немногие. Но они все — неприятельские солдаты, а мы противопоставляем силу силе. Но наваррцы всегда нравились тебе больше всех остальных испанцев. Да. А ты вот убиваешь их. Да. Не веришь — пойди к лагерю и посмотри. Ведь ты знаешь, что убивать нехорошо? Да. И делаешь это? Да. И

ты все еще абсолютно убежден, что стоишь за правое дело? Да.

Так нужно, сказал он себе, и не в утешение, а с гордостью. Я стою за народ и за его право выбирать тот образ правления, который ему угоден. Но ты не должен стоять за убийства. Ты должен убивать, если это необходимо, но стоять за убийства ты не должен. Если ты стоишь за это, тогда все с самого начала неправильно.

Но скольких же ты всего убил, как ты думаешь? Не знаю, не хочу вспоминать. Но ты знаешь? Да. Скольких же? Точно сказать нельзя. При взрыве эшелона убиваешь многих. Очень многих. Но точно сказать нельзя. А про скольких ты знаешь точно? Больше двадцати. И сколько из них было настоящих фашистов? Наверняка могу сказать про двоих. Потому что этих мне пришлось расстрелять, когда мы захватили их в плен под Усерой. И тебе это не было противно? Нет. Но и приятно тоже не было? Нет. Я решил никогда больше этого не делать. Я избегал этого. Я избегал убивать безоружных.

Слушай, сказал он себе. Ты это лучше оставь. Это очень вредно для тебя и для твоей работы. Тут он сам себе возразил: ты у меня смотри. Ты делаешь важное дело, и нужно, чтоб ты все время все

понимал. Я должен следить за тем, чтобы в голове у тебя все было ясно. Потому что, если у тебя не все ясно в голове, ты не имеешь права делать то, что ты делаешь, так как то, что ты делаешь, есть преступление, и никому не дано права отнимать у другого жизнь, если только это не делается ради того, чтобы помешать еще худшему злу. А потому постарайся, чтоб все это было ясно у тебя в голове, и не обманывай себя.

Но я не желаю вести счет людям, которых я убил, как ведут список трофеев в виде какой-нибудь мерзости, вроде зарубок на прикладе, сказал он себе самому. Я имею право не вести счет, и я имею право забыть.

Нет, ответил он сам себе. Ты ничего не имеешь права забывать. Ты не имеешь права закрывать глаза на что-либо и не имеешь права забывать что-либо, или смягчать что-либо, или искажать.

Замолчи, сказал он себе самому. Ты становишься слишком напыщенным.

Или обманывать себя в чем-либо, продолжал он возражать сам себе.

Ладно, сказал он себе самому. Спасибо за добрые советы, ну, а Марию мне можно любить?

Да, ответил он сам себе.

Даже если предположить, что в чисто матери-

алистической концепции общества нет места таким вещам, как любовь?

С каких это пор у тебя завелись такие концепции, спросил он сам себя. Нет их у тебя. И быть не может. Ты не настоящий марксист, и ты это знаешь. Ты просто веришь в Свободу, Равенство и Братство. Ты веришь в Жизнь, Свободу и Право на Счастье. И не вдавайся в диалектику. Это для кого-нибудь, но не для тебя. Ты должен знать это настолько, чтобы не быть сосунком. Ты от многого временно отказался, для того чтобы выиграть войну. И если война будет проиграна, все это пропадет впустую.

Но потом ты сможешь отбросить то, во что ты не веришь. Есть немало такого, во что ты не веришь, и немало такого, во что ты веришь.

И еще одно. Никогда не потешайся над любовью. Просто есть люди, которым так никогда и не выпадает счастья узнать, что это такое. Ты тоже раньше не знал, а теперь узнал. То, что у тебя с Марией, все равно, продлится ли это полтора дня или многие годы, останется самым главным, что только может случиться в жизни человека. Всегда будут люди, которые утверждают, что этого нет, потому что им не пришлось испытать что-либо подобное. Но я говорю тебе, что это существует

и что ты это теперь узнал, и в этом твое счастье, даже если тебе придется умереть завтра.

Хватит разговоров о смерти, сказал он сам себе. У нас таких разговоров не ведут. Такие разговоры ведут наши друзья анархисты. Как только становится совсем плохо, им всегда приходит на ум лишь одно: поджечь что-нибудь и умереть. Странный все-таки ход мыслей. Очень странный. Ну что ж, приятель, видно, сегодняшний день так и пройдет, сказал он сам себе. Скоро три часа, недалеко и до обеда. Там, у Глухого, все еще постреливают, значит, вернее всего, они окружили его и ждут подкрепления. Хотя им ведь тоже надо торопиться, чтобы покончить до наступления темноты.

Что все-таки делается там, у Глухого? То же, что будет делаться и у нас, дайте только срок. Думаю, что там сейчас не очень-то весело. Мы здорово подвели его, Глухого, этой затеей с лошадьми. Как это говорится по-испански? Un callejón sin salida. Тупик. Мне кажется, я бы мог с этим справиться. Взять да сделать, а дальше все очень просто. Но как приятно, должно быть, участвовать в такой войне, в которой можно сдаться, если тебя окружили. Estamos copados. Мы окружены. Вот крик ужаса, который чаще всего слышится в эту войну.

За этим криком обычно следует расстрел; и если только расстрел, можно считать, что тебе повезло. Глухому так не повезет. Так же как и нам, если придет наш черед.

Было ровно три часа. Тут он услышал далекий, приглушенный гул и, подняв голову, увидел самолеты.

Глава двадцать седьмая

Эль Сордо принимал бой на вершине высокого холма. Ему не очень нравился этот холм; когда он увидел его, то подумал, что он похож на шанкр. Но у него не было выбора, он высмотрел его еще издали и помчался к нему во весь опор, пригнувшись под тяжестью пулемета, мешок с гранатами на одном боку, мешок с дисками на другом, ствол пулемета колотил по спине напрягавшую все силы лошадь, а сзади скакали Игнасио и Хоакин, то и дело останавливаясь и стреляя, останавливаясь и стреляя, чтобы дать ему время добраться до места и установить пулемет.

Тогда снег еще не сошел, тот самый снег, который погубил их, и когда в лошадь угодила пуля и она, тяжело, с присвистом дыша, в судорожных усилиях пыталась одолеть последний подъем, обрызгивая этот снег горячей, яркой струей, Глухой соскочил, перекинул повод через плечо и, карабкаясь сам, потащил лошадь за собой. Он карабкался так быстро, как только мог с двумя тяжелыми мешками на плечах, среди сыпавшихся кругом пуль, и наконец, подтянув лошадь за

гриву к себе, застрелил ее быстро, ловко и бережно, точно рассчитав место ее падения, так что она, рухнув головой вперед, завалила просвет между двумя скалами. Потом он приладил сзади пулемет так, чтобы стрелять через спину лошади, и расстрелял два диска один за другим; пулемет трещал, пустые гильзы зарывались в снег, от шкуры, примятой накалившимся стволом, шел запах паленого волоса, а он все стрелял по каждому, кто бы ни показался на склоне холма, чтобы заставить их отступить, и по спине у него все время бежал холодок от того, что он не знал, что делается позади. Когда последний из его пятерых людей взобрался на вершину холма, холодок исчез, и он прекратил огонь, чтобы поберечь оставшиеся диски.

Еще две убитые лошади лежали на склоне и три — здесь, на вершине холма. Вчера им удалось увести трех лошадей, но одна сорвалась и убежала утром, когда кто-то хотел вскочить на нее без седла при первой тревоге в лагере.

Из пятерых людей, добравшихся до вершины холма, трое были ранены. Глухому одна пуля попала в мякоть ноги и две в левую руку. Его мучила жажда, раненая нога затекла, одна рана в руке нестерпимо ныла. Кроме того, у него сильно

болела голова, и, лежа в ожидании самолетов, он вспомнил испанскую шутку: «Hay que tomar la muerte como si fuera aspirina», что означает: «Смерть нужно принимать, как таблетку аспирина». Но вслух он эту шутку не повторил. Он усмехнулся где-то внутри сковывавшей голову боли, внутри тошноты, подступавшей к горлу, едва он шевелил рукой или оглядывался на то, что осталось от его отряда.

Все пятеро расположились на вершине, как зубцы пятиконечной звезды. Коленями и руками они рыли землю и делали из глины и камней бугорки, за которыми можно было спрятать голову и плечи. Потом, пользуясь этим прикрытием, они принялись соединять отдельные бугорки вместе. У восемнадцатилетнего Хоакина был стальной шлем, которым он рыл землю и набирал ее, чтобы передавать другим.

Этот шлем достался ему, когда взрывали эшелон. Он был продырявлен пулей, и все смеялись над Хоакином за то, что он не бросил его. Но Хоакин молотком разровнял зазубренные края отверстия, потом вогнал в него деревянную пробку и отрезал торчавший кусок вровень с поверхностью шлема.

Когда началась стрельба, он с размаху нахлобу-

чил шлем на голову с такой силой, что в голове у него зазвенело, как от удара медной кастрюлей, и потом, когда лошадь под ним была убита, в этом последнем, свистом пуль, треском пуль, пеньем пуль подгоняемом беге, от которого сохло во рту, подгибались колени и перехватывало дыхание в груди, шлем давил его невероятной тяжестью и точно железным обручем стягивал готовый расколоться лоб.

Но он его не сбросил. И теперь рыл им землю, работая с исступленным упорством автомата. Он еще не был ранен.

— Пригодился-таки наконец, — сказал ему Глухой своим низким, сипловатым голосом.

— Resistir y fortificar es veneer, — сказал Хоакин, с трудом ворочая языком во рту, пересохшем больше от страха, чем от обычной в бою жажды. Это был один из лозунгов Испанской коммунистической партии, и значил он: сопротивляйся и укрепляйся, и ты победишь.

Глухой отвернулся и глянул вниз, где один из кавалеристов, укрывшись за большим валуном, готовился открыть огонь. Глухой очень любил мальчика, но ему сейчас было не до лозунгов.

— Что ты такое сказал?

Один из партизан повернул голову от соору-

жения, которое возводил. Он лежал все время ничком и, не поднимая подбородка с земли, осторожно укладывал камни.

Хоакин, не отрываясь от работы, повторил лозунг своим ломающимся мальчишеским голосом.

— Какое последнее слово? — переспросил партизан, не поднимавший подбородка с земли.

— Veneer, — сказал мальчик. — Победишь.

— Mierda[92], — сказал партизан, не поднимавший подбородка с земли.

— Есть еще один, который к нам подходит, — сказал Хоакин, выкладывая лозунги так, как будто это были талисманы. — Пасионария говорит: лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

— И все равно mierda, — сказал тот, а другой партизан бросил через плечо:

— А мы не на коленях, а на брюхе.

— Эй, ты, коммунист! А ты знаешь, что у твоей Пасионарии сын, такой, как ты, в России с самого начала движения?

— Это неправда, — сказал Хоакин.

— Qué va, неправда, — сказал партизан. — Мне это говорил динамитчик, которого так по-чудно-

---

[92] Примечания: 92
Дерьмо (*ит.*).

му звали. Он был той же партии, что и ты. Чего ему врать.

— Это неправда, — сказал Хоакин. — Не станет она прятать сына в России от войны.

— Хотел бы я сейчас быть в России, — сказал другой партизан из отряда Глухого. — Может, твоя Пасионария и меня послала бы в Россию, а, коммунист?

— Если ты так веришь в свою Пасионарию, попроси ее, чтоб она нас сейчас убрала с этого холма, — сказал третий, с перевязанным бедром.

— Тебя фашисты уберут, не беспокойся, — сказал тот, который не поднимал подбородка с земли.

— Не надо так говорить, — сказал Хоакин.

— Оботри материнское молоко с губ и подай мне земли в своей шляпе, — сказал партизан, не поднимавший подбородка. — Никому из нас не увидать сегодня, как зайдет солнце.

Глухой думал: этот холм похож на шанкр. Или на грудь молоденькой девушки с плоским соском. Или на вершину вулкана. А разве ты видал вулкан, подумал он. Не видал и никогда не увидишь. А этот холм похож просто на шанкр. И оставь вулканы в покое. Поздно уже теперь думать о вулканах.

Он очень осторожно выглянул из-за холки убитой лошади, и сейчас же внизу, у самого подножия холма, за валуном застрекотал пулемет и пули с глухим стуком ткнулись в лошадиное брюхо. Он отполз в сторону и выглянул в клинообразный просвет между крупом лошади и скалой. Три мертвых тела лежали на склоне почти у вершины, там, где они упали, когда фашисты под прикрытием пулеметного огня пошли было на приступ, но Глухой и его товарищи отбросили их назад, швыряя и скатывая навстречу ручные гранаты. Убитых было больше, но остальных он не мог видеть с этой стороны холма. Кругом не было такого защищенного пространства, через которое атакующие могли бы добраться до вершины, и Глухой знал, что, пока у него есть четверо бойцов и достаточно патронов и гранат, его отсюда не снимут, разве что притащат миномет. Он не знал, может быть, они и послали в Ла-Гранху за минометом. А может быть, и нет, потому что скоро все равно прилетят самолеты. Вот уже четыре часа, как над ними прошел разведчик.

Этот холм и в самом деле похож на шанкр, подумал Эль Сордо. Но мы немало их перебили, когда они сдуру полезли напрямик. Как можно было рассчитывать взять нас так? Знают, что вооруже-

ние у них новейшее, вот и решили, что больше и думать не о чем. Молодой офицер, командовавший штурмом, погиб от гранаты, которая покатилась, подскакивая и перевертываясь, прямо навстречу фашистам, бежавшим, пригнув голову, вверх по склону. В желтой вспышке и сером ревущем облаке дыма он видел, как офицер рухнул там, где он лежит и сейчас, точно брошенный тяжелый узел старого тряпья, и дальше этого места никто из штурмовавших не дошел. Глухой поглядел на тело, потом перевел глаза ниже, на другие тела.

Они храбрые, но дураки, думал он. Впрочем, теперь уже смекнули, больше не идут на приступ, ждут самолетов. А может быть, миномета. Лучше, если миномет. Он знал, что, как только установят миномет, они все погибли, но миномет — это было естественно и просто, а думая о самолетах, он чувствовал себя так, как будто с него сняли одежду и даже кожу и он сидел здесь, на холме, совершенно голый. Голее уж быть нельзя, думал он. Освежеванный заяц по сравнению с этим защищен, как медведь. И зачем им самолеты? Гораздо проще покончить с нами при помощи миномета. Но они гордятся своими самолетами и потому непременно дождутся их. Вот так же

они гордятся своим автоматическим оружием и потому так глупо полезли напрямик. Но и за минометом они, наверно, тоже послали.

Один из партизан выстрелил. Потом щелкнул затвором и торопливо выстрелил еще раз.

— Береги патроны, — сказал Глухой.

— Один сын распоследней шлюхи полез вон на тот камень, — он указал пальцем.

— Ты попал в него? — спросил Глухой, с трудом повернув голову.

— Нет, — сказал тот. — Выродок нырнул обратно.

— Вот кто шлюха из шлюх, так это Пилар, — сказал человек, не поднимавший с земли подбородка. — Ведь знает, шлюха, что нам здесь конец приходит.

— Пилар ничего сделать не может, — сказал Глухой. Говоривший лежал со стороны его здорового уха, и он расслышал, не поворачивая головы. Что она может сделать?

— Ударить на это дурачье сзади.

— Qué va, — сказал Глухой. — Они рассыпаны по всему склону. Как она может на них ударить? Их тут сотни полторы. Может быть, и больше.

— Если бы мы могли продержаться до ночи, — сказал Хоакин.

— Если б рождество да пришло на пасху, — сказал тот, кто не поднимал подбородка с земли.

— Если б у твоей тетки было под юбкой кое-что иное, так она была бы не тетка, а дядя, — сказал другой партизан. — Позови свою Пасионарию. Она одна может нам помочь.

— Я не верю про ее сына, — сказал Хоакин. — А если он там, значит, учится, чтобы стать летчиком или еще кем-нибудь.

— Просто спрятан подальше от опасности, — сказал партизан.

— Диалектику изучает. Твоя Пасионария тоже там побывала. И Листер, и Модесто, и все они. Мне динамитчик рассказывал, тот, которого звали по-чудному.

— Пусть учатся, а потом приедут и будут помогать нам, — сказал Хоакин.

— Пусть сейчас помогают, — сказал другой партизан. Он выстрелил и сказал: — Me cago en tal. Опять не попал.

— Береги патроны и не болтай столько, а то пить захочется, — сказал Глухой. — Тут воды достать неоткуда.

— На, — сказал партизан и, перевернувшись на бок, снял через голову веревку, которой был привязан у него на спине мех с вином, и протянул его

Глухому. — Прополощи рот, старик. Тебя, верно, жажда мучит от раны.

— Дай всем понемногу, — сказал Глухой.

— Ну, тогда я начну с себя, — сказал хозяин меха и длинной струей плеснул себе в рот вина, прежде чем передать мех другим.

— Глухой, как по-твоему, когда надо ждать самолеты? — спросил тот, который не поднимал подбородка.

— С минуты на минуту, — сказал Глухой. — Им уже давно пора быть здесь.

— А ты думаешь, эти сукины сыны еще пойдут на приступ?

— Только если самолеты не прилетят.

Он решил, что про миномет говорить не стоит. Успеют узнать, когда он будет здесь.

— Самолетов у них, слава богу, хватает. Вспомни, сколько мы вчера видели.

— Слишком много, — сказал Глухой.

У него сильно болела голова, а рука онемела, и шевелить ею было нестерпимо мучительно. Поднимая здоровой рукой мех с вином, он глянул в высокое, яркое, уже по-летнему голубое небо. Ему было пятьдесят два года, и он твердо знал, что видит небо последний раз.

Он ничуть не боялся смерти, но ему было до-

садно, что он попался в ловушку на этом холме, пригодном только для того, чтоб здесь умереть. Если б мы тогда пробились, подумал он. Если бы мы смогли заманить их в долину или сами прорваться на дорогу, все бы обошлось. Но этот проклятый холм. Ну что ж, надо по возможности использовать его; до сих пор мы его, кажется, неплохо использовали.

Если б даже он знал, сколько раз в истории человечества людям приходилось использовать высоту только для того, чтобы там умереть, это ему едва ли послужило бы утешением, потому что в такие минуты человек не думает о том, каково приходилось другим в его положении, и женщине, вчера лишь овдовевшей, не легче от мысли, что еще у кого-то погиб любимый муж.

Боишься ты смерти или нет, примириться с ней всегда трудно. Глухой примирился, но просветленности не было в его примирении, несмотря даже на пятьдесят два года, три раны и сознание, что он окружен.

Мысленно он подсмеивался над собой, но он смотрел в небо и на дальние горы и глотал вино, и ему не хотелось умирать. Если надо умереть, думал он, — а умереть надо, — я готов умереть. Но не хочется.

Умереть — это слово не значило ничего, оно не вызывало никакой картины перед глазами и не внушало страха. Но жить — это значило нива, колеблющаяся под ветром на склоне холма. Жить — значило ястреб в небе. Жить — значило глиняный кувшин с водой после молотьбы, когда на гумне стоит пыль и мякина разлетается во все стороны. Жить — значило крутые лошадиные бока, сжатые шенкелями, и карабин поперек седла, и холм, и долина, и река, и деревья вдоль берега, и дальний конец долины, и горы позади.

Глухой передал дальше мех с вином и кивнул в знак благодарности. Он наклонился вперед и похлопал убитую лошадь по спине в том месте, где ствол пулемета подпалил шкуру. Запах паленого волоса чувствовался еще и сейчас. Он вспомнил, как он остановил лошадь здесь, как она дрожала, как свистели и щелкали пули вокруг них, справа, слева, со всех сторон, точно завеса, и как он застрелил ее, безошибочно выстрелив в точку пересечения прямых, идущих от глаз к ушам. Потом, когда лошадь рухнула на землю, он припал сзади к ее теплой, мокрой спине, спеша наладить пулемет, потому что те уже шли на приступ.

— Eras mucho caballo, — сказал он, что значило: хороший ты был конь!

Теперь Глухой лежал на здоровом боку и смотрел в небо.

Он лежал на куче пустых гильз, голова его была защищена скалой, а тело — трупом убитой лошади. Раненые нога и рука затекли и очень болели, но от усталости ему не хотелось двигаться.

— Ты что, старик? — спросил партизан, лежавший ближе других.

— Ничего. Отдыхаю.

— Спи, — сказал тот. — Они разбудят, когда придут.

И тут снизу донесся чей-то голос.

— Эй, вы, бандиты! — кричали из-за скалы, где был установлен ближайший к ним пулемет. — Сдавайтесь, пока самолеты не разнесли вас в клочья.

— Что он там говорит? — спросил Глухой.

Хоакин повторил ему. Глухой отполз немного, приподнялся и снова прилег у пулемета.

— Самолеты, может, и не прилетят, — сказал он. — Не отвечайте и не стреляйте. Может, они опять пойдут на приступ.

— А то давай обругаем их как следует, — сказал тот, который говорил про сына Пасионарии.

— Нет, — сказал Глухой. — Дай мне твой большой пистолет. У кого есть большой пистолет?

— Вот, у меня.

— Давай сюда! — Привстав на колени, он взял большой девятимиллиметровый «стар» и выстрелил в землю возле убитой лошади, потом подождал и выстрелил еще четыре раза, через разные промежутки времени. Потом сосчитал до шестидесяти и сделал последний выстрел — уже прямо в убитую лошадь. Он усмехнулся и вернул пистолет его хозяину. — Заряди, — сказал он шепотом, — и пусть все молчат и никто не стреляет.

— Bandidos! — крикнул голос из-за скалы внизу.

На холме было тихо.

— Bandidos! Сдавайтесь, пока вас не разнесли в клочья!

— Клюет, — весело шепнул Глухой.

Он подождал еще, и наконец из-за скалы показалась голова. С холма не стреляли, и голова спряталась обратно. Глухой ждал, наблюдая, но больше ничего не произошло. Он оглянулся на остальных, наблюдавших тоже, каждый со своей стороны. Увидя, что он смотрит, все покачали головой.

— Никто не шевелись, — шепнул он.

— Сыновья последней шлюхи! — крикнул

опять голос из-за скалы. — Красная сволочь!

Глухой усмехнулся. Он лежал, повернувшись к склону здоровым ухом, и бранные выкрики долетали до него. Это получше аспирина, подумал он. Сколько же нам достанется? Неужели они такие дураки?

Голос опять умолк, и минуты три они ничего не слышали и не замечали никакого движения. Потом снайпер, сидевший за валуном в сотне ярдов вниз по склону, высунулся и выстрелил. Пуля ударилась в скалу и отскочила с резким визгом. Потом Глухой увидел, как от прикрытия, за которым был установлен пулемет, отделился человек и, согнувшись чуть не вдвое, перебежал к валуну, где прятался снайпер. Он нырнул в яму за валуном и исчез из виду.

Глухой оглянулся. Ему знаками показали, что с других сторон движения не заметно. Глухой весело усмехнулся и покачал головой. Да, это куда лучше аспирина, подумал он и продолжал выжидать, испытывая радость, понятную только охотнику.

Внизу за валуном человек, который только что прибежал, говорил снайперу:

— Ты как думаешь?

— Не знаю, — сказал снайпер.

— Это вполне вероятно, — сказал прибежавший; он был офицер и командовал этой частью. — Они окружены. Им нечего ждать, кроме смерти.

Снайпер промолчал.

— Ты замечал какое-нибудь движение после выстрелов?

— Нет.

Офицер посмотрел на свои ручные часы. Было без десяти три.

— Самолетам уже час, как пора быть здесь, — сказал он.

И тут в яму за валуном спрыгнул еще один офицер. Снайпер подвинулся, чтоб дать ему место.

— Ты, Пако, — сказал первый офицер. — Что ты на это скажешь?

Второй офицер не мог отдышаться после бега вверх по крутому склону.

— По-моему, это уловка, — сказал он.

— А если нет? Подумай, какого дурака мы валяем, держа в осаде компанию мертвецов.

— Мы сегодня хуже дурака сваляли, — сказал второй офицер. — Посмотри на этот склон.

Он поднял голову и посмотрел на склон, весь усеянный мертвыми телами. С того места, откуда он смотрел, на вершине холма видны были только выступы скал, брюхо и торчащие копытами

вперед ноги лошади и кучи свежей земли, выброшенной при копке.

— А минометы как? — спросил второй офицер.

— Должны быть здесь через час. Может быть, раньше.

— Тогда подождем. Довольно уже наделали глупостей.

— Bandidos! — закричал вдруг первый офицер, вскакивая на ноги и высовывая голову из-за валуна, отчего вершина холма сразу придвинулась ближе. — Красная сволочь! Трусы!

Второй офицер взглянул на снайпера и покачал головой. Снайпер смотрел в сторону, но губы у него сжались плотнее.

Первый офицер продолжал стоять, высоко подняв голову над валуном, держа руку на рукоятке револьвера. Он, не умолкая, сыпал бранью и оскорблениями. Но на вершине холма было тихо. Тогда он вышел из-за валуна и выпрямился во весь рост на открытом месте лицом к вершине.

— Стреляйте, трусы, если вы живы! — закричал он. — Стреляйте в человека, который не боится никаких красных, сколько б их там ни вышло из брюха последней шлюхи.

Такую длинную фразу было довольно трудно прокричать, и у офицера лицо стало совсем баг-

ровое и жилы вздулись на лбу.

Второй офицер — это был худой, загорелый лейтенант со спокойным взглядом, с большим тонкогубым ртом и небритой щетиной на впалых щеках — опять покачал головой. Неудавшаяся попытка штурма была предпринята по приказу того самого офицера, который теперь выкрикивал ругательства. Молодой лейтенант, лежавший мертвым на склоне холма, был лучшим другом лейтенанта Пако Беррендо, прислушивавшегося к выкрикам капитана, который все больше входил в азарт.

— Это та самая сволочь, которая расстреляла мою мать и сестру, — сказал капитан.

У него было красное лицо и рыжеватые, совсем английские усики, и что-то у него было неладно с глазами. Они были светло-голубые, ресницы тоже были светлые. Если смотреть прямо в эти глаза, казалось, что они никак не могут сосредоточиться на одной точке.

— Красные! — закричал капитан. — Трусы! — И снова начал ругаться.

Стоя на открытом, ничем не защищенном месте, он тщательно прицелился и выстрелил из револьвера в единственную мишень, видную на вершине холма, — в убитую лошадь Глухого. Пуля

взрыла маленький фонтан земли, не долетев ярдов пятнадцати до цели. Капитан выстрелил еще раз. Пуля ударилась о скалу и отскочила, жужжа.

Капитан все стоял и смотрел на вершину холма. Лейтенант Беррендо смотрел на тело другого лейтенанта, лежавшее у вершины. Снайпер смотрел себе под ноги. Потом он поднял голову и посмотрел на капитана.

— Там нет ни одного живого, — сказал капитан. — Ты! — сказал он снайперу. — Ступай наверх и посмотри.

Снайпер снова опустил голову. Он ничего не говорил.

— Ты что, не слышишь? — закричал капитан.

— Слышу, господин капитан, — ответил снайпер, не глядя на него.

— Так вставай и иди. — Капитан еще держал револьвер в руке. — Слышишь?

— Слышу, господин капитан.

— Так почему же ты не идешь?

— Я не хочу, господин капитан.

— Ты не хочешь? — Капитан приставил револьвер снайперу к пояснице. — Ты не хочешь?

— Я боюсь, господин капитан, — с достоинством ответил солдат.

Лейтенант Беррендо взглянул в лицо капитану

и в его странные глаза и подумал, что тот способен застрелить снайпера на месте.

— Капитан Мора, — сказал он.

— Лейтенант Беррендо?

— Может быть, солдат прав.

— То есть как прав? Он заявляет, что боится, он отказывается исполнить приказ — и он прав?

— Я не об этом. Я о том, что это уловка.

— Там одни мертвецы, — сказал капитан. — Разве ты не слышал? Я сказал, что там одни мертвецы.

— Вы говорите о наших товарищах на склоне холма? — спросил Беррендо. — Я согласен с вами.

— Пако, — сказал капитан. — Не будь дураком. Ты думаешь, кроме тебя, Хулиан никому не был дорог? Я говорю о красных. Смотри.

Он выпрямился, оперся обеими руками о валун и, подтянувшись, забрался на него — не очень ловко, сначала став на колени, потом уже на ноги.

— Стреляйте! — закричал он, выпрямившись во весь рост на сером граните, и замахал обеими руками. — Стреляйте в меня! Бейте в меня!

На вершине холма Глухой лежал за трупом лошади и усмехался.

Ну и народ, думал он. Он засмеялся, но сейчас

же подавил смех, потому что от сотрясения было больно руке.

— Сволочь! — надрывался голос внизу. — Красная сволочь! Стреляйте в меня! Бейте в меня!

Глухой, беззвучно смеясь, осторожно глянул в щелку у крупа лошади и увидел капитана, который стоял на валуне и размахивал руками. Второй офицер стоял рядом у валуна. С другой стороны стоял снайпер. Глухой, не отнимая глаз от щелки, весело покачал головой.

— Стреляйте в меня! — сказал он тихо самому себе. — Бейте в меня! — Тут у него опять затряслись плечи. От смеха рука болела сильнее, а голова, казалось, вот-вот расколется. Но он не мог удержать душивший его смех.

Капитан Мора слез с валуна.

— Ну, Пако, теперь убедился? — спросил он лейтенанта Беррендо.

— Нет, — сказал лейтенант Беррендо.

— Так вас и так! — сказал капитан. — Все вы тут идиоты и трусы.

Снайпер предусмотрительно снова зашел за валун, и лейтенант Беррендо присел на корточки рядом с ним.

Капитан, оставаясь на открытом месте, принялся опять выкрикивать ругательства, обращаясь

к вершине холма. Нет в мире языка, более приспособленного для ругани, чем испанский. В нем есть слова для всех английских ругательств и еще много слов и выражений, которые употребляются только в таких странах, где богохульство сочетается с религиозным пылом. Лейтенант Беррендо был очень набожный католик. Снайпер тоже. Оба они были карлисты из Наварры, и хотя оба под злую руку ругались и богохульствовали без удержу, оба считали это грехом, в котором регулярно исповедовались.

Сейчас, сидя за валуном, глядя на капитана и слушая, что он кричит, они мысленно отмежевывались и от него, и от его слов. Они не хотели брать на душу подобный грех в день, когда им, может быть, предстояло умереть. Такие речи не приведут к добру, думал снайпер. Так поминать пресвятую деву не приведет к добру. Даже от красных такого не услышишь.

Хулиан убит, думал лейтенант Беррендо, лежит мертвый вон там, на склоне, в такой день. А этот стоит и ругается, хочет еще худшее несчастье накликать своим богохульством.

Тут капитан перестал кричать и повернулся к лейтенанту Беррендо. Взгляд у него был еще более странный, чем обычно.

— Пако, — сказал он восторженно, — мы с тобой пойдем туда.

— Я не пойду.

— Что? — Капитан снова выхватил револьвер.

Терпеть не могу этих грозных вояк, думал лейтенант Беррендо. Слова не могут сказать, не потрясая оружием. Такой, вероятно, даже в уборной вынимает револьвер и сам себе подает команду.

— Если вы приказываете, я пойду. Но заявляю протест, — сказал лейтенант Беррендо капитану.

— Я пойду один, — сказал капитан. — Уж очень тут воняет трусостью!

С револьвером в правой руке, твердым шагом он стал подниматься по склону. Беррендо и снайпер следили за ним. Он шел прямо, не ища прикрытия, и смотрел вперед, на скалы, на убитую лошадь и свежевзрыхленную землю у вершины холма.

Глухой лежал за лошадью у скалы и следил за капитаном, шаг за шагом одолевавшим подъем.

Только один, думал. Только один нам достался. Но, судя по его разговору, это должен быть caza mayor[93]. Смотри, как он идет. Смотри, какая

---

[93] Примечания: 93
Крупный зверь (*исп.*).

скотина. Смотри, как вышагивает по склону. Этот уж будет мой. Этого уж я с собой захвачу. Этот мне будет попутчиком в дороге. Иди, друг-попутчик, иди. Иди поскорее. Иди прямо сюда. Иди, здесь тебя ждут. Иди. Шагай веселей. Не задерживайся. Иди прямо сюда. Иди так, как идешь. Не останавливайся, не смотри на тех. Вот так, хорошо. Не смотри вниз. Незачем тебе опускать глаза. Эге, да он с усами. Как это вам понравится? Он носит усы, мой попутчик. И он в чине капитана. Вот у него какие нашивки. Сказал же я, что он caza mayor. А лицом вылитый англичанин. Вон какой. Блондин, лицо красное, а глаза голубые. Без кепи, и усы рыжие. Глаза голубые. Глаза светло-голубые, и какие-то они странные. Глаза светло-голубые и как будто смотрят в разные стороны. Еще немножко поближе. Так, довольно. Ну, друг-попутчик. Получай, друг-попутчик.

Он легко нажал на спусковой крючок, и его три раза ударило в плечо; при стрельбе из ручных пулеметов с треноги всегда бывает сильная отдача.

Капитан лежал на склоне лицом вниз. Левая рука подогнулась под тело. Правая, с револьвером, была выброшена вперед. Снизу со всех сторон стреляли по вершине холма.

Скорчившись за валуном, думая о том, как ему

сейчас придется перебегать открытое пространство под огнем, лейтенант Беррендо услышал низкий, сиплый голос Глухого, несшийся сверху.

— Bandidos! — кричал голос. — Bandidos! Стреляйте в меня! Бейте в меня!

На вершине холма Глухой, припав к своему пулемету, смеялся так, что вся грудь у него болела так, что ему казалось, голова у него вот-вот расколется пополам.

— Bandidos! — радостно закричал он опять. — Бейте в меня, bandidos! — Потом радостно покачал головой. Ничего, попутчиков у нас много будет, подумал он.

Он еще и второго офицера постарается уложить, пусть только тот вылезет из-за валуна. Рано или поздно ему придется оттуда вылезть. Глухой знал, что командовать из-за валуна офицер не сможет, и ждал верного случая уложить его.

И тут остальные, кто был на вершине, услышали шум приближающихся самолетов.

Эль Сордо его не услышал. Он наводил пулемет на дальний край валуна и думал: я буду стрелять в него, когда он побежит, и мне надо приготовиться, иначе я промахнусь. Можно стрелять ему в спину, пока он бежит. Можно забирать немного в сторону и вперед. Или дать ему разбежаться и

тогда стрелять, забирая вперед. Тут он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо, и оглянулся, и увидел серое, осунувшееся от страха лицо Хоакина, и посмотрел туда, куда он указывал, и увидел три приближающихся самолета.

В эту самую минуту лейтенант Беррендо выскочил из-за валуна и, пригнув голову, быстро перебирая ногами, помчался по склону наискосок вниз, туда, где под прикрытием скал был установлен пулемет.

Эль Сордо, занятый самолетами, не видел, как он побежал.

— Помоги мне вытащить его отсюда, — сказал он Хоакину, и мальчик высвободил пулемет, зажатый между лошадью и скалой.

Самолеты все приближались. Они летели эшелонированным строем и с каждой секундой становились больше, а шум их все нарастал.

— Ложитесь на спину и стреляйте в них, — сказал Глухой. — Стреляйте вперед по их лету.

Он все время не спускал с них глаз.

— Cabrónes! Hijos de puta! — сказал он скороговоркой. — Игнасио, — сказал он. — Обопри пулемет на плечи мальчика. А ты, — Хоакину, — сиди и не шевелись. Ниже пригнись. Еще. Нет, ниже.

Он лежал на спине и целился в самолеты, которые все приближались.

— Игнасио, подержи мне треногу.

Ножки треноги свисали с плеча Хоакина, а ствол трясся, потому что мальчик не мог удержать дрожи, слушая нарастающий гул.

Лежа на животе, подняв только голову, чтобы следить за приближением самолетов, Игнасио собрал все три ножки вместе и попытался придать устойчивость пулемету.

— Наклонись больше! — сказал он Хоакину. — Вперед наклонись!

«Пасионария говорит: лучше умереть стоя… — мысленно повторил Хоакин, а гул все нарастал. Вдруг он перебил себя: — Святая Мария, благодатная дева, господь с тобой; благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, матерь божия, молись за нас, грешных, ныне и в час наш смертный. Аминь. Святая Мария, матерь божия, — начал он снова и вдруг осекся, потому что гул перешел уже в оглушительный рев, и, торопясь, стал нанизывать слова покаянной молитвы: — О господи, прости, что я оскорблял тебя в невежестве своем…»

Тут у самого его уха загремело, и раскалившийся ствол обжег ему плечо. Потом опять загремело,

очередь совсем оглушила его. Игнасио изо всех сил давил на треногу, ствол жег ему спину все сильнее. Теперь все кругом грохотало и ревело, и он не мог припомнить остальных слов покаянной молитвы.

Он помнил только: в час наш смертный. Аминь. В час наш смертный. Аминь. В час наш. Аминь. Остальные все стреляли. Ныне и в час наш смертный. Аминь.

Потом, за грохотом пулемета, послышался свист, от которого воздух рассекло надвое, и в красно-черном реве земля под ним закачалась, а потом вздыбилась и ударила его в лицо, а потом комья глины и каменные обломки посыпались со всех сторон, и Игнасио лежал на нем, и пулемет лежал на нем. Но он не был мертв, потому что свист послышался опять, и земля опять закачалась от рева. Потом свист послышался еще раз, и земля ушла из-под его тела, и одна сторона холма взлетела на воздух, а потом медленно стала падать и накрыла их.

Три раза самолеты возвращались и бомбили вершину холма, но никто на вершине уже не знал этого. Потом они обстреляли вершину из пулеметов и улетели. Когда они в последний раз пикировали на холм, головной самолет сделал

поворот через крыло, и оба других сделали то же, и, перестроившись клином, все три самолета скрылись в небе по направлению к Сеговии.

Держа вершину под непрерывным огнем, лейтенант Беррендо направил патруль в одну из воронок, вырытых бомбами, откуда удобно было забросать вершину гранатами. Он не желал рисковать, — вдруг кто-нибудь жив и дожидается их в этом хаосе наверху, — и он сам бросил четыре гранаты в нагромождение лошадиных трупов, камней, и обломков, и взрытой, пахнущей динамитом земли и только тогда вылез из воронки и пошел взглянуть.

Все были мертвы на вершине холма, кроме мальчика Хоакина, который лежал без сознания под телом Игнасио, придавившим его сверху. У мальчика Хоакина кровь лила из носа и ушей. Он ничего не знал и ничего не чувствовал с той минуты, когда вдруг все кругом загрохотало и разрыв бомбы совсем рядом отнял у него дыхание, и лейтенант Беррендо осенил себя крестом и потом застрелил его, приставив револьвер к затылку, так же быстро и бережно, — если такое резкое движение может быть бережным, — как Глухой застрелил лошадь.

Лейтенант Беррендо стоял на вершине и глядел

вниз, на склон, усеянный телами своих, потом поднял глаза и посмотрел вдаль, туда, где они скакали за Глухим, прежде чем тот укрылся на этом холме. Он отметил в своей памяти всю картину боя и потом приказал привести наверх лошадей убитых кавалеристов и тела привязать поперек седла так, чтобы можно было доставить их в Ла-Гранху.

— Этого тоже взять, — сказал он. — Вот этого, с пулеметом в руках. Вероятно, он и есть Глухой. Он самый старший, и это он стрелял из пулемета. Отрубить ему голову и завернуть в пончо. — Он с минуту подумал. — Да, пожалуй, стоит захватить все головы. И внизу и там, где мы на них напали, тоже. Винтовки и револьверы собрать, пулемет приторочить к седлу.

Потом он пошел к телу лейтенанта, убитого при первой попытке атаки. Он посмотрел на него, но не притронулся.

Qué cosa más mala es la guerra, сказал он себе, что означало: какая нехорошая вещь война.

Потом он снова осенил себя крестом и, спускаясь с холма, прочитал по дороге пять «Отче наш» и пять «Богородиц» за упокой души убитого товарища. Присутствовать при выполнении своего приказа он не захотел.

Глава двадцать восьмая

Когда самолеты пролетели, Роберт Джордан и Примитиво снова услышали стрельбу, и Роберту Джордану показалось, что он снова услышал удары своего сердца. Облако дыма плыло над кряжем последней видной ему горы, а самолеты казались тремя пятнышками, удалявшимися в небе.

Наверно, свою же кавалерию разбомбили к чертям, а Сордо и его людей так и не тронули, сказал себе Роберт Джордан. Эти проклятые самолеты только страх нагоняют, а убить никого не могут.

— А они еще дерутся, — сказал Примитиво, прислушиваясь к гулким отзвукам выстрелов. Во время бомбардировки он вздрагивал при каждом ударе и теперь все облизывал пересохшие губы.

— Конечно, дерутся, — сказал Роберт Джордан. — Самолеты ведь никого убить не могут.

Тут стрельба смолкла, и больше он не услышал ни одного выстрела. Револьверный выстрел лейтенанта Беррендо сюда не донесся.

В первую минуту, когда стрельба смолкла, это его не смутило. Но тишина длилась, и мало-помалу щемящее чувство возникло у него в груди.

Потом он услышал взрывы гранат и на мгновение воспрянул духом. Но все стихло снова, и тишина длилась, и он понял, что все кончено.

Из лагеря пришла Мария, принесла оловянное ведерко с жарким из зайца, приправленным густой грибной подливкой, мешочек с хлебом, бурдюк с вином, четыре оловянные тарелки, две кружки и четыре ложки. Она остановилась у пулемета и положила мясо на две тарелки — для Агустина и Эладио, который сменил Ансельмо, и налила две кружки вина.

Роберт Джордан смотрел, как она ловко карабкается к нему, на его наблюдательный пост, с мешочком за плечами, с ведерком в одной руке, поблескивая стриженой головой на солнце. Он спустился пониже, принял у нее ведерко и помог взобраться на последнюю кручу.

— Зачем прилетали самолеты? — спросила она, испуганно глядя на него.

— Бомбить Глухого.

Он снял крышку с ведерка и стал накладывать себе в тарелку зайчатины.

— Они все еще отстреливаются?

— Нет. Все кончено.

— Ох, — сказала она, закусила губу и посмотрела вдаль.

— Мне что-то есть не хочется, — сказал Примитиво.

— Все равно ешь, друг, — сказал ему Роберт Джордан.

— Кусок в горло не идет.

— Выпей, — сказал Роберт Джордан и протянул ему бурдюк. — Потом будешь есть.

— Всякая охота пропала после Эль Сордо, — сказал Примитиво. — Ешь сам. У меня никакой охоты нет.

Мария подошла к нему, обняла его за шею и поцеловала.

— Ешь, старик, — сказала она. — Надо беречь силы.

Примитиво отвернулся от нее. Он взял бурдюк, запрокинул голову и сделал несколько глотков, вливая себе вино прямо в горло. Потом положил на тарелку мяса и принялся за еду.

Роберт Джордан взглянул на Марию и покачал головой. Она села рядом с ним и обняла его за плечи. Каждый из них понимал, что чувствует другой, и они сидели так, и Роберт Джордан ел зайчатину не торопясь, смакуя грибную подливку, и запивал еду вином, и они сидели молча.

— Ты можешь остаться здесь, guapa, если хочешь, — сказал он, когда все было съедено.

— Нет, — сказала она. — Надо возвращаться к Пилар.

— Можешь и здесь побыть. Я думаю, теперь уж ничего такого не будет.

— Нет. Надо возвращаться к Пилар. Она меня наставляет.

— Что она делает?

— Наставляет меня. — Она улыбнулась и потом поцеловала его. — Разве ты не знаешь, как наставляют в церкви? — Она покраснела. — Вот и Пилар так. — Она опять покраснела. — Только совсем про другое.

— Ну, иди слушай ее наставления, — сказал он и погладил Марию по голове.

Она опять улыбнулась ему, потом спросила Примитиво:

— Тебе ничего не надо принести оттуда?

— Нет, дочка, — сказал он.

Они видели оба, что он еще не пришел в себя.

— Salud, старик, — сказала она ему.

— Послушай, — сказал Примитиво. — Я смерти не боюсь, но бросить их там одних… — Голос у него дрогнул.

— У нас не было другого выхода, — сказал ему Роберт Джордан.

— Я знаю. И все-таки.

— У нас не было выхода, — повторил Роберт Джордан. — А теперь лучше не говорить об этом.

— Да. Но одни, и никакой помощи от нас…

— Лучше не говорить об этом, — сказал Роберт Джордан. — А ты, guapa, иди слушать наставления.

Он смотрел, как она спускается, пробираясь между большими камнями. Он долго сидел так и думал и смотрел на вершины.

Примитиво заговорил с ним, но он не ответил ему. На солнце было жарко, а он не замечал жары и все сидел, глядя на склоны гор и на длинные ряды сосен вдоль самого крутого склона. Так прошел час, и солнце передвинулось и оказалось слева от него, и тут он увидел их на дальней вершине и поднял бинокль к глазам.

Когда первые два всадника выехали на пологий зеленый склон, их лошади показались ему совсем маленькими, точно игрушечными. Потом на широком склоне растянулись цепочкой еще четыре всадника, и наконец он увидел в бинокль двойную колонну солдат и лошадей, четко вырисовывавшуюся в поле его зрения. Глядя на нее, он почувствовал, как пот выступил у него под мышками и струйками побежал по бокам. Во главе колонны ехал всадник. За ним еще несколько че-

ловек. Потом шли вьючные лошади с поклажей, привязанной поперек седел. Потом еще два всадника. Потом ехали раненые, а сопровождающие шли с ними рядом. И еще несколько всадников замыкали колонну.

Роберт Джордан смотрел, как они съезжают вниз по склону и скрываются в лесу. На таком расстоянии он не мог разглядеть поклажу, взваленную на одну из лошадей, — длинную скатку из пончо, которая была перевязана с обоих концов и еще в нескольких местах и выпирала буграми между веревками, точно полный горошин стручок. Скатка лежала поперек седла, и концы ее были привязаны к стременам. Рядом с ней на седле гордо торчал ручной пулемет, из которого отстреливался Глухой.

Лейтенант Беррендо, который ехал во главе колонны, выслав вперед дозорных, никакой гордости не чувствовал. Он чувствовал только внутреннюю пустоту, которая приходит после боя. Он думал: рубить головы — это зверство. Но вещественные доказательства и установление личности необходимы. У меня и так будет достаточно неприятностей, и, кто знает, может быть, им понравится, что я привез эти головы? Ведь среди них есть такие, которым подобные штуки

по душе. Может быть, головы отошлют в Бургос. Да, это зверство. И самолеты — это уж muchos. Слишком. Слишком. Но мы могли бы сделать все сами и почти без потерь, будь у нас миномет Стокса. Два мула для перевозки снарядов и один мул с минометом, притороченным к вьючному седлу. Тогда мы были бы настоящей армией. Миномет плюс все это автоматическое оружие. И еще один мул, нет, два мула с боеприпасами. Перестань, сказал он самому себе. Тогда это уже не кавалерия. Перестань. Ты мечтаешь о целой армии. Еще немного, и тебе потребуется горная пушка.

Потом он подумал о Хулиане, который погиб на холме, погиб, и теперь его везут поперек седла в первом взводе, и, въехав в сумрачный хвойный лес, оставив позади склон, озаренный солнцем, в тихом сумраке сосен он стал молиться за Хулиана.

— Пресвятая матерь, источник милостей, — начал он. — Утеха жизни нашей, упование наше. Тебе возносим мы моления, и скорбь нашу, и горести в этой юдоли слез…

Он молился, а лошади мягко ступали подковами по сосновым иглам, и солнечные лучи падали между стволами, точно между колоннами в соборе, и он молился за Хулиана и смотрел вперед,

отыскивая глазами среди деревьев своих дозорных, ехавших впереди.

Они выехали из лесу на желтую дорогу, которая вела в Ла-Гранху, и поехали дальше в облаке пыли, поднятой лошадиными копытами. Пыль оседала на трупах, которые были привязаны поперек седел лицом вниз, и раненые, и те, кто шел рядом с ними, тоже были покрыты густым слоем пыли.

Здесь, на этой дороге, их и увидел Ансельмо сквозь поднятую ими пыль.

Он пересчитал мертвых и раненых и узнал пулемет Глухого. Он не догадался тогда, что было в этом свертке, привязанном к стременам и колотившем по ногам лошадь, которую вели под уздцы, но позднее, поднявшись в темноте, по дороге в лагерь, на тот холм, где отстреливался Глухой, он сразу понял, что было в длинной скатке из пончо. В темноте он не мог распознать, кто был здесь с Глухим. Но он пересчитал трупы и пошел в обратный путь, к лагерю Пабло.

Шагая в темноте совсем один, чувствуя, как страх леденит ему сердце после только что увиденных воронок от бомб, после этих воронок и после того, что предстало перед ним там, на вершине, он отгонял от себя все мысли о завтрашнем

дне. Он шел и шел, стараясь как можно скорей принести эту весть в лагерь. И на ходу он молился за душу Глухого и за души тех, кто был в его отряде. Он молился в первый раз с тех пор, как началось движение.

Пресвятая дева сладчайшая, нет конца милостям твоим, молился он.

Но ему не удалось отогнать от себя мысли о завтрашнем дне, и он думал: я буду исполнять все, что мне скажет Inglés, и так, как он скажет. Но сделай так, господи, чтобы я все время был рядом с ним и чтобы его распоряжения были точные, потому что мне не совладать с собой, если нас будут бомбить с самолетов. Господи, помоги мне завтра вести себя так, как подобает мужчине в последний час. Господи, помоги мне понять то, что потребуется от меня завтра. Господи, помоги мне совладать с моими ногами, сделай так, чтобы я не побежал в минуту опасности. Господи, помоги мне завтра вести себя так, как подобает мужчине во время боя. И если уж я обратился к тебе за помощью, а ты знаешь, что я не стану просить попусту, исполни мою просьбу, и я больше ни о чем не буду просить тебя.

Шагая в темноте, он почувствовал облегчение от молитвы, и теперь он верил, что будет вести

себя завтра, как подобает мужчине. Шагая по склону вниз, он снова стал молиться за Глухого и за его людей и вскоре вышел к верхнему посту, где его окликнул Фернандо.

— Это я, — ответил он. — Ансельмо.

— Хорошо, — сказал Фернандо.

— Знаешь, что с Глухим? — спросил он Фернандо, когда оба они стояли в темноте у подножия большой скалы.

— А как же, — ответил Фернандо. — Пабло все нам рассказал.

— Он был там?

— А как же, — с тупым упорством повторил Фернандо. — Он пошел туда, как только кавалерия скрылась.

— Он рассказал про…

— Он все нам рассказал, — ответил Фернандо. — Что за звери эти фашисты! Мы должны сделать так, чтобы в Испании не было таких зверей. — Он помолчал, потом сказал с горечью: — Они понятия не имеют о том, что такое человеческое достоинство.

Ансельмо усмехнулся в темноте. Час назад он даже не мог бы себе представить, что будет когда-нибудь опять улыбаться. Ну и чудак этот Фернандо, подумал он.

— Да, — сказал он Фернандо. — Их надо многому научить. У них надо отобрать все самолеты, все автоматы, все танки, всю артиллерию и научить их человеческому достоинству.

— Совершенно верно, — сказал Фернандо. — Я рад, что ты согласен со мной.

Ансельмо оставил Фернандо наедине с его достоинством и пошел вниз, к пещере.

Глава двадцать девятая

Когда Ансельмо вошел в пещеру, Роберт Джордан сидел за дощатым столом напротив Пабло. Посреди стола стояла миска с вином, а перед каждым из них по кружке. Роберт Джордан сидел с записной книжкой и держал карандаш в руке. Пилар и Марии не было видно, они ушли в глубь пещеры. Ансельмо не мог знать, что Пилар увела туда девушку нарочно, чтобы та не слышала, о чем говорят за столом, и ему показалось странным, что Пилар нет здесь.

Роберт Джордан поднял голову и взглянул на Ансельмо, когда тот откинул попону, висевшую над входом. Пабло сидел, уставившись прямо перед собой. Его глаза смотрели на миску с вином, но он не видел ее.

— Я оттуда, сверху, — сказал Ансельмо Роберту Джордану.

— Пабло нам все рассказал, — ответил ему Роберт Джордан.

— Там шесть трупов, а головы они увезли с собой, — сказал Ансельмо. — Я пришел туда, когда уже было темно.

Роберт Джордан кивнул. Пабло смотрел на миску с вином и молчал. Его лицо ничего не выражало, а маленькие свиные глазки смотрели на миску с вином так, будто он видел ее впервые в жизни.

— Садись, — сказал Роберт Джордан Ансельмо.

Старик сел на обитую кожей табуретку, и Роберт Джордан нагнулся и вынул из-под стола бутылку — подарок Глухого. Виски в ней было только до половины. Роберт Джордан протянул руку за кружкой, налил в нее виски и пододвинул кружку Ансельмо.

— Выпей, старик, — сказал он.

Пабло поднял глаза от миски, посмотрел Ансельмо прямо в лицо и, когда тот выпил, снова уставился на миску с вином.

Глотнув виски, Ансельмо почувствовал жжение в носу, в глазах, во рту, а потом в желудке у него разлилась приятная, успокаивающая теплота. Он вытер рот рукой. Потом взглянул на Роберта Джордана и сказал:

— Можно еще?

— Конечно, — сказал Роберт Джордан, налил виски и на этот раз не стал двигать кружку по столу, а подал ее Ансельмо.

Теперь виски уже не обожгло, но успокаива-

ющая теплота усилилась вдвое. Это оживило Ансельмо, как введение физиологического раствора оживляет человека, потерявшего много крови. Старик опять посмотрел на бутылку.

— Остальное на завтра, — сказал Роберт Джордан. — Ну, что ты видел на дороге, старик?

— Много машин, — сказал Ансельмо. — Я все записал, как ты мне говорил. Сейчас там у меня поставлен человек, женщина. Немного попозже схожу узнаю.

— А противотанковые пушки видел? Они на резиновом ходу, с длинными стволами.

— Да, — сказал Ансельмо. — Прошли четыре грузовика. И на каждом была такая пушка, прикрытая сверху сосновыми ветками. А при каждой пушке по шесть солдат.

— Значит, четыре пушки? — спросил его Роберт Джордан.

— Четыре, — сказал Ансельмо. Он не посмотрел на свою бумажку.

— Ну, а еще что?

Роберт Джордан записывал со слов Ансельмо все, что тот видел на дороге. Ансельмо, обладавший замечательной памятью, свойственной людям, которые не умеют ни читать, ни писать, рассказал все с самого начала и по порядку, и

пока он рассказывал, Пабло два раза подливал себе вина из миски.

— Еще видал кавалерию, она прошла в Ла-Гранху с той стороны, где был лагерь Глухого, — продолжал Ансельмо.

Потом он сказал, сколько там было раненых и сколько убитых везли на лошадях.

— Поперек одного седла лежал какой-то сверток, и я тогда не догадался, что в нем, — сказал он. — Но теперь я знаю, что там были головы. — Он продолжал без пауз: — Кавалерийский эскадрон. Остался только один офицер. Не тот, который был здесь утром, когда мы лежали около пулемета. Того, должно быть, убили. Среди мертвых двое офицеров, судя по нашивкам на рукавах. Они лежали поперек седел, лицом вниз, руки болтались. И на том же седле, на котором везли головы, была привязана máquina Глухого. Ствол погнут. Вот и все, — кончил он.

— И этого достаточно, — сказал Роберт Джордан и зачерпнул кружкой вина. — Кто, кроме тебя, переходил через линию фронта на республиканскую территорию?

— Андрес и Эладио.

— Который из них надежнее?

— Андрес.

— Сколько ему понадобится, чтобы добраться отсюда до Навасеррады?

— Без поклажи и соблюдая осторожность — три часа, если повезет. Мы с тобой шли другой, более длинной, но более безопасной дорогой, потому что несли твои материалы.

— А он доберется наверняка?

— No sé, наверняка ничего не бывает.

— И у тебя не бывает?

— Нет.

Значит, решено, подумал Роберт Джордан. Если б он сказал, что доберется наверняка, я бы наверняка его и послал.

— Андрес сделает это не хуже тебя?

— Не хуже, а может быть, и лучше. Он моложе.

— Но это надо доставить туда во что бы то ни стало.

— Если ничего не случится, он доставит. А если случится, так и со всяким может случиться.

— Я напишу донесение и отправлю с ним, — сказал Роберт Джордан. — Я объясню ему, где найти генерала. Он будет в Estado Mayor[94] дивизии.

— Он не разберется в этих дивизиях, — сказал Ансельмо. — Я сам всегда путаюсь. Ему надо ска-

---

[94] Примечания: 94
Штаб (*исп.*).

зать фамилию генерала и где его найти.

— Да он там и будет — в Estado Mayor дивизии.

— А разве это не какое-нибудь определенное место?

— Место определенное, старик, — торопливо разъяснил Роберт Джордан. — Но генерал каждый раз выбирает новое. И устраивает там свою штаб-квартиру перед боем.

— Тогда где же это?

Ансельмо устал и от усталости никак не мог понять. Да и такие слова, как «бригада», «дивизия», «армейский корпус», всегда сбивали его с толку. Сначала были колонны, потом полки, потом бригады. А теперь и бригады и дивизии. Он ничего не понимал. Говорили бы про определенное место.

— Ты не торопись, старик, — сказал Роберт Джордан. Он знал, что если ему не удастся все растолковать Ансельмо, то Андрес тоже ничего не поймет. — Estado Mayor дивизии — это такое место, которое выбирает сам генерал, и оттуда он командует. Он командует дивизией, а она состоит из двух бригад. Я не знаю, где сейчас Estado Mayor, потому что я там не был. По всей вероятности, в какой-нибудь пещере или землянке, — словом, в укрытии, и туда протянуты провода. Андрес спросит, где генерал и где Estado Mayor дивизии.

Вот это он отдаст самому генералу, или начальнику его Estado Mayor, или тому человеку, чью фамилию я напишу. Один из них должен быть на месте, Даже если остальные наблюдают за подготовкой к наступлению. Ну, теперь понял?

— Да.

— Тогда пришли сюда Андреса, а я все напишу и запечатаю вот этой печатью. — Он показал Ансельмо маленькую круглую резиновую печатку СВР с деревянной колодкой и круглую чернильную подушечку в жестяной коробочке размером с пятидесятицентовую монету. И то и другое он всегда носил в кармане. — Этой печати поверят. Ну, пришли сюда Андреса, и я ему все объясню. Надо поторапливаться, но сначала я хочу убедиться, что он все понял.

— Если я понял, он тоже поймет. Только ты растолкуй все как следует. Я всегда путаюсь в этих штабах, дивизиях. До сих пор меня посылали в определенное место, например, в какой-нибудь дом. В Навасерраде место, откуда командуют, было в старой гостинице. В Гвадарраме — в домике с садом.

— У этого генерала, — сказал Роберт Джордан, — Estado Mayor будет совсем близко от позиций. Где-нибудь под землей, чтобы не разбомбили с

самолетов. Андрес найдет его без всякого труда, если будет знать, что спрашивать. Пусть только покажет мою записку. Ну, ступай, приведи его, это надо доставить как можно скорее.

Ансельмо вышел, нырнув под попону. Роберт Джордан принялся писать в своей записной книжке.

— Слушай, Inglés, — сказал Пабло, все еще глядя на миску с вином.

— Я пишу, — сказал Роберт Джордан, не поднимая головы.

— Слушай, Inglés. — Пабло обращался непосредственно к миске с вином. — Унывать нечего. Займем посты и взорвем твой мост и без Глухого, людей у нас хватит.

— Хорошо, — сказал Роберт Джордан, не переставая писать.

— Людей хватит, — сказал Пабло. — Мне твоя рассудительность сегодня очень понравилась, Inglés, — говорил Пабло миске с вином. — В тебе много picardia. Ты хитрее меня. Я тебе доверяю.

Сосредоточившись на своем донесении Гольцу, стараясь уложиться в возможно меньшее количество слов и все-таки быть максимально убедительным, стараясь представить положение дел так, чтобы наступление отменили, и в то же

время убедить их, что он не испугался опасности, связанной с выполнением порученной ему задачи, а только хочет довести до их сведения все факты, Роберт Джордан не слушал Пабло.

— Inglés, — сказал Пабло.

— Я пишу, — ответил Роберт Джордан, не поднимая головы.

Может быть, послать два экземпляра, думал он. Но тогда не хватит людей взорвать мост, если все-таки придется его взрывать. Почем я знаю, зачем проводится это наступление? Может быть, это всего-навсего маневр. Может быть, они хотят отвлечь войска противника с других позиций. Или отвлечь самолеты с севера. Может быть, все дело в этом. И на успех никто не рассчитывает. Почем я знаю? Вот мое донесение Гольцу. Я взрываю мост, когда наступление начнется, не раньше. Приказ ясен, и если наступление отменят, я ничего не буду взрывать. Но у меня должен быть тот минимум людей, который необходим, чтобы выполнить данный мне приказ.

— Ты что говоришь? — спросил он Пабло.

— Что я во всем уверен, Inglés. — Пабло все еще обращался к миске с вином.

Эх, если бы и я мог сказать то же самое, подумал Роберт Джордан. Он продолжал писать.

Глава тридцатая

Итак, все, что он хотел сделать за вечер, уже сделано. Распоряжения отданы. Каждый знает совершенно точно, что ему надо делать утром. Андрес ушел три часа тому назад. Это будет, как только забрезжит день, или этого совсем не будет. Я уверен, что будет, сказал самому себе Роберт Джордан, возвращаясь с верхнего поста, куда он ходил поговорить с Примитиво.

Наступлением руководит Гольц, но отменить его он не может. Разрешение на это должно быть получено из Мадрида. Но вряд ли там удастся разбудить нужных людей, и если даже удастся, то они ничего не разберут со сна. Надо было мне раньше известить Гольца о том, что наше наступление готовятся отразить, но как я мог писать об этом, пока еще ничего определенного не было? Ведь они двинули эти штуки только под вечер, в темноте. Они не хотели, чтобы передвижения по дороге были замечены с самолетов. Ну, а их самолеты? Те фашистские самолеты, которые пролетали здесь?

Наши, наверно, учли это. Но, может быть, фа-

шисты делают вид, что собираются наступать в Гвадалахаре? По слухам, в Сории и под Сигуэнсой сосредоточены итальянские войска, это не считая тех, которые действуют на севере. Хотя вряд ли у них хватит людей и боеприпасов на два наступления одновременно. Это невозможно; значит, это просто-напросто блеф.

Но мы знаем, какое количество войск Италия высадила в Кадиксе за два последних месяца. Не исключена такая возможность, что они снова сделают попытку в Гвадалахаре, не такую бессмысленную, как в первый раз, и проведут наступление тремя кулаками, охватив большую территорию вдоль железнодорожной линии в западной части плато. Это вполне реально. Ганс показывал ему, как это можно сделать. На первых порах они допустили много ошибок. Вся их стратегия была порочна. В Аргандском наступлении, стремясь перерезать железную дорогу Мадрид — Валенсия, они не использовали тех войск, которые были на Гвадалахарском фронте. Почему же тогда они не начали обе операции одновременно? Почему, почему? Когда мы будем знать, почему?

А ведь мы в обоих случаях задержали их одними и теми же войсками. Нам никогда бы не

удалось задержать их, если б они сразу начали обе операции. Нечего тревожиться, сказал он самому себе. Вспомни, ведь бывали же чудеса раньше. Одно из двух: либо тебе придется взрывать этот мост утром, либо не придется. Но только не обманывай себя, не надейся, что тебе не придется взрывать его. Взрывать придется — не сегодня, так когда-нибудь потом. Не этот мост, так какой-нибудь другой. Не тебе решать, что надо делать. Твое дело выполнять приказы. Выполняй их и не думай о том, что кроется за ними.

Этот приказ вполне ясен. Слишком ясен. Но тревожиться тебе не следует и бояться тоже не следует. Потому что, если ты позволишь себе такую роскошь, как вполне естественное чувство страха, этот страх заразит тех, кто должен работать с тобой.

Но эта история с отрубленными головами — это уже слишком, сказал он самому себе. И старик наткнулся на трупы на вершине холма — совсем один. Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось вот так наткнуться на них? Это произвело на тебя сильное впечатление, не так ли? Да, это сильно взволновало тебя, Джордан. Сегодняшний день вообще богат впечатлениями. Но ты держался молодцом. До сих пор ты держался неплохо.

Для преподавателя испанского языка в Монтанском университете ты вполне на высоте, подшутил он над собой. Ты работаешь неплохо. Только не воображай себя какой-то незаурядной личностью. Не так уж ты преуспел в своем деле. Вспомни Дюрана, который не получил специальной военной подготовки, который до начала движения был композитором и светским молодым человеком, а теперь стал блестящим генералом и командует бригадой. Дюрану все это далось так же просто и легко, как шахматы вундеркинду. Ты с детских лет сидел над книгами о войне и изучал военное искусство, дедушка натолкнул тебя на это своими рассказами о Гражданской войне в Америке. Дедушка, правда, называл ее войной мятежников. Но по сравнению с Дюраном ты то же, что хороший, толковый шахматист по сравнению с шахматистом-вундеркиндом. Старина Дюран! Хорошо бы опять повидаться с Дюраном. Когда все это будет кончено, он встретится с ним у Гэйлорда. Да. Когда все это будет кончено. Видишь, каким молодцом ты держишься! Я встречусь с ним у Гэйлорда, опять сказал он себе, когда все это будет кончено. Не обманывай самого себя. Ты делаешь все как надо. Трезво. Без самообмана. Дюрана ты

больше не увидишь, и это совершенно не важно. Так тоже не надо, подумал он. Не надо позволять себе никакой такой роскоши.

И геройского самоотречения тоже не надо. Здесь, в горах, не нужны граждане, полные геройского самоотречения. Твой дед четыре года был участником нашей Гражданской войны, а ты всего-навсего заканчиваешь свой первый год на этой войне. У тебя много времени впереди, и ты прекрасно подходишь для такой работы. А теперь у тебя есть еще Мария. Да, у тебя есть все. И тревожиться нечего. Что значит небольшая стычка между партизанским отрядом и эскадроном кавалерии? Ровным счетом ничего. Отрубили головы — ну и что же? Разве это имеет какое-нибудь значение? Никакого!

Когда дед был в форте Кирни после войны, индейцы всегда скальпировали пленных. Помнишь шкаф в отцовском кабинете с полочкой, на которой были разложены наконечники стрел, и на стене военные головные уборы с поникшими орлиными перьями, запах прокопченной оленьей кожи, исходивший от индейских штанов курток, и расшитые бисером мокасины? Помнишь огромную дугу лука, с которым ходили на буйволов? Он тоже стоял в шкафу, и два колчана с охотничьими

и боевыми стрелами. Помнишь, какое ощущение было в ладони, когда ты захватывал рукой сразу несколько таких стрел?

Вспомни что-нибудь вроде этого. Вспомни что-нибудь конкретное, какую-нибудь вещь. Вспомни дедушкину саблю в погнутых ножнах, блестящую и хорошо смазанную маслом, и как дедушка показывал тебе ее лезвие, ставшее совсем тонким, потому что сабля не один раз побывала у точильщика. Вспомни дедушкин смит-и-вессон. Это был тридцатидвухкалиберный револьвер офицерского образца с простым действием и без предохранителя. Такого легкого, мягкого спуска ты никогда больше не встречал, и револьвер всегда был хорошо смазан, и канал ствола у него был чистый, хотя поверхность его давно стерлась и бурый металл ствола и барабана стал гладким от кожаной кобуры. Револьвер всегда был в кобуре, на клапане которой были вытиснены буквы С.Ш., и хранился он в ящике шкафа вместе с прибором для чистки и двумя сотнями патронов. Картонные коробки с патронами были завернуты в бумагу и аккуратно перевязаны вощеной бечевкой.

Тебе разрешалось вынуть револьвер из ящика и подержать его в руках. «Пусть приучается», — говорил дедушка. Но играть с ним тебе не

позволяли, потому что это «настоящее оружие».

Как-то раз ты спросил дедушку, убивал ли он кого-нибудь из этого револьвера, и он сказал: «Да».

И ты спросил: «Когда, дедушка?» — и он сказал: «Во время войны мятежников и после».

Ты сказал: «Ты мне расскажешь про это, дедушка?»

И он ответил: «Мне не хочется об этом говорить, Роберт».

Потом, когда отец застрелился из этого револьвера и ты приехал в день похорон, коронер вернул его тебе после конца следствия и сказал: «Боб, ты, наверно, захочешь сохранить это. Мне, собственно, полагается оставить его у себя, но я знаю, что твой отец дорожил им, потому что его отец прошел с этим револьвером всю войну и с ним же приехал к нам сюда во главе кавалерийского отряда, к тому же это еще хороший револьвер. Я его сегодня пробовал. Не бог весть что, но ты еще из него постреляешь».

Он спрятал револьвер в ящик, на прежнее место, но на следующий день вынул его и поехал вместе с Чэбом в горы, к Ред-Лоджу, туда, где теперь проведена дорога через ущелье и через плато Медвежий Клык до самого Кук-Сити, и там, наверху, где дует легкий ветер и снег лежит все

лето, они остановились у озера, про которое говорили, что глубиною оно в восемьсот футов, а вода в нем была темно-зеленого цвета, и Чэб держал обеих лошадей, а он залез на скалу, нагнулся и увидел свое лицо в неподвижной воде озера и увидел револьвер у себя в руке, и потом он взял его за ствол и швырнул вниз и увидел, как он идет ко дну, пуская пузырьки, и, наконец, стал маленьким в прозрачной воде, точно брелок, и потом исчез из виду. Тогда он слез со скалы, сел в седло и так пришпорил старушку Бесс, что та стала подкидывать задом, как лошадка-качалка. Он погнал ее во весь опор вдоль берега, и когда она успокоилась, они повернули и поехали домой.

— Боб, я знаю, почему ты так сделал, — сказал Чэб.

— Знаешь, так нечего об этом говорить, — сказал он.

Они никогда больше не заговаривали об этом, и с дедушкиным личным оружием было покончено, если не считать сабли. Сабля и сейчас хранится у него в сундуке в Миссуле вместе с остальными вещами.

Интересно, что бы дедушка сказал про такую вот ситуацию, подумал он. Дедушка был отличный солдат, это все говорили. Еще говорили,

что, будь он при Кастере в тот день, он бы не допустил, чтобы Кастер так осрамился. Как это он не заметил ни дыма, ни пыли над окопами вдоль Литл-Биг-Хорна? Разве в то утро был густой туман? Нет, никакого тумана не было.

Я бы хотел, чтобы вместо меня здесь был дедушка. Впрочем, может быть, завтра ночью мы встретимся. Если такая нелепость, как будущая жизнь, существует на самом деле (а я уверен, что ничего такого не существует, думал он), я был бы очень рад поговорить с ним. Еще многое хочется узнать от него. Теперь я имею право спрашивать, потому что мне приходится делать то же самое, что делал он. Я думаю, теперь он ничего не будет иметь против таких расспросов. Раньше я не имел права спрашивать. Я его понимаю: он не знал меня и поэтому не хотел говорить. Но теперь мы бы поняли друг друга. Я хотел бы поговорить с ним и получить от него кое-какие советы. Да к черту советы, я бы и без них с удовольствием поговорил с ним. Какая жалость, что между нами такой разрыв во времени.

Потом, раздумывая над этим, он понял, что, доведись им действительно встретиться в загробной жизни, и он и дедушка чувствовали бы себя очень неловко в присутствии его отца. Каждый

имеет право поступить так, думал он. Но ничего хорошего в этом нет. Я понимаю это, но одобрить не могу. Lâche[95] — вот как это называется. Но ты в самом деле понимаешь это? Да, конечно, я понимаю, но. Ага, но. Надо уж очень быть занятым самим собой, чтобы пойти на такую вещь.

А, черт, как бы я хотел, чтобы дедушка был здесь, подумал он. Хотя бы на час. Может быть, то немногое, что во мне есть, он передал мне через того, другого, который использовал револьвер не по назначению. Может быть, в этом единственная связь между нами. А, к черту! К черту, и дело с концом, жаль только, что между нами такая большая разница в летах, я мог бы научиться от него тому, чему меня не научил тот, другой. А что, если страх, через который деду пришлось пройти и который он подавлял в себе и наконец преодолел за эти четыре года и за войну с индейцами, хотя там, наверно, ничего особенно страшного не было, — что, если этот страх отразился на том, другом, и сделал из него cobarde, как это, например, бывает со вторым поколением матадоров? Что, если это так? И, может быть, добрая порода сказалась, пройдя через того, другого?

---

[95] Примечания: 95
Трус (*франц.*).

Я никогда не забуду, как мне было гадко первое время. Я знал, что он cobarde. А ну-ка, скажи это на родном языке. Трус. Когда скажешь, сразу становится легче, и вообще ни к чему подыскивать иностранное слово для сукина сына. Нет, он не был сукиным сыном. Он был просто трус, а это самое большое несчастье, какое может выпасть на долю человека. Потому что, не будь он трусом, он не сдал бы перед этой женщиной и не позволил бы ей заклевать себя. Интересно, какой бы я был, если б он женился на иной женщине? Этого ты никогда не узнаешь, подумал он и усмехнулся. Может быть, ее деспотизм дополнил то, чего не хватало в том, другом. И в тебе. Легче, легче. Нечего болтать о доброй породе и тому подобных вещах, пока ты не прожил завтрашний день. Нечего задирать нос раньше времени. И вообще нечего задирать нос. Завтра посмотрим, какая она, эта порода, о которой ты говоришь.

Он снова стал думать о дедушке.

«Джорджа Кастера нельзя назвать толковым командиром, — сказал как-то дедушка. — Даже просто толковым человеком и то его не назовешь».

Он вспомнил, что, когда дед сказал это, ему было неприятно услышать такие слова, о герое,

изображенном на старинной анхейзербушевской литографии, висевшей в бильярдной в Ред-Лодже: развевающиеся светлые кудри, куртка из оленьей кожи, револьвер в руке, а со всех сторон к нему подступают индейцы племени сиу.

«Он вечно умудрялся попадать в какую-нибудь беду, и каждый раз все обходилось, — продолжал дед. — Однако на Литл-Биг-Хорне беда с ним опять стряслась, а выпутаться из нее он уже не смог. Вот Фил Шеридан — тот был очень способный человек, и Джеб Стюарт тоже. Но более блестящего командира кавалерии, чем Джон Мосби, не было и не будет».

Среди его вещей, хранившихся в сундуке в Миссуле, было письмо генерала Фила Шеридана к «Кильке на Коне» Кильпатрику, в котором говорилось, что его дед был куда более блестящим командиром нерегулярной кавалерии, чем Джон Мосби. Надо было мне сказать Гольцу про деда, подумал он. Впрочем, Гольц, наверно, и имени его не слыхал. Да он вряд ли что знает и про Джона Мосби.

Англичане хорошо помнят эти имена, потому что в Англии гораздо подробнее изучали нашу Гражданскую войну, чем где бы то ни было на континенте. Карков говорил, что, когда эта война

кончится, я смогу, если захочу, поехать в Москву, в Ленинскую школу. Он говорил, что при желании я смогу учиться в Военной академии Красной Армии. Интересно, что бы сказал дедушка, услышав это? Дедушка, который никогда в жизни не садился за один стол с демократами.

Нет, солдатом я быть не хочу, думал он. Это я знаю твердо. Так что это исключается. Я только хочу, чтобы мы выиграли войну. Я думаю, что настоящий солдат умеет делать по-настоящему только свое дело и ничего больше, думал он. Нет, это неверно. А Наполеон, а Веллингтон? Ты что-то поглупел за сегодняшний вечер, сказал он самому себе.

Обычно собственные мысли были для него лучшим обществом, так было и в этот вечер, пока он думал о дедушке. Но воспоминания об отце выбили его из колеи. Он понимал своего отца, и прощал ему все, и жалел его, но чувство стыда в себе побороть не мог. Ты лучше совсем перестань думать, сказал он самому себе. Скоро ты будешь с Марией, и тогда думать тебе не придется. Теперь, когда все решено, для тебя самое лучшее не думать совсем. Когда сосредоточиваешься на чем-нибудь одном, остановить мысли трудно, и они крутятся, как маховое колесо на холостом

ходу. Постарайся лучше ни о чем не думать.

Но предположим так, думал он. Предположим, что самолеты сбросят бомбы прямо на эти противотанковые пушки и разнесут их вдребезги, и тогда танки поднимутся на ту высоту, на какую нужно, и наш Гольц выгонит вперед всех этих пьянчуг, clochards, бродяг, фанатиков и героев, из которых состоит Четырнадцатая бригада, а во Второй бригаде Гольца есть замечательный народ Дюрана, я их знаю, — и завтра к вечеру мы будем в Сеговии.

Да. Предположим, что так, сказал он себе. Я отправлюсь в Ла-Гранху, сказал он себе. Но тебе придется взрывать этот мост, — внезапно он понял это с абсолютной ясностью. Отменять наступление не будут. Потому что твои недавние предположения в точности соответствуют тем надеждам, которые возлагают на эту операцию ее организаторы. Да, мост придется взорвать, он знал это. Что бы ни случилось с Андресом, это не будет иметь никакого значения.

Спускаясь вниз по тропинке в темноте с приятной уверенностью, что все сделано и в ближайшие четыре часа ничего делать не надо, он чувствовал, как подбодрили его мысли о конкретных вещах, и теперь сознание, что мост

непременно придется взрывать, принесло ему чуть ли не успокоение.

Чувство неопределенности, которое он растравил в себе, — так бывает, когда из-за путаницы в числах не знаешь, ждать ли тебе гостей сегодня или нет, — и беспокойство, не оставлявшее его с тех пор, как Андрес ушел с донесением Гольцу, теперь исчезло. Теперь он знал наверняка, что праздник отложен не будет. Так лучше, по крайней мере, знаешь наверняка, думал он. Так гораздо лучше.

Глава тридцать первая

И вот они опять вместе в мешке, и наступил уже поздний час последней ночи. Мария лежала вплотную к нему, он чувствовал всю длину ее гладких ног, прильнувших к его ногам, и ее груди, точно два маленьких холма на равнине, где протекает ручей, а за холмами начинался длинный лог — ее шея, к которой прижимались его губы. Он лежал не двигаясь и ни о чем не думал, а она гладила его по голове.

— Роберто, — сказала Мария совсем тихо и поцеловала его. — Мне очень стыдно. Мне не хочется огорчать тебя, но мне очень больно и как-то неладно внутри. Боюсь, что сегодня тебе не будет хорошо со мной.

— Всегда бывает очень больно и как-то неладно, — сказал он. — Ничего, зайчонок. Не бойся. Мы ничего такого не будем делать, от чего может быть больно.

— Не в том дело. Дело в том, что я не могу быть с тобой так, как мне хочется.

— Это не имеет значения. Это пройдет. Когда мы лежим так рядом, мы все равно вместе.

— Да, но мне стыдно. Это, наверно, от того нехорошего, что со мной делали. Не от того, как ты со мной.

— Не будем говорить об этом.

— Я не хочу говорить. Только мне было так обидно, что именно сегодня, в эту ночь, я не могу быть с тобой так, как мне хочется, вот я и сказала, чтобы ты знал почему.

— Слушай, зайчонок, — сказал он. — Это скоро пройдет, и все тогда будет в порядке. — Но он подумал: жаль все-таки, что так вышло в последнюю ночь.

Потом ему стало стыдно, и он сказал:

— Прижмись ко мне крепче, зайчонок. Когда я чувствую тебя близко, мне так же хорошо, как когда я люблю тебя.

— А мне очень стыдно, потому что я думала, сегодня ночью будет так, как было там, на горе, когда мы возвращались от Эль Сордо.

— Qué va, — сказал он ей. — Не каждый день так бывает. И сейчас не хуже, чем было тогда. — Он лгал, стараясь не думать о своем разочаровании. — Мы полежим тихонько вместе и так заснем. Давай поговорим. Ведь мы с тобой так мало разговариваем.

— Может быть, поговорим о твоей работе, о

том, что будет завтра. Мне бы так хотелось знать про твою работу.

— Нет, — сказал он, и удобно вытянулся во всю длину мешка, и теперь лежал неподвижно, щекой прижавшись к ее плечу, левую руку подложив ей под голову. — Самое разумное — это не говорить о том, что будет завтра, и о том, что случилось сегодня. В нашем деле потерь не обсуждают, а то, что должно быть сделано завтра, будет сделано. Ты не боишься?

— Qué va, — сказала она. — Я всегда боюсь. Но теперь я так сильно боюсь за тебя, что мне некогда думать о себе.

— Не надо, зайчонок. Я бывал во многих переделках. И похуже этой, — солгал он.

Потом вдруг, поддаваясь соблазну уйти от действительности, он сказал:

— Давай говорить про Мадрид и про то, как мы там будем.

— Хорошо, — сказала она и потом: — О Роберто, мне так жаль, что я сегодня такая. Может быть, я могу сделать для тебя еще что-нибудь?

Он погладил ее по голове и поцеловал ее, а потом лежал, прижавшись к ней и удобно вытянувшись, и прислушивался к тишине ночи.

— Вот можешь поговорить со мной про Мад-

рид, — сказал он и подумал: это останется при мне и пригодится мне на завтра. Завтра мне понадобится все, что только у меня есть. Он улыбнулся в темноте.

Потом он опять уступил и дал себе соскользнуть в далекое от действительности, испытывая при этом блаженство, похожее на то, какое дает ночная близость, когда нет понимания, а есть лишь наслаждение этой близостью.

— Моя любимая, — сказал он и поцеловал ее. — Слушай. Вчера вечером я думал про Мадрид и воображал себе, как я приеду туда и оставлю тебя в отеле, а сам пойду повидать кое-кого в другой отель, где живут русские. Только это все вздор. Ни в каком отеле я тебя не оставлю.

— Почему?

— Потому что я хочу, чтобы ты была со мной. Я тебя не оставлю ни на минуту. Я пойду вместе с тобой в Сегуридад за документами. Потом я пойду вместе с тобой купить, что тебе нужно из платья.

— Мне нужно немного, я могу сама купить.

— Нет, тебе нужно много, и мы пойдем вместе и купим все самое лучшее, и ты будешь очень красивая во всем этом.

— А по-моему, лучше останемся в номере в отеле, а за платьями пошлем кого-нибудь. Где

отель?

— На Пласа-дель-Кальяо. Мы много времени будем проводить там в номере. Там есть широкая кровать с чистыми простынями, и в ванной идет горячая вода из крана, и там есть два стенных шкафа, я развешу свои вещи в одном, а другой будет тебе, и там высокие, широкие окна, которые можно распахнуть настежь, а за окнами, на улице, весна. И я знаю такие места, где можно хорошо пообедать, там торгуют из-под полы, но кормят очень хорошо, и я знаю лавки, где можно купить вино и виски. И что-нибудь мы захватим с собой в номер на тот случай, если проголодаемся, и виски тоже захватим на тот случай, если мне захочется выпить, а тебе я куплю мансанильи.

— А мне хочется попробовать виски.

— Но ведь его так трудно достать, а мансанилью ты любишь.

— Ладно, не надо мне твоего виски, Роберто, — сказала она. — О, как я тебя люблю. И тебя, и твое виски, которое ты для меня жалеешь. Свинья ты все-таки.

— Я тебе дам попробовать, но женщинам это вредно.

— А я до сих пор знала только то, что женщинам полезно, — сказала Мария. — Но как я там лягу в

постель? Все в той же свадебной рубашке?

— Нет. Я куплю тебе разные сорочки и пижамы, если тебе больше понравится спать в пижаме.

— Я куплю себе семь свадебных рубашек, — сказала она. — По одной на каждый день недели. И тебе я тоже куплю чистую свадебную рубашку. Ты свою рубашку когда-нибудь стираешь?

— Иногда стираю.

— Я буду следить, чтоб у тебя было все чистое, и я буду наливать тебе виски и разбавлять его водой, так, как вы делали, когда мы были у Глухого. И я достану тебе маслин, и соленой трески, и орешков на закуску, и мы просидим там в номере целый месяц и никуда не будем выходить. Если только я смогу быть с тобой так, как мне хочется, — сказала она, вдруг приуныв.

— Это ничего, — сказал ей Роберт Джордан. — Правда, это ничего. Может быть, у тебя там была какая-нибудь ссадина и образовался рубец и он теперь болит. Это бывает. Но это всегда очень быстро проходит. Наконец, в Мадриде есть хорошие врачи, на случай, если у тебя что-нибудь серьезное.

— Но ведь раньше все было хорошо, — жалобно сказала она.

— Тем более; значит, все опять будет хорошо.

— Тогда давай опять говорить про Мадрид. — Она переплела свои ноги с его ногами и потерлась макушкой о его плечо. — А ты там не будешь меня стыдиться, что я такая уродина? Стриженая?

— Нет. Ты красивая. У тебя красивое лицо и прекрасное тело, длинное и легкое. Кожа у тебя гладкая, цвета темного золота, и всякий, кто тебя увидит, захочет отнять тебя у меня.

— Qué va, отнять меня у тебя! — сказала она. — Больше ни один мужчина не прикоснется ко мне до самой смерти. Отнять меня у тебя!

— А многие захотят. Вот посмотришь.

— Они увидят, как я тебя люблю, и сразу поймут, что тронуть меня — это все равно что сунуть руку в котел с расплавленным свинцом. А ты? Когда ты увидишь красивых женщин, умных, образованных, под стать тебе? Ты не будешь стыдиться меня?

— Никогда. Я женюсь на тебе.

— Если хочешь, — сказала она. — Но раз у нас теперь церкви нет, это, по-моему, не имеет значения.

— А все-таки мы с тобой поженимся.

— Если хочешь. Знаешь что? Если мы когда-нибудь попадем в другую страну, где еще есть церковь, может быть, мы там сможем поже-

ниться?

— У меня на родине церковь еще есть, — сказал он ей. — Там мы можем пожениться, если для тебя это важно. Я никогда не был женат. Так что это очень просто сделать.

— Я рада, что ты никогда не был женат, — сказала она. — Но я рада, что ты знаешь все, про что мне говорил, потому что это означает, что ты знал многих женщин, а Пилар говорит, что только за таких мужчин можно выходить замуж. Но теперь ты не будешь бегать за другими женщинами? Потому что я умру, если будешь.

— Я никогда особенно много не бегал за женщинами, — сказал он, и это была правда. — До тебя я даже не думал, что могу полюбить по-настоящему.

Она погладила его по щеке, потом обняла его.

— Ты, наверно, знал очень многих женщин?

— Но не любил ни одной.

— Послушай. Мне Пилар сказала одну вещь…

— Какую?

— Нет. Лучше я тебе не скажу. Давай говорить про Мадрид.

— А что ты хотела сказать?

— Теперь уже не хочу.

— А может быть, все-таки лучше скажешь,

вдруг это важно?

— Ты думаешь, это может быть важно?

— Да.

— Откуда ты знаешь? Ты же не знаешь, что это такое.

— Я вижу по тебе.

— Ну хорошо, я не буду от тебя скрывать. Пилар сказала мне, что мы завтра все умрем, и что ты это знаешь так же хорошо, как и она, и что тебе это все равно. Она это не в осуждение тебе сказала, а в похвалу.

— Она так сказала? — спросил он. Сумасшедшая баба, подумал он, а вслух сказал: — Это все ее чертовы цыганские выдумки. Так говорят старые торговки на рынке и трусы в городских кафе. Чертовы выдумки, так ее и так. — Он почувствовал, как пот выступил у него под мышками и струйкой потек вдоль бока, и он сказал самому себе: боишься, да? А вслух сказал: — Она просто суеверная, болтливая баба. Давай опять говорить про Мадрид.

— Значит, ты ничего такого не знаешь?

— Конечно, нет. Не повторяй эту гадость, — сказал он, употребив еще более крепкое, нехорошее слово.

Но теперь, когда он заговорил про Мадрид, ему

уже не удалось уйти в вымысел целиком. Он просто лгал своей любимой и себе, чтобы скоротать ночь накануне боя, и знал это. Ему было приятно, но вся прелесть иллюзий исчезла. И все-таки он заговорил опять.

— Я уже думал о твоих волосах, — сказал он. — И о том, что нам с ними делать. Они сейчас отрастают ровно со всех сторон, как мех у пушистого зверя, и их очень приятно трогать, и мне они очень нравятся, они очень красивые, и так хорошо пригибаются, когда я провожу по ним рукой, и потом опять встают, точно рожь под ветром.

— Проведи по ним рукой.

Он провел и не отнял руки и продолжал говорить, шевеля губами у самого ее горла, а у него самого в горле что-то набухало все больше и больше.

— Но в Мадриде мы можем пойти с тобой к парикмахеру, и тебе подстригут их на висках и на затылке, как у меня, для города это будет лучше выглядеть, пока они не отросли.

— Я буду похожа на тебя, — сказала она и прижала его к себе. — И мне никогда не захочется изменить прическу.

— Нет. Они будут все время расти, и это нужно только вначале, пока они еще короткие. Сколько

потребуется времени, чтобы они стали длинные?

— Совсем длинные?

— Нет. Вот так, до плеч. Мне хочется, чтоб они у тебя были до плеч.

— Как у Греты Гарбо?

— Да, — сказал он хрипло.

Теперь вымысел стремительно возвращался, и он спешил поскорее поддаться ему всем существом. И вот он опять оказался в его власти и продолжал:

— Они будут висеть у тебя до плеч свободно, а на концах немного виться, как вьется морская волна, и они будут цвета спелой пшеницы, а лицо у тебя цвета темного золота, а глаза — того единственного цвета, который подходит к твоим волосам и к твоей коже, золотые с темными искорками, и я буду отгибать тебе голову назад, и смотреть в твои глаза, и крепко обнимать тебя.

— Где?

— Где угодно. Везде, где мы будем. Сколько времени нужно, чтобы твои волосы отросли?

— Не знаю, я раньше никогда не стриглась. Но я думаю, что за полгода они отрастут ниже ушей, а через год будут как раз такие, как тебе хочется. Но только раньше будет знаешь что?

— Нет. Скажи.

— Мы будем лежать на большой, чистой кровати в твоем знаменитом номере, в нашем знаменитом отеле, и мы будем сидеть вместе на знаменитой кровати и смотреть в зеркало гардероба, и там, в зеркале, будешь ты и я, и я обернусь к тебе вот так, и обниму тебя вот так, и потом поцелую тебя вот так.

Потом они лежали неподвижно рядом, прижавшись друг к другу в темноте, оцепенев, замирая от боли, тесно прижавшись друг к другу, и, обнимая ее, Роберт Джордан обнимал все то, чему, он знал, никогда не сбыться, но он нарочно продолжал говорить и сказал:

— Зайчонок, мы не всегда будем жить в этом отеле.

— Почему?

— Мы можем снять себе квартиру в Мадриде, на той улице, которая идет вдоль парка Буэн-Ретиро. Там одна американка до начала движения сдавала меблированные квартиры, и я думаю, что мне удастся снять такую квартиру не дороже, чем она стоила до начала движения. Там есть квартиры, которые выходят окнами в парк, и он весь виден из окон: железная ограда, клумбы, дорожки, усыпанные гравием, и зелень газонов,

изрезанных дорожками, и тенистые деревья, и множество фонтанов, больших и маленьких, и каштаны, они сейчас как раз цветут. Вот приедем в Мадрид — будем гулять по парку и кататься в лодке на пруду, если там уже опять есть вода.

— А почему там не было воды?

— Ее спустили в ноябре, потому что она служила ориентиром для авиации во время воздушных налетов на Мадрид. Но я думаю, что теперь там уже опять есть вода. Наверно, я не знаю. Но даже если воды нет, мы будем гулять по всему парку, в нем есть одно место, совсем как лес, там растут деревья со всех концов света, и на каждом висит табличка, где сказано, как это дерево называется и откуда оно родом.

— Я бы еще хотела сходить в кино, — сказала Мария. — Но деревья — это тоже интересно. И я постараюсь выучить все названия, если только смогу запомнить.

— Там не так, как в музее, — сказал Роберт Джордан. — Деревья растут на воле, и в парке есть холмы, и одно место в нем настоящие джунгли. А за парком книжный базар, там вдоль тротуара стоят сотни киосков, где торгуют подержанными книгами, и теперь там очень много книг, потому что их растаскивают из домов, разрушенных бом-

бами, и домов фашистов и приносят на книжный базар. Я бы мог часами бродить по книжному базару, как в прежние дни, до начала движения, если б у меня только было на это время в Мадриде.

— А пока ты будешь ходить по книжному базару, я займусь хозяйством, — сказала Мария. — Хватит у нас денег на прислугу?

— Конечно. Можно взять Петру, горничную из отеля, если она тебе понравится. Она чистоплотная и хорошо стряпает. Я там обедал у журналистов, которым она готовила. У них в номерах есть электрические плитки.

— Можно взять ее, если ты хочешь, — сказала Мария. — Или я кого-нибудь сама подыщу. Но тебе, наверно, придется очень часто уезжать? Меня ведь не пустят с тобой на такую работу.

— Может быть, я получу работу в Мадриде. Я уже давно на этой работе, а бойцом я стал с самого начала движения. Очень может быть, что теперь меня переведут в Мадрид. Я никогда не просил об этом. Я всегда был или на фронте, или на такой работе, как эта.

Знаешь, до того как я встретил тебя, я вообще никогда ни о чем не просил. Никогда ничего не добивался. Никогда не думал о чем-нибудь, кроме

движения и кроме того, что нужно выиграть войну. Честное слово, я был очень скромен в своих требованиях. Я много работал, а теперь вот я люблю тебя, и, — он говорил, ясно представляя себе то, чему не бывать, — я люблю тебя так, как я люблю все, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как я люблю свободу, и человеческое достоинство, и право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя, как я люблю Мадрид, который мы защищали, и как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в этой войне. А их много погибло. Много. Ты даже не знаешь, как много. Но я люблю тебя так, как я люблю то, что я больше всего люблю на свете, и даже сильнее. Я тебя очень сильно люблю, зайчонок. Сильнее, чем можно рассказать. Но я говорю для того, чтобы ты хоть немного знала. У меня никогда не было жены, а теперь ты моя жена, и я счастлив.

— Я буду стараться изо всех сил, чтоб быть тебе хорошей женой, — сказала Мария. — Правда, я ничего не умею, но я постараюсь, чтобы ты этого не чувствовал. Если мы будем жить в Мадриде — хорошо. Если нам придется жить в другом каком-нибудь месте — хорошо. Если нам нигде не придется жить, но мне можно будет уйти с тобой — еще лучше. Если мы поедем к тебе на родину,

я научусь говорить по-английски, как все Inglés, которые там живут. Я буду присматриваться ко всем их повадкам и буду делать все так, как делают они.

— Это будет очень смешно.

— Наверно. И я буду делать ошибки, но ты меня будешь поправлять, и я никогда не сделаю одну и ту же ошибку два раза. Ну, два раза — может быть, но не больше. А потом, если тебе когда-нибудь там, на твоей родине, захочется поесть наших кушаний, я могу тебе их приготовить. Я поступлю в такую школу, где учат всему, что должна знать хорошая жена, если такие школы есть, и я буду там учиться.

— Такие школы есть, но тебе это совсем ни к чему.

— Пилар сказала мне, что они как будто есть в вашей стране. Она прочитала про них в журнале. Она сказала мне, что я должна научиться говорить по-английски, и говорить хорошо, так, чтобы тебе никогда не пришлось меня стыдиться.

— Когда она тебе все это сказала?

— Сегодня, когда мы укладывали вещи. Она только про то и говорила, что я должна делать, чтобы быть тебе хорошей женой.

Кажется, и она тоже в Мадрид ездила, подумал

Роберт Джордан, а вслух сказал:

— Что она еще говорила?

— Она сказала, что я должна следить за собой и беречь свою фигуру, как будто я матадор. Она сказала, что это очень важно.

— Она права, — сказал Роберт Джордан. — Но тебе еще много лет не придется об этом беспокоиться.

— Нет. Она сказала, что наши женщины всегда должны помнить об этом, потому что это может начаться вдруг. Она сказала, что когда-то она была такая же стройная, как и я, но в те времена женщины не занимались гимнастикой. Она сказала мне, какую гимнастику я должна делать, и сказала, что я не должна слишком много есть. Она сказала мне, чего нельзя есть. Только я забыла, придется опять спросить.

— Картошку.

— Да, картошку и ничего жареного, а когда я ей рассказала, что у меня болит, она сказала, что я не должна говорить тебе, а должна перетерпеть, так, чтобы ты ничего не знал. Но я тебе сказала, потому что я никогда ни в чем не хочу тебе лгать и еще потому, что я боялась, вдруг ты подумаешь, что я не могу чувствовать радость вместе с тобой и что то, что было там, на горе, на самом деле

было совсем не так.

— Очень хорошо, что ты мне сказала.

— Правда? Ведь мне стыдно, и я буду делать для тебя все, что ты захочешь. Пилар меня научила разным вещам, которые можно делать для мужа.

— Делать ничего не нужно. То, что у нас есть, это наше общее, и мы будем беречь его и хранить. Мне хорошо и так, когда я лежу рядом с тобой, и прикасаюсь к тебе, и знаю, что это правда, что ты здесь, а когда ты опять сможешь, тогда у нас будет все.

— Разве у тебя нет потребностей, которые я могла бы удовлетворить? Она мне это тоже объяснила.

— Нет. У нас все потребности будут вместе. У меня нет никаких потребностей отдельно от тебя.

— Я очень рада, что это так. Но ты помни, что я всегда готова делать то, что ты хочешь. Только ты мне должен говорить сам, потому что я очень глупая и многое из того, что она мне говорила, я не совсем поняла. Мне было стыдно спрашивать, а она такая умная и столько всего знает.

— Зайчонок, — сказал он. — Ты просто чудо.

— Qué va, — сказала она. — Но это не легкое дело — научиться всему, что должна знать жена, в день, когда сворачивают лагерь и готовятся к

бою, а другой бой уже идет неподалеку, и если у меня что-нибудь выйдет не так, ты мне должен сказать об этом, потому что я тебя люблю. Может быть, я не все правильно запомнила: многое из того, что она мне говорила, было очень сложно.

— Что еще она тебе говорила?

— Ну, так много, что всего и не упомнишь. Она сказала, что если я опять стану думать о том нехорошем, что со мной сделали, то я могу сказать тебе об этом, потому что ты добрый человек и все понимаешь. Но что лучше об этом никогда не заговаривать. Разве только если оно опять начнет мучить меня, как бывало раньше, и еще она сказала, что, может быть, мне будет легче, если я тебе скажу.

— А оно мучит тебя сейчас?

— Нет. Мне сейчас кажется, будто этого и не было вовсе. Мне так кажется с тех пор, как я в первый раз побыла с тобой. Только родителей я не могу забыть. Но этого я и не забуду никогда. Но я хотела бы тебе рассказать все, что ты должен знать, чтобы твоя гордость не страдала, если я в самом деле стану твоей женой. Ни разу, никому я не уступила. Я сопротивлялась изо всех сил, и справиться со мной могли только вдвоем. Один садился мне на голову и держал меня. Я говорю

это в утешение твоей гордости.

— Ты — моя гордость. Я ничего не хочу знать.

— Нет, я говорю о той гордости, которую муж должен испытывать за жену. И вот еще что. Мой отец был мэр нашей деревни и почтенный человек. Моя мать была почтенная женщина и добрая католичка, и ее расстреляли вместе с моим отцом из-за политических убеждений моего отца, который был республиканцем. Их расстреляли при мне, и мой отец крикнул: «Viva la República!»[96] — когда они поставили его к стене деревенской бойни.

Моя мать, которую тоже поставили к стенке, сказала: «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!» — а я надеялась, что меня тоже расстреляют, и хотела сказать: «Viva la República y vivan mis padres!»[97] — но меня не расстреляли, а стали делать со мной нехорошее.

А теперь я хочу рассказать тебе еще об одном, потому что это и нас с тобой касается. После расстрела у matadero они взяли всех нас — родственников расстрелянных, которые все видели, но остались живы, — и повели вверх по крутому

---

[96] Примечания: 96
Да здравствует Республика! (*исп.*)

[97] Примечания: 97
Да здравствует Республика и да здравствуют мои родители! (*исп.*)

склону на главную площадь селения. Почти все плакали, но были и такие, у которых от того, что им пришлось увидеть, высохли слезы и отнялся язык. Я тоже не могла плакать. Я ничего не замечала кругом, потому что перед глазами у меня все время стояли мой отец и моя мать, такие, как они были перед расстрелом, и слова моей матери: «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!» — звенели у меня в голове, точно крик, который никогда не утихнет. Потому что моя мать не была республиканкой, она не сказала: «Viva la República», — она сказала «Viva» только моему отцу, который лежал у ее ног, уткнувшись лицом в землю.

Но то, что она сказала, она сказала очень громко, почти выкрикнула. И тут они выстрелили в нее, и она упала, и я хотела вырваться и побежать к ней, но не могла, потому что мы все были связаны. Расстреливали их guardia civiles, и они еще держали строй, собираясь расстрелять и остальных, но тут фалангисты погнали нас на площадь, а guardia civiles остались на месте и, опершись на свои винтовки, глядели на тела, лежавшие у стены. Все мы, девушки и женщины, были связаны рука с рукой, и нас длинной вереницей погнали по улицам вверх на площадь и застави-

ли остановиться перед парикмахерской, которая помещалась на площади против ратуши.

Тут два фалангиста оглядели нас, и один сказал: «Вот это дочка мэра», — а другой сказал: «С нее и начнем».

Они перерезали веревку, которой я была привязана к своим соседкам, и один из тех двух сказал: «Свяжите остальных опять вместе», — а потом они подхватили меня под руки, втащили в парикмахерскую, силой усадили в парикмахерское кресло, и держали, чтоб я не могла вскочить.

Я увидела в зеркале свое лицо, и лица тех, которые держали меня, и еще троих сзади, но ни одно из этих лиц не было мне знакомо. В зеркале я видела и себя и их, но они видели только меня. И это было, как будто сидишь в кресле зубного врача, и кругом тебя много зубных врачей, и все они сумасшедшие. Себя я едва могла узнать, так горе изменило мое лицо, но я смотрела на себя и поняла, что это я. Но горе мое было так велико, что я не чувствовала ни страха, ничего другого, только горе.

В то время я носила косы, и вот я увидела в зеркале, как первый фалангист взял меня за одну косу и дернул ее так, что я почувствовала боль, несмотря на мое горе, и потом отхватил ее брит-

вой у самых корней. И я увидела себя в зеркале с одной косой, а на месте другой торчал вихор. Потом он отрезал и другую косу, только не дергая, а бритва задела мне ухо, и я увидела кровь. Вот попробуй пальцами, чувствуешь шрам?

— Да. Может быть, лучше не говорить об этом?

— Нет. Ничего. Я не будут говорить о самом плохом. Так вот, он отрезал мне бритвой обе косы у самых корней, и все кругом смеялись, а я даже не чувствовала боли от пореза на ухе, и потом он стал передо мной — а другие двое держали меня — и ударил меня косами по лицу и сказал: «Так у нас постригают в красные монахини. Теперь будешь знать, как объединяться с братьями-пролетариями. Невеста красного Христа!»

И он еще и еще раз ударил меня по лицу косами, моими же косами, а потом засунул их мне в рот вместо кляпа и туго обвязал вокруг шеи, затянув сзади узлом, а те двое, что держали меня, все время смеялись.

И все, кто смотрел на это, смеялись тоже. И когда я увидела в зеркале, что они смеются, я заплакала в первый раз за все время, потому что после расстрела моих родителей все во мне оледенело и у меня не стало слез.

Потом тот, который заткнул мне рот, стал

стричь меня машинкой сначала от лба к затылку, потом макушку, потом за ушами и всю голову кругом, а те двое держали меня, так что я все видела в зеркале, но я не верила своим глазам и плакала и плакала, но не могла отвести глаза от страшного лица с раскрытым ртом, заткнутым отрезанными косами, и головы, которую совсем оголили.

А покончив со своим делом, он взял склянку с йодом с полки парикмахера (парикмахера они тоже убили — за то, что он был членом профсоюза, и он лежал на дороге, и меня приподняли над ним, когда тащили с улицы) и, смочив йодом стеклянную пробку, он смазал мне ухо там, где был порез, и эта легкая боль дошла до меня сквозь все мое горе и весь мой ужас. Потом он зашел спереди и йодом написал мне на лбу три буквы СДШ[98], и выводил он их медленно и старательно, как художник. Я все это видела в зеркале, но больше уже не плакала, потому что сердце во мне оледенело от мысли об отце и о матери, и все, что делали со мной, уже казалось мне пустяком.

Кончив писать, фалангист отступил на шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой, а по-

[98] Примечания: 98

Союз детей шлюхи — непристойно-искаженное фашистами название молодежной организации «Союз детей народа».

том поставил склянку с йодом на место и опять взял в руки машинку для стрижки: «Следующая!» Тогда меня потащили из парикмахерской, крепко ухватив с двух сторон под руки, и на пороге я споткнулась о парикмахера, который все еще лежал там кверху лицом, и лицо у него было серое, и тут мы чуть не столкнулись с Консепсион Гарсиа, моей лучшей подругой, которую двое других тащили с улицы. Она сначала не узнала меня, но потом узнала и закричала. Ее крик слышался все время, пока меня тащили через площадь, и в подъезд ратуши, и вверх по лестнице, в кабинет моего отца, где меня бросили на диван. Там-то и сделали со мной нехорошее.

— Зайчонок мой, — сказал Роберт Джордан и прижал ее к себе так крепко и так нежно, как только мог. Но он ненавидел так, как только может ненавидеть человек. — Не надо больше говорить об этом. Не надо больше ничего рассказывать мне, потому что я задыхаюсь от ненависти.

Она лежала в его объятиях холодная и неподвижная и немного спустя сказала:

— Да. Я больше никогда не буду говорить об этом. Но это плохие люди, я хотела бы и сама убить хоть нескольких из них, если б можно было. Но я сказала это тебе, только чтобы твоя

гордость не страдала, если я буду твоей женой. Чтобы ты понял все.

— Хорошо, что ты мне рассказала, — ответил он. — Потому что завтра, если повезет, мы многих убьем.

— А там будут фалангисты? Все это сделали они.

— Фалангисты не сражаются, — мрачно сказал он. — Они убивают в тылу. В бою мы сражаемся с другими.

— А тех никак нельзя убить? Я бы очень хотела.

— Мне и тех случалось убивать, — сказал он. — И мы еще будем их убивать. Когда мы взрывали поезда, мы убивали много фалангистов.

— Как бы мне хотелось пойти с тобой, когда ты еще будешь взрывать поезд, — сказала Мария. — Когда Пилар привела меня сюда после того поезда, я была немножко не в себе. Она тебе рассказывала, какая я была?

— Да. Не надо говорить об этом.

— У меня голова была как будто свинцом налита, и я могла только плакать. Но есть еще одно, что я должна тебе сказать. Это я должна. Может быть, тогда ты не женишься на мне. Но, Роберто, если ты тогда не захочешь жениться на мне, мо-

жет быть, можно, чтобы мы просто были всегда вместе.

— Я женюсь на тебе.

— Нет. Я совсем забыла об этом. Наверно, ты не захочешь. Понимаешь, я, наверно, не смогу тебе родить сына или дочь, потому что Пилар говорит, если б я могла, это бы уже случилось после того, что со мной делали. Я должна была тебе это сказать. Не знаю, как это я совсем забыла об этом.

— Это не важно, зайчонок, — сказал он. — Во-первых, может быть, это и не так. Только доктор может сказать наверняка. И потом, мне совсем не хочется производить на свет сына или дочь, пока этот свет такой, какой он сейчас. И всю любовь, которая у меня есть, я отдаю тебе.

— А я бы хотела родить тебе сына или дочь, — сказала она ему. — Как же может мир сделаться лучше, если не будет детей у нас, у тех, кто борется против фашистов.

— Ах, ты, — сказал он. — Я люблю тебя. Слышишь? А теперь спать, зайчонок. Мне нужно встать задолго до рассвета, а в этом месяце заря занимается рано.

— Значит, это ничего — то последнее, что я тебе сказала? Мы все-таки можем пожениться?

— Мы уже поженились. Вот сейчас. Ты моя

жена. А теперь спи, зайчонок, времени осталось совсем мало.

— А мы правда поженимся? Это не только слова?

— Правда.

— Тогда я сейчас засну, а если проснусь, буду лежать и думать об этом.

— Я тоже.

— Спокойной ночи, муж мой.

— Спокойной ночи, — сказал он. — Спокойной ночи, жена.

Он услышал ее дыхание, спокойное и ровное, и понял, что она заснула, и лежал совсем тихо, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Он думал обо всем том, чего она недосказала, и ненависть душила его, и он был доволен, что утром придется убивать. Но я не должен примешивать к этому свои личные чувства, подумал он.

А как забыть об этом? Я знаю, что и мы делали страшные вещи. Но это было потому, что мы были темные, необразованные люди и не умели иначе. А они делают сознательно и нарочно. Это делают люди, которые вобрали в себя все лучшее, что могло дать образование. Цвет испанского рыцарства. Что за народ! Что за сукины дети все, от Кортеса, Писарро, Менендеса де Авила и до

Пабло! И что за удивительные люди! На свете нет народа лучше их и хуже их. Более доброго и более жестокого. А кто понимает их? Не я, потому что, если б я понимал, я бы не простил. Понять — значит простить. Нет, это неверно. Прощение всегда преувеличивалось. Прощение — христианская идея, а Испания никогда не была христианской страной. У нее всегда был свой идол, которому она поклонялась в церкви. Otra Virgen más[99]. Вероятно, именно потому они так стремятся губить virgens своих врагов. Конечно, у них, у испанских религиозных фанатиков, это гораздо глубже, чем у народа. Народ постепенно отдалялся от церкви, потому что церковь была заодно с правительством, а правительство всегда было порочным. Это единственная страна, до которой так и не дошла реформация. Вот теперь они расплачиваются за свою инквизицию.

Да, тут есть о чем подумать. Есть чем занять свои мысли, чтобы поменьше тревожиться о работе. И это полезнее, чем выдумывать. Господи, сколько же он навыдумывал сегодня. А Пилар — та весь день выдумывала. Ну, ясно! Что, если даже их убьют завтра? Какое это имеет значение,

---

[99] Примечания: 99
Еще одна девственница (*исп.*).

если только удастся вовремя взорвать мост? Вот все, что нужно завтра.

Да, это не имеет значения. Нельзя ведь жить вечно. Может быть, в эти три дня я прожил всю свою жизнь. Если это так, я хотел бы последнюю ночь провести иначе. Но последняя ночь никогда не бывает хороша. Ничто последнее не бывает хорошо. Нет, последние слова иногда бывают хороши. «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!» — это хорошо сказано.

Он знал, что это было хорошо, потому что у него мурашки пробегали по телу, когда он повторял про себя эти слова. Он наклонился и поцеловал Марию, и она не проснулась. Он прошептал очень тихо по-английски:

— Я с радостью женюсь на тебе, зайчонок. Я очень горжусь твоей семьей.

Глава тридцать вторая

В тот самый вечер в отеле Гэйлорда в Мадриде собралось большое общество. К воротам подкатила машина с замазанными синей краской фарами, и человек небольшого роста в черных кавалерийских сапогах, серых бриджах и коротком, сером, доверху застегнутом кителе вышел из машины, ответил на салют часовых у дверей, кивнул агенту секретной полиции, сидевшему за конторкой портье, и вошел в кабину лифта. В мраморном вестибюле тоже было двое часовых, они сидели на стульях по обе стороны входной двери и только оглянулись, когда маленький человек прошел мимо них к лифту. На их обязанности лежало ощупывать карманы каждого незнакомого лица, входившего в отель, проводить рукой по его бокам и под мышками, чтобы проверить, нет ли у него оружия. Если оружие было, его надлежало сдать портье. Но коротенького человечка в бриджах они хорошо знали и только мельком взглянули, когда он проходил мимо них.

Когда он вошел к себе в номер, оказалось, что там полно народу. Люди сидели, стояли, беседова-

ли между собой, как в великосветской гостиной; мужчины и женщины пили водку, виски с содовой и пиво, которое наливали в стаканчики из больших графинов. Четверо мужчин были в военной форме. На остальных были замшевые или кожаные куртки с замками-молниями, а из четырех женщин три были в обыкновенных простых платьях, а на четвертой, черной и невероятно худой, было что-то вроде милицейской формы строгого покроя, только с юбкой, и сапоги.

Войдя в комнату, Карков прежде всего подошел к женщине в форме, поклонился ей и пожал руку. Это была его жена, и он сказал ей что-то по-русски так, что никто не слышал, и на один миг дерзкое выражение, с которым он вошел в комнату, исчезло из его глаз. Но оно сейчас же опять вернулось, как только он заметил красновато-рыжие волосы и томно-чувственное лицо хорошо сложенной девушки, и он направился к ней быстрым, четким шагом и поклонился. Жена не смотрела ему вслед, когда он отошел. Она повернулась к высокому красивому офицеру-испанцу и заговорила с ним по-русски.

— Твой предмет что-то растолстел за последнее время, — сказал Карков девушке. — Все наши герои стали толстеть с тех пор, как мы вступили

во второй год войны. — Он не глядел на человека, о котором шла речь.

— Ты меня завтра возьмешь с собой в наступление? — спросила девушка. Она говорила по-немецки.

— Не возьму. И никакого наступления не будет.

— Все знают про это наступление, — сказала девушка. — Нечего разводить конспирацию. Долорес тоже едет. Я поеду с ней или с Карменом. Масса народу едет.

— Можешь ехать с тем, кто тебя возьмет, — сказал Карков. — Я не возьму.

Потом он внимательно посмотрел на девушку и спросил, сразу став серьезным:

— Кто тебе сказал об этом? Только точно!

— Рихард, — сказала она тоже серьезно.

Карков пожал плечами и отошел, оставив ее одну.

— Карков, — окликнул его человек среднего роста, у которого было серое, обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка. — Слыхали приятную новость?

Карков подошел к нему, и он сказал:

— Я только что узнал об этом. Минут десять, не больше. Новость замечательная. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же. Им пришлось пулеметным и ружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов.

— Это верно? — спросил Карков.

— Абсолютно верно, — сказал человек, у которого были мешки под глазами. — Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что была здесь, такая ликующая и счастливая, какой я ее никогда не видал. Она словно вся светилась от этой новости. Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом в статье для «Известий». Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут la Pasionaria[100].

— Запишите это, — сказал Карков. — Не говорите все это мне. Не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите.

---

[100] Примечания: 100
Пламенная (*исп.*).

— Зачем же сейчас?

— Я вам советую не откладывать, — сказал Карков и посмотрел на него, а потом отвернулся.

Его собеседник постоял еще несколько минут на месте, держа стакан водки в руках, весь поглощенный красотой того, что недавно видели его глаза, под которыми набрякли такие тяжелые мешки; потом он вышел из комнаты и пошел к себе писать.

Карков подошел к другому гостю, мужчине лет сорока восьми, коренастому, плотному, веселому, с бледно-голубыми глазами, редеющими русыми волосами и смеющимся ртом, оттененным светлой щеточкой усов. На нем была генеральская форма. Он был венгр и командовал дивизией.

— Вы были тут, когда приходила Долорес? — спросил его Карков.

— Да.

— В чем там дело?

— Будто бы фашисты дерутся со своими же. Прелестно — если только это правда.

— Кругом много разговоров о завтрашнем.

— Безобразие! Всех журналистов надо расстрелять, а заодно большую часть ваших сегодняшних гостей, и в первую очередь это немецкое дерьмо — Рихарда. Того, кто вверил этому ярмарочному

фигляру командование бригадой, уж наверно надо расстрелять. Может быть, и вас и меня тоже надо расстрелять. Очень возможно. — Генерал расхохотался. — Только вы все-таки не подавайте никому этой идеи.

— Я о таких вещах вообще не люблю разговаривать, — сказал Карков. — Между прочим, там теперь этот американец, который иногда бывает у меня. Знаете, этот Джордан, тот что работает с партизанскими отрядами. Он как раз там, где будто бы произошло то, о чем рассказывала Долорес.

— Тогда он должен сегодня прислать донесение об этом, — сказал генерал. — Меня туда не пускают, а то я бы сам поехал и разузнал для вас все. Этот американец работает с Гольцем, да? Ну, так Гольца вы ведь завтра увидите?

— Да, завтра утром.

— Только не попадайтесь ему на глаза, пока все не пойдет на лад, — сказал генерал. — Он вашего брата тоже терпеть не может, как и я. Впрочем, у него нрав более кроткий.

— Но как вы все-таки думаете…

— Наверно, это у фашистов были маневры, — засмеялся генерал. — Вот посмотрите, какие маневры им завтра устроит Гольц. Пусть Гольц

приложит руку к этому делу. Он им неплохие маневры устроил под Гвадалахарой.

— Я слыхал, вы тоже отбываете в дальний путь, — сказал Карков и улыбнулся.

Генерал вдруг рассердился.

— Да, я тоже. Теперь уже начали болтать и обо мне. Никто шагу ступить не может без этого. Вот собралась компания чертовых кумушек! Хоть бы один человек нашелся, умеющий держать язык за зубами. Он мог бы спасти страну, если б только сам верил в это.

— Ваш друг Прието умеет держать язык за зубами.

— Но он не верит в то, что можно победить. А как победить без веры в народ?

— Вы правы, — сказал Карков. — Ну, я иду спать.

Он вышел из полной дыма и сплетен комнаты в смежную маленькую спальню, сел на кровать и стянул с себя сапоги. Шум голосов слышался и здесь, и, чтобы заглушить его, он запер дверь и распахнул окно. Раздеваться он не стал, потому что в два часа утра ему предстояло выехать через Кольменар, Серседу и Навасерраду на фронт, где Гольц на рассвете должен был начать наступление.

Глава тридцать третья

Было два часа утра, когда Пилар разбудила его. Почувствовав на себе ее руку, он подумал сначала, что это Мария, и повернулся к ней и сказал: «Зайчонок». Но большая рука женщины тряхнула его за плечо, и он проснулся сразу и окончательно, стиснул рукоятку револьвера, лежавшего у его голого бедра, и весь напрягся, словно в нем самом взвели курок.

В темноте он разглядел, что это Пилар, и, взглянув на свои ручные часы с двумя стрелками, поблескивавшими острым углом в самом верху циферблата, увидел, что часы показывают два, и сказал:

— Ты что, женщина?

— Пабло ушел, — сказала она ему.

Роберт Джордан надел брюки и сандалии. Мария не проснулась.

— Когда? — спросил он.

— С час назад.

— Дальше что?

— Он взял что-то из твоих вещей, — жалким голосом сказала женщина.

— Так. Что?

— Я не знаю, — ответила она. — Пойди посмотри сам.

Они пошли в темноте ко входу в пещеру, нырнули под попону и вошли внутрь. Роберт Джордан шел за женщиной, вдыхая спертый воздух, насыщенный запахом холодной золы и спящих мужчин, и светил электрическим фонариком себе под ноги, чтобы не наткнуться на лежащих. Ансельмо проснулся и сказал:

— Что, пора?

— Нет, еще, — шепнул Роберт Джордан. — Спи, старик.

Оба рюкзака стояли в головах у постели Пилар, занавешенной сбоку одеялом. Когда Роберт Джордан опустился на колени рядом с ней и осветил фонариком оба рюкзака, на него пахнуло душным, тошнотворным, приторным запахом пота, каким пахнут постели индейцев. Оба рюкзака были сверху донизу прорезаны ножом. Взяв фонарик в левую руку, Роберт Джордан сунул правую в первый рюкзак. В нем он держал свой спальный мешок, и сейчас там должно было быть много свободного места. Так оно и оказалось. Там все еще лежали мотки проволоки, но квадратного деревянного ящика с взрывателем не было. Исчезла

и коробка из-под сигар с тщательно завернутыми и упакованными детонаторами. Исчезла и жестянка с бикфордовым шнуром и капсюлями.

Роберт Джордан ощупал второй рюкзак. Динамита было много. Если и не хватало, так не больше одного пакета.

Он встал и повернулся к женщине. Когда человека поднимают со сна рано утром, у него бывает ощущение томящей пустоты внутри, похожее на ощущение неминуемой катастрофы, и сейчас такое чувство охватило его с десятикратной силой.

— И это ты называешь караулить? — сказал он.

— Я спала, положив на них голову, и еще придерживала рукой, — ответила ему Пилар.

— Крепко же ты спала.

— Слушай, — сказала женщина. — Он встал ночью, и я его спросила: «Куда ты, Пабло?» А он сказал: «Помочиться, женщина», — и я опять заснула. А проснувшись, я не знала, сколько времени прошло с тех пор, и я подумала, раз его нет, значит, он пошел посмотреть лошадей, — он всегда ходит. Потом, — жалким голосом закончила она, — его все нет и нет, и тогда я забеспокоилась и пощупала, тут ли мешки, все ли в порядке, и нащупала прорезы, и пришла к тебе.

— Пойдем, — сказал Роберт Джордан.

Они вышли из пещеры; стояла глухая ночь, и приближение утра даже еще не чувствовалось.

— Мог он пробраться с лошадьми каким-нибудь другим путем, минуя часового?

— Да, есть два пути.

— Кто на верхнем посту?

— Эладио.

Роберт Джордан молчал, пока они не дошли до луга, где паслись привязанные лошади. По лугу ходили три, оставшиеся. Гнедого коня и серого среди них не было.

— Как ты думаешь, когда он уехал?

— С час назад.

— Ну что ж, — сказал Роберт Джордан. — Пойду перетащу, что осталось, и лягу спать.

— Я сама буду караулить.

— Qué va, караулить! Ты уже один раз укараулила.

— Inglés, — сказала женщина. — Я убиваюсь не меньше тебя. Я бы все сейчас отдала, чтобы вернуть твои вещи. Зачем ты меня обижаешь? Пабло предал нас обоих.

Когда она сказала это, Роберт Джордан понял, что злиться сейчас — это роскошь, которую он не может себе позволить, понял, что ему нель-

зя ссориться с этой женщиной. Ему предстоит работать с ней весь этот день, два часа которого уже прошли.

Он положил руку ей на плечо.

— Ничего, Пилар, — сказал он. — Без этого можно обойтись. Мы придумаем, как заменить это.

— Что он взял?

— Ничего, женщина. То, что он взял, это роскошь.

— Это нужно было для взрыва?

— Да. Но взрывать можно и по-другому. Ты лучше скажи, не было ли у Пабло бикфордова шнура и капсюлей? Ведь его, наверно, снабдили всем этим?

— Он взял их, — жалким голосом сказала она. — Я сразу посмотрела. Их тоже нет.

Они вернулись лесом ко входу в пещеру.

— Ложись спать, — сказал он. — Нам будет лучше без Пабло.

— Я пойду к Эладио.

— Пабло, наверно, уехал другой дорогой.

— Все равно пойду. Нет во мне хитрости, вот я и подвела тебя.

— Чепуха, — сказал он. — Ложись спать, женщина. В четыре часа нам надо быть на ногах.

Он вошел вместе с ней в пещеру и вынес оттуда

оба рюкзака, держа их обеими руками так, чтобы ничего не вывалилось из прорезов.

— Дай я зашью.

— Зашьешь перед отходом, — тихо сказал он. — Я уношу их не потому, что не доверяю тебе. Просто я иначе не засну.

— Тогда дай мне их пораньше, я зашью дыры.

— Хорошо, дам пораньше, — ответил он ей. — Ложись спать, женщина.

— Нет, — сказала она. — Я подвела себя, и я подвела Республику.

— Ложись спать, женщина, — мягко сказал он ей. — Ложись спать.

Глава тридцать четвертая

Вершины гор занимали фашисты. Дальше шла долина, никем не занятая, если не считать фашистского поста, расположенного на ферме с надворными постройками и сараем, которые они укрепили. Пробираясь к Гольцу с донесением Роберта Джордана, Андрес сделал в темноте большой крюк, чтобы не проходить мимо этого поста. Он знал, где там была протянута проволока к спусковой раме пулемета, и он разыскал ее в темноте, перешагнул и пошел дальше вдоль узкого ручья, окаймленного тополями, листья которых шелестели на ночном ветру. На ферме, где был фашистский пост, закукарекал петух, и, шагая вдоль ручья, Андрес оглянулся назад и увидел за деревьями полоску света в одном окне фермы, у самого подоконника. Ночь была тихая и ясная, и он свернул в сторону от ручья и пошел через луг.

На лугу вот уже целый год, со времени июльских боев, стояли четыре стога сена. Никто их не убирал, и в смене времен года они осели, и сено совсем сгнило.

Переступив через проволоку, протянутую меж-

ду двумя стогами, Андрес пожалел пропавшее сено. Впрочем, республиканцам пришлось бы тащить сено вверх по крутому склону Гвадаррамы, поднимавшемуся за лугом, а фашистам оно, верно, не нужно, подумал он.

У них и сена и хлеба вдоволь. У них всего вдоволь, думал он. Но завтра утром мы всыплем им как следует. Завтра утром мы отплатим им за Глухого. Что за звери! Но завтра утром на дороге будет пыль столбом.

Ему хотелось поскорее доставить пакет и поспеть в лагерь к нападению на посты. На самом ли деле ему этого хотелось, или он только притворялся перед самим собой? Он помнил то чувство облегчения, которое охватило его, когда Inglés сказал, что поручает ему доставить пакет. До тех пор он спокойно ждал утра. Это надо было сделать. Он сам голосовал за это, и он был готов на все. Гибель отряда Глухого произвела на него глубокое впечатление. Но, в конце концов, это случилось с Глухим. Это случилось не с ними. Они свое дело сделают.

Когда Inglés говорил с ним, он почувствовал то же самое, что чувствовал мальчишкой, когда просыпался утром в день деревенского праздника и слышал, что идет сильный дождь, а значит,

будет слишком сыро и травлю быков на площади отменят.

Мальчиком он любил травлю быков и ждал этого дня и той минуты, когда он выбежит на площадь, залитую горячим солнцем, пыльную, уставленную по краям телегами, чтобы не было прохода на улицы и чтобы на загороженную со всех сторон площадь можно было выпустить быка, и бык, упираясь всеми четырьмя ногами, заскользит по настилу, как только откроют дверь клетки. С волнением, восторгом и страхом, от которого прошибал пот, он ждал той минуты, когда, выбежав на площадь, услышит стук рогов о деревянную клетку, а потом увидит и самого быка, увидит, как тот, упираясь ногами, сползает по настилу на площадь, высоко подняв голову, раздув ноздри, подергивая ушами, с пыльным налетом на черной шкуре, с пятнами подсохшего навоза на боках, — увидит его широко расставленные глаза, немигающие глаза под разведенными рогами, гладкими и твердыми, как бревна, отполированные прибрежным песком, с острыми концами, при виде которых екает сердце.

Весь год ждал он той минуты, когда бык окажется на площади и можно будет следить за его глазами — кого он выберет, на кого бросится,

вдруг сорвавшись вприпрыжку, по-кошачьи, низко опустив голову, загребая рогами, — следить с остановившимся сердцем. Мальчиком он ждал этой минуты весь год; но чувство, охватившее его, когда Inglés сказал, что ему придется пойти с пакетом, было именно то самое, какое возникало, если он, просыпаясь, с облегчением слышал, как дождь хлещет по черепичной крыше, по каменной стене и по лужам на немощеной деревенской улице.

Он всегда смело встречал быка на этих деревенских капеа — так же смело, как любой другой мужчина из их деревни или из соседней, и ни за что в жизни не пропустил бы этого удовольствия, хотя на капеа в другие деревни не ходил. Он умел спокойно выжидать, когда бык бросится, и только в последнюю секунду делал прыжок в сторону. Он размахивал мешком у быка под самой мордой, чтобы отвлечь его внимание, когда бык валил кого-нибудь на землю, и не раз хватал его за рога и держал его, не давая боднуть упавшего, и оттаскивал за рог в сторону, бил, пинал ногами в морду до тех пор, пока бык не оставлял валявшегося на земле человека и не кидался на другого.

Он хватал быка за хвост и оттаскивал его от упавшего, тянул его изо всех сил, крутил ему

хвост. Как-то раз он намотал хвост себе на правую руку, а левой схватился за рог, и когда бык вскинул голову и кинулся на него, он побежал, пятясь, кружа вместе с быком, держа его одной рукой за хвост, другой за рог, и под конец все толпой кинулись на быка и прирезали его ножами. В этой пыли, жарище, в смешанном запахе вина, бычьего и людского пота, среди оглушительных криков толпы он всегда был одним из первых, кто кидался на быка, и ему хорошо запомнилось то ощущение, когда бык катался, бился под ним, а он лежал поперек холки, зажав под мышкой один рог у самого основания, другой сжимая пальцами; бык швырял его из стороны в сторону, и он извивался всем телом, чувствуя, что левая рука вот-вот вырвется из плечевого сустава, и, лежа на горячем, пыльном щетинистом, дергающемся бугре мышц, вцепившись зубами в бычье ухо, он снова и снова всаживает нож во вздувшийся, дергающийся загривок, и на кулак его бьет горячая струя крови, а он всей своей тяжестью наваливается на крутую холку и садит, садит ножом в шею.

Когда он первый раз вцепился зубами в ухо, чувствуя, что от мертвой хватки немеют челюсти и шея, его подняли на смех. Но, хоть и смеялись,

все же чувствовали к нему уважение. И с тех пор он повторял это каждый раз. Его прозвали Бульдогом Виллаконехоса и говорили в шутку, что он ест быков живьем. Но односельчане всегда ждали этого дня, чтобы посмотреть, как он вцепится быку в ухо, и он знал наперед, что каждый раз будет так: сначала бык выйдет из клетки, потом кинется на кого-нибудь, а потом, когда все закричат, что пора убивать, он пробьется сквозь толпу и одним прыжком бросится на быка. Потом, когда все будет кончено и прирезанный бык затихнет под навалившимися на него людьми, он встанет и пойдет прочь, стыдясь того, что кусал быка за ухо, и вместе с тем гордясь собой, как только может гордиться мужчина. И он пойдет, пробираясь между телегами, мыть руки у каменного фонтана, и мужчины будут хлопать его по спине, и протягивать ему бурдюки, и кричать: «Нашему Бульдогу ура! Дай бог здоровья твоей матери!» Или они будут говорить: «Вот удалой парень. Ведь он из года в год это повторяет».

Андрес и стыдился, и чувствовал какую-то пустоту внутри, и был горд и счастлив; и он старался поскорее отделаться от всех и вымыть руки, и правую мыл до самого плеча, и отмывал нож, а потом брал чей-нибудь бурдюк и прополаскивал

рот, чтобы уничтожить привкус бычьего уха во рту до следующего года.

И он выплевывал вино на каменные плиты, прежде чем поднять бурдюк повыше и направить струю вина прямо в самое горло.

Все это так. Его звали Бульдогом Виллаконехоса, и он ни за что в жизни не пропустил бы травлю быков у себя в деревне. И все-таки он помнил, что нет чувства приятнее того, которое появляется при звуках дождя, когда знаешь, что тебе не придется делать это.

Но я должен поспеть назад, сказал он самому себе. Тут нечего раздумывать, я должен поспеть назад и принять участие в этой операции с часовыми и с мостом. Там мой кровный брат Эладио, там Ансельмо, Примитиво, Фернандо, Агустин, Рафаэль, хотя последний, конечно, немногого стоит, две женщины, Пабло и Inglés. Впрочем, Inglés в счет не идет, он иностранец и действует по приказу. Они все будут в этом деле. И нельзя, чтобы я был избавлен от этого испытания из-за пакета. Я должен скорее доставить этот пакет и поспешить назад, чтобы поспеть к самой атаке на посты. Было бы просто позорно не участвовать в деле из-за этого пакета. Все ясно, раздумывать нечего. А кроме того, спохватился он, как спохва-

тывается человек, сообразив, что предстоящее ему не только дело чести, о чем подумалось в первую очередь, но и удовольствие, — кроме того, мне будет приятно отправить на тот свет несколько фашистов. Мы уже давно их не убивали. Завтра мы займемся настоящим делом. Завтра мы не будем сидеть сложа руки. Завтрашний день мы проведем не зря. Пусть он поскорее наступит, завтрашний день, и пусть я буду там, вместе со всеми.

Как раз в эту минуту, когда он, продираясь сквозь высокие заросли дрока, поднимался по крутому склону к месту расположения республиканских частей, из-под ног у него, захлопав в темноте крыльями, вылетела куропатка, и он затаил дыхание от страха. Это от неожиданности, подумал он. Как это они ухитряются так быстро бить крыльями? Она, наверно, сидела на яйцах. А я чуть не наступил на гнездо. Не будь войны, привязать бы платок к кусту, а днем на обратном пути разыскать гнездо, взять яйца, подложить их дома под наседку, и у нас были бы маленькие куропатки на птичьем дворе, и я бы следил за ними, а когда подрастут, держал бы их для приманки. Выкалывать им глаза я бы не стал, потому что они и так были бы ручные. А может, на это

нельзя полагаться? Пожалуй, нельзя. Тогда глаза придется выколоть.

Но когда сам вырастил их, это неприятно делать. Если держать их для приманки, можно еще подрезать крылья или привязать за ногу. Не будь войны, я бы пошел с Эладио ловить раков вон в том ручье у фашистского поста. Мы с ним как-то за одну ночь наловили в этом ручье сорок восемь штук. Если после дела с мостом нам придется уйти в Сьерра-де-Гредос, там есть хорошие ручьи, где и форель водится и раки. Уйти бы в Гредос, подумал он. Летом в Гредосе хорошо, да и осенью тоже, а вот зимой там лютые холода. Но, может быть, к зиме мы выиграем войну.

Если бы наш отец не был республиканцем, мы с Эладио служили бы в армии у фашистов, а фашистскому солдату думать не о чем. Выполняй приказы, живи или умирай, а конец какой придет, такой и придет. Подчиняться власти легче, чем воевать с ней.

Но партизанская война — дело ответственное. Если ты человек беспокойный, то беспокоиться тебе есть о чем. Эладио думает больше, чем я. И он беспокоится. Я верю в наше дело, и я ни о чем не беспокоюсь. Но ответственность мы несем большую.

Мы родились в трудное время, думал он. Раньше, наверно, жилось легче. Но нам не очень тяжело, потому что с самых первых дней мы притерпелись к невзгодам. Кто плохо переносит трудности, тому здесь не житье. Наше время трудное, потому что нам надо решать. Фашисты напали первые и все решили за нас. Мы сражаемся за жизнь. Но мне бы хотелось, чтобы можно было привязать платок к тому кусту, и вернуться сюда днем, и взять яйца, и подложить их под наседку, и потом видеть, как по двору у тебя расхаживают маленькие куропатки. На них даже смотреть приятно — маленькие, аккуратненькие.

Нет у тебя ни дома, ни двора возле этого дома, подумал он. И семьи у тебя нет, а есть только брат, который завтра пойдет в бой; ничего у тебя нет, кроме ветра, солнца да пустого брюха. Ветер сейчас слабый, думал он, а солнце зашло. В кармане у тебя четыре гранаты, но они только на то и годятся, чтобы швырнуть их. У тебя есть карабин за спиной, но он только на то и годится, чтобы посылать пули. У тебя есть пакет, который нужно отдать. И кишки у тебя полны дерьма, которое ты тоже отдашь земле, усмехнулся он в темноте. Можешь еще полить ее мочой. Все,

что ты можешь, — это отдавать. Да ты философ, философ-горемыка, сказал он самому себе и опять усмехнулся.

И все же никакие возвышенные мысли не могли заглушить в нем чувство облегчения, то самое, что, бывало, охватывало его, когда он слышал шум дождя рано утром в день деревенской фиесты. Впереди, на гребне горы, были позиции республиканских войск, и он знал, что там его окликнут.

Глава тридцать пятая

Роберт Джордан лежал в спальном мешке рядом с девушкой Марией, которая все еще спала. Он лежал на боку, повернувшись к девушке спиной, и чувствовал за собой все ее длинное тело, и эта близость была теперь только насмешкой. Ты, ты, бесновался он внутренне. Да ты. Ты же сам себе сказал при первом взгляде на него, что, когда он станет проявлять дружелюбие, тогда и надо ждать предательства. Болван. Жалкий болван. Ну, довольно. Сейчас не об этом надо думать. Может быть, он припрятал украденное или забросил куда-нибудь. Нет, на это надежды мало. Да все равно в темноте ничего не найдешь. Он будет держать это при себе. Он и динамит прихватил. Проклятый пьянчуга. Дерьмо поганое. Смылся бы просто к чертовой матери — нет, надо еще стащить взрыватель и детонаторы. И угораздило же меня, болвана, оставить их у этой чертовой бабы. Подлая, хитрая морда. Cabron поганый.

Перестань, успокойся, сказал он самому себе. Ты должен был пойти на риск, и это казалось самым надежным. Тебя просто обманули к чертовой

матери, сказал он самому себе. Обманули дурака на четыре кулака. Не теряй головы, и не злись, и прекрати эти жалкие причитания и это нытье у стен вавилонских. Нет твоих материалов. Нет — и все тут! А, будь проклята эта поганая свинья. Теперь выпутывайся сам, черт тебя побери. Надо выпутываться, ты знаешь, что мост должен быть взорван, пусть даже тебе придется стать там и... Нет, это ты тоже брось. Посоветуйся лучше с дедушкой.

К чертовой матери твоего дедушку, и к чертовой матери эту вероломную проклятую страну и каждого проклятого испанца в ней и по ту и по другую сторону фронта. Пусть все идут к чертовой матери — Ларго, Прието, Асенсио, Миаха, Рохо, — все вместе и каждый в отдельности. К чертовой матери их эгоцентризм, их себялюбие, их самодовольство и их вероломство. Пусть идут к чертовой матери раз и навсегда. Пусть идут к чертовой матери до того, как мы умрем за них. Пусть идут к чертовой матери после того, как мы умрем за них. Пусть идут к чертовой матери со всеми потрохами. И Пабло пусть идет к чертовой матери. Пабло — это все они, вместе взятые. Господи, сжалься над испанским народом. Какой бы ни был у него вождь, этот вождь обманет его к

чертовой матери. Один-единственный порядочный человек за две тысячи лет — Пабло Иглесиас, а все остальные обманщики. Но откуда нам знать, как бы он повел себя в этой войне? Я помню то время, когда Ларго казался мне неплохим человеком. Дурутти тоже был хороший, но свои же люди расстреляли его в Пуэнте-де-лос-Франкесес. Расстреляли, потому что он погнал их в наступление. Расстреляли во имя великолепной дисциплины недисциплинированности. Да ну их всех к чертовой матери. А теперь Пабло взял да и смылся к чертовой матери с моим взрывателем и детонаторами. Пропади он пропадом ко всем чертям. Нет, это он послал нас к чертям. Все они так делали, начиная с Кертеса и Менендеса де Авила и кончая Миахой. Вспомни, что сделал Миаха с Клебером. Себялюбивая лысая свинья. Тупая гадина с головой точно яйцо. Ну их к чертовой матери, всех этих оголтелых, себялюбивых, вероломных свиней, которые всегда правили Испанией и командовали ее армиями. К чертовой матери всех — только не народ.

Его ярость начала понемногу утихать, по мере того как он преувеличивал все больше и больше, обливая презрением всех без разбора, и так несправедливо, что сам уже перестал верить сво-

им словам. Если это все так, зачем же ты пришел сюда? Это не так, и ты прекрасно это знаешь. Вспомни, сколько есть настоящих людей. Вспомни, сколько есть замечательных людей. Ему стало тошно от собственной несправедливости. Он ненавидел несправедливость не меньше, чем жестокость, и ярость слепила ему глаза, но наконец злоба стала утихать, красная, черная, слепящая, смертоносная злоба исчезла совсем, и в мыслях у него появилась та пустота, спокойствие, четкость, холодная ясность, какая бывает после близости с женщиной, которую не любишь.

— А ты, бедный мой зайчонок, — сказал он, повернувшись к Марии, которая улыбнулась во сне и прижалась к нему теснее. — Если бы ты заговорила со мной минуту назад, я бы тебя ударил. Какие мы, мужчины, скоты, когда разозлимся. — Теперь он лежал, тесно прижавшись к девушке, обняв ее, уткнувшись подбородком ей в плечо, и, лежа так, соображал, что ему надо будет сделать и как именно он это сделает.

И не так уж все плохо, думал он. Совсем не так уж плохо. Я не знаю, приходилось ли кому-нибудь делать подобные штуки раньше. Но после нас это будут делать, и при таких же трудных обстоятельствах, — люди найдутся. Если только

мы сами сделаем это и другие об этом узнают. Да, если другие узнают. Если только им не придется ломать себе голову над тем, как мы это сделали. Нас очень мало, но тревожиться из-за этого нечего. Я взорву мост и с тем, что у нас осталось. А как хорошо, что я перестал злиться. Ведь я чуть не задохнулся, все равно как от сильного ветра. Злость — тоже роскошь, которую нельзя себе позволить.

— Все рассчитано, guapa, — чуть слышно сказал он Марии в плечо. — Тебя это не коснулось. Ты даже ничего не знала. Мы погибнем, но мост взорвем. Тебе ни о чем не пришлось тревожиться. Это не бог весть какой свадебный подарок. Но ведь говорят же, что нет ничего дороже крепкого сна. Ты крепко спала всю ночь. Может быть, ты наденешь свой сон на палец как обручальное кольцо. Спи, guapa. Спи крепко, любимая. Я не стану будить тебя. Это все, что я могу сейчас для тебя сделать.

Он лежал, легко обнимая ее, чувствуя ее дыхание, чувствуя, как бьется ее сердце, и следил за временем по своим ручным часам.

Глава тридцать шестая

Подойдя к расположению республиканских войск, Андрес окликнул часовых. Точнее, он лег на землю там, где склон крутым обрывом шел вниз от тройного пояса колючей проволоки, и крикнул, подняв голову к валу из камней и земли. Сплошной оборонительной линии здесь не было, и в темноте он мог бы пройти мимо этого пункта в глубь территории, занятой республиканскими войсками, прежде чем его бы остановили. Но ему казалось, что проделать все это здесь будет безопаснее и проще.

— Salud! — крикнул он. — Salud, milicianos![101] Он услышал щелканье затвора. Потом за валом выстрелили из винтовки. Раздался оглушительный треск, и темноту прорезало сверху вниз желтой полосой. Услышав щелканье затвора, Андрес лег плашмя и уткнулся лицом в землю.

— Не стреляйте, товарищи, — крикнул Андрес. — Не стреляйте. Я хочу подняться к вам.

— Сколько вас? — послышался чей-то голос из-за вала.

---

[101] Примечания: 101
Привет, солдаты! (*исп.*)

— Один. Я. Больше никого.

— Кто ты?

— Андрес Лопес из Виллаконехоса. Из отряда Пабло. Иду с донесением.

— Винтовка и патроны есть?

— Да, друг.

— Без винтовки и патронов мы сюда никого не пустим, — сказал голос. — И больше трех человек сразу тоже нельзя.

— Я один, — крикнул Андрес. — С важным поручением. Пустите меня.

Он услышал, как они переговариваются за валом, но слов не разобрал. Потом тот же голос крикнул опять:

— Сколько вас?

— Один. Я. Больше никого. Ради господа бога.

За валом опять стали переговариваться. Потом раздался голос:

— Слушай, фашист.

— Я не фашист, — крикнул Андрес. — Я guerrillero из отряда Пабло. Я иду с донесением в Генеральный штаб.

— Совсем рехнулся, — услышал он сверху. — Швырни в него гранату.

— Слушайте, — сказал Андрес. — Я один. Со мной больше никого нет. Вот чтоб мне так и так в

святое причастие — говорю вам, я один. Пустите меня.

— Говорит, как добрый христианин, — сказал кто-то за валом и засмеялся.

Потом послышался голос другого:

— Самое лучшее швырнуть в него гранату.

— Нет! — крикнул Андрес. — Вы сделаете большую ошибку. Я с важным поручением. Пустите меня.

Вот из-за этого он и не любил переходить туда и сюда через линию фронта. Иной раз все складывалось лучше, иной раз хуже. Но совсем хорошо не бывало никогда.

— Ты один? — снова спросили его сверху.

— Me cago en la leche[102], — крикнул Андрес. — Сколько раз мне повторять? Я один.

— Ну, если один, так встань во весь рост и держи винтовку над головой.

Андрес встал и поднял карабин, держа его обеими руками.

— Теперь пробирайся через проволоку. Мы навели на тебя máquina, — сказал тот же голос.

Андрес подошел к первому поясу проволочных заграждений.

---

[102] Примечания: 102
Испанское ругательство.

— Я не проберусь без рук, — крикнул он.

— Не смей опускать, — приказал ему голос.

— Я зацепился за проволоку, — ответил Андрес.

— Швырнуть бы в него гранату, проще всего, — сказал другой голос.

— Пусть перекинет винтовку за спину, — сказал еще чей-то голос. — Как он пройдет с поднятыми руками? Соображать надо!

— Фашисты все на один лад, — сказал другой голос. — Ставят одно условие за другим.

— Слушайте, — крикнул Андрес. — Я не фашист, я guerrillero из отряда Пабло. Мы поубивали фашистов больше, чем тиф.

— Я что-то не слышал про этого Пабло и про его отряд, — сказал голос, принадлежавший, очевидно, начальнику поста. — И про Петра и Павла и про других святых и апостолов тоже не слыхал. И про их отряды не знаю. Перекинь винтовку за плечо и действуй руками.

— Пока мы не открыли по тебе огонь из máquina, — крикнул другой.

— Qué poco amables sois! — сказал Андрес. — Не очень-то вы любезны! — Он пошел вперед, продираясь через проволоку.

— Любезны? — крикнул кто-то. — Мы на войне,

друг.

— Оно и видно, — сказал Андрес.

— Что он говорит?

Андрес опять услышал щелканье затвора.

— Ничего! — крикнул он. — Я ничего не говорю. Не стреляйте, пока я не проберусь через эту окаянную проволоку.

— Не смей так говорить про нашу проволоку! — крикнул кто-то. — Не то гранату швырнем.

— Quiero decir, qué buena alambrada![103] — крикнул Андрес. — Какая замечательная проволока!

Господь в нужнике! Что за проволока! Скоро я до вас доберусь, братья.

— Швырните в него гранату, — услышал он все тот же голос. — Говорю вам, это самое разумное.

— Братья, — сказал Андрес. Он весь взмок от пота, и он знал, что стороннику решительных действий ничего не стоит швырнуть в него гранату. — Я человек маленький.

— Охотно верю, — сказал гранатометчик.

— И ты прав, — сказал Андрес. Он осторожно пробирался через третий пояс колючей проволоки и был уже близок к валу. — Я совсем маленький человек. Но мне поручили важное

---

[103] Примечания: 103

Я хочу сказать: какая прекрасная проволока! (*исп.*)

дело. Muy, muy serio[104].

— Важнее свободы ничего нет, — крикнул гранатометчик. — Ты думаешь, есть что-нибудь и поважнее свободы? — спросил он вызывающим тоном.

— Нет, друг, — с облегчением сказал Андрес. Теперь он знал, что имеет дело с самыми оголтелыми, с теми, кто носит красно-черные шарфы. — Viva la Libertad!

— Viva la FAI! Viva la CNT![105] — закричали в ответ из-за вала. — Да здравствует анархо-синдикализм и свобода!

— Viva nosotros! — крикнул Андрес. — Да здравствуем мы!

— Он из наших, — сказал гранатометчик. — А ведь я мог уложить его этой штукой.

Он посмотрел на гранату, которую держал в руке, и расчувствовался, когда Андрес перебрался через вал. Обняв его и все еще не выпуская гранаты из рук, так что она легла Андресу на лопатку, гранатометчик расцеловал Андреса в обе щеки.

— Я очень доволен, что все обошлось благопо-

---

[104] Примечания: 104

Очень, очень важное (*исп.*).

[105] Примечания: 105

Да здравствует Федерация анархистов Иберии! Да здравствует Национальная конфедерация труда! (*исп.*)

лучно, брат, — сказал он. — Я очень доволен.

— Где твой начальник? — спросил Андрес.

— Я здесь начальник, — сказал тот. — Покажи свои документы.

Он пошел в блиндаж и при свече просмотрел документы: сложенный пополам кусочек шелка, трехцветный, как флаг Республики, с печатью СВР в центре, salvoconducto — охранное удостоверение, или пропуск, в котором было проставлено имя Андреса, его возраст, место рождения и указано данное ему поручение (все это Роберт Джордан написал на листке, вырванном из записной книжки, и поставил штамп СВР), и, наконец, четыре сложенных листочка донесения Гольцу, обвязанные шнурком и запечатанные воском с оттиском металлической печати СВР, которая была вправлена в деревянную ручку резинового штампа.

— Такие я уже видел, — сказал начальник поста и вернул Андресу кусочек шелка. — Они у вас у всех есть. Но без такой бумажки это ничего не значит. — Он взял salvoconducto и снова прочел его с начала до конца. — Откуда ты родом?

— Из Виллаконехоса, — сказал Андрес.

— Что там у вас растет?

— Дыни, — сказал Андрес. — Это всему свету

известно.

— Кого ты там знаешь?

— А что? Ты разве сам оттуда?

— Нет. Но я там бывал. Я из Аранхуэса.

— Спрашивай о ком хочешь.

— Опиши Хосе Ринкона.

— Который содержит кабачок?

— Вот-вот.

— Бритая голова, толстобрюхий, и глаз немного косит.

— Ну, раз так, значит, эта бумажка действительна, — сказал тот и протянул ему листок. — А что ты делаешь на их стороне?

— Наш отец перебрался в Вильякастин еще до начала движения, — сказал Андрес. — Это на равнине, за горами. Там мы и жили, когда началось движение. А с тех пор я в отряде Пабло. Но я тороплюсь, друг. Надо поскорее доставить это.

— А что там у вас делается, на фашистской территории? — спросил начальник поста. Он не торопился.

— Сегодня было много tomate, — горделиво сказал Андрес. — Сегодня на дороге пыль стояла столбом. Сегодня перебили весь отряд Глухого.

— А кто это Глухой? — недоверчиво спросил офицер.

— Вожак одного из самых лучших отрядов в горах.

— Не мешало бы вам всем перейти на республиканскую территорию и вступить в армию, — сказал офицер. — Развели партизанщину, а это чепуха. Не мешало бы перейти сюда и подчиниться нашей дисциплине. А если партизанские отряды понадобятся, мы их сами пошлем.

Андрес был наделен почти сверхъестественным терпением. Он спокойно продирался через проволоку. И этот допрос его тоже не взволновал. И то, что этот человек не понимает ни их, ни того, что они делают, казалось ему в порядке вещей, и ничего неожиданного в этих дурацких разговорах для него не было. И в том, что все так затягивается, тоже не было ничего неожиданного, но теперь ему пора было идти дальше.

— Слушай, compadre, — сказал он. — Очень возможно, что ты прав. Но мне приказано доставить этот пакет командиру Тридцать пятой дивизии, которая на рассвете начнет наступление в этих горах, а сейчас уже ночь, и я должен идти дальше.

— Какое наступление? Что ты знаешь о наступлении?

— Я ничего не знаю. Но мне надо добраться в На-

васерраду и еще дальше. Отправь меня к своему командиру, может быть, он даст мне какой-нибудь транспорт. Пошли кого-нибудь со мной, только поскорее, потому что дело не терпит.

— Что-то мне все очень сомнительно, — сказал офицер. — Лучше бы нам подстрелить тебя, когда ты подошел к проволоке.

— Ты же видел мои документы, товарищ, и я тебе объяснил, зачем иду, — терпеливо ответил ему Андрес.

— Документы можно подделать, — сказал офицер. — И такое поручение любой фашист себе придумает. Я сам провожу тебя к начальнику.

— Хорошо, — сказал Андрес. — Пойдем. Только давай поскорее.

— Эй, Санчес. Прими командование, — сказал офицер. — Ты не хуже меня знаешь, что надо делать. Я поведу этого так называемого товарища к командиру.

Они двинулись вперед неглубоким окопом за вершиной холма, и в темноте Андрес почувствовал зловоние, которое шло из зарослей дрока, загаженных защитниками этой вершины. Ему не нравились эти люди, похожие на беспризорных ребят, грязные, недисциплинированные, испорченные, добрые, ласковые, глупые, неве-

жественные и всегда опасные, потому что в их руках было оружие. Сам Андрес в политике не разбирался, он только стоял за Республику. Ему часто приходилось слышать, как говорят эти люди, и они говорили красиво, и слушать их было приятно, но сами они ему не нравились. Какая же это свобода, когда человек напакостит и не приберет за собой, думал он. Свободнее кошки никого нет, а она и то прибирает. Кошка — самый ярый анархист. Покуда они не научатся этому у кошки, их уважать не будут.

Офицер, шагавший впереди него, вдруг остановился.

— Карабин все еще при тебе? — сказал он.

— Да, — сказал Андрес. — А что?

— Дай его сюда, — сказал офицер. — А то еще выстрелишь мне в спину.

— Зачем? — спросил его Андрес. — Зачем я буду стрелять тебе в спину?

— Кто вас знает, — сказал офицер. — Я никому не доверяю. Давай сюда карабин.

Андрес сбросил карабин с плеча и передал ему.

— Раз уж тебе хочется тащить его, — сказал он.

— Так оно лучше, — сказал офицер. — Спокойнее.

Они спускались в темноте по склону холма.

Глава тридцать седьмая

Роберт Джордан лежал рядом с девушкой и следил за временем по часам на руке. Время шло медленно, почти незаметно, потому что часы были маленькие и он не мог разглядеть секундную стрелку. Но, вглядываясь в минутную, он обнаружил, что если очень сосредоточиться, то почти можно уловить, как она движется. Он лежал, уткнувшись подбородком в голову девушки, и когда вытягивал шею, чтобы посмотреть на часы, то чувствовал ее коротко стриженные волосы у себя на щеке, и они были мягкие, живые и такие же шелковистые, как мех куницы под рукой, когда открываешь зажимы капкана, вытаскиваешь ее оттуда и, держа одной рукой, другой приглаживаешь мех. В горле у него вставал ком, когда волосы Марии касались его щеки, и когда он прижимал ее к себе, томящая пустота шла от горла по всему телу; он опустил голову ниже, не сводя глаз с циферблата, по левой стороне которого медленно двигалось похожее на пику светящееся острие. Теперь он ясно различал движение стрелки, и он теснее прижал к себе Марию, словно стараясь

замедлить это движение. Ему не хотелось будить ее, но не трогать ее сейчас, в их последний раз, он тоже не мог, и он коснулся губами ее шеи за ухом и повел ими дальше, чувствуя ее гладкую кожу и мягкое прикосновение ее волос. Он смотрел на стрелку, двигающуюся на циферблате, и еще крепче прижал к себе Марию и повел кончиком языка по ее щеке и по мочке уха и выше, по чудесным извилинам ушной раковины до милого твердого ободка наверху, и язык у него дрожал. Он чувствовал, как эта дрожь пронизывает томящую пустоту тела, и видел, что минутная стрелка уже подбирается к трем часам. И тогда он повернул к себе голову все еще спящей Марии и нашел ее губы. Он не целовал ее, только легко-легко водил губами по ее сонно сомкнутым губам, чувствуя их нежное прикосновение. Он повернулся к ней, и по ее длинному, легкому, нежному телу пробежала дрожь, и потом она вздохнула, все еще не просыпаясь, а потом, все еще не просыпаясь, она тоже обняла его и потом проснулась, и ее губы крепко, настойчиво прижались к его губам, и он сказал:

— Тебе будет больно.

И она сказала:

— Нет, не будет.

— Зайчонок.
— Нет. Молчи.
— Зайчонок мой.
— Молчи. Молчи.

И потом они были вместе, и хоть стрелка часов продолжала двигаться, невидимая теперь, они знали, что то, что будет с одним, будет и с другим, что больше того, что есть сейчас, ничего не будет, что это все и навсегда; это уже было, и должно было прийти опять, и пришло. То, что не могло прийти, теперь пришло. Это пришло, и это было и раньше, и всегда, и вот оно, вот, вот. О, вот оно, вот оно, вот оно, только оно, одно оно и всегда оно. И нет ничего, кроме тебя, и оно пророк твой. Ныне и вовеки. Вот оно, вот оно, и другого ничего нет. Да, вот оно. Оно и только оно, и больше ничего не надо, только это, и где ты, и где я, и мы оба, и не спрашивай, не надо спрашивать, пусть только одно оно; и пусть так теперь и всегда, и всегда оно, всегда оно, отныне всегда только оно; и ничего другого, одно оно, оно; оно выше, оно взлетает, оно плывет, оно уходит, оно расплывается кругами, оно парит, оно дальше, и еще дальше, и все дальше и дальше; и вместе, вместе, вместе, все еще вместе, все еще вместе, и вместе вниз, вместе мягко, вместе тоскливо, вместе неж-

но, вместе радостно, и дорожить этим вместе, и любить это вместе, и вместе и вместе на земле, и под локтями срезанные, примятые телом сосновые ветки, пахнущие смолой и ночью; и вот уже совсем на земле, и впереди утро этого дня. Потом он сказал вслух, потому что все остальное было у него только в мыслях и до сих пор он молчал:

— О Мария, я люблю тебя, и как я благодарен тебе.

Мария сказала:

— Молчи. Давай лучше помолчим.

— Нет, я буду говорить, потому что это очень важно.

— Нет.

— Зайчонок…

Но она крепко прижалась к нему, отворачивая голову, и он тихо спросил:

— Больно, зайчонок?

— Нет, — сказала она. — Я тоже тебе благодарна за то, что опять была в la gloria.

Потом они лежали рядом, тихо, касаясь друг друга всем телом — ногами, бедрами, грудью, плечами, только Роберт Джордан повернулся так, чтобы опять видеть свои часы, и Мария сказала:

— Какие мы с тобой счастливые.

— Да, — сказал он. — Нам с тобой грех жало-

ваться.

— Спать уже некогда?

— Да, — сказал он. — Теперь уже скоро.

— Тогда давай встанем и поедим чего-нибудь.

— Хорошо.

— Слушай. Тебя что-то тревожит.

— Нет.

— Правда?

— Сейчас уже нет.

— Раньше тревожило?

— Какое-то время.

— Я ничем не могу помочь тебе?

— Нет, — сказал он. — Ты и так мне помогла.

— Это? Это было для меня.

— Это было для нас обоих, — сказал он. — В этом человек не бывает один. Вставай, зайчонок, надо одеваться.

Но мысль — лучший его товарищ — возвращалась к la gloria. Она сказала la gloria. Это совсем не то, что glory, и не то, что la gloire, о которой говорят и пишут французы. Это то самое, что есть в андалузских народных песнях. Это было, конечно, у Греко, и у Сан-Хуана де ла Крус, и у других. Я не мистик, но отрицать это так же бессмысленно, как отрицать телефон, или то, что Земля вращается вокруг Солнца, или то, что во вселенной

существуют другие планеты, кроме Земли.

Как мало мы знаем из того, что нам следует знать. Я бы хотел, чтобы впереди у меня была долгая жизнь, а не смерть, которая ждет меня сегодня, потому что я много узнал о жизни за эти четыре дня, — гораздо больше, чем за все остальное время. Я бы хотел дожить до глубокой старости и знать, на самом деле знать. Интересно, можно ли учиться до бесконечности, или человек способен усвоить только то, что ему положено? Я был уверен, что знаю много такого, о чем я на самом деле и понятия не имел. Я бы хотел, чтобы впереди у меня было больше времени.

— Ты меня многому научила, зайчонок, — сказал он по-английски.

— Что ты говоришь?

— Я многому от тебя научился.

— Qué va, — сказала она. — Это ты образованный, а не я.

Образованный, подумал он. У меня только самые крохи образования. Самые-самые крохи. Жаль, если я умру сегодня, потому что теперь я уже кое-что знаю. Интересно, почему ты научился кое-чему именно сейчас? Потому что недостаток времени обострил твою восприимчивость? Недостаток времени — чепуха. Тебе следовало это

знать. Я прожил целую жизнь в этих горах, с тех пор как пришел сюда. Ансельмо — мой самый старый друг. Я знаю его лучше, чем знаю Чэба, лучше, чем Чарльза, лучше, чем Гая, лучше, чем Майка, а их я знаю хорошо. Сквернослов Агустин — это мой брат, а брата у меня никогда не было. Мария — моя настоящая любовь, моя жена. А у меня никогда не было настоящей любви. Никогда не было жены. Она и сестра мне, а у меня никогда не было сестры, и дочь, а дочери у меня никогда не будет. Как не хочется оставлять все такое хорошее. Он кончил шнуровать свои сандалии.

— По-моему, жизнь очень интересная штука, — сказал он Марии.

Она сидела рядом с ним на спальном мешке, обхватив руками ноги пониже колен. Кто-то приподнял попону, висевшую над входом в пещеру, и они оба увидели свет. Была все еще ночь, и утро ничем не давало себя знать, разве только когда он поднимал голову и смотрел сквозь сосны на звезды, переместившиеся далеко вниз. Но в этом месяце утро должно было наступить быстро.

— Роберто, — сказала Мария.

— Да, guapa.

— Сегодня в этом деле мы будем вместе, да?

— После того как начнется.

— А с самого начала?

— Нет. Ты будешь с лошадьми.

— А разве мне нельзя с тобой?

— Нет. У меня дело такое, что только я один и могу его выполнить, и я бы стал беспокоиться из-за тебя.

— Но ты придешь сразу, как только кончишь?

— Сразу, — сказал он и усмехнулся в темноте. — Вставай, guapa, надо поесть перед уходом.

— А спальный мешок?

— Сверни его, если уж тебе так хочется.

— Мне очень хочется, — сказала она.

— Дай я помогу.

— Нет. Пусти, я сама.

Она опустилась на колени, чтобы расправить и свернуть спальный мешок, потом передумала, встала с земли и так сильно встряхнула его, что он громко хлопнул в воздухе. Потом она снова опустилась на колени, разровняла мешок и свернула. Роберт Джордан взял оба рюкзака, осторожно держа их так, чтобы ничего не выпало из прорезов, и зашагал между соснами ко входу в пещеру, занавешенному пропахшей дымом попоной. Когда он отодвинул попону локтем и вошел в пещеру, на его часах было без десяти минут три.

Глава тридцать восьмая

Они были в пещере, и мужчины стояли у очага, в котором Мария раздувала огонь. Пилар уже вскипятила кофе в котелке. Она не ложилась с тех самых пор, как разбудила Роберта Джордана, и теперь, сидя на табуретке в дымной пещере, зашивала прорез во втором рюкзаке. Первый был уже зашит. Огонь, горевший в очаге, освещал ее лицо.

— Положи себе еще мяса, — сказала она Фернандо. — Набивай брюхо, не стесняйся. Все равно доктора у нас нет, вскрывать никто не будет, если что случится.

— Зачем ты так говоришь, женщина? — сказал Агустин. — Язык у тебя, как у самой последней шлюхи.

Он стоял, опираясь о ручной пулемет со сложенной и прижатой к стволу треногой, карманы у него были набиты гранатами, через одно плечо висел мешок с дисками, а через другое — сумка, полная патронов. Он курил папиросу и, поднимая кружку с кофе к губам, дул на кофе дымом.

— Ты прямо скобяная лавка на двух ногах, —

сказала ему Пилар. — И ста шагов с этим не пройдешь.

— Qué va, женщина, — сказал Агустин. — Дорога-то будет под гору.

— А верхний пост? Туда надо подниматься, — сказал Фернандо. — А уж потом под гору.

— Взберусь, как козел, — сказал Агустин. — А где твой брат? — спросил он Эладио. — Твой прекрасный братец смылся?

Эладио стоял у стены пещеры.

— Замолчи, — сказал он.

Эладио нервничал и раздражался перед боем. Он подошел к столу и начал набивать карманы гранатами, беря их из обтянутых сыромятной кожей корзин, которые были прислонены к ножке стола.

Роберт Джордан присел рядом с ним на корточки. Он сунул руку в корзину и вытащил оттуда четыре гранаты. Три из них были овальные гранаты Милса.

— Откуда они у вас? — спросил он Эладио.

— Эти? Это республиканские. Их старик принес.

— Ну, как они?

— Valen más que pesari[106], — сказал Эладио. — Сокровище, а не гранаты.

— Это я их принес, — сказал Ансельмо. — Сразу шестьдесят штук в одном мешке. Девяносто фунтов.

— Вы ими пользовались? — спросил Роберт Джордан у Пилар.

— Qué va, пользовались, — сказала женщина. — С этими самыми Пабло захватил пост в Отеро.

Услышав имя Пабло, Агустин начал ругаться. Роберт Джордан увидел при свете очага, какое лицо стало у Пилар.

— Прекрати, — резко сказал он Агустину. — Нечего об этом говорить.

— Они никогда не отказывают? — Роберт Джордан держал в руке покрашенную серой краской гранату, пробуя ногтем предохранительную чеку.

— Никогда, — сказал Эладио. — Такого еще не бывало, чтоб не взорвалась.

— А быстро взрывается?

— Как упадет, так и взрывается. Быстро. Довольно быстро.

— А эти?

---

[106] Примечания: 106
Они стоят больше, чем весят (*исп.*).

Он поднял похожую на банку гранату, обмотанную проволокой.

— Эти дрянь, — ответил ему Эладио. — Они хоть и взрываются и огня много, а осколков совсем нет.

— Но взрываются всегда?

— Qué va, всегда! — сказала Пилар. — Всегда ничего не бывает ни с их снаряжением, ни с нашим.

— Но вы сами говорите, что те взрываются всегда.

— Я не говорила, — ответила ему Пилар. — Ты спрашивал других, а не меня. Я такого не знаю, чтобы эти штуки всегда взрывались.

— Все взрываются, — стоял на своем Эладио. — Говори правду, женщина.

— Откуда ты это знаешь? — спросила его Пилар. — Бросал-то их Пабло. Ты в Отеро никого не убил.

— Это отродье последней шлюхи… — начал Агустин.

— Перестань, — резко оборвала его Пилар. Потом продолжала: — Они все одинаковые, Inglés. Но ребристые удобнее.

Лучше всего швырять их парами, по одной каждого типа, подумал Роберт Джордан. Но реб-

ристые бросать легче. И они надежнее.

— Ты думаешь, что придется бросать гранаты, Inglés? — спросил Агустин.

— Может быть, — сказал Роберт Джордан.

Но, сидя на корточках и разбирая гранаты, он думал: это невозможно. Не понимаю, как я мог обмануть самого себя. Мы пропали, когда они окружили Глухого, так же как Глухой пропал, когда снег перестал идти. Ты просто не можешь допустить такую мысль. А тебе нужно делать свое дело и составлять план, который, как ты сам знаешь, неосуществим. Ты составил его, а теперь ты знаешь, что он никуда не годится. Сейчас, утром, он никуда не годится. Ты вполне можешь захватить любой из постов с теми, кто у тебя есть. Но оба поста ты захватить не сможешь. Во всяком случае, нельзя ручаться. Не обманывай самого себя. При дневном свете это невозможно.

Попытка захватить сразу оба поста ни к чему не приведет. Пабло знал это с самого начала. Наверно, он все время собирался смыться, но, когда Глухого окружили, Пабло понял, что наша песенка и вовсе спета. Нельзя готовиться к операции, полагаясь на чудо. Ты погубишь их всех и даже не взорвешь моста, если начнешь действовать с теми, кто у тебя есть сейчас. Ты погубишь Пилар,

Ансельмо, Агустина, Примитиво, пугливого Эладио, бездельника-цыгана и Фернандо, а моста не взорвешь. И ты надеешься, что совершится чудо и что Гольц получит твое донесение от Андреса и все приостановит? А если нет, ты убьешь их всех из-за этого приказа. И Марию тоже. Ты убьешь и ее тоже из-за этого приказа. Неужели ты не можешь уберечь хотя бы Марию? Проклятый Пабло, чтоб его черт побрал, думал он.

Нет. Не надо злиться. Злоба ничуть не лучше страха. Но вместо того, чтобы спать с девушкой, ты бы лучше ночью объездил с Пилар здешние места и попытался раздобыть еще людей. Да, думал он. А если б со мной что-нибудь случилось, некому было бы взрывать мост. Да. Вот поэтому ты и не поехал. И послать кого-нибудь другого тоже нельзя было, потому что ты не мог пойти на риск и лишиться еще одного человека. Надо было беречь тех, кто есть, и составлять план в расчете только на них.

Но твой план дерьмо. Говорю тебе, дерьмо. Он был составлен ночью, а сейчас утро. Утром ночные планы никуда не годятся. Когда думаешь ночью, это одно, а утром все выглядит иначе. И ты знаешь, что план никуда не годится.

А что, Джон Мосби умел выпутываться из та-

ких же вот невозможных положений? Конечно, умел. И положения бывали куда более трудные. Ты помни: нельзя недооценивать элемента неожиданности. Помни это. Помни, не так уж это бессмысленно, если только ты сделаешь все, что нужно. Но от тебя ждут совсем другого. От тебя ждут не возможного успеха, а верного успеха. Но посмотри, как все обернулось. Впрочем, с самого начала все пошло не так, как надо, а в таких случаях чем дальше, тем хуже; это как снежный ком, который катится с горы и все больше и больше облипает мокрым снегом.

Сидя у стола на корточках, он поднял голову и увидел Марию, и она улыбнулась ему. Он тоже улыбнулся ей одними губами, взял четыре гранаты и рассовал их по карманам. Можно отвинтить детонаторы и использовать только их, подумал он. Но разрыв гранаты вряд ли повредит делу. Он произойдет одновременно со взрывом заряда и не ослабит силу самого взрыва. По крайней мере, так я думаю. Я убежден в этом. Положись хоть немного на самого себя, подумал он. Ведь еще этой ночью ты думал, что вы с девушкой невесть какие герои, а твой отец трус. А вот теперь докажи, что хоть немного полагаешься на самого себя.

Он опять улыбнулся Марии, но эта улыбка только стянула кожу на скулах и вокруг рта.

Она думает, что ты просто гений, сказал он самому себе. А по-моему, ты дерьмо. И вся эта gloria, и прочие глупости — тоже. Идеи у тебя были замечательные. И весь мир был у тебя как на ладони. К черту всю эту белиберду.

Ладно, ладно, сказал он самому себе. Не злись. Это слишком легкий выход из положения. Такие выходы всегда найдутся. Тебе только и осталось, что кусать ногти. Нечего оплевывать все, что было, только потому, что скоро потеряешь это. Не уподобляйся змее с перебитым хребтом, которая кусает самое себя; и тебе, собака, никто не перебивал хребта. Тебя еще не тронули, а ты уже скулишь. Сражение еще не началось, а ты уже злишься. Прибереги свою злобу к сражению. Она тебе пригодится тогда.

Пилар подошла к нему с рюкзаком.

— Теперь крепко, — сказала она. — Эти гранаты очень хорошие, они не подведут.

— Ну, как ты, женщина?

Она взглянула на него, покачала головой и улыбнулась. Он подумал: интересно, что это за улыбка — только внешняя или нет? На вид она была настоящая.

— Хорошо, — сказала она. — Deritro de la gravedad. — Потом спросила, присев рядом с ним на корточки: — А что ты сам думаешь теперь, когда уже началось?

— Думаю, что нас мало, — быстро ответил ей Роберт Джордан.

— Я тоже, — сказала она. — Нас очень мало. — Потом сказала, опять только ему одному: — Мария и сама управится с лошадьми. Мне там нечего делать. Мы их стреножим. Это кавалерийские лошади, они стрельбы не испугаются. Я пойду к нижнему посту и сделаю все, что должен был сделать Пабло. Так у тебя будет одним человеком больше.

— Хорошо, — сказал он. — Я так и думал, что ты попросишься туда.

— Слушай, Inglés, — сказала Пилар, пристально глядя на него. — Ты не тревожься. Все будет хорошо. Помни, ведь они ничего такого не ждут.

— Да, — сказал Роберт Джордан.

— И вот еще что, Inglés, — сказала Пилар так тихо, как только позволял ей ее хриплый голос. — Что я там тебе говорила про твою руку…

— Что такое про мою руку? — сердито перебил он.

— Да ты послушай. Не сердись, мальчик. Я про

твою руку. Это все цыганские выдумки, это я просто так, для пущей важности. Ничего такого не было.

— Довольно об этом, — холодно сказал он.

— Нет, — сказала она голосом хриплым и нежным. — Это все мое вранье. Я не хочу, чтобы ты тревожился в день боя.

— Я не тревожусь, — сказал Роберт Джордан.

— Нет, Inglés, — сказала она. — Ты очень тревожишься, и тревожишься за правое дело. Но все будет хорошо. Для этого мы и на свет родились.

— Я не нуждаюсь в политическом комиссаре, — ответил ей Роберт Джордан.

Она опять улыбнулась приятной, искренней улыбкой, раздвинувшей ее широкие обветренные губы, и сказала:

— Я тебя очень люблю.

— Мне это ни к чему сейчас, — сказал он. — Ni tu, ni Dios[107].

— Да, — хриплым шепотом сказала Пилар. — Я знаю. Мне просто хотелось сказать тебе об этом. И не тревожься. Мы сделаем все, как надо.

— А почему бы и нет? — сказал Роберт Джордан, и кожа на его лице чуть дрогнула от слабой

---

[107] Примечания: 107
Ни ты, ни бог (*исп.*).

улыбки. — Конечно, сделаем. Все будет хорошо.

— Когда мы пойдем? — спросила Пилар.

Роберт Джордан посмотрел на часы.

— Хоть сейчас, — сказал он.

Он подал один рюкзак Ансельмо.

— Ну, как дела, старик? — спросил он.

Ансельмо доструживал последний клин по тому образцу, который дал ему Роберт Джордан. Эти клинья готовились на тот случай, если понадобятся лишние.

— Хорошо, — сказал старик и кивнул. — Пока что очень хорошо. — Он вытянул перед собой руку. — Смотри, — сказал он и улыбнулся. Протянутая рука не дрогнула.

— Bueno, y qué?[108] — сказал ему Роберт Джордан. — Всю руку я тоже могу. А ты протяни один палец.

Ансельмо протянул. Палец дрожал. Он взглянул на Роберта Джордана и покачал головой.

— У меня тоже. — Роберт Джордан показал. — Всегда. Это в порядке вещей.

— Со мной этого не бывает, — сказал Фернандо. Он вытянул вперед правый указательный палец. Потом левый.

---

[108] Примечания: 108
Ну и что? (*исп.*)

— А плюнуть можешь? — спросил его Агустин и подмигнул Роберту Джордану.

Фернандо отхаркнулся и с гордостью плюнул на земляной пол пещеры, потом растер плевок ногой.

— Эй, ты, грязный мул, — сказала ему Пилар. — Плевал бы в очаг, если уж хочешь показать всем, какой ты храбрый.

— Я бы никогда не стал плевать на пол, Пилар, если б мы не уходили из этого места совсем, — чопорно сказал Фернандо.

— Осторожнее сегодня с плевками, — ответила ему Пилар. — Смотри, как бы не плюнуть в такое место, откуда так и не уйдешь.

— Вот черная кошка, — усмехнулся Агустин. Нервное напряжение сказывалось у него в том, что ему хотелось шутить, но он чувствовал то же, что чувствовали они все.

— Это я в шутку, — сказала Пилар.

— Я тоже, — сказал Агустин. — Но только me cago en la leche, я буду рад, когда это начнется.

— А где цыган? — спросил Роберт Джордан у Эладио.

— С лошадьми, — сказал Эладио. — Его видно, если стать у входа.

— Ну как он?

Эладио усмехнулся.

— Очень боится, — сказал он. У него становилось спокойнее на душе, когда он говорил о страхе других.

— Слушай, Inglés, — начала Пилар.

Роберт Джордан взглянул в ее сторону и вдруг увидел, что она открыла рот и смотрит так, будто не верит собственным глазам, и он круто повернулся ко входу в пещеру, схватившись за револьвер. Там, придерживая попону одной рукой, с выглядывающим из-за плеча автоматом, стоял Пабло — широкоплечий, приземистый, давно не бритый, — и его маленькие, с красными веками глаза смотрели вперед, ни на ком не останавливаясь.

— Ты… — не веря самой себе, сказала Пилар. — Ты…

— Я, — ровным голосом сказал Пабло. Он вошел в пещеру. — Hola, Inglés, — сказал он. — Я привел пятерых из отрядов Элиаса и Алехандро. Они там наверху с лошадьми.

— А взрыватель, а детонаторы? — сказал Роберт Джордан. — А другие материалы?

— Я бросил их со скалы в реку, — сказал Пабло, по-прежнему ни на кого не глядя. — Но вместо детонатора можно взять гранату, я это все об-

думал…

— Я тоже, — сказал Роберт Джордан.

— Нет ли у вас чего-нибудь выпить? — устало спросил Пабло.

Роберт Джордан протянул ему свою флягу, и он сделал несколько быстрых глотков, потом вытер рот рукой.

— Что с тобой делается? — спросила Пилар.

— Nada, — сказал Пабло, снова вытирая рот. — Ничего. Я вернулся.

— Но что же все-таки с тобой?

— Ничего. Была минута слабости. Я ушел, а теперь опять здесь. — Он повернулся к Роберту Джордану. — En el fondo no soy cobarde, — сказал он. — Если разобраться, так трусости во мне нет.

Но есть многое другое, подумал Роберт Джордан. На что угодно спорю. Но я рад видеть тебя, сукина сына.

— Я только пятерых и мог раздобыть у Элиаса и Алехандро, — сказал Пабло. — Ни минуты не передохнул, все ездил. Вас девять человек, и одним вам ни за что не управиться. Я еще вчера это понял, когда слушал, как Inglés все объясняет. Ни за что. На нижнем посту семеро солдат и капрал. А если они поднимут тревогу или начнут отстреливаться? — Теперь он взглянул на Роберта

Джордана. — Когда я ушел, я думал, что ты сам все поймешь и откажешься от этого дела. Потом, когда я выбросил твой материал, я стал думать по-другому.

— Я рад тебя видеть, — сказал Роберт Джордан. Он подошел к нему. — Обойдемся одними гранатами. Все будет хорошо. Не важно, что нет остального.

— Нет, — сказал Пабло. — Для тебя бы я ничего не сделал. Ты принес нам несчастье. Это все из-за тебя. И то, что произошло с Глухим, тоже из-за тебя. Но когда я выбросил твой материал, мне стало очень тягостно одному.

— Иди ты… — сказала Пилар.

— И я поехал искать людей, чтобы можно было рассчитывать на успех дела. Я привел самых лучших, каких только мог найти. Они ждут наверху, потому что мне хотелось сначала поговорить с вами. Они думают, что вожак я.

— Ты и есть вожак, — сказала Пилар. — Если сам этого хочешь.

Пабло взглянул на нее и ничего не сказал. Потом заговорил просто и спокойно:

— Я много чего передумал с тех пор, как это случилось с Глухим. И я решил: если кончать, так кончать всем вместе. Но тебя, Inglés, я ненавижу

за то, что ты навлек это на нас!

— Но, Пабло, — начал Фернандо. Он все еще подбирал хлебом остатки мясной подливки из котелка, карманы у него были набиты гранатами, через плечо висела сумка с патронами. — Разве ты не уверен, что операция пройдет успешно? Третьего дня ты говорил, что все будет хорошо.

— Дай ему еще мяса, — злобно сказала Пилар Марии. Потом она посмотрела на Пабло, и взгляд ее смягчился. — Значит, ты вернулся?

— Да, женщина, — сказал Пабло.

— Ну что ж, добро пожаловать, — сказала ему Пилар. — Я не верила, что ты такой уж конченый человек, как это казалось с первого взгляда.

— После того, что я сделал, мне стало очень тягостно одному, и я не смог этого перенести, — спокойно сказал ей Пабло.

— Не смог перенести, — передразнила его Пилар. — Ты такое и пятнадцати минут не сможешь перенести.

— Не дразни меня, женщина. Я вернулся.

— И добро пожаловать, — повторила она. — Я уже это сказала, ты разве не слышал? Пей кофе, и давайте собираться. Устала я от этих представлений.

— Это кофе? — спросил Пабло.

— Конечно, кофе, — сказал Фернандо.

— Налей мне, Мария, — сказал Пабло. — Ну, как ты? — Он не смотрел на нее.

— Хорошо, — ответила Мария и подала ему кружку кофе. — Хочешь мяса?

Пабло отрицательно покачал головой.

— No me gusta estar solo, — продолжал объяснять Пабло одной Пилар, как будто других здесь и не было. — Нехорошо быть одному. Вчера я весь день ездил один, и мне не было тягостно, потому что я трудился ради общего блага. Но вчерашний вечер! Hombre! Qué mal lo pasé![109]

— Твой предшественник, знаменитый Иуда Искариот, повесился, — сказала Пилар.

— Не надо так говорить, женщина, — сказал Пабло. — Разве ты не видишь? Я вернулся. Не надо говорить про Иуду, и вообще не надо об этом. Я вернулся.

— Что это за люди, которых ты привел? — спросила его Пилар. — Стоило ли приводить?

— Son buenos[110], — сказал Пабло. Он отважился и посмотрел на Пилар в упор, потом отвернулся опять.

---

[109] Примечания: 109
Боже мой! Как плохо я его провел! (*исп.*)

[110] Примечания: 110
Они хорошие (*исп.*).

— Buenos y bobos. Хорошие и глупые. Готовые идти на смерть и все такое. A tu gusto. Как раз по твоему вкусу. Ты таких любишь.

Пабло снова посмотрел Пилар в глаза и на этот раз не стал отворачиваться. Он смотрел на нее в упор своими маленькими свиными глазками с красным ободком век.

— Ты, — сказала она, и ее хриплый голос опять прозвучал ласково. — Ах, ты. Я вот что думаю: если в человеке что-то было, так, должно быть, какая-то частица этого всегда в нем останется.

— Listo[111], — сказал Пабло, твердо глядя на нее в упор. — Что бы этот день ни принес, я готов.

— Теперь я верю, что ты вернулся, — сказала ему Пилар. — Теперь я верю. Но далеко же ты от нас уходил.

— Дай мне глотнуть еще раз из твоей бутылки, — сказал Пабло Роберту Джордану. — И надо собираться в путь.

---

[111] Примечания: 111
Я готов (*исп.*).

Глава тридцать девятая

Они поднялись в темноте по склону и вышли из леса к узкому ущелью. Они были тяжело нагружены и подъем одолели медленно. Лошади тоже шли с грузом, навьюченным поверх седел.

— В случае чего поклажу можно сбросить, — сказала Пилар, когда они собирались. — Но если придется разбивать лагерь, это все понадобится.

— А где остальные боеприпасы? — спросил Роберт Джордан, увязывая свои рюкзаки.

— Вот в этих вьюках.

Роберт Джордан сгибался под тяжестью рюкзака, воротник куртки, карманы которой были набиты гранатами, давил ему шею. Тяжелый револьвер ерзал по бедру, карманы брюк топорщились от автоматных магазинов. Во рту у него все еще стоял привкус кофе; в правой руке он нес свой автомат, а левой все подтягивал воротник куртки, чтобы ослабить резавшие плечи лямки рюкзака.

— Inglés, — сказал Пабло, шагавший рядом с ним в темноте.

— Что скажешь?

— Эти люди, которых я привел, думают, что дело сойдет удачно, потому что их привел сюда я, — сказал Пабло. — Ты не говори им ничего такого, что могло бы их разуверить.

— Хорошо, — сказал Роберт Джордан. — Но давай сделаем так, чтобы сошло удачно.

— У них пять лошадей, sabes?[112] — уклончиво сказал Пабло.

— Хорошо, — сказал Роберт Джордан. — Лошадей будем держать в одном месте.

— Хорошо, — ответил Пабло и больше ничего не сказал.

Вряд ли ты бесповоротно стал на путь обращения, друг мой Пабло, подумал Роберт Джордан. Да. Одно то, что ты вернулся, — это уже чудо. Но вряд ли тебя можно будет когда-нибудь причислить к лику святых.

— С этими пятью я захвачу нижний пост, как должен был сделать Глухой, — сказал Пабло. — Мы перережем провода и подадимся назад, к мосту, как условлено.

Мы уже переговорили об этом десять минут назад, подумал Роберт Джордан. Интересно, почему он опять…

---

[112] Примечания: 112
Знаешь? (*исп.*)

— Может быть, нам удастся потом уйти в Гредос, — сказал Пабло. — Я много об этом думал.

Тебя, наверно, только что осенила какая-то гениальная мысль, подумал Роберт Джордан. Еще какое-нибудь откровение. Но в то, что ты и меня с собой приглашаешь, я не верю. Нет, Пабло. Не пробуй убедить меня.

С тех самых пор, как Пабло появился в пещере и сказал, что с ним пришло еще пять человек, Роберт Джордан воспрянул духом. Возвращение Пабло рассеяло атмосферу трагедии, которая, казалось, нависла над предстоящей им операцией с тех пор, как пошел снег, и, снова увидев Пабло, он хотя и не подумал, что счастье повернулось к нему лицом — в это он не верил, — но, во всяком случае, почувствовал, что все складывается к лучшему и что теперь есть надежда на успех. Предчувствие неудачи исчезло, и он ощущал теперь, как бодрость прибывает в нем, словно воздух, медленно нагнетаемый в спустившую камеру. Сначала как будто ничего не заметно, хотя начало положено и насос медленно работает, а резиновая камера чуть шевелится. Так прибывала в нем бодрость, точно морской прилив или сок в дереве, и он уже чувствовал в себе тот зародыш отрицания всех дурных предчувствий, который

перед боем часто вырастал у него в ощущение настоящего счастья.

Это был самый большой дар, которым он обладал, талант, уже помогавший ему на войне: способность не игнорировать, а презирать возможность плохого конца. Мало-помалу он утрачивал это качество, потому что ему приходилось нести слишком большую ответственность за жизнь других людей, выполнять то, что было плохо задумано с самого начала и плохо налажено. А при таких обстоятельствах нельзя игнорировать плохой конец, неудачу. Тут речь идет не о возможности каких-то осложнений для тебя самого, которые можно игнорировать. Сам по себе он — ничто, он знал это, и смерть тоже ничто. Уж что-что, а это он знал твердо. Правда, за последние несколько дней он понял, что вместе с другим человеческим существом он может быть всем. Но в глубине души он знал, что это исключение. Это у нас было, думал он. И в этом мое великое счастье. Это было даровано мне, может быть, потому, что я никогда этого не просил. Этого у меня никто не отнимет, и это никуда от меня не уйдет. Но это прошло, и с этим покончено сегодня утром, а впереди ждет дело.

Что ж, сказал он самому себе, я рад, что ты ма-

ло-помалу начинаешь накапливать то, чего за последнее время тебе так сильно не хватало. А то ты совсем было сдал. Мне даже стало стыдно за тебя. Но ведь я — это ты. И такого «я», который мог бы судить тебя, нет. Мы оба сдали. И ты, и я, и мы оба. А ну, брось. Перестань раздваиваться, как шизофреник. Хватит и одного. Теперь ты опять такой, как нужно. Но слушай, нельзя думать о девушке весь день. Единственное, что ты можешь сейчас сделать для нее, это постараться, чтобы она была в стороне, и ты это сделаешь. Судя по всему, лошадей, наверно, будет достаточно. Самое лучшее, что ты можешь сделать для нее, это выполнить свою работу как следует и побыстрее и убраться оттуда, а мысли о ней тебе только помешают. Так что не думай о ней больше.

Решив все это, он остановился и подождал, когда Мария подойдет к нему вместе с Пилар, Рафаэлем и лошадьми.

— Guapa, — сказал он ей в темноте. — Ну, как ты?

— Хорошо, Роберто.

— Ты не тревожься, — сказал он ей и, перехватив автомат левой рукой, правой коснулся ее плеча.

— Я не тревожусь, — сказала она.

— Мы хорошо все подготовили, — сказал он. — Рафаэль тоже будет с тобой держать лошадей.

— Я бы лучше хотела быть с тобой.

— Нет. Ты всего нужнее там, где лошади.

— Хорошо, — сказала она. — Там я и буду.

Как раз в эту минуту одна из лошадей заржала, и тотчас же из-за скал ей ответила другая пронзительным, дрожащим, резко оборвавшимся ржаньем.

Роберт Джордан разглядел в темноте силуэты новых лошадей. Он прибавил шагу и подошел к ним вместе с Пабло. Рядом с лошадьми стояли люди.

— Salud, — сказал Роберт Джордан.

— Salud, — ответили они в темноте.

Он не мог разглядеть их лица.

— Это Inglés, который пойдет вместе с нами, — сказал Пабло. — Он динамитчик.

Никто ничего не сказал на это. Может быть, они кивнули в темноте.

— Пора идти, Пабло, — сказал один. — Скоро начнет светать.

— Вы принесли еще гранат? — спросил другой.

— Много, — сказал Пабло. — Возьмите себе, сколько нужно, когда спешитесь.

— Тогда поехали, — сказал кто-то еще. — Мы уж

и так полночи здесь прождали.

— Hola, Пилар, — сказал один из них подошедшей женщине.

— Qué me maten[113], если это не Пепе, — хриплым голосом сказала Пилар. — Ну, как дела, пастух?

— Хорошо, — сказал он. — Dentro de la gravedad.

— Что это у тебя за лошадь? — спросила его Пилар.

— Пабло мне дал своего серого, — сказал он. — Хороший конь.

— Пошли, — сказал другой. — Пора. Нечего тут болтать.

— Ну, а ты как, Элисио? — спросила Пилар другого, когда он садился в седло.

— А что мне, — грубо ответил он. — Отстань, женщина, надо дело делать.

Пабло сел на гнедого.

— Ну, а теперь молчите и поезжайте за мной, — сказал он. — Я покажу, где мы оставим лошадей.

---

[113] Примечания: 113
Чтоб ты пропал (*исп.*).

Глава сороковая

Пока Роберт Джордан спал, пока он обдумывал, как взорвать мост, и пока он был с Марией, Андрес медленно продвигался вперед. До того как выйти к республиканским позициям, он шел быстро, минуя фашистские посты, так быстро, как только может идти в темноте здоровый, выносливый крестьянин, хорошо знающий местность. Но стоило ему выйти к республиканским позициям, как продвижение его сразу замедлилось.

Предполагалось, что достаточно будет показать пропуск, удостоверение с печатью СВР, полученное от Роберта Джордана, и пакет с той же печатью, и все будут помогать ему возможно скорее добраться до места назначения. Но, попав на республиканскую территорию, он сразу же столкнулся с командиром роты, который насупился, словно сыч, и взял под сомнение все с самого начала.

Андрес пошел с этим ротным командиром в штаб батальона, и батальонный командир, который до начала движения был парикмахером, выслушал его и горячо принялся за дело. Этот

командир, по имени Гомес, отчитал ротного за его глупость, похлопал Андреса по спине, угостил его плохим коньяком и сказал, что он сам, бывший парикмахер, всегда хотел стать guerrillero. Потом он поднял своего спавшего адъютанта, передал ему командование батальоном и послал вестового разбудить мотоциклиста. Вместо того чтобы отправить Андреса в штаб бригады с мотоциклистом, Гомес решил, что лучше он отвезет его туда сам; Андрес вцепился в переднее сиденье, и, подскакивая на выбоинах, они с ревом помчались по изрытой снарядами горной дороге, окаймленной с обеих сторон высокими деревьями, и фара мотоцикла вырывала из темноты побеленные стволы, известь на которых облупилась и кора была ободрана осколками снарядов и пулями во время боев, происходивших на этой дороге в первый год после начала движения. Они въехали в маленький горный курорт, где в домике с развороченной крышей помещался штаб бригады, и Гомес ловко, точно гонщик, затормозив, прислонил свою машину к стене дома, и мимо сонного часового, взявшего на караул, протиснулся в большую комнату, где стены были увешаны картами и совсем сонный офицер с зеленым козырьком над глазами сидел

за столом, на котором было два телефона, лампа и номер «Мундо обреро». Этот офицер взглянул на Гомеса и сказал:

— Ты зачем сюда явился? Разве тебе неизвестно, что существует телефон?

— Я хочу повидать полковника, — сказал Гомес.

— Он спит, — сказал офицер. — Я твою фару еще за милю увидел. Хочешь, чтобы нас начали бомбить?

— Вызови полковника, — сказал Гомес. — Дело крайне серьезное.

— Говорят тебе, он спит, — сказал офицер. — Что это за бандит с тобой? — Он мотнул головой в сторону Андреса.

— Это guerrillero из фашистского тыла, у него очень важный пакет к генералу Гольцу. Генерал командует наступлением, которое должно начаться за Навасеррадой завтра на рассвете, — взволнованно и очень серьезно сказал Гомес. — Разбуди полковника, ради господа бога.

Офицер посмотрел на него полузакрытыми глазами, затененными зеленым целлулоидом.

— Все вы не в своем уме, — сказал он. — Никакого генерала Гольца и никакого наступления я знать не знаю. Забирай с собой этого спортсмена

и возвращайся в свой батальон.

— Я тебе говорю, разбуди полковника, — сказал Гомес, и Андрес увидел, что губы у него сжались.

— Иди ты знаешь куда, — лениво сказал ему офицер и отвернулся.

Гомес вытащил из кобуры тяжелый девятимиллиметровый револьвер и ткнул им офицера в плечо.

— Разбуди его, фашистская сволочь, — сказал он. — Разбуди, или я уложу тебя на месте.

— Успокойся, — сказал офицер. — Очень уж вы, парикмахеры, горячий народ.

Андрес увидел при свете настольной лампы, как у Гомеса перекосило лицо от ненависти. Но он только сказал:

— Разбуди его.

— Вестовой! — презрительным голосом крикнул офицер.

В дверях появился солдат, отдал честь и вышел.

— У него сегодня невеста в гостях, — сказал офицер и снова взялся за газету. — Он, конечно, будет страшно рад повидать тебя.

— Такие, как ты, делают все, чтобы помешать нам выиграть войну, — сказал Гомес штабному офицеру.

Офицер не обратил внимания на эти слова. Потом, продолжая читать газету, он сказал, словно самому себе:

— Вот чудна́я газета!

— А почему ты не читаешь «Эль Дебате»? Вот газета по тебе.

Гомес назвал главный консервативно-католический орган, выходивший в Мадриде до начала движения.

— Не забывай, что я старше чином и что мой рапорт о тебе будет иметь вес, — сказал офицер, не глядя на него. — Я никогда не читал «Эль Дебате». Не взводи на меня напраслины.

— Ну конечно. Ведь ты читаешь «АБЦ», — сказал Гомес. — Армия кишит такими, как ты. Такими кадровиками, как ты. Но этому придет конец. Невежды и циники теснят нас со всех сторон. Но первых мы обучим, а вторых уничтожим.

— Вычистим — вот правильное слово, — сказал офицер, все еще не глядя на него. — Вот тут пишут, что твои знаменитые русские еще кое-кого вычистили. Так сейчас прочищают, лучше английской соли.

— Любое слово подойдет, — со страстью сказал Гомес. — Любое слово, лишь бы ликвидировать таких, как ты.

— Ликвидировать, — нагло сказал офицер, словно разговаривая сам с собой. — Вот еще одно новое словечко, которого нет в кастильском наречии.

— Тогда расстрелять, — сказал Гомес. — Такое слово есть в кастильском наречии. Теперь понял?

— Понял, друг, только не надо так кричать. У нас в штабе бригады многие спят, не только полковник, и твоя горячность утомительна. Вот почему я всегда бреюсь сам. Не люблю разговоров.

Гомес посмотрел на Андреса и покачал головой. Глаза у него были полны слез, вызванных яростью и ненавистью. Но он только покачал головой и ничего не сказал, приберегая все это на будущее. За те полтора года, за которые он поднялся до командира батальона в Сьерре, он хранил в памяти много таких случаев, но сейчас, когда полковник в одной пижаме вошел в комнату, Гомес стал во фронт и отдал ему честь.

Полковник Миранда, маленький человек с серым лицом, прослужил в армии всю жизнь, расстроил свое семейное счастье, утратив любовь жены, остававшейся в Мадриде, пока он расстраивал свое пищеварение в Марокко, стал республиканцем, убедившись, что развода добиться

немыслимо (о восстановлении пищеварения не могло быть и речи), — полковник Миранда начал гражданскую войну в чине полковника. У него было только одно желание: закончить войну в том же чине. Он хорошо провел оборону Сьерры, и теперь ему хотелось, чтобы его оставили там же на тот случай, если опять понадобится обороняться. На войне он чувствовал себя гораздо лучше, вероятно, благодаря ограниченному потреблению мяса. У него был с собой огромный запас двууглекислой соды, он пил виски по вечерам, его двадцатитрехлетняя любовница ждала ребенка, как почти все девушки, ставшие milicianas в июле прошлого года, и вот он вошел в комнату, кивнул в ответ на приветствие Гомеса и протянул ему руку.

— Ты по какому делу, Гомес? — спросил он и потом, обратившись к своему адъютанту, сидевшему за столом: — Пепе, дай мне, пожалуйста, сигарету.

Гомес показал ему документы Андреса и донесение. Полковник бросил быстрый взгляд на salvoconducto, потом на Андреса, кивнул ему, улыбнулся и с жадным интересом осмотрел пакет. Он пощупал печать пальцем, потом вернул пропуск и донесение Андресу.

— Ну как, нелегко вам там живется, в горах? — спросил он.

— Нет, ничего, — сказал Андрес.

— Тебе сообщили, от какого пункта ближе всего должен быть штаб генерала Гольца?

— От Навасеррады, господин полковник, — ответил Андрес. — Inglés сказал, что это будет недалеко от Навасеррады, позади позиций, где-нибудь с правого фланга.

— Какой Inglés? — спокойно спросил полковник.

— Inglés, динамитчик, который сейчас там, у нас.

Полковник кивнул. Это было для него еще одним из совершенно необъяснимых курьезов этой войны. «Inglés, динамитчик, который сейчас там, у нас».

— Отвези его сам на мотоцикле, Гомес, — сказал полковник. — Напиши им внушительное salvoconducto в Estada Mayor генерала Гольца, только повнушительнее, и дай мне на подпись, — сказал он офицеру с зеленым целлулоидовым козырьком над глазами. — И лучше напечатай на машинке, Пепе. Что нужно, спиши отсюда, — он знаком велел Андресу дать свой пропуск, — и приложи две печати. — Он повернулся к Го-

месу. — Вам сегодня понадобится бумажка повнушительнее. И это правильно. Когда готовится наступление, надо быть осторожным. Я постараюсь, чтобы вышло как можно внушительнее. — Потом он сказал Андресу очень ласково: — Чего ты хочешь? Есть, пить?

— Нет, господин полковник, — сказал Андрес. — Я не голоден. Меня угостили коньяком на последнем посту, и если я выпью еще, меня, пожалуй, развезет.

— Ты, когда шел, не заметил, есть ли какие-нибудь передвижения или подготовка вдоль моего фронта? — вежливо спросил полковник Андреса.

— Все как обычно, господин полковник. Спокойно. Все спокойно.

— По-моему, я тебя видел в Серседилье месяца три назад, могло это быть? — спросил полковник.

— Да, господин полковник.

— Так я и думал. — Полковник похлопал его по плечу. — Ты был со стариком Ансельмо. Ну как он, жив?

— Жив, господин полковник, — ответил ему Андрес.

— Хорошо. Я очень рад, — сказал полковник.

Офицер показал ему напечатанный на машин-

ке пропуск, он прочел и поставил внизу свою подпись.

— Теперь поезжайте, — обратился он к Гомесу и Андресу. — Поосторожнее с мотоциклом, — сказал он Гомесу. — Фары не выключай. От одного мотоцикла ничего не будет, а ехать надо осторожно. Передайте мой привет товарищу генералу Гольцу. Мы с ним встречались после Пегериноса. — Он пожал им обоим руки. — Сунь документы за рубашку и застегнись, — сказал он. — На мотоцикле ветер сильно бьет в лицо.

Когда они вышли, полковник подошел к шкафчику, достал оттуда стакан и бутылку, налил себе виски и добавил воды из глиняного кувшина, стоявшего на полу у стены. Потом, держа стакан в одной руке и медленно потягивая виски, он остановился у большой карты и стал оценивать шансы на успех наступления под Навасеррадой.

— Как хорошо, что там Гольц, а не я, — сказал он наконец офицеру, сидевшему за столом.

Офицер не ответил ему, и, переведя взгляд с карты на офицера, полковник увидел, что тот спит, положив голову на руки. Полковник подошел к столу и переставил телефоны вплотную к голове офицера — один справа, другой слева. Потом он подошел к шкафчику, налил себе еще

виски, добавил воды и снова вернулся к карте.

Андрес, крепко уцепившись за сиденье, задрожавшее при пуске мотора, пригнул голову от ветра, когда мотоцикл с оглушительным фырканьем ринулся в рассеченную фарой темь проселочной дороги, которая уходила вперед, в черноту окаймлявших ее тополей, а потом эта чернота померкла, пожелтела, когда дорога нырнула вниз, в туман около ручья, потом опять сгустилась, когда дорога снова поднялась выше, и тогда впереди, у перекрестка, их фара нащупала серые махины грузовиков, спускавшихся порожняком с гор.

Глава сорок первая

Пабло остановил лошадь и спешился в темноте. Роберт Джордан услышал поскрипыванье седел и хриплое дыхание, когда спешивались остальные, и звяканье уздечки, когда одна лошадь мотнула головой. На него пахнуло лошадиным потом и кислым запахом давно не стиранной, не снимаемой на ночь одежды, который исходил от новых людей, и дымным, застоявшимся запахом тех, кто жил в пещере. Пабло стоял рядом с ним, и от него несло медным запахом винного перегара, и у Роберта Джордана было такое ощущение, будто он держит медную монету во рту. Он закурил, прикрыв папиросу ладонями, чтобы не было видно огня, глубоко затянулся и услышал, как Пабло сказал совсем тихо: «Пилар, отвяжи мешок с гранатами, пока мы стреножим лошадей».

— Агустин, — шепотом сказал Роберт Джордан, — ты и Ансельмо пойдете со мной к мосту. Мешок с дисками для máquina у тебя?

— Да, — сказал Агустин. — Конечно, у меня.

Роберт Джордан подошел к Пилар, которая с помощью Примитиво снимала поклажу с одной

из лошадей.

— Слушай, женщина, — тихо сказал он.

— Ну что? — хрипло шепнула она, отстегивая ремень под брюхом лошади.

— Ты поняла, что атаковать пост можно будет только тогда, когда вы услышите бомбежку?

— Сколько раз ты будешь это повторять? — сказала Пилар. — Ты хуже старой бабы, Inglés.

— Это я для проверки, — сказал Роберт Джордан. — А как только с постовыми разделаетесь, бегите к мосту и прикрывайте дорогу и мой левый фланг.

— Я все поняла с первого раза, лучше не втолкуешь, — шепотом ответила Пилар. — Иди, делай свое дело.

— И чтобы никто не двигался с места, и не стрелял, и не бросал гранат до тех пор, пока не услышите бомбежки, — тихо сказал Роберт Джордан.

— Не мучай ты меня, — сердито прошептала Пилар. — Я все поняла, еще когда мы были у Глухого.

Роберт Джордан пошел туда, где Пабло привязывал лошадей.

— Я только тех стреножил, которые могут испугаться, — сказал Пабло. — А эти — достаточно

потянуть за веревку, вот так, и они свободны.

— Хорошо.

— Я объясню девушке и цыгану, как с ними обращаться, — сказал Пабло.

Те, кого он привел, кучкой стояли в стороне, опираясь на карабины.

— Ты все понял? — спросил Роберт Джордан.

— А как же, — сказал Пабло. — Разделаться с постовыми. Перерезать провода. Потом назад, к мосту. Прикрывать мост, пока ты его не взорвешь.

— И не начинать до тех пор, пока не услышите бомбежки.

— Правильно.

— Ну, тогда желаю удачи.

Пабло буркнул что-то. Потом сказал:

— А ты будешь прикрывать нас большой máquina и своей маленькой máquina, когда мы пойдем назад, a, Inglés?

— Не беспокойся, — сказал Роберт Джордан. — Будет сделано, как надо.

— Тогда все, — сказал Пабло. — Но надо быть очень осторожным, Inglés. Если не соблюдать осторожности, то не так-то просто будет все сделать.

— Я сам буду стрелять из máquina, — сказал ему

Роберт Джордан.

— А ты умеешь с ней обращаться? Я не желаю, чтобы меня подстрелил Агустин, хоть и с самыми добрыми намерениями.

— Я умею с ней обращаться. Правда. И если стрелять будет Агустин, я послежу, чтобы он целился выше ваших голов. Чтобы забирал выше, выше.

— Тогда все, — сказал Пабло. Потом добавил тихо, словно по секрету: — А лошадей все еще мало!

Сукин сын, подумал Роберт Джордан. Неужели он не догадывается, что я сразу раскусил его?

— Я пойду пешком, — сказал он. — Лошади — это твоя забота.

— Нет, Inglés, лошадь будет и для тебя, — тихо сказал Пабло. — Лошади найдутся для всех.

— Это твое дело, — сказал Роберт Джордан. — Обо мне можешь не беспокоиться. А патронов у тебя хватит для твоей новой máquina?

— Да, — сказал Пабло. — Все, что было у кавалериста, все здесь. Я только четыре расстрелял, хотел попробовать. Я пробовал вчера в горах.

— Ну, мы пошли, — сказал Роберт Джордан. — Надо прийти туда пораньше, чтобы залечь до рассвета.

— Сейчас все пойдем, — сказал Пабло. —

Suerte[114], Inglés.

Что он, подлец, теперь задумал, спросил самого себя Роберт Джордан. Кажется, я знаю. Ну что ж, это его дело, не мое. Слава богу, что я впервые вижу этих людей.

Он протянул руку и сказал:

— Suerte, Пабло. — И их руки сомкнулись в темноте.

Протягивая руку, Роберт Джордан думал, что это будет все равно как схватить пресмыкающееся или дотронуться до прокаженного. Он не знал, какая у Пабло рука. Но рука Пабло ухватила в темноте его руку и крепко, смело сжала ее, и он ответил на рукопожатие. В темноте рука у Пабло показалась приятной на ощупь, и когда Роберт Джордан сжал ее, у него появилось странное чувство, самое странное за сегодняшнее утро. Мы теперь союзники, подумал он. Союзники всегда очень любят обмениваться рукопожатиями. Уж не говоря о навешивании друг на друга орденов и о лобызаниях в обе щеки, думал он. Я рад, что у нас обошлось без этого. А союзники, наверно, все на один лад. В глубине души они ненавидят друг друга. Но этот Пабло весьма странный субъект.

---

[114] Примечания: 114
Желаю удачи (*исп.*).

— Suerte, Пабло, — сказал он и сильно сжал эту странную, крепкую, настойчивую руку. — Я прикрою тебя как следует. Не беспокойся.

— Я теперь жалею, что взял твои материалы, — сказал Пабло. — На меня будто нашло что-то.

— Но ты привел людей, а нам как раз это и нужно.

— Я больше не стану корить тебя этим мостом, Inglés, — сказал Пабло. — Теперь я вижу, что все кончится хорошо.

— Чем вы тут занимаетесь? Maricones[115] стали? — раздался вдруг рядом из темноты голос Пилар. — Тебе только этого и не хватало, — сказала она. — Пойдем, Inglés, довольно тебе прощаться, смотри, как бы он не стащил остатки твоего динамита.

— Ты не понимаешь меня, женщина, — сказал Пабло. — А мы с Inglés друг друга понимаем.

— Тебя никто не понимает. Ни бог, ни твоя собственная мать, — сказала Пилар. — И я тоже не понимаю. Пойдем, Inglés, попрощайся со своим стригунком, и пойдем. Me cago en tu padre[116], я уже начинаю думать, что ты трусишь перед

---

[115] Примечания: 115
Испанское ругательство.

[116] Примечания: 116
Испанское ругательство.

выходом быка.

— Мать твою, — сказал Роберт Джордан.

— А у тебя своей и не было, — весело прошептала Пилар. — Но теперь идем, потому что мне хочется поскорей начать все это и поскорее кончить. А ты иди со своими, — сказала она Пабло. — Кто знает, надолго ли их хватит. У тебя там есть двое, которых, приплати мне, я бы не взяла. Позови их, и уходите.

Роберт Джордан взвалил рюкзак на спину и пошел к лошадям, туда, где была Мария.

— Прощай, guapa, — сказал он. — Скоро увидимся.

У него появилось какое-то странное чувство, будто он уже говорил это когда-то раньше или будто какой-то поезд должен был вот-вот отойти, да, скорее всего, будто это поезд и будто он сам стоит на платформе железнодорожной станции.

— Прощай, Роберто, — сказала она. — Береги себя.

— Обязательно, — сказал Роберт Джордан.

Он нагнул голову, чтобы поцеловать ее, и рюкзак сполз и наподдал ему по затылку, так что они стукнулись лбами. И ему показалось, будто это тоже было с ним когда-то раньше.

— Не плачь, — сказал он, испытывая нелов-

кость не только от тяжелого рюкзака.

— Я не плачу, — сказала она. — Только возвращайся поскорее.

— Не пугайся, когда услышишь стрельбу. Стрельбы сегодня будет много.

— Нет, не буду. Только возвращайся поскорей.

— Прощай, guapa, — с какой-то неловкостью сказал он.

— Salud, Роберто.

Роберт Джордан не чувствовал себя таким юным с тех самых пор, как он уезжал поездом из Ред-Лоджа в Биллингс, а в Биллингсе ему предстояла пересадка; он тогда первый раз уезжал в школу учиться. Он боялся ехать и не хотел, чтобы кто-нибудь догадался об этом, и на станции, за минуту перед тем, как проводник поднял его чемодан с платформы, он хотел уже стать на нижнюю ступеньку вагона, но в это время отец поцеловал его на прощанье и сказал: «Да не оставит нас господь, пока мы с тобой будем в разлуке». Его отец был очень религиозный человек, и он сказал это искренне и просто. Но усы у него были мокрые, и в глазах стояли слезы, и Роберта Джордана так смутило все это — отсыревшие от слез проникновенные слова и прощальный отцовский поцелуй, — что он вдруг почувствовал

себя гораздо старше отца, и ему стало так жалко его, что он еле совладал с собой.

Поезд тронулся, а он все стоял на площадке заднего вагона и смотрел, как станция и водокачка становятся меньше и меньше, — вот они уже совсем крохотные, будто игрушечные, — а рельсы, пересеченные шпалами, мало-помалу сходились в одну точку под мерный стук, увозивший его прочь.

Тормозной сказал: «Отцу, видно, тяжело с тобой расставаться, Боб». — «Да», — сказал он, глядя на заросли полыни вдоль полотна между телеграфными столбами и бежавшей рядом пыльной проезжей дорогой. Он смотрел, не покажется ли где-нибудь куропатка.

«А тебе не хочется уезжать в школу?» — «Нет, хочется», — сказал он, и это была правда. Если б он сказал это раньше, это была бы неправда, но в ту минуту это была правда, и, прощаясь с Марией, он впервые с тех пор почувствовал себя таким же юным, как тогда, перед отходом поезда.

Сейчас он чувствовал себя очень юным и очень неловким, и он прощался с Марией неловко, словно школьник с девочкой на крыльце, не зная, поцеловать ее или нет. Потом он понял, что чувство неловкости вызывает у него не прощанье.

Чувство неловкости — от той встречи, которая ему предстоит. Прощанье только отчасти было виной той неловкости, которую он ощущал при мысли о предстоящей встрече.

Опять у тебя начинается, сказал он самому себе. Но я думаю, не найдется человека, который не чувствовал бы себя слишком молодым для этого. Он не хотел назвать это так, как следовало назвать. Брось, сказал он самому себе. Брось. Тебе еще рано впадать в детство.

— Прощай, guapa, — сказал он. — Прощай, зайчонок.

— Прощай, мой Роберто, — сказала она, и он отошел туда, где стояли Ансельмо и Агустин, и сказал: — Vamonos.

Ансельмо поднял тяжелый рюкзак. Агустин, навьючивший все на себя еще в пещере, стоял, прислонившись к дереву, и из-за спины у него поверх поклажи торчал ствол пулемета.

— Ладно, — сказал он. — Vamonos.

Все втроем зашагали вниз по склону.

— Buena suerte, дон Роберто, — сказал Фернандо, когда они гуськом прошли мимо него. Фернандо сидел на корточках в нескольких шагах от того места, где они прошли, но сказал он это с большим достоинством.

— Тебе тоже buena suerte, Фернандо, — сказал Роберт Джордан.

— Во всех твоих делах, — сказал Агустин.

— Спасибо, дон Роберто, — сказал Фернандо, не обратив внимания на Агустина.

— Это не человек, а чудо, Inglés, — шепнул Агустин.

— Ты прав, — сказал Роберт Джордан. — Помочь тебе? Ты нагрузился, как вьючная лошадь.

— Ничего, — сказал Агустин. — Зато как я рад, что мы начали.

— Говори тише, — сказал Ансельмо. — Теперь надо говорить поменьше и потише.

Вниз по склону, осторожно, Ансельмо впереди, за ним Агустин, потом Роберт Джордан, ступая очень осторожно, чтобы не поскользнуться, чувствуя опавшую хвою под веревочными подошвами; вот споткнулся о корень, протянул руку вперед и нащупал холодный металл пулемета и сложенную треногу, потом боком вниз по склону, сандалии скользят, взрыхляют мягкую землю, и опять левую руку вперед, и под ней шероховатая сосновая кора, и вот наконец рука нащупала гладкую полоску на стволе, и он отнял ладонь, клейкую от смолы, выступившей там, где была сделана зарубка, и они спустились по крутому

лесистому склону холма к тому месту, откуда Роберт Джордан и Ансельмо осматривали мост в первый день.

Ансельмо наткнулся в темноте на сосну, схватил Роберта Джордана за руку и зашептал так тихо, что Джордан еле расслышал его:

— Смотри. У них огонь в жаровне.

Слабый огонек светился как раз в том месте, где — Роберт Джордан знал — дорога подходила к мосту.

— Вот отсюда мы смотрели, — сказал Ансельмо. Он взял руку Роберта Джордана, потянул ее вниз и положил на маленькую свежую зарубку чуть повыше корней. — Это я зарубил, пока ты смотрел на мост. Вот здесь, правее, ты хотел поставить máquina.

— Тут и поставим.

— Хорошо.

Роберт Джордан и Агустин спустили рюкзаки на землю возле сосны и пошли следом за Ансельмо к небольшой ровной полянке, где росли кучкой молодые сосенки.

— Здесь, — сказал Ансельмо. — Вот здесь.

— Вот отсюда, как только рассветет, — зашептал Роберт Джордан Агустину, присев на корточки позади сосен, — ты увидишь небольшой кусок

дороги и въезд на мост. Ты увидишь и весь мост, и небольшой кусок дороги по другую сторону, а дальше она поворачивает за скалу.

Агустин молчал.

— Ты будешь лежать здесь, пока мы будем готовить взрыв, и кто бы ни появился сверху или снизу — стреляй.

— Откуда этот свет? — спросил Агустин.

— Из будки по ту сторону моста, — прошептал Роберт Джордан.

— Кто займется часовыми?

— Я и старик, я тебе уже говорил. Но если мы не справимся с ними, стреляй по обеим будкам и по часовым, если увидишь их.

— Да. Ты мне уже говорил.

— После взрыва, когда Пабло со своими выбежит из-за скалы, стреляй поверх них, если за ними будет погоня. В любом случае стреляй как можно выше поверх их голов, так чтобы преследующие отстали. Все понял?

— А как же. Ты и вчера так объяснял.

— Вопросы есть?

— Нет. У меня с собой два мешка. Можно набрать в них земли, повыше, где не увидят, и принести сюда.

— Только здесь не копай. Тебе надо укрыться

так же тщательно, как мы укрывались наверху.

— Хорошо. Я принесу землю еще затемно. Я так прилажу мешки, что их не будет заметно. Вот увидишь.

— Ты очень близко от моста. Sabes? Днем это место хорошо просматривается снизу.

— Не беспокойся, Inglés. Ты куда теперь?

— Я спущусь еще ниже со своей маленькой máquina. Старик сейчас переберется на ту сторону, так чтобы сразу выбежать к дальней будке. Она смотрит вон туда.

— Тогда все, — сказал Агустин. — Salud, Inglés. Табак у тебя есть?

— Курить нельзя. Слишком близко.

— Я не буду. Только подержу папиросу во рту. Закурю потом.

Роберт Джордан протянул ему коробку, и Агустин взял три папиросы и сунул их за передний клапан своей плоской пастушеской шапки. Он расставил ножки пулемета среди мелких сосенок и стал ощупью разбирать свою поклажу и раскладывать все так, чтобы было под руками.

— Nada mas, — сказал он. — Больше ничего.

Ансельмо и Роберт Джордан оставили его там и вернулись на то место, где были рюкзаки.

— Где нам их положить лучше всего? — шепо-

том спросил Роберт Джордан.

— Я думаю, здесь. А ты уверен, что попадешь отсюда в часового из маленькой máquina?

— Это то самое место, где мы лежали в тот день?

— То самое дерево, — сказал Ансельмо так тихо, что Джордан с трудом расслышал его и догадался, что старик говорит, не шевеля губами, как тогда, в первый день. — Я сделал зарубку ножом.

У Роберта Джордана опять появилось такое чувство, будто все это уже было раньше, но теперь оно возникло потому, что он повторил свой собственный вопрос, а старик свой ответ. Так же было, когда Агустин спросил его про часовых, хотя заранее уже знал ответ.

— Очень близко. Даже чересчур близко, — шепнул он. — Но свет будет сзади. Ничего, устроимся.

— Тогда я пойду на ту сторону, — сказал Ансельмо. Потом он сказал: — Ты меня извини, Inglés. Но чтобы не было ошибки. Вдруг я непонятливый.

— Что? — очень тихо, на одном дыхании.

— Ты скажи еще раз, чтобы я знал точно.

— Как только я выстрелю, ты тоже стреляй. Когда твой будет убит, беги по мосту ко мне. Мешки будут со мной, и ты поможешь мне заложить

шашки. Я тебе все скажу. Если со мной что-нибудь случится, сделаешь все сам, как я тебя учил. Не торопись, делай все как следует, забей клинья поглубже, привяжи гранаты покрепче.

— Мне все ясно, — сказал Ансельмо. — Я все помню. Теперь пойду. Ты спрячься получше, Inglés, скоро рассвет.

— Перед тем как стрелять, — сказал Роберт Джордан, — отдохни и цельсь наверняка. Не смотри на него как на человека, а как на цель, de acuerdo?[117] Бери на прицел не всего, а какую-нибудь определенную точку. Цельсь в живот, если он будет стоять лицом к тебе. Если будет стоять спиной — цельсь в середину спины. Слушай, старик. Если он будет сидеть, то как только я начну стрелять, он вскочит, прежде чем побежать или пригнуться к земле. Вот в этот момент и стреляй. А если он останется сидеть, стреляй сразу. Не жди. Только цельсь наверняка. Подойди ярдов на пятьдесят. Ты же охотник. Для тебя тут нет ничего трудного.

— Я сделаю, как ты приказываешь, — сказал Ансельмо.

— Да. Я так приказываю, — сказал Роберт Джор-

---

[117] Примечания: 117
Ладно? (*исп.*)

дан.

Хорошо, что я не забыл представить это как приказ, подумал он. Если так легче. Так для него хоть отчасти снимается проклятие. Во всяком случае, я надеюсь, что он так чувствует. Хоть немного. Я ведь совсем забыл, как он в первый день говорил со мной про убийство.

— Так я тебе приказываю, — сказал он. — А теперь иди.

— Me voy, — сказал Ансельмо. — Ну, скоро увидимся.

— Скоро увидимся, старик, — сказал Роберт Джордан.

Он вспомнил своего отца на железнодорожной станции и влажное от слез прощанье с ним и не сказал старику ни «прощай», ни «желаю удачи».

— Ствол у винтовки прочистил? — шепнул он. — А то отдача будет слишком сильная.

— Еще там, в пещере, — сказал Ансельмо. — Я их все прочистил шомполом.

— Ну, скоро увидимся, — сказал Роберт Джордан, и старик широким, легким шагом скрылся за деревьями, неслышно ступая в сандалиях на веревочной подошве.

Роберт Джордан лег на устланную сосновыми иглами землю и стал ждать первого шороха сосен

на ветру, который всегда налетает с рассветом. Он вынул из автомата магазин и несколько раз открыл и закрыл затвор. Потом, не закрывая затвора, повернул оружие дулом к себе, поднес в темноте ствол к губам и продул его, чувствуя языком маслянистый, скользкий металл. Он положил автомат на левую руку затвором кверху, так чтобы туда не попали ни сосновые иглы, ни сор, и вытащил большим пальцем все патроны из магазина прямо на носовой платок, который он расстелил перед собой. Потом, нащупывая в темноте патроны, он вставил их один за другим обратно в магазин. Теперь магазин опять стал тяжелый, и он вставил его обратно и услышал, как он щелкнул, став на место. Он лежал за сосной ничком, положив автомат на левую руку, и смотрел на огонек внизу. Иногда огонек исчезал, и он догадывался, что это часовой в будке заслонил собою жаровню. Роберт Джордан лежал и дожидался рассвета.

Глава сорок вторая

Пока Пабло возвращался в пещеру и пока отряд сходил вниз по склону, туда, где надо было оставить лошадей, Андрес быстро продвигался вперед на пути к штабу Гольца. Они выехали на главную Навасеррадскую дорогу, по которой с гор спускались грузовики. Там был контрольный пост, но когда Гомес показал часовому пропуск, полученный от полковника Миранды, тот посветил на бумажку карманным фонарем, показал ее другому часовому, потом вернул Гомесу и отдал ему честь.

— Siga, — сказал он. — Поезжайте дальше. Только без фары.

Мотоцикл снова заревел, и Андрес вцепился в переднее седло, и они поехали дальше, осторожно лавируя среди грузовиков. Грузовики шли без света вниз по дороге длинной колонной. Встречались груженые машины, шедшие наверх, и все они поднимали пыль, которую Андрес не видел в темноте, но чувствовал, как она бьет ему в лицо и скрипит на зубах.

Они подъехали вплотную к заднему борту ка-

кого-то грузовика, мотоцикл зафыркал, Гомес прибавил скорость и обогнал этот грузовик, потом второй, третий, четвертый, а встречные с грохотом катились мимо по левой стороне дороги. Теперь сзади них шла легковая машина, и ее клаксон то и дело врывался в грохот грузовиков, окутанных пылью; потом на ней зажгли фары, осветившие пыль, висевшую густой желтой тучей, и она пронеслась мимо, со скрежетом перейдя на другую скорость и настойчиво, грозно, одуряюще взвыв клаксоном.

Потом все движение впереди застопорилось, и, лавируя между санитарными машинами, штабными машинами, броневиками, еще и еще броневиками, похожими на неподвижных, грузных, металлических черепах, со вздыбленными в неосевшей пыли стволами орудий, они выехали ко второму контрольному посту, где, оказывается, произошла авария. Один из грузовиков остановился, а следующий, не заметив этого, врезался в него и разнес вдребезги задний борт, и на дорогу вывалились ящики с патронами. Один из ящиков разбился, и когда Гомес и Андрес слезли с мотоцикла и потащили его вперед, пробираясь среди остановившихся машин к контрольному посту, где надо было предъявить пропуск, Андрес шел,

ступая по медным гильзам, тысячами валявшимся в пыли. У наехавшего грузовика был разбит радиатор. Следующая машина уткнулась ему носом в задний борт. Десятки других напирали сзади, и офицер в высоких сапогах бежал вдоль колонны, крича шоферам, чтобы те подались назад и дали возможность убрать искалеченную машину с дороги.

Но грузовиков было слишком много, и дать задний ход они смогли только тогда, когда офицер, добравшись до конца колонны, остановил напиравшие машины, и Андрес увидел, как он бежит, спотыкаясь, с карманным фонариком в руке, кричит, ругается, а встречные машины все шли и шли в темноте.

Часовой на контрольном посту не отдал им пропуска обратно. Часовых было двое, они ходили с карманными фонариками, с винтовками за спиной и тоже кричали. Тот, который взял пропуск, подошел к грузовику из встречного потока и велел шоферу сказать на следующем контрольном посту, чтобы задерживали все машины, пока не рассосется затор. Потом, все еще держа пропуск в руке, часовой вернулся назад и закричал на шофера того грузовика, с которого упали ящики.

— Брось все и трогай дальше, ради господа бога,

иначе мы никогда тут не разберемся! — кричал он шоферу.

— У меня передача разбита, — сказал шофер, наклонившись над задними колесами.

— Так и так твою передачу. Тебе говорят — трогай!

— С развороченным дифференциалом никуда не тронешь, — сказал шофер, снова наклоняясь над машиной.

— Тогда пусть кто-нибудь возьмет тебя на прицеп, ведь надо же в конце концов убрать отсюда все это дерьмо.

Шофер мрачно смотрел на часового, который осветил электрическим фонарем помятый зад грузовика.

— Трогай! Трогай! — кричал часовой, все еще держа пропуск в руке.

— Мои документы, — напомнил ему Гомес. — Мой пропуск. Мы торопимся.

— Забирай свой пропуск к чертовой матери, — сказал часовой и, сунув ему бумажку, кинулся через дорогу задержать встречный грузовик.

— Сворачивай на перекрестке, подъезжай к этой машине, поведешь ее за собой, — сказал он шоферу.

— У меня распоряжение…

— Так и так твое распоряжение. Слушай, что я говорю.

Шофер дал газ, поехал прямо — вперед, никуда не сворачивая, и скрылся в пыли.

Гомес свернул позади разбитого грузовика на свободную теперь правую сторону дороги, и Андрес, снова вцепившись в переднее сиденье, увидел, как часовой задержал другой грузовик и заговорил с шофером, который высунулся из кабины и слушал.

Теперь они быстро мчались по дороге, постепенно поднимаясь все выше и выше в горы. Колонна машин, двигавшаяся вверх, была задержана у контрольного поста, и только встречные машины пролетали и пролетали по левой стороне дороги мимо их мотоцикла, который быстрым, ровным ходом поднимался вверх и скоро догнал главную часть колонны, успевшую проехать контрольный пост до аварии.

Все еще не зажигая фары, они обогнали еще четыре броневика, потом вереницу грузовиков с солдатами. Солдаты ехали в темноте молча, и сначала Андрес только чувствовал, что они где-то здесь, у него над головой, плотной массой громоздятся в пыли над бортами машин. Потом их догнала еще одна штабная машина, она непре-

станно сигналила, и фары ее то загорались, то гасли и, загораясь, освещали грузовики. Андрес увидел солдат в стальных шлемах, с торчащими за спиной винтовками, стволы пулеметов смотрели вверх, в небо, четко вырисовываясь в ночной темноте, которая поглощала их, как только фары легковой машины гасли. Поравнявшись с одним грузовиком в ту минуту, когда фары зажглись, он увидел в короткой вспышке света лица солдат, настороженные и грустные. Солдаты были в стальных шлемах, и они ехали на грузовиках по темной дороге туда, откуда должно было начаться наступление, и в темноте на лицах солдат отражались те мысли, которые каждый таит про себя, и в коротких вспышках света солдаты были такими, какими их не увидишь днем, потому что днем каждому стыдно перед другим, и они крепятся до тех пор, пока не начнется бомбежка или атака, а тогда ни один человек уже не думает о том, какое у него лицо.

Сидя позади Гомеса, который все еще ухитрялся держаться впереди штабной машины и обгонял один грузовик за другим, Андрес ничего этого не думал о солдатских лицах. Он думал другое: «Какая армия. Какое снаряжение. Как

она механизирована. Vaya gente[118]. Посмотри на этих людей. Вот она, республиканская армия. Посмотри на них. Грузовик за грузовиком. И у всех одинаковое обмундирование. Все в стальных шлемах. Посмотри на máquinas, которые торчат из грузовиков в ожидании самолетов. Посмотри, какая у нас создана армия!»

И когда мотоцикл обгонял высокие серые грузовики, перевозившие солдат, серые грузовики с высокими квадратными кабинами и квадратными уродливыми радиаторами, обгонял, не сбавляя хода, поднимаясь вверх по дороге, в пыли и в мерцании фар не отставшей штабной машины, которые освещали задний борт грузовика с нарисованной на нем армейской красной звездой и такую же звезду на пыльных боковых бортах, и когда мотоцикл без замедлений брал подъем, и воздух становился все холоднее, и дорога круто петляла из стороны в сторону, и грузовики фыркали и скрежетали, и у некоторых над радиатором в коротких вспышках света виднелся пар, и мотоцикл тоже пофыркивал на ходу, — Андрес, крепко держась за переднее сиденье на подъеме, думал, что такое путешествие на

---

[118] Примечания: 118
Что за люди (*исп.*).

мотоцикле — это здорово! Он никогда раньше не ездил на мотоцикле, а теперь они поднимались в гору в самой гуще машин, которые шли туда, где было назначено наступление, и, поднимаясь с Гомесом по крутой дороге, он знал, что теперь нечего и думать о возвращении в лагерь к нападению на посты. При такой запруженной дороге, при такой сумятице он доберется назад только завтра к вечеру, и то если повезет. Он никогда раньше не видел наступления и подготовки к наступлению, и теперь, проезжая по дороге, он дивился размерам и мощи армии, которую создала Республика.

Теперь они ехали по длинному отрезку дороги, который проходил по самому склону горы, и подъем здесь был такой крутой, что, когда они уже приближались к вершине, Гомес велел ему слезть, и они вдвоем втащили мотоцикл на последний крутой уступ. Сразу же за гребнем горы, чуть левее, дорога делала петлю, где разворачивались машины, и там они увидели огоньки, мерцавшие в окнах большого каменного здания, которое длинной темной громадой поднималось к ночному небу.

— Пойдем туда, спросим, где штаб, — сказал Гомес Андресу, и они подвели мотоцикл к закры-

тым дверям большого каменного здания, перед которым стояли двое часовых. Гомес прислонил мотоцикл к стене, и тут дверь отворилась, и в свете, падавшем изнутри, показался мотоциклист в кожаном костюме, с сумкой через плечо и с маузером в деревянной кобуре, ерзавшим по левому боку. Когда дверь затворилась, он нашел в темноте свой мотоцикл у двери, пробежал с ним несколько шагов, чтобы мотор заработал, и с ревом умчался вверх по дороге.

Гомес обратился к часовому, стоявшему в дверях.

— Капитан Гомес из Шестьдесят пятой бригады, — сказал он. — Не можешь ли ты мне объяснить, где найти штаб генерала Гольца, командующего Пятой дивизией?

— Это не здесь, — сказал часовой.

— А здесь что?

— Comandancia[119].

— Какая comandancia?

— Comandancia, и все.

— Comandancia какой части?

— А ты кто такой, чтобы я тебе отвечал на твои вопросы? — сказал ему в темноте часовой. Здесь,

---

[119] Примечания: 119
Комендатура (*исп.*).

на вершине горы, небо было очень чистое, все в звездах, и теперь, вырвавшись из пыли, Андрес хорошо все видел даже в темноте. Внизу, там, где дорога сворачивала направо, он ясно видел мелькавшие на фоне ночного неба очертания грузовиков и легковых машин.

— Я капитан Рохелио Гомес, первого батальона, Шестьдесят пятой бригады, и я спрашиваю, где помещается штаб генерала Гольца, — сказал Гомес.

Часовой приоткрыл дверь.

— Позовите капрала, — крикнул он.

Как раз в эту минуту из-за поворота дороги показалась большая штабная машина, сделала разворот и направилась к большому каменному зданию, где, дожидаясь капрала, стояли Андрес и Гомес. Она прошла мимо них и остановилась у дверей. Из машины, в сопровождении двух офицеров в форме Интернациональной бригады, вышел высокий человек, уже пожилой и грузный, в непомерно большом берете цвета хаки, какие носят во французской армии, в пальто, с планшетом и с револьвером на длинном ремне, надетом поверх пальто.

Обратившись к шоферу, он велел ему отъехать от дверей и поставить машину под прикрытие.

Это было сказано на французском языке, и Андрес не понял, о чем он говорит, а Гомес, который раньше был парикмахером, знал по-французски всего несколько слов.

Когда он шел к дверям вместе с двумя другими офицерами, Гомес ясно увидел его лицо на свету и узнал этого человека. Он видел его на политических собраниях и часто читал его статьи в «Мундо обреро», переведенные с французского. Он вспомнил эти мохнатые брови, водянисто-серые глаза, двойной подбородок и узнал в этом человеке француза-революционера, в свое время руководившего восстанием во французском флоте на Черном море.

Гомес знал, какой высокий политический пост занимает этот человек в Интернациональных бригадах, и он знал, что этому человеку должно быть известно место, где находится штаб Гольца, и он сможет направить его туда. Он не знал только, что сделало с этим человеком время, разочарование, недовольство своими личными и политическими делами и неутоленное честолюбие, и он не знал, что нет ничего опаснее, чем обращаться к нему с каким-нибудь вопросом. Не зная всего этого, он шагнул вперед, наперерез этому человеку, отсалютовал ему сжатым кула-

ком и сказал:

— Товарищ Марти, мы везем донесение генералу Гольцу. Не можете ли вы указать нам, где его штаб? Это очень спешно.

Высокий, грузный человек повернул голову в сторону Гомеса и внимательно осмотрел его своими водянистыми глазами. Даже здесь, на фронте, после поездки в открытой машине по свежему воздуху, в его сером лице, освещенном яркой электрической лампочкой, было что-то мертвое. Казалось, будто оно слеплено из той омертвелой ткани, какая бывает под когтями у очень старого льва.

— Что вы везете, товарищ? — спросил он Гомеса по-испански с очень заметным каталонским акцентом. Его глаза скосились на Андреса, скользнули по нему, потом снова вернулись к Гомесу.

— Донесение генералу Гольцу, которое приказано доставить в его штаб, товарищ Марти.

— Откуда оно, товарищ?

— Из фашистского тыла, — сказал Гомес.

Андре Марти протянул руку за донесением и другими бумагами. Он взглянул на них и сунул все в карман.

— Арестовать обоих, — сказал он капралу. — Обыскать и привести ко мне, как только я при-

шлю за ними.

С донесением в кармане он вошел в большое каменное здание. Андреса и Гомеса увели в караульное помещение и стали обыскивать.

— Что это на него нашло? — сказал Гомес одному из караульных.

— Está loco, — сказал караульный. — Он сумасшедший.

— Ну что ты! Ведь он крупный политический деятель, — сказал Гомес. — Он главный комиссар Интернациональных бригад.

— Apesar de eso, está loco, — сказал капрал. — Все равно он сумасшедший. Что вы делаете в фашистском тылу?

— Вот этот товарищ оттуда, он партизан, — ответил Гомес капралу, который обыскивал его. — Он везет донесение генералу Гольцу. Смотри не потеряй мои документы. И деньги и вот эту пулю на шнурке. Это мое первое ранение, при Гвадарраме.

— Не беспокойся, — сказал капрал. — Все будет вот в этом ящике. Почему ты не спросил меня про Гольца?

— Мы так и хотели. Я спросил часового, а он позвал тебя.

— Но в это время подошел сумасшедший, и ты

его и спросил? Его ни о чем нельзя спрашивать. Он сумасшедший. Твой Гольц в трех километрах отсюда. Надо поехать вверх по дороге, а потом свернуть направо в лес.

— А ты можешь отпустить нас к нему?

— Нет. За это поплатишься головой. Я должен отвести тебя к сумасшедшему. Да и донесение твое у него.

— Может быть, ты кому-нибудь скажешь про нас?

— Да, — ответил капрал. — Увижу кого-нибудь из начальства и скажу. Что он сумасшедший, это все знают.

— А я всегда считал его большим человеком, — сказал Гомес. — Человеком, который поддерживает славу Франции.

— Все это, может быть, и так, — сказал капрал и положил Андресу руку на плечо. — Но он сумасшедший. У него мания расстреливать людей.

— И он их в самом деле расстреливает?

— Como lo oyes[120], — сказал капрал. — Этот старик столько народу убил, больше, чем бубонная чума. Mató más que la peste bubónica. Но он не как мы, он убивает не фашистов. Qué va. С ним

---

[120] Примечания: 120
Как ты сам слышишь (*исп.*).

шутки плохи. Mata bichos raros. Он убивает, что подиковиннее. Троцкистов. Уклонистов. Всякую редкую дичь.

Андрес ничего не понял из этого.

— Когда мы были в Эскуриале, так я даже не знаю, скольких там поубивали по его распоряжению, — сказал капрал. — Расстреливать-то приходилось нам. Интербригадовцы своих расстреливать не хотят. Особенно французы. Чтобы избежать неприятностей, посылают нас. Мы расстреливали французов. Расстреливали бельгийцев. Расстреливали всяких других. Каких только национальностей там не было. Tiene mania de fusilar gente[121]. И все за политические дела. Он сумасшедший. Purifica más que el salvarsán. Такую чистку провел, лучше сальварсана.

— Но ты кому-нибудь скажешь про донесение?

— Да, друг. Обязательно. Я в этих двух бригадах всех знаю. Они здесь все бывают. Я даже русских знаю, только из них редко кто говорит по-испански. Мы не дадим этому сумасшедшему расстреливать испанцев.

— А как быть с донесением?

— С донесением тоже все уладим. Ты не беспо-

---

[121] Примечания: 121

У него мания расстреливать людей (*исп.*).

койся, товарищ. Мы знаем, как с ним обращаться, с этим сумасшедшим. Он только для своих опасен. Мы теперь это поняли.

— Введите арестованных, — послышался голос Андре Марти.

— Quéreis echar un trago? — спросил капрал. — Хочешь выпить?

— Что ж, давай.

Капрал вынул из шкафчика бутылку анисовой, и Гомес с Андресом выпили. Выпил и капрал. Он вытер губы рукой.

— Vamonos, — сказал он.

Они вышли из караульного помещения, чувствуя, как обжигающий глоток анисовой согревает рот, желудок, сердце, и прошли коридором в комнату, где за длинным столом, разложив перед собой карту, держа в руках красно-синий карандаш, который помогал ему играть в полководца, сидел Марти. Для Андреса все это было только еще одной лишней задержкой. Таких задержек уже много накопилось за сегодняшний день. Их всегда бывает много. Если документы у тебя в порядке и сердце верное, тогда бояться нечего. Кончается это всегда тем, что тебя отпускают и ты идешь дальше своей дорогой. Но Inglés велел торопиться. Теперь Андрес знал, что ему не по-

спеть назад к взрыву моста, но донесение надо доставить, а этот старик, который сидит за столом, положил его себе в карман.

— Станьте сюда, — сказал Марти, не глядя на них.

— Товарищ Марти, послушайте, — не выдержал Гомес, подкрепивший свой гнев анисовой. — За сегодняшний день мы задержались один раз из-за невежества анархистов. Потом из-за нерадивости бюрократа, фашиста. А теперь нас задерживает излишняя подозрительность коммуниста.

— Молчать, — сказал Марти, не глядя на него. — Вы не на митинге.

— Товарищ Марти, это очень срочное дело, — сказал Гомес. — И очень важное.

Капрал и солдат с живейшим интересом наблюдали эту сцену, словно смотрели пьесу, самые увлекательные места которой они всегда смаковали с особенным удовольствием, хоть видели ее не первый раз.

— Все дела срочные, — сказал Марти. — И все очень важные. — Теперь он взглянул на них, не выпуская карандаша из рук. — Откуда вы знаете, что Гольц здесь? Вы понимаете, что это значит — являться сюда и спрашивать генерала перед началом наступления и называть его по фами-

лии? Откуда вы знаете, что этот генерал должен быть именно здесь?

— Объясни ему сам, — сказал Гомес Андресу.

— Товарищ генерал, — начал Андрес. Андре Марти не стал поправлять Андреса, наградившего его таким чином. — Этот пакет мне дали по ту сторону фронта…

— По ту сторону фронта? — переспросил Марти. — Да, он говорил, что ты пришел из фашистского тыла.

— Товарищ генерал, мне дал его один Inglés, по имени Роберто, он динамитчик и пришел к нам взрывать мост. Понимаешь?

— Рассказывай дальше. — Марти употребил слово «рассказывай» в смысле «ври», «сочиняй», «плети».

— Так вот, товарищ генерал, Inglés велел мне как можно скорее доставить донесение генералу Гольцу, Он сегодня начинает наступление здесь, в горах, и мы просим только одного — чтобы нам позволили поскорее доставить пакет, если это угодно товарищу генералу.

Марти покачал головой. Он смотрел на Андреса, но не видел его.

Гольц, думал он с тем смешанным чувством ужаса и торжества, какое испытывает человек,

который услышал, что его конкурент погиб в особенно страшной автомобильной катастрофе или что кто-нибудь, кого ненавидишь, но в чьей порядочности не сомневаешься, совершил растрату. Чтобы Гольц тоже был с ними заодно! Чтобы Гольц завязал явные связи с фашистами! Гольц, которого он знает почти двадцать лет. Гольц, который вместе с Лукачем захватил в ту зиму, в Сибири, поезд с золотом. Гольц, который сражался против Колчака и в Польше. И на Кавказе. И в Китае и здесь, с первого октября. Но он действительно был близок к Тухачевскому, Правда, и к Ворошилову. Но и к Тухачевскому. И к кому еще? Здесь, разумеется, к Каркову. И к Лукачу. А венгры все интриганы. Он ненавидел Галля. Гольц ненавидел Галля. Помни это. Отметь это. Гольц всегда ненавидел Галля. А к Путцу относился хорошо. Помни это. И начальником штаба у него Дюваль. Видишь, что получается. Ты же слышал, как он назвал Копика дураком. Это было сказано. Это факт. А теперь — донесение из фашистского тыла. Дерево будет здоровым и будет расти, только когда у него начисто обрубят гнилые ветки. И гниль должна стать очевидной для всех, потому что ее надо уничтожить. Но Гольц, не кто другой, а Гольц. Чтобы Гольц был

предателем! Он знал, что доверять нельзя никому. Никому. И никогда. Ни жене. Ни брату. Ни самому старому другу. Никому. Никогда.

— Уведите их, — сказал он караульным. — И поставьте надежную охрану.

Капрал посмотрел на солдата. На этот раз представление вышло скучнее обычного.

— Товарищ Марти, — сказал Гомес, — не сходите с ума. Послушайте меня, честного офицера и товарища. Донесение надо доставить во что бы то ни стало. Этот товарищ прошел с ним через фашистские позиции, чтобы вручить товарищу генералу Гольцу.

— Уведите их, — теперь уже мягко сказал Марти караульным.

Ему было жаль, по-человечески жаль этих двоих, если их придется расстрелять. Но его угнетала трагедия с Гольцем. Чтобы это был именно Гольц, думал он. Надо сейчас же показать фашистское донесение Варлову. Нет, лучше показать его самому Гольцу и посмотреть, как он примет его. Так он и сделает. Разве можно быть уверенным в Варлове, если Гольц тоже с ними заодно? Нет. Тут надо действовать с большой осторожностью.

Андрес повернулся к Гомесу.

— Значит, он не хочет отсылать донесение? —

спросил Андрес, не веря собственным ушам.

— Ты разве не слышал? — сказал Гомес.

— Me cago en su puta madre![122] — сказал Андрес. — Está loco.

— Да, — сказал Гомес. — Он сумасшедший. Вы сумасшедший. Слышите? Сумасшедший! — кричал он на Марти, который снова склонился над картой с красно-синим карандашом в руке. — Слышишь, ты? Сумасшедший! Сумасшедший убийца!

— Уведите их, — сказал Марти караульному. — У них помутился разум от сознания собственной вины.

Эта фраза была знакома капралу. Он слышал ее не в первый раз.

— Сумасшедший убийца! — кричал Гомес.

— Hijo de la gran puta[123], — сказал Андрес. — Loco.

Тупость этого человека разозлила Андреса. Если он сумасшедший, надо его убрать отсюда как сумасшедшего. Пусть возьмут у него донесение из кармана. Будь он проклят, этот сумасшедший. Обычное спокойствие и добродушие Андреса

---

[122] Примечания: 122
Испанское ругательство.

[123] Примечания: 123
Испанское ругательство.

уступили место тяжелой испанской злобе. Еще немного, и она могла ослепить его.

Глядя на карту, Марти грустно покачал головой когда караульные вывели Гомеса и Андреса из комнаты. Караульные с наслаждением слушали, как его осыпали бранью, но в целом это представление разочаровало их. Раньше бывало интереснее. Андре Марти выслушал ругань спокойно. Сколько людей заканчивали беседы с ним руганью. Он всегда искренне, по-человечески жалел их. И всегда думал об этом, и это было одной из немногих оставшихся у него искренних мыслей, которые он мог считать своими собственными.

Он сидел так, уставив глаза и усы в карту, в карту, которую он никогда не понимал по-настоящему, в коричневые линии горизонталей, тонкие, концентрические, похожие на паутину. Он знал, что эти горизонтали показывают различные высоты и долины, но никогда не мог понять, почему именно здесь обозначена высота, а здесь долина. Но ему, как политическому руководителю бригад, позволялось вмешиваться во все, и он тыкал пальцем в такое-то или такое-то занумерованное, обведенное тонкой коричневой линией место на карте, расположенное среди зеленых пятнышек лесов, прорезанных полоска-

ми дорог, которые шли параллельно отнюдь не случайным изгибам рек, и говорил: «Вот. Слабое место вот здесь».

Галль и Колик, оба честолюбцы и политиканы, соглашались с ним, и через некоторое время люди, которые никогда не видели карты, но которым сообщали перед атакой номер определенной высоты, поднимались на эту высоту и находили смерть на ее склонах или же, встреченные пулеметным огнем из оливковой рощи, падали еще у ее подножия. А где-нибудь на другом участке фронта подняться на намеченную высоту не стоило труда, хотя результатов это тоже никаких не давало. Но когда Марти тыкал пальцем в карту в штабе Гольца, на бескровном лице генерала, голова которого была покрыта рубцами от ран, выступали желваки, и он думал: «Лучше бы мне расстрелять вас, Андре Марти, чем позволить, чтобы этот ваш поганый серый палец тыкался в мою контурную карту. Будьте вы прокляты за всех людей, погибших только потому, что вы вмешиваетесь в дело, в котором ничего не смыслите. Будь проклят тот день, когда вашим именем начали называть тракторные заводы, села, кооперативы и вы стали символом, который я не могу тронуть. Идите, подозревайте, грозите,

вмешивайтесь, разоблачайте и расстреливайте где-нибудь в другом месте, а мой штаб оставьте в покое».

Но вместо того чтобы сказать все это вслух, Гольц откидывался на спинку стула, подальше от этой наклонившейся над картой туши, подальше от этого пальца, от этих водянистых глаз, седоватых усов и зловонного дыхания, и говорил: «Да, товарищ Марти. Я вас понял. Но, по-моему, это не убедительно, и я с вами не согласен. Можете действовать через мою голову. Да. Можете возбудить этот вопрос в партийном порядке, как вы изволили выразиться. Но я с вами не согласен».

А сейчас Андре Марти сидел над картой за непокрытым столом, и электрическая лампочка без абажура освещала его голову в огромном берете, сдвинутом на лоб, чтобы защитить глаза от резкого света, и он то и дело заглядывал в экземпляр размноженного на восковке приказа о наступлении и медленно, старательно, кропотливо разбирал приказ по карте, точно молоденький офицер, разбирающий тактическую задачу в военном училище. Война поглощала его целиком. Мысленно он сам командовал войсками; он имел право вмешиваться в работу штаба, а по его мнению, это и значило командовать. И он сидел

так с донесением Роберта Джордана в кармане, а Гомес и Андрес ждали в караульном помещении дальнейших событий, а Роберт Джордан лежал в лесу над мостом.

Вряд ли результаты путешествия Андреса были бы другими, если бы Андре Марти не задержал его и Гомеса и они вовремя выполнили бы свою задачу. На фронте не было лиц, облеченных достаточной властью, чтобы приостановить наступление. Машина была пущена в ход слишком давно, и остановить ее сразу было невозможно. Во всех крупных военных операциях действует большая сила инерции. Но как только эту инерцию удается преодолеть и машина приходит в движение, остановить ее почти так же трудно, как было трудно пустить ее в ход.

Но в этот вечер, когда пожилой человек в надвинутом на глаза берете все еще сидел за картой, разложенной на столе, дверь отворилась, и в комнату вошел русский журналист Карков в сопровождении двух других русских, которые были в штатском — кожаное пальто и кепи. Капрал неохотно закрыл дверь за ними. Карков был первым ответственным лицом, с которым ему удалось снестись.

— Товарищ Марти, — шепелявя, сказал Карков

своим пренебрежительно-вежливым тоном и улыбнулся, показав желтые зубы.

Марти встал. Он не любил Каркова, но Карков, приехавший сюда от «Правды» и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании.

— Товарищ Карков, — сказал он.

— Подготовляете наступление? — дерзко спросил Карков, мотнув головой в сторону карты.

— Я изучаю его, — ответил Марти.

— Кто наступает? Вы или Гольц? — невозмутимым тоном спросил Карков.

— Как вам известно, я всегда только политический комиссар, — ответил ему Марти.

— Ну что вы, — сказал Карков. — Вы скромничаете. Вы же настоящий генерал. У вас карта, полевой бинокль. Вы ведь когда-то были адмиралом, товарищ Марти?

— Я был артиллерийским старшиной, — сказал Марти. Это была ложь. На самом деле к моменту восстания он был старшим писарем. Но теперь он всегда думал, что был артиллерийским старшиной.

— А-а… Я думал, что вы были просто писарем, — сказал Карков. — Я всегда путаю факты. Характерная особенность журналиста.

Двое других русских не принимали участия в разговоре. Они смотрели через плечо Марти на карту и время от времени переговаривались на своем языке. Марти и Карков после первых приветствий перешли на французский.

— Для «Правды» факты лучше не путать, — сказал Марти.

Он сказал это резко, чтобы как-то обороняться против Каркова. Карков всегда «выпускал из него воздух» (французское dégonfler), и Марти это не давало покоя и заставляло быть настороже. Когда Карков говорил с ним, трудно было удержать в памяти, что он, Андре Марти, послан сюда Центральным Комитетом Французской коммунистической партии с важными полномочиями. И трудно было удержать в памяти, что личность его неприкосновенна. Каркову ничего не стоило в любую минуту коснуться этой неприкосновенности. Теперь Карков говорил:

— Обычно я проверяю факты, прежде чем отослать сообщение в «Правду». В «Правде» я абсолютно точен. Скажите, товарищ Марти, вы ничего не слышали о каком-то донесении, посланном Гольцу одним из наших партизанских отрядов, действующих в районе Сеговии? Там сейчас один американский товарищ, некто

Джордан, и от него должны быть известия. У нас есть сведения о стычках в фашистском тылу. Он должен был прислать донесение Гольцу.

— Американец? — спросил Марти. Тот сказал — Inglés. Так вот в чем дело. Значит, он ошибся. И вообще, зачем эти дураки заговорили с ним?

— Да. — Карков посмотрел на него презрительно. — Молодой американец, он не очень развит политически, но прекрасно знает испанцев и очень ценный человек для работы в партизанских отрядах. Отдайте мне донесение, товарищ Марти. Оно и так слишком задержалось.

— Какое донесение? — спросил Марти. Задавать такой вопрос было глупо, и он сам понял это. Но он не мог сразу признать свою ошибку и сказал это только для того, чтобы отдалить унизительную минуту.

— То, которое лежит у вас в кармане. Донесение Джордана Гольцу, — сквозь зубы сказал Карков.

Андре Марти вынул из кармана донесение и положил его на стол. Он в упор посмотрел на Каркова. Ну и хорошо. Он ошибся, и с этим уже ничего не поделаешь, но ему не хотелось признать свое унижение.

— И пропуск, — тихо сказал Карков.

Марти положил пропуск рядом с донесением.

— Товарищ капрал! — крикнул Карков по-испански.

Капрал отворил дверь и вошел в комнату. Он быстро взглянул на Андре Марти, который смотрел на него, как старый кабан, затравленный собаками. Его лицо не выражало ни страха, ни унижения. Он был только зол, и если он был затравлен, то ненадолго. Он знал, что этим собакам с ним не совладать.

— Отдайте это двум товарищам, которые у вас в караульной, и направьте их в штаб генерала Гольца, — сказал Карков. — Их и так достаточно задержали здесь.

Капрал вышел, и Марти проводил его взглядом, потом перевел глаза на Каркова.

— Товарищ Марти, — сказал Карков. — Я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна.

Марти смотрел прямо на него и молчал.

— И против капрала тоже ничего не замышляйте, — продолжал Карков. — Капрал тут ни при чем. Я увидел этих людей в караульном помещении, и они обратились ко мне (это была ложь). Я надеюсь, что ко мне всегда будут обращаться (это была правда, хотя обратился к нему все-таки капрал).

Карков верил, что его доступность приносит добро, и верил в силу доброжелательного вмешательства.

— Знаете, в СССР мне пишут на адрес «Правды» даже из какого-нибудь азербайджанского городка, если там совершаются несправедливости. Вам это известно? Люди говорят: Карков нам поможет.

Андре Марти смотрел на Каркова, и его лицо выражало только злобу и неприязнь. Он думал об одном: Карков сделал что-то нехорошее по отношению к нему. Прекрасно, Карков, хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь.

— Тут дело обстоит несколько по-иному, — продолжал Карков, — но в принципе это одно и то же. Я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна, товарищ Марти.

Андре Марти отвернулся от него и уставился на карту.

— Что пишет Джордан? — спросил Карков.

— Я не читал, — сказал Андре Марти. — Et maintenant fiche-moi la paix[124], товарищ Карков!

— Хорошо, — сказал Карков. — Продолжайте ваши военные занятия.

---

[124] Примечания: 124
А теперь оставь меня в покое (*франц.*).

Он вышел из комнаты и пошел к караульному помещению. Андреса и Гомеса там уже не было, и он постоял минуту в пустой караульной, глядя на дорогу и на дальние вершины гор, уже видневшиеся отсюда в серой мгле рассвета. Нужно подняться туда, думал он. Ждать осталось недолго.

Андрес и Гомес опять ехали по дороге на мотоцикле, но теперь уже светало. По-прежнему держась за переднее сиденье мотоцикла, который одолевал поворот за поворотом в сером тумане, окутывающем вершину горы, Андрес чувствовал быстрый бег машины, потом Гомес затормозил, и они сошли с мотоцикла и стали рядом с ним посреди уходившей далеко вниз дороги, и в лесу по левую руку от них были танки, прикрытые сверху сосновыми ветками. Весь лес был занят войсками. Андрес увидел длинные палки носилок на плечах у проходивших мимо солдат. Правее, под деревьями, неподалеку от дороги, стояли три штабные машины, укрытые с боков и сверху сосновыми ветками.

Гомес подвел мотоцикл к одной из этих машин. Он прислонил его к сосне и заговорил с шофером, который сидел тут же, у машины, прислонившись спиной к дереву.

— Я проведу вас к нему, — сказал шофер. — Спрячь свой мотоцикл и прикрой его вот этим. — Он показал на груду нарубленных веток.

Солнце только что показалось над верхушками сосен, когда Гомес и Андрес пошли за шофером — его звали Висенте — по тропинке меж соснами и вверх по склону ко входу в блиндаж, от крыши которого и дальше, вверх, сквозь деревья, тянулись провода. Они остались у входа, а шофер вошел внутрь, и Андрес с восхищением разглядывал устройство блиндажа, который издали казался простой ямой на склоне холма; вырытой земли поблизости не было, и, стоя у входа, он видел, что блиндаж глубокий, вместительный и люди ходят по нему, не боясь задеть головой о бревенчатый настил потолка.

Шофер Висенте вышел наружу.

— Он там, наверху, где разворачиваются войска, — сказал Висенте. — Я отдал пакет начальнику его штаба. Он расписался. Вот, держи.

Он протянул Гомесу конверт, на котором стояла подпись. Гомес отдал конверт Андресу, и Андрес посмотрел на него и сунул за рубашку.

— Как фамилия того, кто подписал? — спросил он.

— Дюваль, — сказал Висенте.

— Хорошо, — сказал Андрес. — Это один из тех трех, кому можно было отдать пакет.

— Будем ждать ответа? — спросил Гомес.

— Надо бы подождать. Но где будет Inglés и остальные после моста, где мне их теперь искать — одному богу известно.

— Пойдем, посидим, — сказал Висенте. — Пока генерал не вернется. Я дам вам кофе. Вы, должно быть, проголодались.

— Сколько танков, — сказал Гомес.

Он проходил мимо крытых ветками, окрашенных в грязно-серый цвет танков, от которых по устланной хвоей земле тянулись глубокие колеи, указывавшие, где танки свернули с дороги и задним ходом пошли в лес. Из-под сосновых веток горизонтально торчали стволы сорокапятимиллиметровых орудий; водители и стрелки в кожаных пальто и жестких ребристых шлемах сидели, прислонившись к деревьям, или спали на земле.

— Это резерв, — сказал Висенте. — И эти войска тоже резервные. Те, кому начинать наступление, наверху.

— Много их здесь, — сказал Андрес.

— Да, — сказал Висенте. — Целая дивизия.

А в блиндаже, держа донесение Роберта Джор-

дана в левой руке и глядя на часы на той же левой руке, перечитывая донесение в четвертый раз и каждый раз чувствуя, как пот выступает у него под мышками и струйками сбегает по бокам, Дюваль говорил в телефонную трубку:

— Тогда дайте позицию Сеговия. Уехал? Дайте позицию Авила.

Он не бросил телефонной трубки. Но толку от этого было мало. Он успел поговорить с обеими бригадами. Гольц осматривал диспозицию и сейчас был на пути к наблюдательному посту. Он вызвал наблюдательный пост, но Гольца там не было.

— Дайте посадочную, — сказал Дюваль, внезапно решив взять всю ответственность на себя. Он приостановит наступление на свою ответственность. Надо приостановить. Нельзя посылать людей во внезапное наступление на противника, если противник ждет этого наступления. Нельзя. Это убийство, и больше ничего. Так нельзя. Немыслимо. Что бы ни случилось. Пусть расстреляют. Он немедленно вызовет аэродром и отменит бомбежку. Но если это всего-навсего отвлекающее наступление? Что, если мы должны только оттянуть снаряжение и войска? Что, если только для этого все и начато? Ведь когда идешь

в наступление, тебе никогда не скажут, что оно только отвлекающее.

— Отставить посадочную, — сказал он связисту. — Дайте наблюдательный пост Шестьдесят девятой бригады.

Он все еще дозванивался туда, когда послышался гул первых самолетов. В ту же минуту его соединили с наблюдательным постом.

— Да, — спокойно сказал Гольц.

Он сидел, прислонившись спиной к мешку с песком, упершись ногами в большой валун, с его нижней губы свисала папироса, и, разговаривая, он смотрел вверх, через плечо. Он видел расширяющиеся клинья троек, которые, рокоча и поблескивая серебром в небе, выходили из-за дальней горы вместе с первыми солнечными лучами. Он следил, как они приближаются, красиво поблескивая на солнце. Он видел двойной ореол там, где лучи солнца падали на пропеллеры.

— Да, — сказал он в трубку по-французски, потому что это был Дюваль. — Nous sommes foutus. Oui. Comme toujours. Oui. C'est dommage. Oui[125]. Как досадно, что уже поздно.

В его глазах, следивших за самолетами, свети-

---

[125] Примечания: 125
Нам капут. Да. Как всегда. Да. Очень жаль. Да (*франц.*).

лась гордость. Теперь он уже различал красные опознавательные знаки на крыльях и следил за быстрым, величественным, рокочущим полетом машин. Вот как оно могло быть. Это наши самолеты. Они прибыли сюда, запакованные, на пароходах, с Черного моря, через Мраморное море, через Дарданеллы, через Средиземное море, и их бережно выгрузили в Аликанте, собрали со знанием дела, испытали и нашли безупречными, и теперь они летели плотным и четким строем, совсем серебряные в утренних лучах, они летели бомбить вон те гребни гор, чтобы обломки с грохотом взлетели на воздух и мы могли бы пройти.

Гольц знал, что, как только самолеты пройдут у него над головой, вниз полетят бомбы, похожие в воздухе на дельфинов. И тогда вершины гор с ревом взметнутся вверх, окутанные облаками пыли, а потом эти облака сольются в одно, и все исчезнет из глаз. Тогда по обоим склонам со скрежетом поползут танки, а за ними двинутся обе его бригады. И если бы наступление было внезапным, они бы шли и шли вперед, потом вниз по склонам, потом через перевал на ту сторону, время от времени останавливаясь, расчищая путь, потому что работы много, такой работы, которую надо выполнять толково, а танки помогали бы

им, танки заворачивали бы, и возвращались, и прикрывали их своим огнем, а другие стали бы подвозить атакующих, потом, скользя, продвигаться дальше по склонам, через перевал и вниз на ту сторону. Так должно было быть, если бы не было измены и если бы все сделали то, что им полагалось сделать.

Есть две горные гряды, и есть танки, и есть две его славные бригады, которые готовы в любую минуту выступить из леса, и вот только что показались самолеты. Все, что должен был сделать он, сделано так, как надо.

Но, следя за самолетами, которые были теперь почти над самой его головой, он почувствовал, как у него засосало под ложечкой, потому что, услышав по телефону донесение Джордана, он понял, что на вершинах гор никого не будет. Они сойдут вниз и укроются от осколков в узких траншеях или спрячутся в лесу, а как только бомбардировщики пролетят, они снова поднимутся наверх с пулеметами, с автоматами и с теми противотанковыми пушками, которые Джордан видел на дороге, и у нас станет одним позорищем больше. Но в оглушительном реве самолетов было то, что должно было быть, и, следя за ними, глядя вверх, Гольц сказал в телефонную трубку:

— Нет. Rien à faire. Rien. Faut pas penser. Faut accepter[126].

Гольц смотрел на самолеты суровыми, гордыми глазами, которые знали, как могло бы быть и как будет, и сказал, гордясь тем, как могло бы быть, веря в то, как могло бы быть, даже если так никогда не будет:

— Bon. Nous ferons notre petit possible[127], — и повесил трубку.

Но Дюваль не расслышал его. Сидя за столом с телефонной трубкой в руках, он слышал только рев самолетов, и он думал: может быть, сейчас, вот, может быть, на этот раз, прислушайся к ним, может быть, бомбардировщики разбомбят их вдребезги, может быть, пробьемся туда, может быть, он получит резервы, которые просил, может быть, вот оно, вот на этот раз начинается. Ну же, ну! В воздухе стоял такой рев, что он не слышал собственных мыслей.

---

[126] Примечания: 126

Ничего не поделаешь. Ничего. Не надо об этом думать. Надо примириться (*франц.*).

[127] Примечания: 127

Хорошо. Мы сделаем, что сможем (*франц.*).

Глава сорок третья

Роберт Джордан лежал за сосной на склоне горы, над дорогой, ведущей к мосту, и смотрел, как светает. Он всегда любил этот час, и теперь ему приятно было следить за рассветом, чувствовать, будто и внутри у него все наполняется серой мглой, точно и он участвовал в том медленном редении тьмы, которое предшествует солнечному восходу, когда предметы становятся черными, а пространство между ними — светлым, и огни, ночью ярко сиявшие, желтеют и наконец меркнут при свете дня. Очертания сосен ниже по склону выступили уже совсем четко и ясно, стволы сделались плотными и коричневыми, дорога поблескивала в стлавшейся над ней полосе тумана. Все на нем стало влажным от росы, земля в лесу была мягкая, и он чувствовал, как подаются под его локтями вороха бурых опавших сосновых игл. Сквозь легкий туман, который полз с реки, он видел снизу стальные фермы моста, легко и прямо перекинувшегося через провал, и деревянные будки часовых на обоих концах. Но переплеты ферм еще казались тонкими и хруп-

кими в тумане, висевшем над рекой.

Он видел часового в будке, его спину, прикрытую плащом, и шею под стальным шлемом, когда он наклонялся погреть руки над жаровней, сделанной из продырявленного керосинового бидона. Он слышал шум воды, бегущей по камням глубоко внизу, и видел тонкий, реденький дымок над будкой часового.

Он посмотрел на часы и подумал: интересно, добрался ли Андрес до Гольца в конце концов. Если взрывать мост придется, хорошо бы совсем замедлить дыхание, чтобы время тянулось долго-долго и можно было ясно чувствовать его ход. А все-таки удалось ему или нет? Андресу? А если удалось, отменят они или нет? Успеют ли они отменить? Qué va. Что толку тревожиться? Либо отменят, либо нет. Решение может быть только одно, погоди немного, и ты его узнаешь. А вдруг наступление будет успешным? Гольц сказал, что это возможно. Есть шанс. Если двинуть наши танки по этой дороге, а люди подойдут справа и минуют Ла-Гранху и обогнут всю левую цепь гор. Почему ты даже представить себе не можешь, что наступление может быть успешным? Ты настолько привык к обороне, что тебе даже мысли такие не приходят. Так-то так. Но ведь разговор с

Гольцем был до того, как столько людей и орудий прошло по дороге в ту сторону. До того, как пролетело столько самолетов. Не нужно быть наивным. Но помни одно: пока мы удерживаем фашистов здесь, у них связаны руки. Они не могут напасть на другую страну, не покончив прежде с нами, а с нами они никогда не покончат. Если французы захотят помочь, если только они не закроют границы, и если Америка даст нам самолеты, они с нами никогда не покончат. Никогда, если нам хоть что-нибудь дадут. Этот народ будет драться вечно, дайте ему только хорошее оружие.

Нет, победы здесь ждать нельзя еще долго, может быть, еще несколько лет. Это лишь стратегическое наступление, чтобы оттянуть силы врага. Не нужно создавать себе иллюзий. А вдруг сегодня нам удастся прорвать фронт? Ведь это наше первое большое наступление. Не теряй чувства реальности. А все-таки — вдруг удастся? Не увлекайся, сказал он себе. Вспомни, что прошло по дороге в ту сторону. Ты сделал все, что мог. Коротковолновые рации — вот что нам необходимо. Ну что же, когда-нибудь они у нас будут. Но пока их нет. А ты будь внимателен и делай то, что должен сделать.

Сегодня — только один из многих, многих дней,

которые еще впереди. Но, может быть, все эти будущие дни зависят от того, что ты сделаешь сегодня. Так было весь этот год. Так было уже много раз. Вся эта война такая. Что за напыщенные рассуждения в такой ранний час, сказал он себе. Лучше смотри, что делается там, внизу.

Он увидел, как два человека в пончо и стальных шлемах, с винтовками за спиной вышли из-за поворота дороги и направились к мосту. Один вошел в будку часового на дальнем конце моста и исчез из виду. Другой пошел по мосту медленным, тяжелым шагом. Посредине моста он остановился и сплюнул в реку, потом медленно пошел дальше; второй часовой вышел ему навстречу, поговорил с ним несколько минут и пошел по мосту на другую сторону. Он шагал быстрее, чем тот, который его сменил (кофе чует, подумал Роберт Джордан), но и он остановился посредине моста и сплюнул в реку.

Примета у них такая, что ли, подумал Роберт Джордан. Надо будет и мне тоже плюнуть, когда буду на мосту. Если я тогда еще смогу плевать. Нет. Едва ли это средство верное. Едва ли оно помогает. Мне придется доказать, что оно не помогает, прежде чем я попаду на мост.

Новый часовой вошел в будку и сел там. Его

винтовка с примкнутым штыком была прислонена к стене. Роберт Джордан достал из нагрудного кармана бинокль и стал подкручивать окуляры, пока не сделались четкими металлические конструкции, выкрашенные в серый цвет, и дальний конец моста. Потом он навел бинокль на будку часового.

Часовой сидел, прислонясь к стене. Шлем его висел рядом на крючке, и его лицо было ясно видно. Роберт Джордан узнал в нем того самого солдата, который нес здесь караул два дня тому назад в дневную смену. На нем была та же похожая на чулок вязаная шапочка. И он так и не побрился. Щеки у него были впалые, а скулы выдавались. Кустистые брови сходились на переносице. Вид у него был сонный, и Роберт Джордан вдруг увидел, как он зевнул. Потом он достал кисет и пачку курительной бумаги и свернул себе сигарету. Он долго возился с зажигалкой, но в конце концов сунул ее в карман, подошел к жаровне, наклонился над ней, вытащил тлеющий уголек, подбросил его несколько раз на ладони, дуя на него, прикурил и кинул обратно, в жаровню.

Когда он опять уселся, прислонясь к стенке будки и мирно попыхивая сигаретой, Роберт

Джордан долго рассматривал его лицо в восьмикратный цейсовский бинокль. Потом опустил бинокль, сложил его и спрятал в карман.

Больше не буду на него смотреть, сказал он себе.

Он лежал спокойно, и глядел на дорогу, и старался не думать ни о чем. На сосне, росшей ниже по склону, зацокала белка, и Роберт Джордан увидел, как она побежала по стволу вниз, а потом остановилась, повернула голову и посмотрела туда, где лежал следивший за ней человек. Он увидел глаза белки, маленькие и блестящие, и вздрагивающий от волнения хвост. Потом белка соскочила на землю и в несколько длинных прыжков — передние лапки поджаты, хвост распушен — очутилась у другого дерева. Прыгнув на ствол, она еще раз оглянулась в ветвях. Потом Роберт Джордан опять услышал ее цоканье и увидел, что она распласталась на одной из верхних ветвей, а хвост так и ходит ходуном.

Роберт Джордан снова перевел глаза вниз, на будку часового, видневшуюся сквозь сосны. Ему захотелось, чтобы белка была тут, у него в кармане. Ему захотелось, чтобы у него было хоть что-нибудь, что можно потрогать. Он потерся локтями о сосновые иглы, но это было совсем

не то. Никто не знает, каким одиноким чувствуешь себя, когда выходишь на такое дело. Почему никто? Вот я знаю. Надеюсь, хоть зайчонок выберется отсюда благополучно. А ну-ка, перестань. Да, да, конечно. Но ведь можно же надеяться, вот я и надеюсь. Что я взорву мост как следует и что она выберется благополучно. Правильно. Ну конечно. Именно это. Больше мне сейчас ничего не нужно.

Он лежал и смотрел уже не на дорогу и не на будку часового, а поверх всего, на дальние горы. Совсем не надо думать, сказал он себе. Он лежал не двигаясь и смотрел, как наступает утро. Оно наступало очень быстро — ведь был конец мая, и это было настоящее прекрасное летнее утро. Мотоциклист в кожаной куртке и кожаном шлеме, с автоматом в чехле у левого бедра проехал через мост и направился вверх по дороге. Потом через мост прошла санитарная машина и, проехав как раз под тем местом, где лежал Роберт Джордан, тоже стала подниматься вверх по дороге. Но больше ничего. Он вдыхал запах сосен и слышал шум реки, мост теперь вырисовывался совсем четко и очень красиво в ясном утреннем свете. Он лежал за сосной, положив свой автомат у левого локтя, и больше не смотрел на будку часового, и только

много времени спустя, когда уже казалось, что ничего не будет, что ничего не может случиться в такое чудесное майское утро, он вдруг услышал частые, глухие взрывы бомб.

Как только он их услышал, как только первые бомбы бухнули вдалеке, раньше даже, чем громовое эхо успело разнестись по горам, он глубоко вздохнул и поднял свой автомат с земли. Рука у него онемела от тяжести, а пальцы двигались нехотя и с трудом.

Часовой в будке встал, услышав буханье бомб. Роберт Джордан увидел, как он поднял свою винтовку и вышел из будки, прислушиваясь. Он теперь стоял посреди дороги, на самом солнце. Вязаная шапочка сбилась набок, и солнце осветило его небритое лицо, когда он поднял голову, повернувшись в ту сторону, где шла бомбежка.

Туман совсем рассеялся, и Роберт Джордан отлично мог разглядеть человека, стоявшего посреди дороги, подняв голову вверх. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь верхушки сосен, бликами ложились на его лицо.

Роберту Джордану стало трудно дышать, как будто его грудную клетку стянули витком проволоки, и, крепче упершись локтями в землю, чувствуя под пальцами граненую поверхность

рукоятки, он навел мушку, приходившуюся точно посредине прорези прицела, на грудь часового и мягко нажал спусковой крючок.

Выстрел резким, коротким толчком отдался у него в плече, а человек на дороге с гримасой удивления и боли рухнул на колени, потом скорчился и ткнулся головой в землю. Его винтовка упала рядом, один палец застрял в спусковой скобе, кисть вывернулась в суставе. Винтовка лежала на дороге штыком вперед. Роберт Джордан отвел глаза от человека, который, скорчившись, лежал у входа на мост, и от будки часового на другом конце. Второго часового ему не было видно, и он перевел глаза по склону направо, туда, где, как он знал, прятался Агустин. Потом он услышал, как выстрелил Ансельмо, эхо выстрела загрохотало по теснине. Потом он услышал, как Ансельмо выстрелил еще раз.

Сейчас же после второго выстрела затрещали гранаты за поворотом дороги недалеко от моста. Потом послышались разрывы гранат где-то слева. Потом дальше на дороге началась ружейная перестрелка, а внизу заговорил автомат Пабло — так-так-так-так-так, — пронизывая взрывы гранат. Он увидел Ансельмо, скользившего сверху по круче к дальнему концу моста, и он забросил

свой автомат за спину, подхватил оба тяжелых рюкзака, стоявшие за стволами сосен, по одному в каждой руке, и, чувствуя, что от их тяжести руки у него вот-вот оторвутся, пошатываясь, побежал по крутому склону вниз, к дороге.

На бегу он услышал голос Агустина, кричавшего ему: «Buena caza, Inglés. Buena caza!» — и подумал: «Удачной охоты, да, как же, удачной охоты», — и в ту же минуту он услышал у дальнего конца моста третий выстрел Ансельмо, от которого звон пошел по стальным переплетам ферм. Он обогнул тело часового, лежавшего посреди дороги, и побежал на мост, с рюкзаками, раскачивавшимися на бегу.

Старик уже бежал ему навстречу, держа в одной руке карабин.

— Sin novedad! — кричал он. — Ничего не случилось. Tuve que rematarlo. Мне пришлось прикончить его.

Бросившись на колени посреди моста, раскрывая рюкзаки, вытаскивая материалы, Роберт Джордан увидел, как по щекам Ансельмо в седой щетине бороды текут слезы.

— Ja maté uno tambien, — сказал он Ансельмо. — Я тоже одного убил, — и мотнул головой в тот конец моста, где, скрючившись, подогнув под

себя голову, лежал первый часовой.

— Да, друг, да, — сказал Ансельмо. — Нужно убивать, вот мы и убиваем.

Роберт Джордан уже лез по фермам моста. Сталь была холодная и мокрая от росы, и он лез осторожно, находя точки опоры между раскосами, чувствуя теплые лучи солнца на спине, слыша шум бурного потока внизу, слыша выстрелы, слишком много выстрелов со стороны верхнего поста. Он теперь обливался потом, а под мостом было прохладно. На одну руку у него был надет виток проволоки, у кисти другой висели на ремешке плоскогубцы.

— Давай мне динамит, viejo, только не сразу, а по одной пачке, — крикнул он Ансельмо. Старик далеко перегнулся через перила, протягивая ему продолговатые компактные бруски, и Роберт Джордан принимал их, вкладывал в намеченные места, засовывал поглубже, укреплял. — Клинья, viejo! Клинья давай! — Вдыхая свежий древесный запас недавно выструганных клиньев, туго забивал их, чтобы заряд динамита держался плотнее в переплете ферм.

И вот, делая свое дело, закладывая динамит, укрепляя, забивая клинья, туго прикручивая проволокой, думая только о взрыве, работая

быстро и искусно, как опытный хирург, он вдруг услышал треск перестрелки со стороны нижнего поста. Потом ударила граната. Потом еще одна, покрывая грохот несущейся воды. Потом в той стороне все стихло.

Черт, подумал он. Что там стряслось с ними?

На верхнем посту все еще стреляли. И на кой черт столько пальбы, думал он, подвязывая две гранаты, одну возле другой, над скрепленными вместе брусками динамита, обматывая их по ребрам проволокой, чтобы они не шатались и не упали, и туго подтягивая, скручивая проволоку плоскогубцами. Потом он попробовал, как все вышло, и для большей прочности вогнал над гранатами еще клин, плотно прижавший весь заряд к стальной ферме.

— Теперь на другую сторону, viejo, — крикнул он Ансельмо и полез через переплеты ферм. Точно Тарзан, продирающийся сквозь стальные дебри, подумал он, и, выбравшись опять из-под темного свода, где грохот был особенно гулким, он поднял голову и увидел лицо Ансельмо и его руку, протягивавшую ему динамит. Черт, хорошее лицо у старика, подумал он. И уже не плачет. Это все к лучшему. Одна сторона уже готова. Теперь вот еще эту сторону — и все. Камня на

камне не останется. Ладно, ладно. Не увлекайся. Делай свое дело. Быстро и чисто, как и там. Не возись сверх меры. Но и не торопись. Не старайся сделать все быстрее, чем можно. Сейчас уже дело верное. Одну сторону тебе, во всяком случае, никто не помешает взорвать. И все идет именно так, как надо. А холодно здесь, под мостом. Фу, черт, холодно, как в винном погребе, зато хоть дерьма нет. Обычно, когда работаешь под каменным мостом, бывает полно дерьма. Это сказочный мост. Хороши сказки! Старику там, наверху, хуже, чем мне. Не старайся сделать все быстрей, чем можно. «Еще клиньев, viejo». Не нравится мне, что там еще стреляют. Что-то там у Пилар неладно. Наверно, кто-нибудь из постовых оказался снаружи. На дороге или за лесопилкой. Все еще стреляют. Значит, там еще остался кто-то. И потом, эти проклятые опилки. Эти огромные кучи опилок. Опилки, когда они слежатся и утрамбуются, очень хорошее прикрытие во время боя. Да, там, наверно, еще несколько человек осталось. А внизу, у Пабло, тихо. Что же это все-таки было, эта вторая вспышка? Вероятно, машина или мотоцикл. Только бы не подошли сейчас броневики или танки. Давай, давай. Закладывай заряды как можно быстрей, и забивай клинья, и привязывай

покрепче. Трясешься, точно дура-баба какая-то. Пари держу, та дура-баба там, наверху, вовсе не трясется. Та, Пилар. А может быть, и она тоже. Судя по этой стрельбе, ей сейчас нелегко приходится. Тоже затрясется, когда станет невмочь. Как и все.

Он высунулся на солнце, и когда он протянул руку за пачкой, которую ему передавал Ансельмо, и шум несущейся воды стал не таким гулким, выстрелы на верхнем посту захлопали гораздо чаще и потом послышались удары гранат. Потом еще удары гранат.

— Значит, они атаковали пост на лесопилке.

Хорошо, что у меня динамит в брусках, подумал он. А не в палочках. Какого черта. Просто удобнее. Хотя холщовый мешок с той дрянью вроде студня был бы еще лучше. Два мешка. Нет, хватило бы и одного. Будь еще у меня детонаторы и мой добрый взрыватель. Эта сволочь бросила мой взрыватель в реку. И ящик, и все остальное. Вот в эту реку он и бросил все. Скотина Пабло. Ну ничего, он им там сейчас задал жару.

— Еще давай, viejo.

Молодец старик, хорошо справляется. У него тоже положение незавидное там, на мосту. Ему было очень тяжело убить человека. Мне тоже,

но я просто не думал об этом. И сейчас не думаю. Так нужно. Но тут еще то, что у Ансельмо простая винтовка. Я знаю, как это бывает. Когда убиваешь человека из автомата, это как-то легче. Для того, кто убивает, я хочу сказать. Это совсем другое дело. Ты только дотрагиваешься, а потом оно уже делается само. Помимо тебя. Ладно, приберегу эту идею, чтобы развить ее как-нибудь в другой раз. Ну и голова у тебя. Очень уж она склонна к долгим размышлениям, милейший Джордан. Иордан, так дразнили меня в школе. А знаешь ли ты, что этот дурацкий Иордан немногим шире той речонки, что бурлит внизу? Там, где он начинается, конечно. Все на свете начинается с малого. А тут даже уютно, под мостом. Как дома, хотя и не дома. Ну, Иордан, подтянись. Тут дело серьезное, Иордан. Разве ты не понимаешь? Дело серьезное. Взгляни на эту сторону. Para qué? Теперь, что бы со мной ни случилось, моста не будет. Когда не будет Иордана, не будет и моста, а вернее сказать — наоборот.

— Еще немножко, Ансельмо, друг, — сказал он. Старик кивнул. — Сейчас кончаю, — сказал Роберт Джордан. Старик опять кивнул.

Закрепляя проволокой гранаты, он перестал прислушиваться к выстрелам за поворотом

дороги. Вдруг он заметил, что слышит только шум реки. Он посмотрел вниз и увидел, как вода вскипает белой пеной между камнями и потом разливается прозрачным озерцом на гальке. Посреди озерца, попав в воронку, вертелся на одном месте оброненный им клин. Вдруг рядом, охотясь за мошкой, плеснула форель, и по воде пошли круги. Туго прикручивая плоскогубцами проволоку, скреплявшую обе гранаты, он увидел сквозь металлическое плетенье зеленевший на солнце горный склон. Два дня назад он был совсем бурый, подумал он.

Из прохладной темноты под мостом он высунулся на яркий солнечный свет и крикнул Ансельмо, склонившемуся над ним сверху:

— Дай мне большой моток проволоки!

Только не тянуть раньше времени. А то сейчас же вырвет кольцо. Жаль, что нельзя пропустить проволоку насквозь. Ну ничего, проволоки у меня много, обойдется, подумал Роберт Джордан, ощупывая чеки, удерживающие на месте кольца, которые должны были освободить рычажки гранат. Он проверил, хватит ли рычажкам места, куда отскочить, когда чеки будут выдернуты (скрепляющая их проволока проходила под рычажками), потом прикрепил конец проволоки из

мотка к одному кольцу, соединил с главной проволокой, которая шла к кольцу второй гранаты, отмотал немного проволоки, провел ее вокруг стальной укосины и передал моток Ансельмо.

— Держи, только осторожно, — сказал он.

Он вылез на мост, взял у старика из рук моток и, отпуская проволоку на ходу, пошел назад, к тому месту, где посреди дороги лежал убитый часовой; он шел, перегнувшись через перила, и вел проволоку за мостом, шагая так быстро, как только поспевал разматывать ее.

— Неси рюкзаки, — через плечо крикнул он Ансельмо. Проходя мимо своего автомата, он нагнулся, подобрал его и снова перекинул за спину. И тогда, подняв глаза от проволоки, он увидел тех, которые возвращались с верхнего поста. Их было четверо, он сразу увидел, но ему пришлось опустить глаза, чтобы проволока не запуталась и не зацепилась за какой-нибудь наружный выступ. Эладио не было с ними.

Роберт Джордан довел проволоку до конца моста, сделал петлю вокруг последней подпорки и побежал по дороге до первого выкрашенного белой краской камня. Здесь он перерезал проволоку и отдал конец Ансельмо.

— Держи, viejo, — сказал он. — Вот так. Теперь

идем со мной обратно, к мосту. Сматывай проволоку на ходу. Нет, давай я сам.

У моста он распустил сделанную раньше петлю так, что теперь проволока шла свободно и прямо до самого кольца гранаты, к которому она была привязана, и передал конец Ансельмо.

— Иди с этим назад, к белому камню, — сказал он. — Держи крепко, но свободно. Не натягивай. Если ты потянешь очень, очень сильно, мост взорвется. Comprendes? Понимаешь?

— Да.

— Отпускай понемногу, но смотри, чтобы она у тебя не провисала, а то запутается. Держи легко и крепко и, главное, — не тяни, пока не придет время тянуть. Comprendes?

— Да.

— Когда придет время тянуть, то именно тяни. Не дергай.

Говоря, Роберт Джордан все время смотрел на дорогу, по которой подвигались остатки отряда Пилар. Они были уже совсем близко, и он увидел, что Примитиво и Рафаэль ведут Фернандо. Он, видимо, был ранен в пах, потому что шел, прижимая обе руки к этому месту, а старик и юноша поддерживали его с обеих сторон. Правую ногу он волочил, царапая гудрон рантом башмака.

Пилар с тремя винтовками уже карабкалась по откосу вверх. Роберт Джордан не видел ее лица, но голову она держала высоко изо всех сил.

— Как тут у вас? — крикнул Примитиво.

— Хорошо. Мы почти кончили, — отозвался Роберт Джордан.

Как у них — не стоило спрашивать. Когда он опять оглянулся, все трое стояли на краю дороги и Фернандо качал головой, отказываясь начинать подъем.

— Дайте мне винтовку, — услышал Роберт Джордан его сдавленный голос.

— Нет, hombre. Мы тебя поведем туда, где лошади.

— На что мне лошадь? — сказал Фернандо. — Мне и здесь хорошо.

Остального Роберт Джордан не слышал, потому что заговорил с Ансельмо.

— Если подойдут танки — взрывай, — сказал он. — Но только когда они уже вступят на мост. Если броневики — тоже взрывай. Когда вступят на мост. Остальное все Пабло сумеет задержать.

— Я не буду взрывать, когда ты там, под ним.

— Обо мне не думай. Если надо будет взрывать — взрывай. Я закреплю вторую проволоку и приду сюда. Тогда мы его вместе взорвем.

Он пустился бегом к середине моста.

Ансельмо видел, как Роберт Джордан взбежал на мост, автомат за спиной, плоскогубцы на ремешке у кисти. Вот он перелез через перила и исчез под мостом. Ансельмо, держа конец проволоки в руке, в правой руке, присел на корточки за камнем и смотрел вниз, на дорогу и на мост. На половине пути между ним и мостом лежал часовой, солнце теперь палило ему в спину — и казалось, он совсем сник под напором лучей и распластался на гладком гудроне дороги. Его винтовка лежала рядом, штык острием был обращен прямо на Ансельмо. Старик смотрел мимо него, на плоскость моста, исчерченную тенями перил, и дальше, туда, где дорога вдоль теснины сворачивала влево и скрывалась из виду за выступом отвесной скалы. Он смотрел на будку часового в том конце моста, теперь освещенную солнцем, потом, не забывая о конце проволоки, зажатом в руке, он повернул голову в ту сторону, где Фернандо все еще спорил с Примитиво и цыганом.

— Оставьте вы меня здесь, — говорил Фернандо. — Мне очень больно, и кровотечение все не унимается внутри. Я его чувствую внутри, когда шевелюсь.

— Мы тебя дотащим до верхнего леса, — сказал

Примитиво. — Обними нас за шею, а мы возьмем твои ноги.

— Бесполезно, — сказал Фернандо. — Посадите меня за тем камнем. Я буду здесь так же полезен, как и наверху.

— А как же, когда надо будет уходить? — сказал Примитиво.

— Оставьте меня здесь, — сказал Фернандо. — О том, чтобы мне ехать с этой штукой, и думать нечего. Вот и лошадь лишняя будет. А мне тут очень хорошо. Они теперь уже скоро придут.

— Мы тебя можем донести до леса, — сказал цыган. — Ничего не стоит.

Он, конечно, не чаял, как бы поскорее уйти, и Примитиво тоже. Но все же они дотащили его сюда.

— Нет, — сказал Фернандо. — Мне тут очень хорошо. Что с Эладио?

Цыган приставил палец к голове, чтобы показать, куда попала пуля.

— Вот, — сказал он. — После тебя. Когда мы атаковали пост.

— Оставьте меня, — сказал Фернандо.

Ансельмо видел, что он очень мучается. Он обеими руками зажимал рану в паху, голову откинул на склон, ноги вытянул. Лицо у него было

серое и потное.

— Оставьте вы меня, сделайте милость, — сказал он. Глаза у него были закрыты от боли, углы рта подергивались. — Мне тут правда очень хорошо.

— Вот тебе винтовка и патроны, — сказал Примитиво.

— Это моя? — спросил Фернандо, не открывая глаз.

— Нет, твоя у Пилар, — сказал Примитиво. — Это винтовка Эладио.

— Мне бы лучше мою, — сказал Фернандо. — Я к ней больше привык.

— Я тебе ее принесу, — солгал цыган. — А пока возьми эту.

— Тут у меня очень удобное место, — сказал Фернандо. — И дорогу видно и мост. — Он открыл глаза, повернул голову и посмотрел на мост, потом опять закрыл глаза, когда подступила боль.

Цыган постучал себе по лбу и большим пальцем сделал Примитиво знак, что пора уходить.

— Мы тогда вернемся за тобой, — сказал Примитиво и двинулся вслед за цыганом, который уже проворно взбирался наверх.

Фернандо откинулся на склон. Перед ним был один из выкрашенных в белую краску камней,

отмечавших край дороги. Голова его приходилась в тени, но рану, наскоро затампонированную и перевязанную, и руки, кругло сложенные на ней, пригревало солнце. Ноги тоже были на солнце. Винтовка лежала возле него, рядом с винтовкой поблескивали на солнце три обоймы с патронами. По рукам ползали мухи, но ощущение щекотки заглушала боль от раны.

— Фернандо! — окликнул его Ансельмо с своего места, где он сидел на корточках, сжимая проволоку в руке. Он сделал на конце проволоки петлю и туго скрутил ее, чтобы удобнее было держать. — Фернандо! — окликнул он еще раз.

Фернандо открыл глаза и посмотрел на него.

— Как тут у вас? — спросил Фернандо.

— Все хорошо, — сказал Ансельмо. — Сейчас будем взрывать.

— Я очень рад. Если от меня что-нибудь потребуется, то скажи, — ответил Фернандо и закрыл глаза, потому что внутри у него заколыхалась боль.

Ансельмо повернул голову и снова стал смотреть на мост.

Он ждал, когда высунется из-под моста моток проволоки, а за ним покажется голова и загорелое лицо и Inglés, подтягиваясь на руках, станет выле-

зать на мост. И в то же время он присматривался к дороге за мостом, не появится ли что-нибудь из-за дальнего поворота. Страха он не чувствовал ни сейчас, ни раньше. Все идет так быстро, и это так просто, думал он. Мне не хотелось убивать часового, но теперь уже все прошло. Как мог Inglés сказать, что застрелить человека это все равно, что застрелить зверя. Когда я охотился, у меня всегда бывало легко на душе и я не чувствовал никакой вины. Но когда выстрелишь в человека, у тебя такое чувство, точно ты родного брата ударил. А если еще не убьешь с одного раза! Нет, не надо думать об этом. Тебе это было очень тяжело, и ты бежал по мосту и плакал, как женщина.

Это уже позади, сказал он себе, и ты потом можешь попытаться искупить это, как и все остальное. Но зато ты получил то, о чем просил вчера вечером, возвращаясь горным проходом домой. Ты участвуешь в бою, и все для тебя понятно. Теперь даже если придется умереть сегодня — это ничего.

Он посмотрел на Фернандо, который все еще лежал, прислонясь к откосу, приложив ладони к паху, сжав посиневшие губы, закатив глаза, и дышал тяжело и прерывисто. И, глядя на него, он думал: если я должен умереть, скорей бы. Нет,

я ведь зарекся просить о чем-нибудь еще, если сбудется то, что мне больше всего нужно сегодня. Я ни о чем и не прошу. Понятно? Я ни о чем не прошу. Ни о чем и никак. Пошли мне то, о чем я просил вчера, а дальше будь что будет.

Он прислушался к отдаленным звукам боя в ущелье и сказал себе: сегодня и в самом деле большой день. Мне бы надо знать и понимать, какой это день.

Но он не чувствовал ни подъема, ни волнения. Только то, что, скорчившись здесь, за придорожным камнем, с закруженным петлей концом проволоки в руке и еще мотком проволоки, надетым на другую руку, он не чувствовал одиночества и не чувствовал себя оторванным от всего. Он был одно целое с этой проволокой, тянущейся от его руки, и одно целое с мостом, и одно целое с зарядами динамита, которые заложил там Inglés. Он был одно целое с Inglés, все еще возившимся под мостом, и он был одно целое со всеми перипетиями боя и с Республикой.

А волнения не было. Кругом теперь было спокойно, солнце палило ему в спину и в согнутую шею, а когда он поднимал голову, он видел высокое безоблачное небо и склон горы на том берегу, и он не чувствовал радости, но одиночества не

было, и страха тоже не было.

Вверху на склоне, укрывшись за деревом, лежала Пилар и вглядывалась в дорогу, ведущую от перевала. Рядом с ней лежали три заряженных винтовки, и одну из них она передала Примитиво, когда он опустился на землю рядом с ней.

— Иди ложись вон там, — сказала она. — Вон за тем деревом. А ты, цыган, вот здесь. — Она указала на другое дерево, пониже. — Он умер?

— Нет. Жив еще, — сказал Примитиво.

— Не повезло, — сказала Пилар. — Будь у нас еще хоть двое, этого не случилось бы. Ему надо было обогнуть ту кучу опилок ползком. А там ему удобно, где вы его оставили?

Примитиво кивнул головой.

— Когда Inglés взорвет мост, обломки сюда не долетят? — спросил цыган, выглядывая из-за своего дерева.

— Не знаю, — сказала Пилар. — Агустин с большой máquina еще ближе, чем ты. Если б это было слишком близко, Inglés его там не посадил бы.

— А я вот помню, когда мы взрывали поезд, фонарь с паровоза пролетел у меня над самой головой, а куски железа так и порхали, словно ласточки.

— Тебе бы стишки сочинять, — сказала Пи-

лар. — Словно ласточки! Словно лохани для стирки, вот это вернее. Слушай, цыган, ты сегодня все время держался молодцом. Так уж теперь не поддавайся страху.

— Я ведь только спросил, долетят ли сюда обломки, чтобы в случае чего спрятаться за этот ствол, — сказал цыган.

— Как сидишь, так и сиди, — сказала ему Пилар. — Скольких мы убили?

— Мы — пятерых. Да здесь двое. Не видишь? Вон на том конце еще один лежит. Туда смотри, на мост, будку видишь? Смотри! Ну, видишь? — Он показывал пальцем. — Да там, на нижнем посту, еще было восьмеро для Пабло. Я туда ходил на разведку, меня Inglés посылал.

Пилар что-то проворчала. Потом она сказала сердито и резко:

— Что такое с Inglés? Что он там, так его и так, копается под этим мостом? Vaya mandanga![128] Взрывает он его или наново строить собирается?

Она подняла голову и увидела Ансельмо, скорчившегося за придорожным камнем.

— Эй, viejo! — закричала она. — Что такое с твоим, так его и так?

---

[128] Примечания: 128
Испанское ругательство.

— Наберись терпения, женщина, — отозвался Ансельмо, легко, но крепко придерживая конец проволоки. — Он заканчивает свою работу.

— Да почему же так долго, скажи ты мне, ради последней шлюхи?

— Es muy concienzudo![129] — прокричал Ансельмо. — Это работа научная.

— Так и так всякую науку, — напустилась разъяренная Пилар на старика. — Пусть эта поганая рожа, так его и так, взрывает скорей, и конец. Мария! — гаркнула она своим могучим голосом, обернувшись к лесу. — Твой Inglés… — И тут хлынул целый поток непристойной ругани по адресу Джордана и его предполагаемых действий под мостом.

— Успокойся, женщина! — крикнул Ансельмо с дороги. — Ты не знаешь, сколько у него там дела. Но он уже кончает.

— Ко всем чертям, — бушевала Пилар. — Тут самое важное — чтоб быстрее.

И тут они услышали выстрелы за дальним поворотом дороги, где Пабло удерживал захваченный им пост. Пилар перестала ругаться и прислушалась.

---

[129] Примечания: 129
Он очень добросовестный! (*исп.*)

— Ай-яй, — сказала она. — Ай-я-яй. Вот оно!

Роберт Джордан тоже услыхал это в ту минуту, когда он выбросил моток проволоки на мост и, подтягиваясь, стал вылезать сам. Когда он поставил колено на выступ настила, а руками уже ухватился за верхнюю перекладину, он услышал треск пулемета со стороны нижнего поста. Судя по звуку, это не был автомат Пабло. Роберт Джордан вылез, встал, перегнулся через перила и, быстро разматывая проволоку, пошел по мосту вдоль перил.

Он шел и слушал выстрелы, и каждый раз ему казалось, что звук отдается у него в животе, словно отражаясь от диафрагмы. Теперь он как будто слышался ближе, но Роберт Джордан все шел и только оглядывался назад через плечо. Но дорога за мостом была пуста, не видно было ни танков, ни машин, ни людей. Она все еще была пуста, когда он прошел половину пути до будки часового. Она все еще была пуста, когда он прошел три четверти пути, осторожно ведя проволоку за перилами, и она все еще была пуста, когда он огибал будку, далеко отставив руку, чтобы проволока не зацепилась за железные завитушки перил. Потом он повернулся и быстро стал пятиться по дороге вдоль неширокой канавки у края, как футболист,

готовящийся принять длинный мяч, и все время понемножку натягивая проволоку, и когда он почти поравнялся с Ансельмо, дорога за мостом все еще была пуста.

Потом он услышал позади приближающийся шум машины и, оглянувшись, увидел большой грузовик, выезжавший на дорогу сверху, и он намотал конец проволоки на руку и крикнул Ансельмо: «Взрывай!» — и крепко уперся каблуками в землю, и всем телом откинулся назад, преодолевая сопротивление проволоки, и еще раз обвел ее вокруг руки, а шум грузовика сзади все приближался, а впереди была дорога, и убитый часовой на ней, и длинный мост, а за мостом опять дорога, все еще пустая, и вдруг что-то треснуло, загрохотало, и середина моста вздыбилась, как разбивающаяся волна, и струя воздуха, горячего от взрыва, обдала его, когда он бросился ничком в канавку, руками крепко обхватив голову. Он уткнул лицо в каменистую землю и не видел, как мост опустился опять, только знакомый желтый запах донесся до него с клубами едкого дыма и посыпался дождь стальных обломков.

Потом обломки перестали сыпаться, и он был жив, и поднял голову, и взглянул на мост. Середины моста не было. Кругом повсюду валялись

иззубренные куски стали, металл блестел на свежих изломах. Грузовик остановился в сотне ярдов от моста. Шофер и двое солдат, ехавших с ним, бежали к отверстию дренажной трубы, черневшему у дороги.

Фернандо лежал на том же месте и еще дышал. Руки его были прижаты к бокам, пальцы растопырены.

Ансельмо лежал ничком за белым придорожным камнем. Левая рука подогнулась под голову, правая была вытянута вперед. Проволочная петля все еще была зажата у него в кулаке. Роберт Джордан поднялся на ноги, перебежал дорогу, опустился возле старика на колени и удостоверился, что он мертв. Он не стал переворачивать его на спину, чтобы посмотреть, куда попал стальной обломок. Старик был мертв, остальное не имело значения.

Мертвый он кажется очень маленьким, думал Роберт Джордан. Он казался маленьким и совсем седым, и Роберт Джордан подумал, как же он справлялся с такими громоздкими ношами, если это его настоящий рост. Потом он посмотрел на его ноги, его икры, обтянутые узкими пастушьими штанами, на изношенные веревочные подошвы его сандалий и, подняв с земли его ка-

рабин и оба рюкзака, теперь уже совсем пустые, подошел к Фернандо и взял и его винтовку. По дороге он отбросил ногой обломок стали с иззубренными краями. Потом вскинул обе винтовки на плечо, придерживая их за стволы, и полез вверх по лесистому склону. Он не оглядывался назад, не смотрел и на дорогу за мостом. Из-за дальнего поворота все еще слышалась стрельба, но теперь ему было все равно. Он кашлял от запаха тринитротолуола, и внутри у него как будто все онемело.

Он положил одну винтовку возле Пилар, под деревом, за которым она лежала. Она оглянулась и увидела, что у нее теперь опять три винтовки.

— Вы слишком высоко забрались, — сказал он. — На дороге стоит грузовик, а вам его и не видно. Там думают, что это была бомба с самолета. Лучше спуститесь пониже. Я возьму Агустина и пойду прикрывать Пабло.

— А старик? — спросила она, глядя ему в лицо.

— Убит.

Он опять мучительно закашлялся и сплюнул на землю.

— Твой мост взорван, Inglés. — Пилар смотрела прямо на него. — Не забывай этого.

— Я ничего не забываю, — сказал он. — У тебя

здоровая глотка, — сказал он Пилар. — Я слышал, как ты тут орала. Крикни Марии, что я жив.

— Двоих мы потеряли на лесопилке, — сказала Пилар, стараясь заставить его понять.

— Я видел, — сказал Роберт Джордан. — Вы сделали какую-нибудь глупость?

— Иди ты, Inglés, знаешь куда, — сказала Пилар. — Фернандо и Эладио тоже были люди.

— Почему ты не уходишь наверх, к лошадям? — сказал Роберт Джордан. — Я здесь управлюсь лучше тебя.

— Ты должен идти прикрывать Пабло.

— К черту Пабло! Пусть прикрывается собственным дерьмом.

— Нет, Inglés, он ведь вернулся. И он крепко дрался там, внизу. Ты разве не слышал? Он и сейчас дерется. Там, видно, дело серьезное. Послушай сам.

— Я пойду к нему. Но так вас и так обоих. И тебя, и твоего Пабло!

— Inglés, — сказала Пилар. — Успокойся. Я помогла тебе во всем этом, как никто другой бы не помог. Пабло поступил с тобой нехорошо, но ведь он вернулся.

— Если бы у меня был взрыватель, старик не погиб бы. Я бы взорвал мост отсюда.

— Если бы, если бы… — сказала Пилар.

Гнев, ярость, пустота внутри — все то, что пришло вместе с реакцией после взрыва, когда он поднял голову и увидел Ансельмо мертвым у дороги, еще не отпустило его. И, кроме всего этого, было отчаяние, которое солдат превращает в ненависть для того, чтобы остаться солдатом. Теперь, когда все было кончено, он чувствовал одиночество и тоску и ненавидел всех, кто был рядом.

— Если бы снег не пошел… — сказала Пилар. И тут, не сразу, не так, как могла бы наступить физическая разрядка (если бы, например, женщина обняла его), но постепенно, от мысли к мысли, он начал принимать то, что случилось, и ненависть его утихла. Снег, ну да, конечно. Он всему виной. Снег. Он виной тому, что случилось с другими. Как только увидишь все глазами других, как только освободишься от самого себя — на войне постоянно приходится освобождаться от себя, без этого нельзя. Там не может быть своего «я». Там можно только потерять свое «я». И тут, потеряв свое «я», он услышал голос Пилар, говорившей:

— Глухой…

— Что? — спросил он.

— Глухой…

— Да, — сказал Роберт Джордан. Он усмехнулся ей кривой, неподвижной, тугим напряжением лицевых мускулов созданной усмешкой. — Забудь. Я был не прав. Извини меня, женщина. Будем кончать свое дело как следует и все сообща. Ты сказала правду, мост все-таки взорван.

— Да. Думай о каждой вещи, как она есть.

— Хорошо, я иду к Агустину. Пусть цыган спустится ниже, чтобы ему была видна дорога. Отдай все винтовки Примитиво, а сама возьми мою máquina. Дай я покажу тебе, как из нее стрелять.

— Оставь свою máquina у себя, — сказала Пилар. — Мы тут долго не пробудем. Пабло подойдет, и мы сейчас же тронемся в путь.

— Рафаэль, — сказал Роберт Джордан, — иди сюда, за мной. Сюда. Вот так. Видишь, вон там, из отверстия дренажной трубы вылезают люди? Вон, за грузовиком, Идут к грузовику, видишь? Подстрели мне одного из них. Сядь. Не торопись.

Цыган тщательно прицелился и выстрелил, и когда он отводил назад рукоятку затвора и выбрасывал пустую гильзу, Роберт Джордан сказал:

— Мимо. Ты взял слишком высоко и попал в скалу. Вон, видишь, осколки сыплются. Цельсь фута на два ниже. Ну, внимание. Они опять побежали. Хорошо!

— Один есть, — сказал цыган.

Человек упал на полдороге от дренажной трубы к грузовику. Остальные двое не остановились, чтобы подхватить его. Они бросились назад, к отверстию трубы, и скрылись в глубине.

— В него больше не стреляй, — сказал Роберт Джордан. — Цельсь теперь в шину переднего колеса грузовика. Если промахнешься, попадешь в мотор. Хорошо. — Он следил в бинокль. — Чуть пониже. Хорошо. Здорово стреляешь! Mucho! Mucho![130] Теперь постарайся попасть в крышку радиатора. Даже не в крышку, лишь бы в радиатор. Да ты просто чемпион! Теперь смотри. Что бы ни появилось на дороге, не подпускай ближе вон того места. Видишь?

— Гляди, сейчас ветровое стекло пробью, — сказал довольный цыган.

— Не надо. Грузовик уже достаточно поврежден, — сказал Роберт Джордан. — Побереги патроны, пока еще что-нибудь не появится на дороге. Открывай огонь тогда, когда оно поравняется с дренажной трубой. Если это будет машина, старайся попасть в шофера. Только стреляйте тогда все сразу, — сказал он Пилар, которая по-

---

[130] Примечания: 130
Очень! Очень! (*исп.*)

дошла к ним вместе с Примитиво. — У вас тут великолепная позиция. Видишь, как этот выступ защищает ваш фланг?

— Шел бы ты делать свое дело с Агустином, — сказала Пилар. — Кончай свою лекцию. Я тут местность получше тебя знаю.

— Пусть Примитиво заляжет вон там, повыше, — сказал Роберт Джордан. — Вон там. Видишь, друг? С той стороны, где начинается обрыв.

— Ладно, — сказала Пилар. — Ступай, Inglés. Оставь при себе свои умные советы. Здесь дело ясное.

И тут они услышали шум самолетов.

Мария давно уже была здесь с лошадьми, но ей с ними не было спокойнее. И им с ней тоже. Отсюда, из леса, не было видно дороги, и моста тоже не было видно, и когда началась стрельба, она обняла за шею гнедого жеребца с белой отметиной, которого она часто ласкала и угощала лакомыми кусками, пока лошади стояли в лесном загоне близ лагеря. Но ее волнение передавалось гнедому, и он беспокойно мотал головой, раздувая ноздри при звуке стрельбы и разрывов гранат. Марии не стоялось на месте, и она бродила вокруг лошадей, поглаживая их, похлопывая, и от этого они пугались и нервничали еще больше.

Прислушиваясь к стрельбе, она старалась не думать о ней как о чем-то страшном, происходящем на дороге, а просто помнить, что это отстреливается Пабло с новыми людьми и Пилар со своими и что она не должна бояться или тревожиться, а должна твердо верить в Роберто. Но ей это не удавалось, и трескотня выстрелов внизу и дальше, за мостом, и глухой шум боя, который долетал из ущелья, точно отголосок далекой бури, то сухим раскатистым треском, то гулким буханьем бомб, — все это было чем-то большим и очень страшным, от чего у нее перехватывало дыханье.

Потом вдруг она услышала могучий голос Пилар снизу, со склона, кричавшей ей что-то непристойное, чего она не могла разобрать, и она подумала: о господи, нет, нет. Не надо так говорить, когда он в опасности. Не надо никого оскорблять и рисковать без надобности. Не надо испытывать судьбу.

Потом она стала молиться за Роберто торопливо и машинально, как, бывало, молилась в школе, бормоча молитвы скороговоркой и отсчитывая их на пальцах левой руки, по десять раз каждую из двух молитв. Потом раздался взрыв, и одна из лошадей взвилась на дыбы и замотала головой

так, что повод лопнул, и лошадь убежала в чащу. Но Марии в конце концов удалось поймать ее и привести назад, дрожащую, спотыкающуюся, с потемневшей от пота грудью, со сбившимся набок седлом, и, ведя ее к месту стоянки, она снова услышала стрельбу внизу и подумала: больше я не могу так. Я не могу жить, не зная, что там. Я не могу вздохнуть, и во рту у меня пересохло. И я боюсь, и от меня никакой пользы нет, только пугаю лошадей, и эту лошадь мне удалось поймать только случайно, потому что она сбила набок седло, налетев на дерево, и попала ногой в стремя, но седло я сейчас поправлю и — о господи, как же мне быть! Я не могу больше.

Господи, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось, потому что вся моя душа и вся я сама там, на мосту. Я знаю, первое — это Республика, а второе — то, что мы должны выиграть войну. Но, пресвятая, сладчайшая дева, спаси мне его, и я всегда буду делать, что ты велишь. Ведь я не живу. Меня больше нет. Я только в нем и с ним. Сохрани мне его, тогда и я буду жить и буду все делать тебе в угоду, и он мне не запретит. И это не будет против Республики. О, прости мне, потому что я запуталась. Я совсем запуталась во всем этом. Но если ты мне его сохранишь, я буду делать

то, что правильно. Я буду делать то, что велит он, что велишь ты. Я раздвоюсь и буду делать все. Но только оставаться здесь и не знать — этого я не могу больше.

Потом, когда она уже снова привязала лошадь, поправила седло, разгладила попону и нагнулась, чтобы затянуть потуже подпругу, она вдруг услышала могучий голос Пилар:

— Мария! Мария! Твой Inglés цел. Слышишь? Цел. Sin novedad.

Мария ухватилась за седло обеими руками, припала к нему своей стриженой головой и заплакала. Потом она снова услышала голос Пилар, и оторвалась от седла, и закричала:

— Слышу! Спасибо! — И задохнулась, перевела дух и опять закричала: — Спасибо! Большое спасибо!

Когда донесся шум самолетов, все посмотрели вверх, и там они летели, высоко в небе, со стороны Сеговии, серебрясь в вышине, и мерный их рокот покрывал все остальные звуки.

— Они, — сказала Пилар. — Только этого еще недоставало.

Роберт Джордан положил ей руку на плечо, продолжая смотреть вверх.

— Нет, женщина, — сказал он. — Они не ради

нас сюда летят. У них для нас нет времени. Успокойся.

— Ненавижу я их!

— Я тоже. Но мне теперь пора к Агустину.

Он стал огибать выступ склона, держась в тени сосен, и все время был слышен мерный, непрерывный рокот моторов, а из-за дальнего поворота дороги по ту сторону разрушенного моста доносился пулеметный треск.

Роберт Джордан бросился на землю рядом с Агустином, залегшим со своим пулеметом в молодой поросли сосняка, а самолеты в небе все прибывали и прибывали.

— Что там делается, на той стороне? — спросил Агустин. — Почему Пабло не идет? Разве он не знает, что моста уже нет?

— Может быть, он не может уйти.

— Тогда будем уходить одни. Черт с ним.

— Он придет, как только сможет, — сказал Роберт Джордан. — Мы его сейчас увидим.

— Я что-то его не слышу, — сказал Агустин. — Уже давно. Нет. Вот! Слушай! Вот он. Это он.

Застрекотала — так-так-так-так-так — короткая очередь кавалерийского автомата, потом еще одна, потом еще.

— Он, он, черт его побери, — сказал Роберт

Джордан.

Он посмотрел в высокое безоблачное синее небо, в котором шли все новые и новые самолеты, и посмотрел на Агустина, который тоже поднял голову вверх. Потом он перевел глаза вниз, на разрушенный мост и на дорогу за ним, которая все еще была пуста, закашлялся, сплюнул и прислушался к треску станкового пулемета, снова раздавшемуся за поворотом. Звук шел из того же места, что и раньше…

— А что это? — спросил Агустин. — Что это еще за дерьмо?

— Это слышно с тех пор, как я взорвал мост, — сказал Роберт Джордан.

Он опять посмотрел вниз, на мост и речку, которая была видна в пролом посредине, где кусок настила висел, точно оборванный стальной фартук. Слышно было, как первые самолеты уже бомбят ущелье, а со стороны Сеговии летели и летели еще. Все небо теперь грохотало от их моторов, а вглядевшись попристальнее, он увидел и истребители, сопровождавшие эскадрилью; крохотные, словно игрушечные, они вились и кружили над ней в вышине.

— Наверно, третьего дня они так и не долетели до фронта, — сказал Примитиво. — Свернули,

должно быть, на запад и потом назад. Если на той стороне увидели бы их, не стали бы начинать наступление.

— В тот раз их не было столько, — сказал Роберт Джордан.

У него было такое чувство, будто на его глазах что-то началось нормально и естественно, а потом пошло множиться в больших, огромных, исполинских отражениях. Будто бы бросил камешек в воду, а круги от него стали шириться, нарастать и превратились в ревущую громаду приливной волны. Или будто ты крикнул, а эхо вернуло твой голос оглушительными раскатами грома, а в громе этом была смерть. Или будто ты ударил одного человека и тот упал, а кругом, насколько хватал глаз, стали подниматься другие люди, в броне и полном вооружении. Он был рад, что он сейчас не с Гольцем, там, в ущелье.

Лежа рядом с Агустином, глядя, как летят самолеты, прислушиваясь, не стреляют ли позади, наблюдая за дорогой, где, он знал, что-нибудь скоро покажется, только не известно, что именно, он все еще не мог прийти в себя от удивления, что не погиб при взрыве. Он настолько приготовился к гибели, что теперь все происходившее казалось ему нереальным. Надо стряхнуть с себя это, по-

думал он. Надо от этого избавиться. Мне сегодня еще много, много нужно сделать. Но избавиться не удавалось, и все вокруг — он сам сознавал это — было как во сне.

Ты слишком наглотался дыма, вот в чем дело, сказал он себе. Но он знал, что дело не в этом. Он упорно ощущал нереальность всего за кажущейся неоспоримой реальностью; он обводил глазами мост, убитого часового на дороге, камень, за которым лежал Ансельмо, Фернандо, вытянувшегося у подножия скалы, и гладкую, темную полосу дороги до неподвижного грузовика, но все по-прежнему оставалось нереальным.

Чушь, сказал он себе, просто у тебя немножко мутится в голове, и это реакция после большого напряжения, вот и все. Не расстраивайся.

Тут Агустин схватил его за плечо и показал пальцем на ту сторону теснины, и он взглянул и увидел Пабло.

Они увидели, как Пабло выбежал из-за поворота дороги, у крутой скалы, за которой дорога скрывалась из виду, остановился, прислонился к стене и выпустил очередь, повернувшись в ту сторону, откуда бежал. Роберт Джордан видел, как Пабло, невысокий, коренастый, без шапки, стоит, прислонившись к скале, с автоматом в

руках, и видел, как сверкают на солнце медные гильзы. Они видели, как Пабло присел на корточки и выпустил еще одну очередь. Потом он повернулся и, не оглядываясь, пригнув голову, коренастый, кривоногий, проворный, побежал прямо к мосту.

Роберт Джордан оттолкнул Агустина в сторону, упер приклад большого пулемета в плечо и стал наводить его на поворот дороги. Его автомат лежал рядом. На таком расстоянии он не мог дать достаточную точность прицела.

Пока Пабло бежал к мосту, Роберт Джордан навел пулемет на поворот дороги, но там больше ничего не было видно. Пабло добежал до моста, оглянулся назад, потом глянул на мост и, отбежав на несколько шагов, полез вниз, в теснину. Роберт Джордан не сводил глаз с поворота, но ничего не было видно. Агустин привстал на одно колено. Он смотрел, как Пабло, точно горный козел, прыгает с камня на камень. После появления Пабло за поворотом больше не стреляли.

— Ты что-нибудь видишь там, наверху? На скале? — спросил Роберт Джордан.

— Нет, ничего.

Роберт Джордан следил за поворотом дороги. Он знал, что сейчас же за поворотом каменная

стена слишком крута и влезть на нее невозможно, но дальше были места более пологие, и кто-нибудь мог обойти выступ поверху.

Если до сих пор все казалось ему нереальным, сейчас все вдруг обрело реальность. Как будто объектив фотоаппарата вдруг удалось навести на фокус. Тогда-то он и увидел, как из-за поворота высунулось на освещенную солнцем дорогу обрубленное, тупое рыльце и приземистая зелено-серо-коричневая башенка, из которой торчал пулемет. Он выстрелил и услышал, как пули звякнули о стальную обшивку. Маленький танк юркнул назад, за выступ скалы. Продолжая наблюдать, Роберт Джордан увидел, как из-за угла опять показался его тупой нос и край башни, потом башня повернулась, так что ствол пулемета был теперь направлен параллельно дороге.

— Точно мышь из норы вылезла, — сказал Агустин. — Гляди, Inglés.

— Он не знает, что ему делать, — сказал Роберт Джордан.

— Вот от этой букашки и отстреливался Пабло, — сказал Агустин. — Ну-ка, Inglés, всыпь ей еще.

— Нет. Броню не пробьешь. И не нужно, чтобы они засекли нас.

Танк начал обстреливать дорогу. Пули ударялись в гудрон и отскакивали с жужжанием, потом стали звякать о металл моста. Это и был тот пулемет, который они слышали раньше.

— Cabrón! — сказал Агустин. — Так вот они какие, твои знаменитые танки, Inglés?

— Это скорее танкетка.

— Cabrón! Будь у меня бутылка бензина, влез бы я туда и поджег его. Что он будет делать дальше?

— Подождет немного, потом еще осмотрится.

— И вот этого-то люди боятся! — сказал Агустин. — Смотри, Inglés. Он хочет убить убитых!

— У него нет другой мишени, вот он и стреляет по часовым, — сказал Роберт Джордан. — Не брани его.

Но он думал: да, конечно, смеяться легко. Но представь себе, что это ты продвигаешься по шоссе на своей территории, и вдруг тебя останавливают пулеметным огнем. Потом впереди взрывается мост. Разве не естественно подумать, что он был минирован заранее и что где-то недалеко подстерегает засада. Конечно, и ты бы так подумал. Он совершенно прав. Он выжидает. Он выманивает врага. Враг — это всего только мы. Но он этого не может знать. Ах ты сволочушка.

Маленький танк выполз немного вперед из-за

угла.

И тут Агустин увидел Пабло, который вылезал из теснины, подтягиваясь на руках, пот лил по его обросшему щетиной лицу.

— Вот он, сукин сын! — сказал он.

— Кто?

— Пабло.

Роберт Джордан оглянулся на Пабло, а потом выпустил очередь по тому месту замаскированной башенки танка, где, по его расчетам; должна была находиться смотровая щель. Маленький танк, ворча, попятился назад и скрылся за поворотом, и тотчас же Роберт Джордан подхватил пулемет и перекинул его вместе со сложенной треногой за плечо. Ствол был накален до того, что ему обожгло спину, и он отвел его, прижав к себе приклад.

— Бери мешок с дисками и мою маленькую máquina, — крикнул он. — И беги за мной.

Роберт Джордан бежал по склону вверх, пробираясь между соснами. Агустин поспевал почти вплотную за ним, а сзади их нагонял Пабло.

— Пилар! — закричал Роберт Джордан. — Сюда, женщина!

Все трое так быстро, как только могли, взбирались по крутому склону, бежать уже нельзя

было, потому что подъем стал почти отвесным, и Пабло, который шел налегке, если не считать кавалерийского автомата, скоро поравнялся с остальными.

— А твои люди? — спросил Агустин, с трудом ворочая пересохшим языком.

— Все убиты, — сказал Пабло. Он никак не мог перевести дух.

Агустин повернул голову и посмотрел на него.

— Теперь у нас лошадей много, Inglés, — задыхаясь, выговорил Пабло.

— Это хорошо, — сказал Роберт Джордан. Сволочь, убийца, подумал он. — Что там у вас было?

— Все, — сказал Пабло. Дыхание вырывалось у него толчками. — Как у Пилар?

— Она потеряла двоих — Фернандо и этого, как его…

— Эладио, — сказал Агустин.

— А у тебя? — спросил Пабло.

— Я потерял Ансельмо.

— Лошадей, значит, сколько угодно, — сказал Пабло. — Даже под поклажу хватит.

Агустин закусил губу, взглянул на Роберта Джордана и покачал головой. Они услышали, как танк, невидимый теперь за деревьями, опять начал обстреливать дорогу и мост.

Роберт Джордан мотнул головой в ту сторону.

— Что у тебя вышло с этим? — Ему не хотелось ни смотреть на Пабло, ни чувствовать его запах, но ему хотелось услышать, что он скажет.

— Я не мог уйти, пока он там стоял, — сказал Пабло. — Он нам загородил выход с поста. Потом он отошел зачем-то, и я побежал.

— В кого ты стрелял, когда остановился на повороте? — в упор спросил Агустин.

Пабло посмотрел на него, хотел было усмехнуться, но раздумал и ничего не ответил.

— Ты их всех перестрелял? — спросил Агустин.

Роберт Джордан думал: ты молчи. Это уже не твое дело. Для тебя они сделали все, что нужно было, и даже больше. А это уже их междоусобные счеты. И не суди с точки зрения этики. Чего ты еще ждал от убийцы? Ведь ты работаешь с убийцей. А теперь молчи. Ты достаточно слышал о нем раньше. Ничего нового тут нет. Но и сволочь же все-таки, подумал он. Ох, какая сволочь!

От крутого подъема у него так кололо в груди, как будто вот-вот грудная клетка треснет, но впереди, за деревьями, уже виднелись лошади.

— Чего же ты молчишь? — говорил Агустин. — Почему не скажешь, что это ты перестрелял их?

— Отвяжись, — сказал Пабло. — Я сегодня много

и хорошо дрался. Спроси Inglés.

— А теперь доведи дело до конца, вытащи нас отсюда, — сказал Роберт Джордан. — Ведь этот план ты составлял.

— Я составил хороший план, — сказал Пабло. — Если повезет, все выберемся благополучно.

Он уже немного отдышался.

— А ты никого из нас не задумал убить? — спросил Агустин. — Уж лучше тогда я тебя убью сейчас.

— Отвяжись, — сказал Пабло. — Я должен думать о твоей пользе и о пользе всего отряда. Это война. На войне не всегда делаешь, что хочешь.

— Cabrón, — сказал Агустин. — Ты-то уж не останешься внакладе.

— Расскажи, что было там, на посту, — сказал Роберт Джордан Пабло.

— Все, — повторил Пабло. Он дышал так, как будто ему распирало грудь, но голос уже звучал ровно; пот катился по его лицу и шее, и грудь, и плечи были мокрые от пота. Он осторожно покосился на Роберта Джордана, не зная, можно ли доверять его дружелюбному тону, и потом ухмыльнулся во весь рот. — Все, — сказал он опять. — Сначала мы заняли пост. Потом проехал мотоцикл. Потом еще один. Потом санитарная

машина. Потом грузовик. Потом танк. Как раз перед тем, как ты взорвал мост.

— Потом…

— Танк нам ничего не мог сделать, но выйти мы не могли, потому что он держал под обстрелом дорогу. Потом он отошел куда-то, и я побежал.

— А твои люди? — спросил Агустин, все еще вызывая его на ссору.

— Отвяжись! — Пабло круто повернулся к нему, и на лице у него было выражение человека, который хорошо сражался до того, как случилось что-то другое. — Они не из нашего отряда.

Теперь уже совсем близко были лошади, привязанные к деревьям, солнце освещало их сквозь ветви сосен, и они мотали головой и лягались, отгоняя слепней, и потом Роберт Джордан увидел Марию, и в следующее мгновение он уже обнимал ее крепко-крепко, сдвинув пулемет на бок, так что пламегаситель вонзился ему под ребро, а Мария все повторяла:

— Ты, Роберто. Ах, ты.

— Да, зайчонок. Мой милый, милый зайчонок. Теперь мы уйдем.

— Это правда, что ты здесь?

— Да, да. Все правда. Ах, ты!

Он никогда раньше не думал, что можно пом-

нить о женщине, когда идет бой; что хотя бы частью своего сознания можно помнить о ней и откликаться ей; что можно чувствовать, как ее маленькие круглые груди прижимаются к тебе сквозь рубашку; что они, эти груди, могут помнить о том, что вы оба в бою. Но это было так, и это было, думал он, очень хорошо. Очень, очень хорошо. Никогда бы я не поверил в это. И он прижал ее к себе еще раз сильно-сильно, но не посмотрел на нее, а потом он шлепнул ее так, как никогда не шлепал раньше, и сказал:

— Садись! Садись! Прыгай в седло, guapa.

Потом отвязывали лошадей, и Роберт Джордан отдал большой пулемет Агустину, а сам перекинул за спину свой автомат и переложил гранаты из карманов в седельные вьюки, а пустые рюкзаки вложил один в другой и привязал к своему седлу. Потом подошла Пилар, она так задохнулась от подъема, что не могла говорить, а только делала знаки руками.

Тогда Пабло засунул в седельный вьюк три веревки, которыми раньше были стреножены лошади, встал и сказал:

— Qué tal, женщина? — Но она только кивнула, и потом все стали садиться на лошадей.

Роберту Джордану достался тот самый серый,

которого он впервые увидел сквозь снег вчера утром, и, сжимая его бока шенкелями, он чувствовал, что это стоящая лошадь. Он был в сандалиях на веревочной подошве, и стремена были ему коротковаты; автомат торчал за спиной, карманы были полны патронов, и он плотно сидел в седле, захватив поводья под мышку, перезаряжал расстрелянный магазин и смотрел, как Пилар взгромождается на импровизированное сиденье поверх огромного тюка, привязанного к седлу буланой.

— Брось ты это, ради бога, — сказал Примитиво. — Свалишься оттуда, да и лошади не свезти столько.

— Заткнись, — сказала Пилар. — Этим мы живы будем.

— Усидишь так, женщина? — спросил Пабло; он сидел в жандармском седле на гнедом жеребце.

— Что я, хуже бродячего торговца, туда его растак, — сказала Пилар. — Как поедем, старик?

— Прямо вниз. Через дорогу. Потом вверх по тому склону и лесом к перевалу.

— Через дорогу? — Агустин подъехал к нему, колотя своими мягкими парусиновыми башмаками по тугому и неподатливому брюху лошади, одной из тех, которые Пабло раздобыл накануне

ночью.

— Да, hombre. Другого пути тут нет, — сказал Пабло.

Он передал ему поводья одной из трех вьючных лошадей. Двух других лошадей должны были повести Примитиво и цыган.

— Ты можешь ехать последним, если хочешь, Inglés, — сказал Пабло. — Мы пересечем дорогу гораздо ниже, туда их máquina не достанет. Но поедем поодиночке и съедемся уже потом, ближе к перевалу.

— Ладно, — сказал Роберт Джордан.

Они тронулись лесом по склону вниз, туда, где проходила дорога. Роберт Джордан ехал вплотную за Марией. Ехать рядом с ней он не мог, мешали деревья. Он один раз ласково сдавил серому бока шенкелями, а потом только сдерживал его на крутом спуске между сосен, шенкелями говоря ему то, что сказали бы шпоры, если бы он ехал по ровному месту.

— Guapa, — сказал он Марии. — Когда надо будет пересекать дорогу, ты поезжай вторая. Первым ехать совсем не опасно, хотя кажется, что это опаснее всего. Вторым еще лучше. Они всегда выжидают, что дальше будет.

— А ты…

— Я поеду потом, когда они перестанут ждать. Это очень просто. Опаснее всего ехать в строю.

Впереди он видел круглую щетинистую голову Пабло, втянутую в плечи, и торчащий за спиной ствол его автомата. Он видел Пилар, ее непокрытую голову, широкие плечи, согнутые колени, приходившиеся выше бедер из-за узлов, в которые она упиралась каблуками. Один раз она оглянулась на него и покачала головой.

— Прежде чем пересекать дорогу, обгони Пилар, — сказал Роберт Джордан Марии.

Потом деревья впереди поредели, и он увидел внизу темный гудрон дороги, а за ним зелень противоположного склона. Мы сейчас выше дренажной трубы, подумал он, и чуть ниже того места, откуда дорога покато идет под уклон до самого моста. Мы выедем примерно ярдов на восемьсот выше моста. Это еще раз в радиусе действия пулемета, если танк успел подойти к самому мосту.

— Мария, — сказал он. — Ты обгони Пилар раньше, чем мы выедем на дорогу, а потом прямо забирай по склону вверх!

Она оглянулась на него и ничего не сказала. Он посмотрел на нее только раз, чтобы увериться, что она поняла.

— Понимаешь? — спросил он.

Она кивнула.

— Так поезжай вперед, — сказал он.

Она покачала головой.

— Поезжай вперед!

— Нет, — ответила она и, оглянувшись, покачала головой, — я поеду в свою очередь.

И тут как раз Пабло вонзил шпоры в гнедого жеребца, и тот галопом проскочил последний, усыпанный сосновыми иглами откос и перелетел дорогу, меча искры из-под копыт. Остальные поскакали за ним, и Роберт Джордан видел, как они один за другим пересекали дорогу и въезжали на зеленый склон, и слышал, как у моста застрекотал пулемет. Потом он услышал новый звук — «суишш-крак-бум!». Это «бум» раскатилось по окрестным горам, и он увидел, как на зеленом склоне взметнулся маленький фонтан земли, а над ним заклубилось облако серого дыма. «Суишш-крак-бум!» — опять зашипело, точно ракета, и потом бухнуло, и опять брызги земли и дым, на этот раз ближе к вершине склона.

Цыган, ехавший впереди, остановился в тени последних сосен над дорогой. Он посмотрел на ту сторону и потом оглянулся на Роберта Джордана.

— Скачи, Рафаэль, — сказал Роберт Джордан. —

Вперед!

Цыган держал в руках повод вьючной лошади, которая шла за ним, мотая головой.

— Брось вьючную лошадь и скачи! — сказал Роберт Джордан.

Он увидел, как рука цыгана ушла назад, выше, выше, и веревка натянулась, как струна, и потом упала, и цыган, ударив пятками в бока своей лошади, уже несся через дорогу, и когда Роберт Джордан оттолкнул от себя вьючную лошадь, испуганно прянувшую на него, цыган уже был на той стороне и галопом мчался по склону вверх, и слышен был глухой стук копыт.

«Суиишш-ка-рак!» Снаряд пролетел совсем низко, и Роберт Джордан увидел, как цыган метнулся в сторону, точно затравленный зверь, а впереди него опять забил маленький черно-серый гейзер. Потом он увидел, что цыган снова скачет вверх по длинному зеленому склону, теперь уже медленнее и ровнее, а снаряды ложатся то позади него, то впереди, и потом он скрылся за складкой горы, там, где должны были ждать остальные.

Нет, эту чертову вьючную лошадь я не могу взять с собой, подумал Роберт Джордан. А было бы неплохо прикрыться ею со стороны моста. Было бы неплохо, если б она шла между мной

и той сорокасемимиллиметровкой, из которой они шпарят с моста. Черт подери, попробую ее потащить.

Он подъехал к вьючной лошади, подобрал упавший конец веревки и, ведя лошадь за собой, проехал ярдов пятьдесят параллельно дороге в сторону, противоположную мосту. Потом он остановился и, подъехав ближе к опушке, оглянулся на дорогу, на темневший на ней грузовик и на мост. На мосту копошились люди, а дальше на дороге образовалось нечто напоминавшее уличную пробку. Роберт Джордан огляделся по сторонам и, увидев наконец то, что ему нужно было, привстал на стременах и обломал сухую сосновую ветку. Он подвел вьючную лошадь к краю обрыва над дорогой, бросил веревку и, размахнувшись, стегнул лошадь веткой по крупу. «Вперед, сучья дочь», — сказал он, и когда лошадь перебежала дорогу и стала взбираться по склону вверх, он швырнул ветку ей вслед. Ветка попала в цель, и лошадь с рыси перешла на галоп.

Роберт Джордан проехал еще тридцать ярдов вдоль дороги; дальше склон обрывался слишком круто. Орудие стреляло теперь почти беспрерывно: словно шипение ракеты и потом гулкий, взрывающий землю удар. «Ну, фашистская ско-

тинка, вперед», — сказал Роберт Джордан серому и пустил его стремительным аллюром вниз с горы, и, вылетев на открытое место, вскачь промчался через дорогу, чувствуя, как удары копыт о гудрон отдаются во всем его теле до плеч, затылка и челюстей, а потом вверх, по склону, и копыта нацеливались, ударяли, врезались в мягкую землю, отталкивались, взлетали, неслись, и, оглянувшись назад, он увидел мост в ракурсе, в котором ни разу не видал его раньше. Он был виден в профиль, не сокращенный в перспективе, и посредине его зиял пролом, и за ним на дороге стоял маленький танк, а за маленьким танком большой танк с пушкой, дуло которой было направлено прямо на Роберта Джордана, и оно вдруг сверкнуло ослепительно-желтым, точно медное зеркало, и воздух с треском разодрался прямо над шеей серого, и не успел он отвернуть голову, как впереди взметнулся фонтан камней и земли. Вьючная лошадь шла перед ним, но она слишком уклонилась вправо и уже начинала сдавать, а Роберт Джордан все скакал и скакал и, глянув в сторону моста, увидел длинную вереницу грузовиков, остановившуюся за поворотом, — теперь с высоты все было хорошо видно, — и тут опять сверкнула желтая вспышка, предвещая новое

«суиššшш» и «бум». И снаряд лег, не долетев, но он услышал, как посыпались металлические осколки вперемежку со взрытой землей.

Впереди он увидел остальных, они сгрудились на опушке леса и ждали его, и он сказал: «Arre caballo! Вперед, лошадка!» Он чувствовал, как тяжело дышит лошадь от подъема, который становится все круче, и увидел вытянутую серую шею и серые уши торчком, и он наклонился и потрепал лошадь по серой потной шее, и опять оглянулся на мост, и увидел яркую вспышку над грузным, приземистым, грязного цвета танком там, на дороге, но шипения он не услышал, только грохнуло оглушительно, звонко, с едким запахом, точно разорвало паровой котел, и он оказался на земле, а серая лошадь на нем, и серая лошадь била воздух копытами, а он старался высвободиться из-под нее.

Двигаться он мог. Он мог двигаться вправо. Но когда он двигался вправо, его левая нога оставалась неподвижной под лошадью. В ней как будто появился новый сустав, не тазобедренный, а другой, на котором бедро поворачивалось, как на шарнире. Потом он понял, что произошло, и как раз в это время серая лошадь привстала на колени, и правая нога Роберта Джордана, выпро-

ставшись из стремени, скользнула по седлу и легла на землю, и он обеими руками схватился за бедро левой ноги, которая по-прежнему лежала неподвижно, и его ладони нащупали острый конец кости, выпиравший под кожей.

Серая лошадь стояла почти над ним, и он видел, как у нее ходят ребра. Трава под ним была зеленая, и в ней росли луговые цветы, и он посмотрел вниз, увидел дорогу, теснину, мост, и опять дорогу, и увидел танк, и приготовился к новой вспышке. Она сейчас же почти и сверкнула, но шипения опять не было слышно, только сразу бухнуло и запахло взрывчаткой, и, когда рассеялась туча взрытой земли и перестали сыпаться осколки, он увидел, как серая лошадь мирно села на задние ноги рядом с ним, точно дрессированная в цирке. И сейчас же, глядя на сидевшую лошадь, он услышал ее странный хрип.

Потом Примитиво и Агустин, подхватив его под мышки, тащили на последний подъем, и левая нога, задевая за землю, проворачивалась в новом суставе. Один раз прямо над ними просвистел снаряд, и они бросились на землю, выпустив Роберта Джордана, но их только обсыпало сверху землей, и, когда стих град осколков, они опять подхватили его и понесли. Наконец они добра-

лись с ним до оврага в лесу, где были лошади, и Мария, и Пилар и Пабло окружили его.

Мария стояла возле него на коленях и говорила:

— Роберто, что с тобой?

Он сказал, обливаясь потом:

— Левая нога сломана, Мария.

— Мы тебе ее перевяжем, — сказала Пилар. — Поедешь вот на этом. — Она указала на одну из вьючных лошадей. — Снимайте поклажу.

Роберт Джордан увидел, что Пабло качает головой, и кивнул ему.

— Собирайтесь, — сказал он. Потом он сказал: — Слушай, Пабло, иди сюда.

Потное, обросшее щетиной лицо наклонилось над ним, и в нос Роберту Джордану ударил запах Пабло.

— Дайте нам поговорить, — сказал он Пилар и Марии. — Мне нужно поговорить с Пабло.

— Сильно болит? — спросил Пабло. Он наклонился совсем близко к Роберту Джордану.

— Нет. Вероятно, перерван нерв. Слушай. Вы собирайтесь. Мое дело табак, понимаешь? Я только скажу несколько слов девушке. Когда я тебе крикну: возьми ее, — ты ее возьми. Она не захочет уйти. Я только скажу ей несколько слов.

— Понятно, времени у нас немного, — сказал Пабло.

— По-моему, вам лучше идти на территорию Республики, — сказал Роберт Джордан.

— Нет, мы пойдем в Гредос.

— Подумай как следует.

— Зови Марию и говори с ней, — сказал Пабло. — Времени у нас совсем мало. Мне очень жаль, что с тобой это случилось.

— Но оно случилось, — сказал Роберт Джордан. — Не будем говорить об этом. Но ты пораскинь мозгами. У тебя мозги есть. Подумай.

— Я уже подумал, — сказал Пабло. — Ну, говори, Inglés, только быстрее. Времени у нас нет.

Пабло отошел к ближайшему дереву и стал смотреть вниз, в теснину, и на дорогу по ту сторону теснины. Потом он перевел глаза на серую лошадь, лежавшую на склоне, и на лице у него появилось огорченное выражение, а Пилар и Мария вернулись к Роберту Джордану, который сидел, прислонясь к стволу сосны.

— Разрежь штанину, пожалуйста, — сказал он Пилар.

Мария присела возле него на корточки и не говорила ничего. Солнце играло на ее волосах, а лицо у нее было искажено гримасой, как у ре-

бенка, который готовится заплакать. Но она не плакала.

Пилар вынула нож и разрезала его левую штанину от кармана до самого низу, Роберт Джордан руками развел края и наклонился посмотреть. Дюймов на десять пониже тазобедренного сустава багровела конусовидная опухоль, похожая на маленький островерхий шалаш, и, дотронувшись до нее пальцами, Роберт Джордан ясно почувствовал конец кости, туго упиравшийся в кожу. Нога лежала на земле, неестественно выгнутая. Он поднял глаза и посмотрел на Пилар. У нее было такое же выражение лица, как у Марии:

— Anda, — сказал он ей. — Ступай.

Она ушла, понурив голову, ничего не сказав и не оглянувшись, и Роберт Джордан увидел, что у нее трясутся плечи.

— Guapa, — сказал он Марии и взял обе ее руки в свои. — Выслушай меня. Мы в Мадрид не поедем…

Тогда она заплакала.

— Не надо, guapa, — сказал он. — Выслушай меня. Мы теперь в Мадрид не поедем, но, куда бы ты ни поехала, я везде буду с тобой. Поняла?

Она ничего не сказала, только прижалась головой к его щеке и обняла его крепче.

— Слушай меня хорошенько, зайчонок, — сказал он. Он знал, что нужно торопиться, и весь обливался потом, но он должен был сказать и заставить ее понять. — Сейчас ты отсюда уйдешь, зайчонок. Но и я уйду с тобой. Пока один из нас жив, до тех пор мы живы оба. Ты меня понимаешь?

— Нет, я хочу с тобой.

— Нет, зайчонок. То, что мне сейчас нужно сделать, я сделаю один. При тебе я не могу сделать это как следует. А если ты уйдешь, значит, и я уйду. Разве ты не чувствуешь, что это так? Где один из нас, там оба.

— Я хочу с тобой.

— Нет, зайчонок. Слушай. В этом люди не могут быть вместе. В этом каждый должен быть один. Но если ты уйдешь, значит, и я пойду тоже. Только так я могу уйти. Я знаю, ты уйдешь и не будешь спорить. Ты ведь умница, и ты добрая. Ты уйдешь за нас обоих, и за себя и за меня.

— Но я хочу остаться с тобой, — сказала она. — Мне так легче.

— Я знаю. Но ты сделай это ради меня. Я тебя прошу об этом.

— Ты не понимаешь, Роберто. А я? Мне хуже, если я уйду.

— Да, — сказал он. — Тебе тяжело. Но ведь ты теперь — это и я тоже.

Она молчала.

Он посмотрел на нее, весь в поту, и снова заговорил, стараясь добиться своего так, как еще никогда не старался в жизни.

— Ты сейчас уйдешь за нас обоих, — сказал он. — Забудь о себе, зайчонок. Ты должна выполнить свой долг.

Она покачала головой.

— Ты теперь — это я, — сказал он. — Разве ты не чувствуешь, зайчонок?

Она молчала.

— Послушай, зайчонок, — сказал он. — Правда же, если ты уйдешь, это значит, что и я уйду. Клянусь тебе.

Она молчала.

— Ну вот, теперь ты поняла, — сказал он. — Теперь я вижу, что ты поняла. Теперь ты уйдешь. Вот и хорошо. Сейчас ты встанешь и уйдешь. Вот ты уже сама сказала, что уйдешь.

Она ничего не говорила.

— Ну вот и спасибо. Теперь ты уйдешь быстро и спокойно и далеко-далеко, и мы оба уйдем в тебе. Теперь положи руку сюда. Теперь положи голову сюда. Нет, совсем положи. Вот, хорошо. Теперь я

положу руку вот сюда. Хорошо. Ты ведь умница. И не надо больше ни о чем думать. Ты делаешь то, что ты должна делать. Ты слушаешься. Не меня, нас обоих. Того меня, который в тебе. Теперь ты уйдешь за нас обоих. Правда! Мы оба уйдем в тебе. Я ведь тебе так обещал. Ты умница, и ты очень добрая, что уходишь теперь.

Он кивнул Пабло, который посматривал на него из-за дерева, и Пабло направился к нему. Потом он пальцем поманил Пилар.

— Мы еще поедем в Мадрид, зайчонок, — сказал он. — Правда. Ну, а теперь встань и иди. Встань. Слышишь?

— Нет, — сказала она и крепко обхватила его за шею.

Тогда он опять заговорил, все так же спокойно и рассудительно, но очень твердо.

— Встань, — сказал он. — Ты теперь — это и я. Ты — все, что останется от меня. Встань.

Она встала, медленно, не поднимая головы, плача. Потом бросилась опять на землю рядом с ним, но сейчас же встала, медленно и покорно, когда он сказал ей: «Встань, зайчонок!»

Пилар держала ее за локоть, и так она стояла перед ним.

— Идем, — сказала Пилар. — Тебе что-нибудь

нужно, Inglés?

— Нет, — сказал он и продолжал говорить с Марией. — Прощаться не надо, guapa, ведь мы не расстаемся. Пусть все будет хорошо в Гредосе. Ну, иди. Будь умницей, иди. Нет, — продолжал он, все так же спокойно и рассудительно, пока Пилар вела девушку к лошадям. — Не оглядывайся. Ставь ногу в стремя. Да, да. Ставь ногу. Помоги ей, — сказал он Пилар. — Подсади ее в седло. Вот так.

Он отвернулся, весь в поту, и взглянул вниз, на дорогу, потом опять на девушку, которая уже сидела на лошади, и Пилар была рядом с ней, а Пабло сзади.

— Ну, ступай, — сказал он. — Ступай. — Она хотела оглянуться. — Не оглядывайся, — сказал Роберт Джордан. — Ступай.

Пабло стегнул лошадь по крупу ремнем, и на мгновение показалось, будто Мария вот-вот соскользнет с седла, но Пилар и Пабло ехали вплотную по сторонам, и Пилар держала ее, и все три лошади уже шли в гору.

— Роберто! — закричала Мария и оглянулась. — Я хочу к тебе! Я хочу к тебе!

— Я с тобой, — закричал Роберт Джордан. — Я там, с тобой. Мы вместе. Ступай!

Потом они скрылись из виду за выступом горы,

и он лежал, весь мокрый от пота, и ни на что не смотрел.

Агустин стоял перед ним.

— Хочешь, я тебя застрелю, Inglés? — спросил он, наклоняясь совсем низко. — Хочешь? Я могу.

— No hace falta, — сказал Роберт Джордан. — Ступай. Мне тут очень хорошо.

— Me cago en la leche que me ban dado![131] — сказал Агустин. Он плакал и потому видел Роберта Джордана как в тумане. — Salud, Inglés.

— Salud, друг, — сказал Роберт Джордан. Он теперь смотрел вниз, на дорогу. — Не оставляй стригунка, ладно?

— Об этом не беспокойся, — сказал Агустин. — У тебя все есть, что тебе нужно?

— Эту máquina я оставлю себе, тут всего несколько патронов, — сказал Роберт Джордан. — Ты таких не достанешь. Для большой и для той, которая у Пабло, можно достать.

— Я прочистил ствол, — сказал Агустин. — Когда ты упал, туда набилась земля.

— Где вьючная лошадь?

— Цыган поймал ее.

Агустин уже сидел верхом, но ему не хотелось

---

[131] Примечания: 131
Испанское ругательство.

уходить. Он перегнулся с седла к дереву, под которым лежал Роберт Джордан.

— Ступай, viejo, — сказал ему Роберт Джордан. — На войне это дело обычное.

— Qué puta es la guerra, — сказал Агустин. — Война — это гнусность.

— Да, друг, да. Но тебе надо спешить.

— Salud, Inglés, — сказал Агустин и потряс в воздухе сжатым кулаком.

— Salud, — сказал Роберт Джордан. — Ну, ступай.

Агустин круто повернул лошадь, опустил кулак таким движением, точно выбранился при этом, и медленно поехал вперед. Остальных давно уже не было видно. Доехав до поворота, он оглянулся и помахал Роберту Джордану кулаком. Роберт Джордан тоже помахал в ответ, и Агустин скрылся вслед за остальными… Роберт Джордан посмотрел вниз, туда, где у подножия зеленого склона виднелись дорога и мост. Так будет хорошо, подумал он. Переворачиваться на живот рискованно, слишком эта штука близка к поверхности, да и смотреть так удобнее.

Он чувствовал усталость, и слабость, и пустоту после всего, что было, и после их ухода, и во рту он ощущал привкус желчи. Вот теперь и в самом

деле ничего трудного нет. Как бы все ни было и как бы ни обернулось дальше, для него уже ничего трудного нет.

Все ушли, он один сидит тут, под деревом, прислонясь к стволу спиной. Он посмотрел вниз, на зеленый склон, увидел серую лошадь, которую пристрелил Агустин, а еще ниже дорогу, а за ней другой склон, поросший густым лесом. Потом он перевел глаза на мост и на дорогу за мостом и стал наблюдать за тем, что делается на мосту и на дороге.

Отсюда ему видны были грузовики, столпившиеся за поворотом. Их серые борта просвечивали сквозь деревья. Потом он посмотрел в другую сторону, где дорога не круто уходила вверх. Отсюда они и придут, теперь уже скоро, подумал он.

Пилар позаботится о ней лучше, чем кто бы то ни было. Ты сам знаешь. У Пабло, вероятно, все обдумано, иначе он бы не рисковал. Насчет Пабло можешь не беспокоиться. И не надо тебе думать о Марии. Постарайся поверить сам в то, что ты ей говорил. Так будет лучше. А кто говорит, что это неправда? Не ты. Ты этого не скажешь, как не скажешь, что не было того, что было. Не теряй своей веры. Не будь циником. Времени осталось слишком мало, и ты ведь только что заставил

ее уйти. Каждый делает, что может. Ты ничего уже не можешь сделать для себя, но, может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других. Что ж. Мы все свое счастье пережили за четыре дня. Нет, не за четыре. Я пришел сюда в сумерки, а сегодня не успеет наступить полдень. Значит, три ночи и три неполных дня. Будь точен, сказал он. Абсолютно точен.

Пожалуй, тебе лучше сползти пониже, подумал он. Лучше пристроиться где-нибудь, где от тебя еще может быть польза, а сидеть под деревом, точно бродяга на привале, — это ни к чему. В конце концов, тебе еще повезло. Бывают вещи похуже. А к этому каждый должен прийти рано или поздно. Ведь ты не боишься, раз уж знаешь, что должен сделать это. Нет, сказал он себе, и это была правда. Счастье все-таки, что нерв поврежден. Ниже перелома я даже не чувствую ничего. Он потрогал ногу, и она как будто не была частью его тела.

Он снова посмотрел вниз, на склон, и подумал: не хочется покидать все это, только и всего. Очень не хочется покидать, и хочется думать, что какую-то пользу я здесь все-таки принес. Старался, во всяком случае, в меру тех способностей, которые у меня были. Ты хочешь сказать

— есть. Ладно, пусть так — есть. Почти целый год я дрался за то, во что верил. Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать. И тебе повезло, сказал он себе, у тебя была очень хорошая жизнь. Такая же хорошая, как и у дедушки, хоть и короче. У тебя была жизнь лучше, чем у всех, потому что в ней были вот эти последние дни. Не тебе жаловаться. Жаль только, что уже не придется передать кому-нибудь все, чему я научился. Черт, мое учение шло быстро под конец. Хорошо бы еще побеседовать с Карковым. Там, в Мадриде. Вон за теми горами, и еще пересечь долину. Там, далеко от серых скал и сосен, от вереска и дрока, по ту сторону желтого плоскогорья стоит Мадрид, белый и красивый. Это такая же правда, как старухи Пилар, которые ходят на бойню пить свежую кровь. Не бывает, чтобы что-нибудь одно было правдой. Все — правда. Ведь самолеты одинаково красивы, наши ли они или их. Как бы не так, подумал он.

Ладно, нечего расстраиваться, сказал он себе. Перевернись лучше на живот, пока еще есть время. Да, вот еще что. Помнишь гаданье Пилар по руке? Что ж, ты веришь в эту чушь? Нет, сказал он. Несмотря на все, что случилось? Да, все

равно не верю. Но она сегодня была просто трогательная — утром, перед тем, как мы вышли. Она боялась, вероятно, что я поверил. Но я не верю. А она верит. Что-то они все-таки видят. Или чуют что-то. Сверхчувственное восприятие — так это, кажется, называется. Так и так это называется, сказал он. Она нарочно не простилась, потому что она знала: если начать прощаться, Мария не уйдет. Уж эта Пилар. Ладно, Джордан, давай переворачиваться на живот. Но ему не хотелось приниматься за это.

Тут он вспомнил, что в заднем кармане у него есть маленькая фляжка, и подумал: глотну победителя великанов, потом попробую перевернуться. Но когда он ощупал карман, фляжки там не оказалось. Тогда он почувствовал себя совсем одиноко, потому что узнал, что даже этого не будет. Видно, я рассчитывал на это, подумал он.

Может быть, Пабло взял ее? Что за глупости. Ты, вероятно, потерял ее на мосту. Ну, Джордан, давай, сказал он себе. Раз, два, три.

Он отодвинулся от дерева и лег, потом взялся обеими руками за свою левую ногу и сильно оттянул ее вниз. Потом, лежа и продолжая оттягивать ногу, чтобы острый край кости не выскочил и не пропорол кожу изнутри, он медленно повернулся

на ягодицах кругом, пока голова у него не оказалась ниже ног. Потом он уперся подошвой правой ноги в подъем левой и с усилием, обливаясь потом, перекатился на живот, затем, приподнявшись на локтях, помогая правой ногой, он выпрямил левую и отвел ее, сколько можно было, назад. Он пощупал бедро: все было в порядке. Кость не прорвала кожу, и обломанный край ушел в мышцу.

Должно быть, нерв и в самом деле перервался, когда эта проклятая лошадь придавила ногу, подумал он. Боли в самом деле нет никакой. Только вот когда меняешь положение. Вероятно, при этом кость задевает что-нибудь еще.

Вот видишь, сказал он. Видишь, как тебе везет. Даже и без победителя великанов обошлось дело.

Он потянулся за своим автоматом, вынул магазин из коробки, нащупал запасные в кармане, открыл затвор и заглянул в ствол, потом вставил магазин и повернулся лицом к дороге. Может быть, еще полчаса, подумал он. Только не надо волноваться.

Он смотрел на склон, и смотрел на сосны, и старался не думать ни о чем.

Он смотрел на реку и вспоминал, как прохладно

было в тени под мостом. Скорее бы они пришли, подумал он. Как бы у меня не начало мутиться в голове раньше, чем они придут.

Как ты думаешь, кому легче? Верующим или тем, кто принимает все так, как оно есть? Вера, конечно, служит утешением, но зато мы знаем, что бояться нечего. Плохо только, что все уходит. Плохо, если умирать приходится долго и если при этом очень больно, потому что это унижает тебя. Вот тут тебе особенно повезло. С тобой этого не случится.

Хорошо, что они ушли. Так гораздо лучше, без них. Я ведь говорю, что мне везет. Насколько хуже было бы, если б они все были здесь, рассыпаны по этому склону, на котором лежит серая лошадь. Или сбились бы в кучу вокруг меня, выжидая. Нет. Они ушли. Их нет здесь. Теперь если бы еще наступление оказалось удачным. Ты чего же хочешь? Всего. Я хочу всего, но я возьму что можно. Пусть даже это наступление окончится неудачей, что ж, другое будет удачным. Я не заметил, пролетали самолеты обратно или нет. *Господи, вот счастье, что удалось заставить ее уйти.*

Хорошо бы рассказать обо всем этом дедушке. Уж наверно ему никогда не приходилось переходить линию фронта, и отыскивать своих, и

выполнять задание вроде того, какое сегодня выполнил я. Откуда ты знаешь? Может быть, он пятьдесят раз выполнял такие задания. Нет, сказал он. Будь точен. Такое никому не сделать пятьдесят раз. Даже и пять раз. Может быть, даже и один раз не так-то просто. Да нет, отчего же. Ты не единственный.

Скорей бы они пришли, сказал он. Пришли бы сейчас, а то нога начинает болеть. Должно быть, распухает.

Все шло так хорошо, пока не ударил этот снаряд, подумал он. Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Когда что-нибудь делается не так, рано или поздно должна случиться беда. Твоя песенка была спета, еще когда Гольц получил этот приказ. И ты это знал, и это же, должно быть, чувствовала Пилар. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Походные рации — вот что нам нужно. *Да, нам много чего нужно*. Мне бы, например, иметь запасную ногу.

Он с усилием улыбнулся на это, потому что нога теперь очень болела в том месте, где был задет нерв. Ох, пусть идут, подумал он. Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я

против этого. Не думай об этом. Не думай об этом. Скорее бы они шли, сволочи, подумал он. Скорей бы, скорей бы шли.

Нога теперь болела все сильнее. Боль появилась внезапно, после того как он перевернулся и бедро стало распухать. И он подумал: может быть, мне сейчас сделать это. Я не очень хорошо умею переносить боль. Послушай, если я это сделаю сейчас, ты не поймешь превратно, а? *Ты с кем говоришь*? Ни с кем, сказал он. С дедушкой, что ли? Нет. Ни с кем. Ох, к дьяволу, скорей бы уж они шли.

Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо. Лучше не допустить до этого. Так, может быть, все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено? А то, ох, слушай, да, слушай, *пусть они идут скорей*.

Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты — плохо. Именно ты — совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора. А по-твоему?

Нет, не пора. Потому что ты еще можешь кое-что сделать. Пока ты еще знаешь, что именно,

ты это должен сделать. Пока ты еще помнишь об этом, ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут!

Думай о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как они едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо. Думай, как они едут всю ночь. Думай, как они завтра приедут в Гредос. Думай о них. К черту, к дьяволу, думай о них. *Дальше Гредоса я уже не могу о них думать*, сказал он.

Думай про Монтану. *Не могу*. Думай про Мадрид. *Не могу*. Думай про глоток холодной воды. *Хорошо.* Вот так оно и будет. Как глоток холодной воды. *Лжешь.* Оно будет никак. Просто ничего не будет. Ничего. Тогда сделай это. *Сделай.* Вот сделай. Теперь уже можно. Давай, давай. *Нет, ты должен ждать*. Ты знаешь сам. *Вот и жди*. Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание. Я знаю, потому что к этому уже три раза шло, но я удерживался. Я удерживался, и оно проходило. Но теперь я не знаю. Наверно, там, в ноге, внутреннее кровоизлияние, ведь эта кость все вокруг разодрала. Особенно при повороте. От этого и опухоль, и

слабость, и начинаешь терять сознание. Теперь уже можно это сделать. Я тебе серьезно говорю, уже можно.

Но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся хотя бы убить офицера, это может многое решить. Одна вещь, сделанная вовремя… Ладно, сказал он. И он лежал спокойно и старался удержать себя в себе, чувствуя, что начинает скользить из себя, как иногда чувствуешь, как снег начинает скользить по горному склону, и он сказал: теперь надо спокойно, только бы мне продержаться, пока они придут.

Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу. Он следил, как верховые поднимаются по склону. Он увидел, как головной отряда остановился возле серой лошади и крикнул что-то офицеру и как офицер подъехал к нему. Он видел, как оба склонились над серой лошадью. Узнали ее. Этой лошади и ее хозяина недосчитывались в отряде со вчерашнего утра.

Роберт Джордан видел их на половине склона, недалеко от себя, а внизу он видел дорогу, и мост, и длинную вереницу машин за мостом. Он теперь вполне владел собой и долгим, внимательным

взглядом обвел все вокруг. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы на земле и потрогал кору дерева, за которым лежал.

Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу сосновых игл, а ствол автомата прижал к сосне.

Поднимаясь рысью по следам ушедших, офицер должен был проехать ярдов на двадцать ниже того места, где лежал Роберт Джордан. На таком расстоянии тут не было ничего трудного. Офицер был лейтенант Беррендо. Он только что вернулся из Ла-Гранхи, когда пришло известие о нападении на нижний дорожный пост, и ему было предписано выступить со своим отрядом туда. Они мчались во весь опор, но мост оказался взорванным, и они повернули назад, чтобы пересечь ущелье выше по течению и проехать затем лесом. Лошади их были в мыле и даже рысью шли с трудом.

Лейтенант Беррендо поднимался по склону, приглядываясь к следам; его худое лицо было сосредоточенно и серьезно; автомат торчал поперек седла. Роберт Джордан лежал за деревом, сдерживая себя, очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука. Он ждал, когда офицер

выедет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю.